Марсель ПРУСТ



В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

ПОЛНОЕ ИЗДАНИЕ
В ДВУХ ТОМАХ

Пленница

Марсель Пруст

Аннотация
Марсель Пруст. ПЛЕННИЦА
Глава
первая. СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ С АЛЬБЕРТИНОЙ
Глава вторая. ВЕРДЮРЕНЫ ССОРЯТСЯ С ГОСПОДИНОМ ДЕ ШАРЛЮС
Глава третья. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АЛЬБЕРТИНЫ

Аннотация

Марсель Пруст (1871–1922) — знаменитый французский писатель, родоначальник современной психологической прозы. его семитомная эпопея "В поисках утраченного времени" стала одним из гениальнейших литературных опытов 20-го века.

В тексте «Пленница» сохранена пунктуация и орфография переводчика А. Франковского

Марсель Пруст
ПЛЕННИЦА

Глава первая
СОВМЕСТНАЯ ЖИЗНЬ С АЛЬБЕРТИНОЙ

С самого утра, когда голова моя была еще обращена к стене, и раньше, чем я замечал, какого тона световая полоска над большими оконными занавесками, я знал уже, какая сегодня погода. Первые уличные шумы сообщали мне о ней, доходя до меня то заглушенными и отклоненными сыростью, то вибрирующими как стрелы в звонком и пустом воздухе просторного, морозного и ясного утра: по грохотанью первого трамвая я различал, простужен ли он дождем или весело мчится в лазурь. Может быть, шумы эти в свою очередь предварялись своего рода излучением, более стремительным и глубоко проникающим, которой, проскользнув в мой сон, разливало в нем печаль, предвестницу снега, или побуждало некое крохотное переменчивое созданьице внутри меня так громко распевать несчетные гимны во славу солнца, что еще во сне я начинал улыбаться с закрытыми глазами, предвкушая ослепительный свет, и в заключение просы-

пался, совсем оглушенный музыкой. Впрочем, в этот период всю внешнюю жизнь я воспринимал главным образом из своей комнаты. Блок, я знаю, рассказывал, как, придя однажды вечером навестить меня, он слышал словно обрывки разговора; так как моя мать была в Комбре и Блок никого не заставал в моей комнате, то он заключил, что я разговариваю сам с собой. Узнав гораздо позже, что в то время со мной жила Альбертина, и сообразив, что я заботливо прятал ее от всех, он объявил, будто понял наконец, почему в этот период моей жизни я наотрез отказывался выходить из дому. Он ошибся, причем его ошибка вполне извинительна, потому что действительность невозможно предусмотреть сполна, даже если заблуждение неизбежно. Лица, узнающие какую-нибудь точную подробность о нашей жизни, тотчас выводят из нее следствия, которых нет на самом деле, и усматривают во вновь открытом факте объяснение вещей, как раз не имеющих к нему никакого отношения.

Когда я думаю теперь о том, как подруга моя по нашем возвращении из Бальбека поселилась в Париже под одной кровлей со мной, как она отказалась от мысли совершить поездку по морю, как занимала комнату в двадцати шагах от

моей, в конце коридора, в ковровом кабинете моего отца, и как каждый вечер, в поздний час, прощаясь со мной, вкладывала мне в рот язык, словно хлеб насущный, словно живительную пищу, обладающую почти священными качествами каждой плоти, которую страдания, перенесенные нами из-за нее, в заключение наделяют своего рода духовной сладостью, — то с этим прежде всего напрашивается на сравнение не та ночь, которую разрешил мне провести в казарме князь Бородинский в знак своей особенной милости, облегчившей в общем лишь весьма мимолетное мое недомогание, но та, когда мой отец велел маме лечь спать в кроватке рядом со мной. Так жизнь, если ей лишний раз суждено избавить нас от страдания, с виду неизбежного, совершает это избавление в различных условиях, иногда настолько противоположных, что кажется почти святотатством констатировать тожество дарованной благодати!

Когда Альбертина узнавала от Франсуазы, что в темноте моей комнаты со спущенными еще занавесками я не сплю, она без стеснения плескалась и возилась, умываясь в своей туалетной. В таких случаях я часто, не дождясь более позднего часа, шел в смежную с этой туалетной ванную, вид

которой был так приятен. В прежние времена директора театров тратили сотни тысяч франков на украшение настоящими изумрудами трона в пьесе, где дива играла роль императрицы. Русские балеты открыли нам, что простая игра разноцветных лучей, направленных куда следует, расточает драгоценности столь же пышные и более разнообразные. Эти невещественные декорации не являются, однако столь привлекательными, как декорация, которой солнце в восемь часов утра заменяет ту обстановку, что мы привыкли там видеть, вставая с постели только в полдень. Чтобы нельзя было заглядывать к нам со двора, окна обеих наших умывальных были не гладкие, но изборожденные искусственным старомодным инеем. Солнце вдруг желтило этот стеклянный муслин, золотило его и, тихонько пробуждая во мне прежнего юношу, давно уже усыпленного привычкой, пьянило меня воспоминаниями, создавая иллюзию, будто я нахожусь на лоне природы перед золотистой листвой, в которой распевает даже пташка. Ибо я слышал, как Альбертина без услали насвистывала:

Горести наши шалуньи,
Глупец, кто послушает их.

Я слишком любил Альбертину, чтобы весело не улыбнуться при этом проявлении ее дурного музыкального вкуса. Песенка эта прошлым летом приводила и восторг г-жу Бонтан; когда же она узнала вскоре, что попалась впросак, то стала просить Альбертину, если у нее собирались гости, спеть о том, как ручьи

от горя помутились,
Разлуки песнь журча;

в свою очередь и эта ария обратилась в «затасканный мотив Массне, которым моя девочка прожужжала всем уши».

Проходило облако, солнце скрывалось, и я видел, как гаснет и снова делается серой целомудренная и густая стеклянная завеса.

Перегородки, разделявшие две наших туалетных (туалетная Альбертины, совершенно одинаковая с моей, была ванной, которой мама, имевшая другую ванну с противоположной части квартиры, никогда не пользовалась, чтобы не беспокоить меня шумом), были такие тонкие, что мы могли переговариваться, умываясь каждый у себя, могли вести беседу, прерываемую только плеском воды, в той атмосфере интимности, которая так часто создается ограниченностью

помещения и близостью комнат, но в Париже встречается очень редко.

В другие дни я оставался в постели, предаваясь мечтам, сколько мне хотелось, ибо было отдано приказание никогда не входить в мою комнату, пока я не позвоню, что, благодаря неудобно подвешенной над кроватью груше электрического звонка, требовало столько времени, что часто, устав разыскивать ее и довольный одиночеством, я на несколько мгновений снова почти засыпал. Нельзя сказать, чтобы я был совершенно равнодушен к пребыванию у нас Альбертины. Ее разлука с подругами избавляла мое сердце от новых терзаний. Она держала его в состоянии покоя, как бы в неподвижности, которые помогли бы ему излечиться. Но в конечном итоге это спокойствие, доставляемое мне моей подругой, было скорее прекращением страдания, чем радостью. Не то, чтобы оно препятствовало мне наслаждаться многочисленными радостями, которых лишила меня слишком жгучая боль, но радостями этими я не только не был обязан Альбертине, которую к тому же не находил больше хорошенькой и с которой мне было скучно, которую, как я отчетливо ощущал, я не любил, а, напротив, я ими наслаждался, когда Альбертины не было возле

меня. Вот почему, начиная свой день, я не приглашал ее к себе сразу же, особенно когда бывала хорошая погода. В течение нескольких минут, зная, что это принесет мне больше удовольствия, чем общество Альбертины, я оставался с глазу на глаз с упомянутым выше обитавшим во мне крохотным созданьицем, песнями приветствовавшим солнце. Из всех «я», составляющих нашу индивидуальность, самыми существенными для нас являются далеко не самые явные. Когда болезнь положит их в конце концов, одно за другим, на обе лопатки, во мне останутся еще два или три таких персонажа, обладающих большей жизнеспособностью, чем прочие, прежде всего некий философ, который бывает счастлив, лишь когда открывает между двумя произведениями, между двумя ощущениями что-нибудь общее. Но последним из них, — я спрашивал себя по временам, — уж не явится ли человечек, очень похожий на того капуцина, которого выставлял у себя на витрине комбрейский оптик для предсказания погоды и который, снимая капюшон, как только показывалось солнце, снова надевал его, когда собирался дождь. Эгоизм этого человечка мне хорошо известен; я могу задыхаться от приступов астмы, которую способно успокоить одно только

наступление дождливой погоды, ему нет до этого никакого дела, при первых каплях дождя, с таким нетерпением ожидаемых мной, у него пропадает вся веселость, настроение портится, и он насовывает капюшон себе на нос. Зато я уверен, что во время моей агонии, когда все мои другие «я» будут уже мертвыми, если блеснет луч солнца, меж тем как я буду испускать последний вздох, этот барометрический человечек почувствует себя как нельзя лучше, сдернет свой капюшон и запоет: «Ах, наконец-то погода хорошая!»

Я звонил Франсуазе. Раскрывал «Фигаро». Я искал там, и постоянно убеждался в ее отсутствии, одну статью, как я называл ее, посланную мной в эту газету и являвшуюся не чем иным, как недавно найденной мной и немного подправленной страницей, которую я написал когда-то в экипаже доктора Перспье, наблюдая мартенвильские колокольни. Потом я читал мамино письмо. Мама находила странным, ее шокировало, что со мной живет барышня, притом совершенно одна. На первых порах, в день моего отъезда из Бальбека, матушка, видя меня таким несчастным и беспокоясь, как бы со мной чего не случилось, если я останусь один, может быть, даже обрадовалась, когда узнала, что Альбертина едет с

нами, и увидела, как на поезд узкоколейки рядом с нашими чемоданами (подле которых я проплакал в бальбекском отеле всю ночь) погрузили чемоданы Альбертины, узкие и черные, по форме своей напомнившие мне гробы и относительно которых я был в неведении, жизнь или смерть принесут они в наш дом. Однако я даже не задавался этим вопросом, настолько в то солнечное утро, после ужаса остаться в Бальбеке, я рад был увезти с собой Альбертину. Но если сначала матушка не противилась этому проекту (разговаривая с моей подругой очень любезно, как мать, которая признательна молоденькой любовнице, самоотверженно ухаживающей за ее сыном, только что получившим тяжелую рану), то она стала относиться к нему враждебно после того, как он был осуществлен слишком уже полно, и пребывание у нас молодой девушки затянулось, притом в отсутствие моих родителей. Впрочем, я не могу сказать, чтобы матушка когда-нибудь выразила мне свою враждебность открыто. Как в те времена, когда она перестала упрекать меня в моей нервности, в моей лени, не находя в себе для этого смелости, так и теперь она все не решалась, — чего я тогда, может быть, не разглядел хорошенько или не хотел разглядеть, — своими

замечаниями относительно девушки, с которой, по моим заявлениям, я собирался обручиться, омрачить мою жизнь, уменьшить со временем мою преданность будущей жене, посеять может быть во мне, когда ее самой больше не будет в жизни, угрызения совести от мысли, что моя женитьба на Альбертине доставила ей огорчение. Мама предпочитала делать вид, будто она одобряет мой выбор, так как чувствовала, что не может меня разубедить. Но все, кто видел ее в то время, говорили мне, что к печали по умершей матери у нее прибавилось выражение постоянной озабоченности. От этого напряжения ума, от этой внутренней борьбы у мамы пылали виски, и она то и дело открывала окна, чтобы освежиться. Но она все не принимала никакого решения из боязни «повлиять» на меня в дурном смысле и испортить то, что она считала моим счастьем. Она не способна была даже найти в себе решимость помешать мне временно поместить Альбертину в нашем доме. Она не хотела прослыть более строгой, чем г-жа Бонтан, которой это касалось прежде всего и которая не находила в поведении своей племянницы ничего неприличного, немало удивляя тем мою матушку. Во всяком случае, она сожалела, что ей пришлось оставить меня

вдвоем с Альбертиной, благодаря отъезду как раз в этот момент в Комбре, где она могла задержаться (и действительно задержалась) на долгие месяцы, в течение которых моя двоюродная бабушка непрестанно, днем и ночью, нуждалась в ее услугах. Ее заботы были сильно облегчены добротой и преданностью Леграндена, который, не отступая ни перед какими затруднениями, откладывал с недели на неделю свое возвращение в Париж, не будучи даже хорошо знаком с моей двоюродной бабушкой, сначала просто потому, что она была подругой его матери, а потом — почувствовав, что обреченная больная любит его заботы и не может обойтись без него. Снобизм — тяжелая душевная болезнь, но местная, не повреждающая всей души целиком. Сам я однако, в противоположность маме, был очень доволен ее переездом в Комбре, так как (не решаясь попросить Альбертину молчать об этом) опасался, как бы, оставаясь с нами, мама не открыла дружеских отношений Альбертины и м-ль Вентейль. Эти отношения показались бы матушке безусловным препятствием не только для женитьбы, о которой она, впрочем, просила меня не говорить еще определенно моей подруге и мысль о которой делалась мне все более и более невыносимой, но

даже и для самого кратковременного пребывания Альбертины в нашем доме. За исключением этого серьезного обстоятельства, о котором она ничего не знала, мама, — с одной стороны, вследствие благотворного и эмансипирующего подражания бабушке, восторженной поклоннице Жорж Санд, утверждавшей, что добродетель заключается в благородстве сердца, а, с другой, поддавшись моему тлетворному влиянию, — стала снисходительна к женщинам, поведение которых она бы строго осудила в прежнее время, да даже и теперь, если бы они принадлежали к числу ее парижских или комбрейских друзей буржуазного круга, — стала, повторяю, снисходительна к женщинам, великодушие которых я ей расхваливал и которым она многое прощала, потому что они любили меня много. Несмотря на все это и даже независимо от вопроса о приличиях, мне кажется, Альбертина не ужилась бы с мамой, усвоившей в Комбре от тети Леонии и от всех своих родных привычку к порядку, о котором подруга моя не имела самого элементарного понятия.

Она ни за что бы не закрыла двери и в то же время без всякого стеснения вошла бы, если бы дверь была открыта, как сделала бы это собака или кошка. Немного стесняющая прелесть ее

проистекала таким образом отчасти оттого, что она находилась в доме не столько на положении молодой барышни, сколько на положении домашнего животного, которое входит в комнату и выходит из нее, которое оказывается везде, где его не ожидают, которое укладывалось, — и это приносило мне глубочайший покой, — на моей кровати рядом со мной, устраивало себе там местечко, где лежало, не шевелясь и вовсе не стесняя меня, как стесняла бы женщина. Однако, в конце концов, она приспособилась к часам моего сна и не только не делала попыток войти в мою комнату, но и не шумела, пока не раздавался мой звонок. Эти правила были ей внушены Франсуазой.

Франсуаза была из числа тех комбрейских слуг, которые умеют ценить своего господина и внимательно следят за тем, чтобы ему полностью был оказан подобающий, на их взгляд, почет. Когда кто-нибудь из посторонних давал Франсуазе на чай пополам с судомойкой, то не успевал гость вручить свою монету, как Франсуаза с поразительной быстротой, сдержанностью и энергией преподавала урок судомойке, и та приходила благодарить не вполголоса, а открыто, во всеуслышание, как это подобало, согласно предписаниям

Франсуазы. Комбрейский кюре не блистал талантами, но и он умел поступать, как полагается. Под его руководством дочка родственников-протестантов г-жи Сазра перешла в католичество, и семья девушки продолжала относиться к нему как нельзя лучше: вопрос шел о браке с одним дворянином из Мезеглиза. Родители молодого человека обратились для осведомления с довольно пренебрежительным письмом, в котором говорили свысока о протестантском происхождении невесты. Комбрейский кюре ответил таким тоном, что дворянин из Мезеглиза, поверженный в прах и уничтоженный, написал совсем иное письмо, в котором добивался как величайшей милости сочетания брачными узами с молодой девушкой.

Со стороны Франсуазы не было заслугой внушить Альбертине уважение к моему сну. Она была насквозь пропитана традициями. По хранимому ею молчанию или по резкому ответу на предложение войти ко мне и попросить у меня чего-нибудь, с которым невиннейшим образом обращалась к ней Альбертина, та с крайним изумлением поняла, что находится в странном мире, с неведомыми ей обычаями, управляемом законами, о нарушении которых нечего и помышлять.

Поверхностное знакомство с этим своеобразным миром она получила уже в Бальбеке, а в Париже не делала даже попыток к сопротивлению и каждое утро терпеливо ждала моего звонка; только тогда она решалась шуметь.

Уроки, преподанные ей Франсуазой, пошли на пользу и самой нашей старой служанке, которая мало-помалу успокоилась и перестала сокрушаться о промахе, совершенном ею при отъезде из Бальбека. Дело в том, что, садясь уже в трамвай, она спохватилась, что забыла попрощаться с экономкой гостиницы, усатой особой, наблюдавшей за уборкой помещений, которая была едва знакома с Франсуазой, но обращалась с ней сравнительно учтиво. Франсуаза хотела во что бы то ни стало ехать обратно, сойти с трамвая, вернуться в гостиницу, попрощаться с экономкой и отправиться в путь только на другой день. Благоразумие и особенно внезапно вспыхнувшее во мне отвращение к Бальбеку помешали мне оказать ей эту любезность, что дурно повлияло на Франсуазу, повергло ее в болезненное лихорадочное состояние, которое, несмотря на перемену воздуха, продолжалось у нее и в Париже. Ведь, согласно кодексу Франсуазы, наглядно выраженному барельефами Сент-Андре-де-Шан, желать

смерти врагу и даже умертвить его не возбраняется, но ужасно не сделать того, что полагается, проявить неучтивость, вести себя грубой мужичкой и не попрощаться перед отъездом с экономкой гостиницы. Всю дорогу воспоминание о невежливости по отношению к этой женщине поминутно всплывало у Франсуазы и окрашивало ее щеки румянцем, способным внушить тревогу. Может быть, даже ее отказ прикоснуться к питью и еде до самого Парижа объяснялся не столько желанием наказать нас, сколько тем, что это неприятное воспоминание (у каждого общественного класса своя патология) ложилось ей «камнем» «на желудок».

Одной из причин, побуждавших маму посылать мне ежедневно по письму, неизменно содержавшему какую-нибудь цитату из госпожи де Севинье, было воспоминание о бабушке. Мама писала мне: «Г-жа Сазра дала нам один из тех скромных завтраков, секретом которых владеет она одна и которые, как сказала бы твоя бедная бабушка, цитируя госпожу де Севинье, уводят нас из одиночества, не перенося, однако, в общество». В первых своих ответах я имел глупость написать маме: «По этим цитатам твоя матушка сразу бы узнала тебя». На мое замечание я через три дня

получил следующий ответ: «Бедный сынок, если ты хочешь говорить со мной о *моей матушке,* то очень некстати ссылаешься на госпожу де Севинье. Она бы ответила тебе, как ответила г-же де Гриньян: «Значит, она была для вас чужой? А я-то считала вас родственниками»».

Тем временем я слышал шаги моей гостьи, выходившей из своей комнаты или туда возвращавшейся. Я звонил, потому что был уже час, когда за Альбертиной собиралась зайти Андре вместе с шофером, другом Мореля, который перешел ко мне на службу от Вердюренов. Мне случалось говорить Альбертине об отдаленной возможности нашего брака; но никогда я не делал ей официального предложения; сама же она, когда я говорил ей: «Не знаю, но это будет, пожалуй, возможно», из скромности покачивала головой с грустной улыбкой, говоря: «нет, не будет», что означало: «я слишком бедная». И вот, все время повторяя: «это весьма и весьма вероятно», когда речь заходила о проектах устроения будущего, я в настоящее время делал все, чтобы развлечь ее, сделать ей жизнь приятной, бессознательно стремясь, быть может, внушить ей таким образом желание выйти за меня замуж. Сама она смеялась над всей этой роскошью. «Вот вытаращит глаза

мать Андре, увидя, что я стала такой же богатой дамой, как и она, то есть дамой, у которой есть *лошади, экипажи, картины.* Как? Разве я вам не рассказывала, что она любит так говорить? О, это тип! Больше всего дивлюсь я тому, что она возвышает картины до уровня лошадей и экипажей». Читатель увидит впоследствии, что, несмотря на оставшуюся привычку говорить пошлости, Альбертина необыкновенно развилась в умственном отношении, но это мне было совершенно безразлично: высокие качества ума моих приятельниц никогда меня не интересовали, и если мне случалось их отметить той или другой из них, я делал это только из вежливости. Один лишь курьезный ум Селесты, пожалуй, мне нравился. Я невольно улыбался в течение нескольких минут, когда, например, пользуясь тем, что Альбертины у меня нет, она обращалась ко мне с такими словами: «Небесное божество, возлежащее на кровати!» Я говорил: «Послушайте, Селеста, почему же *небесное божество?»* — «О, если вы думаете, что у вас есть что-нибудь общее с людьми, странствующими по нашей презренной земле, то вы очень ошибаетесь!» — «Но почему же возлежащее на кровати, вы ведь видите, что я просто лежу». — «Вы никогда не лежите. Ну разве видано было,

чтобы кто-нибудь так лежал? Вы явились сюда возлечь. Ваша белоснежная пижама и движение вашей шеи придают вам в эту минуту сходство с голубем».

Альбертина, даже говоря глупости, выражалась теперь совсем иначе, чем та молоденькая барышня, которой она была всего только несколько лет назад в Бальбеке. Она способна была даже заявить по поводу какого-нибудь политического события, которого она не одобряла: «Я нахожу это чудовищным». И, помнится, именно в это время она научилась говорить, показывая, что находит какую-нибудь книгу дурно написанной: «Интересно, но, право же, *точно помелом написано».*

Запрещение входить ко мне прежде, чем я позвоню, очень забавляло ее. Так как она усвоила семейную нашу привычку цитировать и пользовалась для этой цели пьесами, которые играла в монастыре и которые, как она узнала, я любил, то всегда сравнивала меня с Артаксерксом:

Et la mort est le prix de tout audacieux
Qui sans être appelê se pésente à leurs yeux
.....
Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal
Ni le rang, ni le sexe, et le crime est égal.

Moi même.....

Je suis a cette loi comme une antre soumise;

Et sans le prévenir il faut pour lui parler

Qu'il me cherehe ou de moins qu'il me fasse appeler.

Физически она тоже изменилась. Ее продолговатые голубые глаза не сохранили прежней формы — они еще более вытянулись; цвет их остался, правда, прежним, но вещество как будто растаяло и стало жидким. Настолько, что когда она опускала веки, то казалось, будто завешивают окна с видом на море. Должно быть, эту ее черту я больше всего запоминал каждую ночь, расставаясь с нею. Потому что каждое утро меня долгое время неизменно повергали в изумление ее вьющиеся волосы, как нечто новое, никогда мной невиданное. А между тем над улыбающимся взором молодой девушки есть ли что-либо прекраснее этого волнистого венка из черных фиалок? Улыбка сулит нам дружбу; но лоснящиеся завитки пышных волос более родственны плоти; представляясь транспонировкой ее в струйки, они сильнее возбуждают желание.

Едва войдя в мою комнату, Альбертина пры-

гала на постель и давала иногда определение особенностям моего ума; в искреннем порыве она клялась, что скорее умрет, чем покинет меня: это бывало в дни, когда я успевал побриться до ее прихода. Она была из числа тех женщин, которые не умеют разбираться в причинах своих ощущений. Удовольствие, доставляемое им свежим цветом лица, они объясняют душевными качествами человека, открывающего им перспективы счастья, которое способно, впрочем, сильно пойти на убыль и стать менее насущным по мере того, как у этого человека отрастает борода.

Я спрашивал ее, куда она сегодня собирается.

— Кажется, Андре хочет свезти меня в Бютт-Шомон, которого я не знаю.

Конечно, мне было не под силу угадать, кроется ли под этими ее словами какая-нибудь ложь. Впрочем, я питал доверие к Андре и не сомневался, что она назовет мне все места, которые собиралась посетить с Альбертиной.

В Бальбеке, почувствовав себя очень утомленным Альбертиной, я намеревался обратиться к Андре с лживыми уверениями: «Милая Андре, о если бы мне довелось встретиться с вами! Вы — та женщина, которую я бы полюбил. Но теперь сердце мое пленено другою. Все же нам хорошо

бы видеться почаще, потому что моя любовь к другой доставляет мне много огорчений, и вы поможете мне утешиться». И вот эти самые лживые слова стали правдой через какие-нибудь три недели. Может быть, Андре думала в Париже, что в действительности это ложь и что я люблю ее, как она вероятно подумала бы в Бальбеке. Ведь истина до такой степени меняется для нас, что другие с трудом могут узнать ее в наших словах. И так как я знал, что она расскажет мне все, что они с Альбертиной будут делать, то попросил ее, и она дала согласие, заезжать за Альбертиной почти каждый день. При этом условии я мог спокойно оставаться дома.

Обаяние, которым пользовалась Андре как девушка из числа бальбекской «ватаги», давало мне уверенность, что она добьется от Альбертины всего, чего я пожелаю. Я бы в самом деле мог теперь совершенно искренно сказать ей, что она способна принести мне спокойствие.

С другой стороны, мой выбор Андре (которая находилась в Париже, отказавшись от своего намерения возвратиться в Бальбек) в руководительницы Альбертины объяснялся тем, что Альбертина рассказала мне о расположении ко мне ее подруги в Бальбеке в то время, когда я,

напротив, боялся наскучить ей, и если бы я знал об этом тогда, я полюбил бы, пожалуй, но не Альбертину, а Андре.

«Как, вы этого не знали? — сказала мне Альбертина. — А мы столько подтрунивали над ней по этому поводу. Впрочем, вы не заметили даже, как она стала перенимать вашу манеру говорить, рассуждать. Особенно после встреч с вами она прямо поражала нас. Ей совсем не нужно было говорить, что она с вами виделась. Когда она приходила, с первой же секунды ясно было, является ли она со свидания с вами. Мы переглядывались между собой и смеялись. Она бывала похожа на трубочиста, который пожелал бы сделать вид, что он не трубочист. А сам весь черный. Мельнику нет надобности говорить, что он мельник, всякий видит муку, которой он покрыт; на нем остались следы мешков, которые он таскал. То же самое Андре: она изгибала брови совсем как вы, и потом ее длинная шея; словом, не могу даже вам описать. Когда я беру книгу, которая находилась в вашей комнате, я это читаю, не раскрывая ее, сразу можно узнать, что она от вас, потому что она хранит запах ваших гадких курений. Это пустяки, но пустяки в сущности очень милые. Каждый раз, когда кто-нибудь говорил о вас лю-

безно, превозносил ваши таланты, Андре бывала в восторге».

И все же, желая освободиться от мысли, что тут что-нибудь подстроено без моего ведома, я советовал пожертвовать на сегодня Бютт-Шомоном и ехать лучше в Сен-Клу или в другое место.

Я это делал совсем не потому, что сколько-нибудь любил Альбертину. Любовь является, может быть, лишь продолжением волнения, которое, в результате какого-нибудь сильного впечатления, всколыхнуло душу. Вся душа моя была потрясена, когда Альбертина сказала мне в Бальбеке о м-ль Вентейль, но теперь волнение утихло. Я не любил больше Альбертины, потому что во мне не осталось и следа от вылеченного теперь страдания, которое я испытал в трамвае возле Бальбека, узнав, какова была молодость Альбертины с ее возможными посещениями Монжувена. Я слишком долго думал обо всем этом, все это прошло. Но по временам некоторые обороты речи Альбертины, — сам не знаю почему, — внушали мне предположение, что в течение такой короткой еще своей жизни она должно быть выслушала много комплиментов, признаний и принимала их с удовольствием, почти со сладострастием. Так, она говорила по самым разнообразным по-

водам: «Правда? В самом деле, правда?» Конечно, если бы она сказала подобно, например, Одетте: «Сущая правда эта грубая ложь!» — я бы нисколько не был обеспокоен, потому что комизм выражения объяснялся бы тупостью и банальностью женского ума. Но своим вопросительным видом: «Правда?» — она производила с одной стороны странное впечатление женщины, которая не может разобраться самостоятельно и обращается к вашему свидетельству, как если бы она не обладала теми способностями, что есть у вас (ей говорили: «Вот уже час, как мы вышли из дому», или: «Идет дождь», а она спрашивала: «Правда?»). К несчастью, с другой стороны этот недостаток способности разбираться самостоятельно во внешних явлениях едва ли мог быть подлинной причиной ее «Правда? В самом деле, правда?» Казалось, скорее, что слова эти со времени ее ранней зрелости являлись ответами на: «Вы знаете, я никогда не встречал такой хорошенькой женщины, как вы», или: «Вы знаете, я сгораю от любви к вам, я совсем потерял голову». На подобные утверждения и отвечали с кокетливо соглашающейся скромностью эти «Правда? В самом деле, правда?» — которые служили Альбертине при разговорах со мной лишь вопросительными от-

ветами на утверждения в таком роде: «Вы спали больше часа». — «Правда?»

Не чувствуя себя ни капельки влюбленным в Альбертину, не находя никакого удовольствия в проводимых с нею минутах, я все же был озабочен ее времяпрепровождением; конечно, я убежал из Бальбека для приобретения уверенности, что впредь она не будет видеться с теми особами, мысль о которых до такой степени наполняла меня страхом, как бы Альбертина, беззаботно смеясь, — смеясь может быть, надо мной, — не натворила с ними беды, что я пустился на хитрость — внезапно уехал, — одним ударом попытавшись порвать все ее дурные знакомства. Пассивность Альбертины, ее способность забывать и покоряться были так велики, что она действительно порвала все такие отношения, и я излечился от мучившей меня фобии. Но фобия эта может принимать столько же форм, как и неопределенное зло, являющееся ее предметом. Пока моя ревность не перевоплотилась в новые существа, я переживал после прекращения моих страданий период покоя. Но малейший повод обостряет хроническую болезнь, подобно тому как малейший предлог способен вновь оживить (после периода целомудрия) порок женщины, причиняющей

нам ревность, и побудить ее предаваться ему с другими лицами. Я мог разлучить Альбертину с ее сообщницами и таким образом избавиться от наваждения; но если можно было заставить ее позабыть определенных лиц, истребить ее привязанности, так ведь ее вкус к наслаждению был хроническим и, может быть, только ждал случая, чтобы проснуться вновь. А Париж доставляет таких случаев столько же, как и Бальбек.

В каком бы городе она ни находилась, ей не нужно было искать, потому что зло гнездилось не в одной только Альбертине, но и в других, для которых хорош всякий случай испытать наслаждение. Взгляд одной тотчас подхватывается другой и сближает двух изголодавшихся. Ловкой женщине не стоит большого труда сделать вид, будто она ничего не заметила, а через пять минут подойти к особе, которая подхватила ее взгляд и поджидает ее на перекрестке, и в двух словах назначить ей свидание. Кто узнает об этом когда-нибудь? При желании продолжать это Альбертине было так просто сказать мне, что она хочет вновь посмотреть какую-нибудь понравившуюся ей окрестность Парижа. Вот почему достаточно ей было вернуться слишком поздно, достаточно было ее прогулке затянуться необъ-

яснимо долго, хотя, может быть, объяснение этой продолжительности было бы весьма легко найти, не обращаясь ни к каким чувственным мотивам, — и боль моя возобновлялась, связываясь на этот раз с представлениями, не относящимися к Бальбеку, которые я пытался, подобно предшествующим, истребить, точно истребление преходящей причины способно вылечить врожденную болезнь. Я упускал из виду, что при этих истреблениях, в которых соучастницей моей была способность Альбертины меняться, забывать и почти ненавидеть недавний предмет своей любви, я причинял иногда глубокое страдание неизвестным, с которыми она последовательно вкушала наслаждение, и что это страдание я причинял напрасно, ибо неизвестные будут покинуты и замещены другими, и параллельно пути, отмеченному столькими изменами, которые она совершит с легким сердцем, для меня протянется другой беспощадный путь, едва прерываемый коротенькими роздыхами; так что болезнь моя, по здравом размышлении, могла окончиться только с Альбертининой или моей смертью. В первое время по нашем приезде в Париж, неудовлетворенный сведениями, которые доставляла мне Андре и шофер о прогулках с моей подругой,

я даже воспринимал окрестности Парижа почти так же болезненно, как и окрестности Бальбека, почему и уехал с Альбертиной на несколько дней из Парижа. Но неуверенность в ее поведении везде оставалась одинаковой; возможностей предаваться пороку было у нее столько же, а присмотр становился более затруднительным, так что вскоре я возвратился. Покидая Бальбек, я думал, что покидаю Гоморру, вырываю из нее Альбертину; увы, Гоморра была рассеяна по всему лицу земли! И частью благодаря моей ревности, частью вследствие незнания этих наслаждений (случай, наблюдающийся очень редко) я, сам того не подозревая, устроил игру в прятки, в которой Альбертина постоянно от меня ускользала.

Я спрашивал ее врасплох: «Ах, кстати, Альбертина, приснилось ли мне это, или вы действительно сказали, что знакомы с Жильбертой Сван?» — «Да, то есть она помогала мне на уроках, потому что у нее были записки по французской истории, она была даже так мила, что одолжила мне свои тетради, и при первой же встрече с ней я их вернула». — «Что же, она из тех женщин, которых я не люблю?» — «О, ничуть, совсем напротив». Но я не любил заниматься такого рода допросами и часто посвящал на мысленное представление

прогулки Альбертины больше сил, чем затратил бы их на действительное участие в этой проулке; я заводил с ней речь с тем жаром, который сохраняют в нас нетронутым неосуществленные планы. Я выражал такое горячее желание вновь взглянуть на тот или другой витраж Сент-Шапель, такое сожаление по поводу невозможности пойти в эту часовню вдвоем с Альбертиной, что она ласково говорила мне: «Милый мой мальчик, если вы думаете, что это доставит вам такое удовольствие, сделайте маленькое усилие, поезжайте с нами. Мы будем ждать вас, сколько вам угодно, вы успеете собраться не торопясь. Впрочем, если вам больше нравится быть одному со мной, я сейчас же спроважу Андре, она придет в другой раз». Но эти просьбы выйти прогуляться действовали на меня так успокоительно, что я мог уступить желанию остаться дома.

Мне в голову не приходило, что апатия, которой я наполнялся, поручая присмотр за Альбертиной Андре или шоферу и перенося на них таким образом заботу успокаивать мое возбуждение, сковывала у меня все те движения рассудка, парализовала всю ту работу воображения, все те озарения воли, которые помогают нам угадать замыслы интересующего нас лица и помешать

ему привести их в исполнение; а надо сказать, что от природы мир возможного всегда был больше открыт мне, чем мир реальный с его непредвиденными случайностями. Такая особенность облегчает нам познание человеческой души вообще, но часто вводит в заблуждение относительно тех или иных конкретных лиц. Моя ревность порождалась образами, созданными моим страданием, а вовсе не была результатом исчисления вероятностей. Между тем в жизни людей, как и в жизни народов, может наступить мгновение (и ему предстояло наступить также и в моей жизни), когда чувствуется иметь в себе префекта полиции, дипломата с ясным и трезвым умом, начальника сыскного отделения, который вместо мечтаний о возможностях, таящихся в каждой точке земной поверхности, рассуждает точно и говорит: «Если Германия заявляет то-то и то-то, то значит она хочет предпринять нечто совсем другое, не неопределенный какой-то шаг, а в точности то-то и то-то, и, может быть, уже приступила к осуществлению своего замысла». — «Если такое-то лицо убежало, то оно скрылось не в *a, b, d* — а в *c*, и место, где следует производить наши поиски, есть с». Увы, способность эту, которая никогда не была сильно развита у меня, я

оставлял в пренебрежении; она слабела и глохла вследствие моей привычки успокаиваться, как только другие брали на себя заботу присматривать вместо меня.

Что же касается причины моего нежелания выходить из дому, то мне было бы неприятно сообщить ее Альбертине. Я говорил ей, что доктор велел мне лежать в постели. Это была неправда. Но если бы даже доктор действительно велел мне лежать, его предписания были бы неспособны помешать мне сопровождать мою подругу. Я просил у нее позволения не выходить с нею и с Андре. Я скажу только одну причину, которая сводится к соображениям благоразумия. Когда я выходил с Альбертиной, то, стоило ей хотя бы на минуту отлучиться от меня, как я уже начинал беспокоиться, воображал, что она, может быть, разговаривает с кем-нибудь или просто смотрит на кого-нибудь. Если она не бывала в отличном расположении духа, то я думал, что из-за меня ей приходится отказаться от своих планов или отложить их осуществление. Действительность всегда только притрава для неизвестности, по путям которой мы не можем зайти особенно далеко. Лучше ничего не знать, думать как можно меньше, не давать ревности ни малейшей

конкретной подробности. К несчастью, при отсутствии внешней жизни, материал для ревности доставляется жизнью внутренней; при отсутствии прогулок с Альбертиной, случайности, на которые я набредал во время своих размышлений в одиночестве, снабжали меня иногда теми клочками действительности, что наподобие магнита притягивают к себе более или менее обширные области неведомого, и оно становится тогда мучительным. Хотя бы мы жили под колоколом воздушного насоса, все равно ассоциации представлений, воспоминания продолжают свою игру. Но эти ушибы изнутри я получал не сразу; едва Альбертина отправлялась на свою прогулку, как я испытывал, хота бы только на несколько мгновений, живительное действие возбуждающих свойств одиночества.

Я принимал участие в радостях начинающегося дня; продиктованного прихотью, чисто субъективного желания насладиться этими радостями было бы недостаточно для их получения, если бы стоявшая на дворе погода, помимо оживления образов прошлого, не утверждала также реальности настоящего мгновения, непосредственно доступной всем, кого какое-нибудь случайное и следовательно не заслуживающее внимания

обстоятельство не принуждало оставаться дома. В иные холодные погожие дни устанавливался такой непосредственный контакт с улицей, что казалось, будто убраны стены, и звук каждого проходящего трамвая раздавался как удар серебряного ножа по стеклянному дому. Но с особенным опьянением прислушивался я к некоему новому звуку, издаваемому во мне самом внутренней скрипкой. Струны ее натягиваются или ослабляются простыми изменениями наружной температуры и наружного освещения. В нашем существе, инструменте, который однообразие привычки привело к молчанию, пение вызывается этими колебаниями, этими переменами, источником всякой музыки: погода, стоящая в иные дни, заставляет нас переходить от одной ноты к другой. Мы вновь находим забытую мелодию, математическую необходимость которой мы могли бы предуказать и которую в первые мгновения мы поем, не узнавая. Одни только эти внутренние, хотя и приходившие извне, модификации обновляли для меня внешний мир. Давно уже заколоченные двери к нему вновь открывались в моем мозгу. Жизнь некоторых городов, веселье некоторых прогулок снова занимали во мне подобающее место. Трепеща всем существом

вокруг вибрирующей струны, я пожертвовал бы своей тусклой прошедшей жизнью и жизнью предстоящей, обесцвеченной резинкой привычки, ради этого столь своеобразного состояния.

Хотя я и не выходил из дому сопровождать Альбертину в длинных ее прогулках, ум мой блуждал от этого ничуть не меньше, и отказавшись вкусить сладость этого утра своими чувствами, я зато наслаждался в воображении всеми подобными утрами, действительно мной виденными или возможными, говоря точнее — определенным типом утр, перемежающимся явлением которого были все такие утра; я тотчас узнавал его, ибо свежий воздух сам переворачивал страницы, какие нужно было, и я видел перед собой раскрытое Евангелие дня, которое мог читать, не вставая с постели. Это идеальное утро нагружало мой ум устойчивой реальностью, тожественной у всех подобных утр, и наполняло меня ликованием, которое ничуть не ослаблялось моим болезненным состоянием: хорошее самочувствие обусловливается в гораздо меньшей степени нашим здоровьем, чем неиспользованным излишком наших сил, и мы одинаково хорошо можем достичь его как умножением этих сил, так и ограничением нашей деятельности. Перепол-

нявшее меня радостное возбуждение, во власть которого я отдавался, лежа в постели, бросало меня в трепет, заставляло меня внутренне прыгать, подобно машине, которая, когда ей мешают перемещаться, вращается вокруг собственной оси.

Приходила Франсуаза затопить камин и, чтобы дрова лучше разгорались, бросала в огонь охапку сучьев, запах которых, забытый в течение лета, описывал подле камина магический круг, в пределах которого, застигая себя за чтением то в Комбре, то в Донсьере, я чувствовал себя так же радостно в своей парижской комнате, как если бы мне сейчас предстояло отправиться на прогулку в сторону Мезеглиза или увидеться с Сен-Лу и его друзьями, отбывающими службу в лагерях. Часто случается, что удовольствие, испытываемое всеми людьми при переглядывании воспоминаний, собранных их памятью, бывает более живым у тех, например, кого тирания телесного недуга и ежедневная надежда на выздоровление лишают, с одной стороны, возможности отправиться искать на лоне природы картин, схожих с этими воспоминаниями, а с другой — оставляют у них достаточно уверенности, что им вскоре удастся это сделать, отчего больные продолжают их желать, к ним стремиться, а не рассматривают

только как воспоминания, как картины. Но хотя бы им никогда не суждено было быть ничем другим для меня и хотя бы, припоминая их я мог их созерцать только мысленно, все же, благодаря тожественности ощущения, они вдруг перерождали меня целиком в ребенка, в юношу, который их когда-то видел. Происходила не только перемена погоды на дворе, не только менялся запах в комнате, но делался иным также мой собственный возраст, моя теперешняя личность подменялась другой. Запах сухих сучьев в морозном воздухе был как бы куском прошлого, невидимой ледяной глыбой, которая оторвалась от давно прошедшей зимы и проникала в мою комнату, часто при этом изборожденная таким-то запахом, такой-то окраской, словно различными годами, в которые я ощущал себя погруженным вновь, охваченный, еще прежде даже, чем я узнавал их, ликованием давным-давно оставленных надежд. Солнце доходило до самой моей кровати, проникало сквозь прозрачную оболочку моего истончившегося тела, согревало меня, делало горячим как кристалл. Тогда, подобно изголодавшемуся выздоравливающему, мысленно лакомящемуся всеми блюдами, в которых ему еще отказывают, я спрашивал себя, не испортит ли женитьба на Альбертине

всей моей жизни, возложив на меня, с одной стороны, непосильную задачу посвящения всего себя другому существу, а с другой — заставив меня отвлечься от внутреннего мира по причине ее постоянного присутствия и навсегда лишив меня радостей одиночества.

И не только их. Даже если не спрашивать у наступающего дня ничего, кроме желаний, все же нужно признать, что среди них есть такие — вызываемые не вещами, а людьми — которым присущ индивидуальный характер. Если, встав с постели, я шел к окну и раздвигал на мгновение занавески, то делал это не только как музыкант, открывающий на мгновение свой рояль, чтобы проверить, в точности ли соответствует солнечный свет на балконе и на улице диапазону, в каком он сохранился в моем воспоминании, но также и для того, чтобы увидеть, например, прачку, несущую корзину с бельем, булочницу в голубом переднике, молочницу с нагрудником и манжетами из белого полотна, держащую в руках крючок, на котором подвешены графины с молоком, надменную блондинку, идущую со своей гувернанткой, наконец, просто какой-нибудь образ, который одно различие линий, количественно, может быть, ничтожное, оказа-

лось способным сделать столь же отличным от любого другого образа, как одна музыкальная фраза отлична от другой благодаря различию двух нот, и не увидя которого я чувствовал бы недостаток: день оказался бы лишенным целей, которые он мог предложить для моих желаний счастья. Но если избыток радости, доставленный видом женщин, которых невозможно представить *a priori*, делал для меня более желанными, более достойными исследования улицу, город, мир, он тем самым наполнял меня также жаждой выздороветь, выходить, расстаться с Альбертиной и быть свободным. Сколько раз, когда незнакомая женщина, о которой я собирался мечтать, проходила пешком мимо нашего дома или вихрем проносилась в автомобиле, я страдал оттого, что мое тело не могло последовать за настигавшим ее моим взором и, упав на нее, словно пуля, пущенная аркебузой из амбразуры моего окна, остановить беглянку, посулившую счастье, которым здесь взаперти мне никогда не суждено будет насладиться.

Зато от Альбертины мне больше нечего было ожидать. С каждым днем она казалась мне менее красивой. Одно лишь желание, возбуждаемое ею в других, высоко поднимало ее в моих

глазах, когда, узнав об этом, я снова начинал страдать и хотел ее отвоевать. Она была способна причинить мне страдание, но не доставляла ни малейшей радости. Одно только страдание поддерживало мою скучную привязанность. Как только страдание исчезало, а с ним и потребность его успокаивать, поглощавшая все мое внимание, словно утонченная жестокая забава, я чувствовал ничтожность того, чем она была для меня и чем я должен был быть для нее. Я был несчастен оттого, что такое положение затянулось, и по временам мне хотелось услышать о совершении ею чего-нибудь ужасного, способного поссорить нас до моего выздоровления, так как это позволило бы нам примириться, позволило бы обновить и сделать более гибкой сковывавшую нас цепь.

А тем временем я пользовался тысячей обстоятельств, тысячей удовольствий, чтобы создать ей возле себя иллюзию того счастья, которое я чувствовал себя не в силах ей дать. Мне хотелось по выздоровлении поехать в Венецию, но как это сделать, если я женюсь на Альбертине, — ведь я был так ревнив, что даже в Париже решался сдвинуться с места только для того, чтобы сопровождать ее на прогулках. Даже когда я сидел весь день дома, мысль моя следовала за ней, достигала

далекого голубоватого горизонта, порождала вокруг центра, которым был я, подвижную зону неуверенности и неопределенности. «От скольких горестей разлуки, — говорил я себе, — избавит меня Альбертина, если во время одной из этих прогулок, видя, что я не завожу с ней больше о женитьбе, решит не возвращаться и отправиться к тетке, даже не попрощавшись со мной!» Сердце мое, когда рана его зарубцовывалась, переставало прилепляться к сердцу моей подруги; я мог мысленно перемещать ее, удалять от себя, и это не причиняло мне страдания. Конечно, если не я, то кто-нибудь другой будет ее мужем, и на свободе она пустится может быть в те приключения, что внушали мне ужас. Но погода была такая хорошая, и я был так уверен в возвращении Альбертины вечером, что даже если мысль о ее возможных грехах приходила мне на ум, я мог свободным решением воли заключить ее в тот участок моего мозга, где она имела не больше значения, чем его имели бы для моей реальной жизни пороки какой-нибудь воображаемой женщины; я пускал в ход эластичные пружины своей мысли и, ощущая у себя в голове силу одновременно физическую и духовную в виде мышечного напряжения и во-

левой инициативы, энергично освобождался от привычного состояния озабоченности, в котором был заточен до сих пор; я начинал двигаться на вольном воздухе, где готовность идти на всевозможные жертвы, чтобы воспрепятствовать браку Альбертины с другим и помешать ее влечению к женщинам, казалось мне столь же безрассудной, как она показалась бы человеку, не знавшему ее вовсе.

Впрочем, ревность принадлежит к числу тех перемежающихся болезней, причина которых, капризная, повелительная, всегда одинаковая у одного больного, бывает иногда диаметрально противоположной у другого. Есть астматики, способные успокаивать свои припадки только открывая окна, подставляя грудь ветру, вдыхая чистый воздух горных вершин, и есть другие, которые чувствуют себя лучше, забившись в прокуренной комнате в центре города. Мало найдется таких ревнивцев, ревность которых не шла бы на некоторые компромиссы. Один соглашается бывать обманутым, лишь бы ему сообщили об этом, другой, напротив, — при условии, чтобы от него скрывали измены; оба они одинаково безрассудны, ибо, если второй бывает обманутым в более строгом смысле этого слова, поскольку от

него скрывают истину, то первый хочет получить от этой истины пищу для своих страданий, их продление и обновление.

Больше того, обе эти противоположные мании ревности часто не довольствуются словами, не ограничиваются тем, что вымаливают или отвергают признания. Встречаются ревнивцы, ревнующие только к женщинам, с которыми их любовница имеет сношения вдали от них, но позволяющие ей отдаваться другому мужчине, если это происходит с их ведома, подле них, и хотя не на глазах у них, то по крайней мере под их крышей. Этот вид ревности довольно часто можно наблюдать у пожилых мужчин, влюбленных в молодую женщину. Они сознают трудность нравиться ей, чувствуют иногда бессилие удовлетворить ее и, не желая бывать обманутыми, предпочитают пускать к себе, в соседнюю комнату, молодого человека, которого считают неспособным дать их любовнице дурные советы, но очень способным доставить ей наслаждение. Другие поступают как раз наоборот: ни на минуту не оставляя своей любовницы одной в знакомом им городе, они держат ее в настоящем рабстве, но в то же время соглашаются отпустить ее на месяц в страну, которой они не знают, где

ее поведение будет недоступно их воображению. По отношению к Альбертине у меня были оба эти вида успокоительных маний. Я бы не чувствовал ревности, если бы она предавалась наслаждениям подле меня, поощряемая мной, если бы знал об этих наслаждениях все подробности и был избавлен таким образом от страха услышать ложь; я бы, может быть, также не чувствовал ревности, если бы она уехала в страну мало мне известную и достаточно отдаленную для того, чтобы я мог представить себе ее образ жизни, чтобы у меня могло появиться искушение разузнавать о нем. В обоих случаях сомнение было бы рассеяно либо исчерпывающим знанием, либо полным неведением.

Угасание дня погружало меня, благодаря воспоминаниям, в живительную атмосферу прежних дней, и я дышал ею с тем же наслаждением, с каким Орфей вдыхал тонкий, неведомый на нашей земле воздух Елисейских Полей.

Но день уже кончался, и меня начинали заливать волны вечерней печали. Взглянув машинально на часы и сообразив, сколько еще времени пройдет до возвращения Альбертины, я видел, что у меня есть еще время одеться и спуститься к владелице нашего дома, герцогине

Германтской, чтобы расспросить ее о разных красивых принадлежностях туалета, которые я собирался подарить моей подруге. Иногда я встречал герцогиню во дворе, выходящей из дому для прогулки пешком, даже если бывала ненастная погода, в плоской шляпе и с мехом на плечах. Я отлично знал, что для большинства интеллигентных людей она была только элегантной дамой, так как в настоящее время, когда нет больше герцогств и княжеств, имя герцогини Германтской лишено всякого значения, но я усвоил другую точку зрения и по-своему наслаждался людьми и странами. Мне казалось, что эта дама в мехах, не обращавшая внимания на дурную погоду, носила с собой все замки земель, коих она была герцогиней, принцессой, виконтессой, вроде тех изваянных на архитравах порталов фигур, которые держат на руке построенный ими собор или защищенный от неприятеля город. Но эти замки и эти леса были видимы лишь глазами моей души в левой руке дамы в мехах, кузины короля. Телесные же мои глаза различали у нее в руке во время непостоянной погоды только дождевой зонтик, которым герцогиня не боялась вооружаться. «Мы не можем знать заранее, нужно быть предусмотрительной, вдруг я окажусь где-нибудь далеко, а

извозчик запросит с меня слишком *дорого».* Слова «слишком дорого», «мне не по средствам», то и дело повторялись в разговоре герцогини наряду со словами «я очень бедная», причем собеседник не мог хорошенько разобрать, говорит ли она так потому, что находит забавным говорить, что она бедная, будучи на самом деле баснословно богатой, или же потому, что находит элегантным, будучи большой аристократкой, напускать на себя вид простой крестьянки и не придавать богатству того значения, какое придают ему люди, не имеющие ничего, кроме богатства, и презирающие бедняков. А, может быть, у нее просто действовала привычка, выработавшаяся еще в тот период ее жизни, когда, уже будучи богатой, однако недостаточно по сравнению с расходами, связанными с содержанием таких обширных владений, она испытывала некоторые денежные затруднения, но не желала делать вид, будто их скрывает. Вещи, о которых мы чаще всего говорим в шутку, обыкновенно являются, напротив, вещами, озабочивающими нас, но так, что мы не хотим показать нашей озабоченности, может быть, в смутной надежде на ту лишнюю выгоду, что наш собеседник, слыша наши шутки, не поверит тому, над чем мы подшучиваем.

Но чаще всего я знал, что застану герцогиню дома, и был рад этому, так как в этот час было удобнее подробно выспрашивать у нее желательные для Альбертины сведения. И я спускался к ней, почти не думая о всей необычайности того, что к этой таинственной герцогине Германтской моего детства я иду исключительно с целью воспользоваться ею для самых прозаических надобностей, вроде того как мы пользуемся телефоном, сверхъестественным инструментом, чудесам которого некогда так дивились и которым теперь пользуются почти бессознательно для вызова портного или заказа мороженого.

Безделушки из области нарядов доставляли Альбертине огромное удовольствие. Я не мог удержаться от поднесения ей каждый день нового подарка. Глаза ее мгновенно подмечали все, что касалось элегантности, и она с восхищением говорила мне о шарфе, о мехе, о зонтике, которые через окно или проходя по двору она видела на шее, на плечах или в руке герцогини Германтской; во всех таких случаях, зная, что от природы разборчивый вкус девушки (еще более утонченный уроками элегантности, которыми были для нее разговоры с Эльстиром) ни в каком случае не будет удовлетворен вещью приблизительно

похожей и даже изящной, заменяющей вещь подлинную в глазах невежды, но в корне от нее отличной, я потихоньку отправлялся к герцогине разузнать у нее, где, как по какой модели было изготовлено то, что понравилось Альбертине, какие шаги мне нужно предпринять, чтобы получить в точности такую же вещь, в чем заключается секрет мастера, прелесть (которую Альбертина называла «шиком», «последней модой») его манеры, точное название — красота материала имела также большое значение — и качество материй, которые мне приходилось покупать для заказываемой вещи.

Когда я сказал Альбертине по возвращении из Бальбека, что напротив нас, в том же доме, живет герцогиня Германтская, то, услышав громкий титул и громкое имя, она приняла тот более чем равнодушный — враждебный, презрительный — вид, который является обыкновенно выражением бессильного желания у натур гордых и страстных. Хотя характер у Альбертины был превосходный, однако таившиеся в нем достоинства могли развиваться только в обстановке тех помех, каковыми являются наши склонности или сожаления о склонностях, которыми нам пришлось поступиться — вроде того как Альбертина

поступилась снобизмом — и которые называются антипатиями. Антипатия Альбертины к светскому обществу занимала, впрочем, очень мало места в ее душе и нравилась мне революционным духом, — иными словами несчастной любовью к знати, — начертанным на оборотной стороне французского характера, в котором есть аристократический тон герцогини Германтской. Альбертина, может быть, и не стала бы горевать о недостижимости для нее этого тона, но при воспоминании о беседах с Эльстиром, говорившим ей о герцогине, как о наилучше одевавшейся в Париже женщине, республиканское презрение к герцогине сменялось у моей подруги живым интересом к элегантной даме. Она часто расспрашивала меня о герцогине Германтской и любила, чтобы я ходил к ней за советами относительно дамских туалетов. Правда, я мог бы попросить этих советов и у г-жи Сван, я даже раз написал ей об этом. Но мне казалось, что герцогиня Германтская довела до еще большего совершенства искусство одеваться. Если, удостоверившись предварительно, что она дома, и попросив, чтобы в случае возвращения Альбертины мне тотчас об этом дали знать, я на минуту спускался к герцогине и заставал ее окутанной, как облаком,

пеленой серого платья из крепдешина, я принимал это зрелище, чувствуя, что оно обусловлено причинами сложными и не могло бы быть изменено, я упивался излучаемой им атмосферой, оно напоминало мне иные вечера, подернутые серовато-жемчужной дымкой легкого тумана; если же, напротив, домашнее платье герцогини было китайским, если оно горело желтыми и красными огнями, я смотрел на него как на яркий закат; туалеты этой женщины не были случайным украшением, которое можно произвольно заменить другим, но непреложной поэтической реальностью вроде погоды, вроде особого освещения, свойственного определенному часу дня.

Из всех платьев и пеньюаров, которые носила герцогиня Германтская, как будто наиболее отвечали определенному намерению, больше всего были наделены специальным значением туалеты, изготовленные Фортюни по старинным венецианским рисункам. Исторический ли их характер или же, скорее, то обстоятельство, что каждый из них уника, придают им такое своеобразие, что поза наряженной в них женщины, поджидающей вас или с вами разговаривающей, приобретает значение исключительное, как если бы костюм ее являлся плодом долгого раз-

мышления, а ваш разговор с нею был оторван от повседневной жизни, словно сцена романа. Мы видим, как героини Бальзака нарочно надевают то или другое платье в день, когда им предстоит принять определенного гостя. Теперешние туалеты лишены такой выразительности, за исключением платьев работы Фортюни. В описании романиста не должно содержаться ни малейшей неопределенности, потому что платье это действительно существует и ничтожнейшие его узоры так же естественно положены на нем, как орнамент на произведении искусства. Надевая то или другое, женщина должна была сделать выбор не между почти одинаковыми нарядами, но между глубоко индивидуальными платьями, каждое из которых можно было бы наименовать. Но платье не мешало мне думать о женщине.

Сама герцогиня Германтская казалась мне в ту пору более приятной, чем во времена, когда я еще любил ее. Ожидая от нее меньше (я больше не посещал ее ради нее самой), я почти со спокойной беззаботностью, — которую испытываешь, когда остаешься совсем один, протянув ноги к камину, — слушал герцогиню, словно читал книгу, написанную на старинном языке. Ум мой был достаточно свободен, чтобы

наслаждаться в ее речах тем чисто французским изяществом, какого не найти больше ни в современном разговоре, ни в современной литературе. Я слушал ее речи как милую народную песенку, насквозь французскую, мне были понятны ее насмешки над Метерлинком (которым, впрочем, она теперь восхищалась, по слабости женского ума, чувствительного к литературным модам, воспринимаемым широкой публикой с некоторым запозданием), так же как были понятны насмешки Мериме над Бодлером, Стендаля над Бальзаком, Поль-Луи Курье над Виктором Гюго, Мельяка над Малларме. Я отлично понимал, что мысль насмешника гораздо ограниченнее мысли того, над кем он насмехается, но словарь его чище. Словарь герцогини Германтской, почти в такой же степени, как и словарь матери Сен-Лу, был восхитительно чист. Не в холодных подделках современных писателей, говорящих: на деле (вместо в действительности), особенно (вместо в частности), удивлен (вместо ошеломлен) и т. п., и т. п., мы вновь находим старый язык и правильное произношение, но разговаривая с людьми, вроде герцогини Германтской или Франсуазы; еще в пять лет я узнал от последней, что нужно говорить не Тарн, а Тар; не Беарн, а Беар. Поэтому

в двадцать лет, когда я стал бывать в свете, для меня не было открытием, что не следует говорить подобно г-же Бонтан: мадам де Беарн.

Я солгал бы, сказав, что герцогиня не сознавала этого сохранившегося у нее почвенного и как бы крестьянского элемента и не выставляла его на показ с некоторой рисовкой. Но с ее стороны это были не столько напускная простота знатной дамы, разыгрывающей роль деревенской жительницы, не столько надменность герцогини, насмехающейся над богатыми дамами, которые презирают крестьян, не зная их, сколько почти художественный вкус женщины, сознающей прелесть своих природных качеств и не желающей портить их современной дешевкой. Та же манера, что, как известно, свойственна была одному нормандскому ресторатору в Диве, владельцу «Вильгельма Завоевателя», который удержался — вещь столь редкая в наше время — от соблазнов внести в свое заведение современную роскошь и, ставши миллионером, сохранял говор нормандского крестьянина, продолжал носить крестьянскую блузу и пускал своих клиентов на кухню, где они могли видеть, как он собственноручно стряпает обед, точно в деревенской харчевне, что нисколько не мешало этому

обеду быть бесконечно лучше и стоить гораздо дороже обедов в самых больших дворцах.

Локальной сочности, свойственной старым аристократическим фамилиям, однако мало, нужно еще, чтобы кто-нибудь из их представителей оказался достаточно умен и не презирал бы эти унаследованные от предков особенности, не затушевывал их светским лоском. Герцогиня Германтская, усвоившая, к несчастью, остроумие парижанки и в период моего знакомства с нею удержавшая от своей родной почвы только выговор, все же, изображая свои девические годы, умела находить для своего языка один из тех компромиссов (между тем, что показалось бы слишком грубым провинциализмом, невольно сорвавшимся с уст, с одной стороны, и искусственной книжностью, с другой), которые составляют прелесть «Маленькой Фадетты» Жорж Санд и некоторых легенд, изложенных Шатобрианом в его «Посмертных мемуарах». С особенным удовольствием слушал я, как она рассказывала эпизоды, когда ей приходилось соприкасаться с крестьянами. Древние имена, старинные обычаи сообщали этим соприкосновениям замка и деревни какой-то особенный смак. Сохраняя общение с землями, на которых ей некогда принадлежала

верховная власть, часть аристократии остается областной, так что самая простая фраза, сказанная иным аристократом, развертывает перед нашими глазами целый кусок исторической и географической карты Франции.

Если бы сюда не вносилось никакой нарочитости, никакого стремления фабриковать свой особый язык, то эта манера произношения являлась бы настоящим словесным музеем французской истории. Выражение «мой двоюродный дедушка Фитт-жам» не заключало в себе ничего удивительного, ибо известно, что Фитц-Джемсы любят заявлять о своей принадлежности к французской знати и не желают, чтобы их фамилию произносили по-английски. Но поистине удивительна трогательная покорность, с какой люди, считавшие до сих пор своим долгом произносить некоторые фамилии согласно требованиям грамматики, вдруг — услышав, как герцогиня Германтская произносит их иначе — делались рьяными защитниками произношения, о возможности которого они даже не подозревали. Так, герцогиня, один из прадедов которой был приближенным графа Шамборского, любила дразнить своего мужа за то, что тот стал орлеанистом, заявляя: «Мы старые сторонника

Фрошдорфа». Посетитель, считавший до сих пор, что его произношение «Фросдорф», совершенно правильно, круто менял свои убеждения и беспрестанно повторял: «Фрошдорф».

Однажды, спросив у герцогини Германтской, кто такой изящный молодой человек, которого она представила мне как своего племянника и фамилия которого была плохо мной расслышана, я разобрал эту фамилию ничуть не лучше, когда из глубины своей глотки герцогиня очень громко, но нечленораздельно выбросила: «Это м… и… Эон… з…ять Робера. Он воображает, будто у него форма черепа древних кельтов». Тогда я понял, что она сказала: это маленький Леон, то есть принц Леонский, действительно зять Робера де Сен-Лу. «Не знаю, действительно ли у него такой череп, — продолжала она, — но, во всяком случае, свою манеру одеваться, впрочем, очень элегантную, он заимствовал не у кельтов. Однажды, когда в Жослене, у Роганов, мы пошли оттуда с крестным ходом, в котором участвовали крестьяне почти из всех частей Бретани, какой-то деревенский верзила из Леона вытаращил глаза на коричневые штаны зятя Робера. «Что это ты уставился на меня? Держу пари, ты не знаешь, кто я такой», сказал ему Леон. Крестьянин при-

знался, что он действительно не знает. «Так знай: я твой принц». «Вот как! — отвечал крестьянин, обнажая голову и извиняясь, — а я вас принял за англичанина».

И если, пользуясь этим предлогом, я начинал расспрашивать герцогиню Германтскую о Роганах (с которыми ее предки часто роднились), речь ее насыщалась меланхолической прелестью бретонских крестных ходов и, как сказал бы Пампиль, этот подлинный поэт, «терпким вкусом гречневых блинов, испеченных на хворосте утесника».

Рассказывая о маркизе дю Ло (печальный конец которого, когда, глухой, он велел приносить себя к ослепшей г-же Г..., общеизвестен), герцогиня останавливалась на менее трагических годах его жизни, когда, после охоты в Германте, он выходил к вечернему чаю с английским королем в ночных туфлях, так как не считал себя ниже рангом и с королем не церемонился. Герцогиня рассказывала об этом так красочно, что наделяла его мушкетерскими жестами, свойственными немного кичливым дворянам из Перигора.

Впрочем, уменье тщательно оттенять различие между провинциями даже при самой поверхностной характеристике людей сообщало

герцогине Германтской, остававшейся в таких случаях непосредственной, большую прелесть, которой никогда не способна была бы приобрести прирожденная парижанка, и простые имена: Анжу, Пуату, Перигор, воссоздавали в ее разговоре пейзажи.

Возвращаясь к произношению и словарю герцогини Германтской, я хочу отметить, что в этой именно особенности находит себе выражение надменный консерватизм знати, если брать это слово со всем что в нем есть немного ребяческого, немного опасного, враждебного эволюции, но в то же время забавного для художника. Мне хотелось знать, как писалось в старину слово *Jean*. Я удовлетворил свое любопытство, получив письмо от племянника г-жи де Вильпаризи, который подписывается — как он был окрещен, как он красуется в Готском Альманахе — *Jehan* де Вильпаризи, с тем же красивым *h*, ненужным, геральдическим, каким мы любуемся в Часослове или на витраже, где оно расцвечено киноварью или ультрамарином.

К несчастью, у меня не было времени затягивать эти визиты до бесконечности, ибо я старался по возможности вернуться домой раньше моей подруги. Между тем мне лишь по капелькам

удавалось получать от герцогини сведения относительно ее туалетов, так полезные мне при заказе платьев в таком же роде для Альбертины, поскольку их может носить молодая барышня. «Помните, мадам, в тот день, когда вы собирались обедать у госпожи де Сент-Эверт, а затем пойти на вечер к принцессе Германтской, на вас было платье все красное, красные туфли, вы были умопомрачительны, похожи на большой кровавый цветок, на огненный рубин? Как это называется? Может ли молодая девушка носить такое платье?»

Герцогиня, придав своему утомленному лицу лучистое выражение, появившееся у принцессы де Лом, когда Сван говорил ей когда-то комплименты, взглянула, улыбаясь сквозь слезы, с насмешливым, вопросительным и восхищенным видом на господина де Бреоте, всегда находившегося у нее в этот час и замораживавшего под своим моноклем улыбку, снисходительную к этой выспренней галиматье, так как ему казалось, что она прикрывает возбуждение молодого человека. Своим видом герцогиня как будто говорила: «Что это он мелет, он с ума сошел». Затем, обратившись ко мне, произнесла разнеженным тоном: «Не знаю, была ли я похожа на огненный

рубин или на кровавый цветок, но помню, что на мне точно было красное платье, из красного шелка, как делали в то время. Да, молодая девушка на худой конец может носить такое платье, но вы говорили мне, что ваша красавица не выходит по вечерам. А это платье для больших вечеров, в нем нельзя делать визиты».

Замечательно, что из всего этого вечера, сравнительно недавнего, герцогиня Германтская удержала в памяти только свой туалет и позабыла об одной вещи, которая однако, как мы увидим дальше, должна была бы ее заинтересовать. По-видимому, у людей действия (а светские люди суть люди действия — махонького, микроскопического, но все же действия) ум, утомленный вниманием к тому, что произойдет в течение ближайшего часа, поверяет памяти лишь очень немногие впечатления. Очень часто, например, вовсе не для того, чтобы одурачить и напустить на себя вид человека, которого не удалось провести, г. де Норпуа, когда ему заявляли о прогнозах, высказанных им по поводу союза с Германией, о котором не было и речи, заявлял: «Вы наверно ошибаетесь, я совсем не помню, это не похоже на меня, так как в подобного рода разговорах я всегда очень лаконичен и никогда

бы не предсказал успеха одной из тех эффектных мер, которые часто оказываются всего лишь безрассудными мерами и обычно вырождаются в меры насильственные. Невозможно отрицать, что в отдаленном будущем франко-германское сближение окажется осуществимым и принесет больше выгоды обеим странам; я думаю, что Франции худа от этого не будет, но я никогда об этом не говорил, так как плод еще не созрел, и если вы хотите знать мое мнение, то мне кажется, что, предлагая нашему старинному врагу вступить с нами в законный брак, мы рискуем потерпеть большое фиаско и получим одни только неприятности». Говоря так, г. де Норпуа не лгал, он просто забыл. Вообще, мы быстро забываем все, над чем не размышляли серьезно, что было продиктовано нам подражанием, модными увлечениями. Увлечения эти меняются, а с ними меняются и наши воспоминания. Политические деятели еще скорее, чем дипломаты, забывают о позициях, на которых они стояли в известный период времени, и отречение от собственных слов объясняется у них иногда не столько чрезмерным честолюбием, сколько слабостью памяти. А у светских людей память вообще короткая.

Герцогиня Германтская утверждала, что не

помнит, присутствовала ли г-жа Шоспьер на том вечере, когда она была в красном платье, и что я наверное ошибаюсь. Между тем судьбе угодно было, чтобы после этого Шоспьеры привлекли внимание герцога и герцогини. Вот по какой причине. Герцог Германтский был старейшим вице-президентом Жокей-Клуба, когда умер президент. Некоторые члены клуба без связей, единственным удовольствием которых является класть черняки людям, их не приглашающим, повели кампанию против герцога Германтского, который был настолько уверен в своем избрании и относился так пренебрежительно к должности президента, вещи ничтожной по сравнению с его положением в свете, что не принял никаких мер для приобретения лишних голосов. Противники его поставили на вид, что герцогиня — дрейфусарка (дело Дрейфуса было давно уже закончено, но и двадцать лет спустя о нем все еще говорили, а тут прошло всего только два года), принимает Ротшильдов, что в обществе с некоторого времени слишком потворствуют международным магнатам, каковым был герцог Германтский, наполовину немец. Кампания нашла очень благоприятную почву, ибо клубы всегда относятся очень ревниво к людям видным и терпеть не

могут крупных состояний.

Состояние Шоспьера было тоже не маленькое, но оно никого не могло оскорблять: Шоспьер не тратил лишней копейки, жили супруги скромно, жена всегда была одета в черное шерстяное платье. Страстная любительница музыки, она устраивала скромные концертные утра, на которые приглашала гораздо больше певиц, чем герцогиня Германтская. Но никто не говорил об этих утрах в глухой улице де ла Шез, гостей не обносили на них сластями, муж обыкновенно отсутствовал. В опере г-жа Шоспьер оставалась незамеченной, ее всегда окружали люди, имена которых приводили на память ультрареакционных приближенных Карла X, но люди эти были не видные, не светские. К общему изумлению, в день выборов темнота восторжествовала над ослепительным светом: Шоспьер, второй вице-президент, был избран президентом Жокей-Клуба, а герцог потерпел поражение, то есть остался первым вице-президентом. Конечно, быть президентом Жокей-Клуба не так уж заманчиво для принцев первого ранга, каковыми были Германты. Но не быть избранным, когда пришла ваша очередь, видеть, что вам предпочли какого-то Шоспьера, жене которого Ориана

не только не отвечала на поклон два года назад, но даже считала себя оскорбленной поклонами этого никому неведомого нетопыря, было тяжело герцогу. Он делал вид, будто он выше этой неудачи, уверял, что ею обязан своей давнишней дружбе со Сваном. В действительности же он не переставал негодовать.

Замечательная вещь: от герцога Германтского никогда нельзя было услышать довольно банального выражения «во всех отношениях», но едва только после выборов в Жокей-Клубе заходила речь о деле Дрейфуса, как тотчас появлялось «во всех отношениях»: «Дело Дрейфуса, дело Дрейфуса, это легкомысленно сказано, термин неподходящий; это совсем не религиозное дело, но *во всех отношениях* «дело политическое». Могло пройти пять лет, и никто не услышал бы «во всех отношениях», если в течение этого времени не было разговоров о деле Дрейфуса, но если по прошествии пяти лет имя Дрейфуса снова упоминалось, тотчас автоматически раздавалось «во всех отношениях». Впрочем, герцог не мог больше переносить разговоров об этом деле, «которое, — жаловался он, — причинило столько несчастья», хотя на самом деле он болезненно ощущал только одно несчастье: свой провал на

выборах в президенты Жокей-Клуба. Вот почему, когда я напомнил герцогине Германтской о красном платье, в котором она явилась на вечер к своей родственнице, то слова г-на де Бреоте, пожелавшего принять участие в разговоре, были приняты герцогиней весьма неблагосклонно. Задвигав языком между губами, сложенными сердечком, он по какой-то темной и им не раскрытой ассоциации идей произнес: «Кстати, о деле Дрейфуса» (неизвестно почему о деле Дрейфуса, речь шла только о красном платье, и конечно бедный Бреоте, всегда старавшийся сделать приятное, сказал это без всякого злого умысла). Но от одного имени Дрейфуса нахмурились олимпийские брови герцога Германтского. «Мне передали, — сказал Бреоте, — одну удачную остроту, ей богу очень тонкую, нашего друга Картье (предупреждаем читателя, что этот Картье, брат г-жи де Вильфранш, не имел и тени родства со своим однофамильцем ювелиром), что, впрочем, меня не удивляет, потому что это ума палата». — «Вот уж, — перебила Ориана, — не польстилась бы я на его ум. Если бы вы знали, как мне всегда бывало тошно от вашего Картье! Я никогда не могла понять, какие прелести Шарль де ла Тремуй и его жена находят в этом скучном

болтуне, — я постоянно встречаю его там, когда прихожу к ним». — «Дорогая герцогиня, — отвечал Бреоте, который с трудом произносил *р,* — я нахожу, что вы очень суровы к Картье. Правда, он может быть чересчур уж зачастил к Ла Тремуй, но ведь он для Шарля нечто вроде, как бы это сказать, вроде верного Ахата, а в наше времена это очень редкая птица. Во всяком случае, вот острота, которую мне передали. Картье будто бы сказал, что, если господин Зола добивался процесса, не боясь обвинительного приговора, то делал это с целью испытать неизведанное им до сей поры ощущение — ощущение человека, сидящего в тюрьме». — «И поэтому удрал перед тем, как его должны были арестовать, — перебила Ориана. — Одно с другим плохо вяжется. Впрочем, если бы даже это было правдоподобно, я нахожу остроту плоской и дурацкой. И вы называете это остроумием!» — «Боже мой, дорогая Олиана, — отвечал Бреоте, который, видя, что с ним спорят, начинал идти на попятный, — острота не моя, я повторяю вам, что мне было сказано, принимайте ее за то, чего она стоит. Во всяком случае, за эту остроту господин Картье был порядком отчитан нашим превосходным Ла Тремуй, который вполне резонно не желает, чтобы в его

салоне велись разговоры о том, что я назову, как бы это сказать: злободневными делами. Он был тем более раздосадован, что у него как раз в это время находилась госпожа Альфонс Ротшильд. Картье пришлось выслушать от Ла Тремуй жестокий выговор». — «Разумеется, — сказал герцог очень раздраженным тоном, — Альфонс Ротшильд и его супруга хотя и достаточно тактичны, чтобы никогда не заговаривать об этом гнусном деле, в душе все же дрейфусары, как и все евреи. Этим аргументом *ad hominem* (герцог употреблял выражение *ad hominem* немного невпопад) недостаточно пользуются для доказательства недобросовестности евреев. Если ворует и убивает француз, я не считаю себя обязанным находить его невинным на том основании, что сам я тоже француз. Но евреи ни за что не согласятся признать своего единоплеменника предателем, хотя бы они отлично знали об этом, и им нет никакого дела до ужасающих потрясений (герцог естественно имел в виду злосчастное избрание Шоспьера), которые может вызвать преступление одного из них, так что даже… Ведь, не правда ли, Ориана, вы не станете отрицать, что единодушная поддержка евреями предателя-еврея есть факт, говорящий не в их пользу. Вы не станете

отрицать, что они поступают так, потому что они евреи». — «Боже мой, конечно стану, — отвечала Ориана (несколько раздраженная и испытывающая желание поспорить с гремящим Юпитером и поставить «разум» выше дела Дрейфуса). — Ведь, может быть, как раз потому, что они евреи и сознают себя таковыми, они убеждены, что можно быть евреем и не быть непременно предателем и французофобом, как это думает, по-видимому, господин Дрюмон. Разумеется, если бы Дрейфус был христианином, евреи не проявили бы к нему интереса, а проявили они этот интерес, так как ясно сознают, что если бы он не был евреем, его не сочли бы так легко предателем a priori, как сказал бы мой племянник Робер». — «Женщины ничего не смыслят в политике, — воскликнул герцог, пристально посмотрев на герцогиню. — Ведь это гнусное преступление не есть чисто еврейская тяжба, но *во всех отношениях* огромное национальное дело, которое может повлечь самые ужасающие последствия для Франции, откуда надо было бы выгнать всех евреев, между тем как принятые до сих пор меры были направлены (самым низким способом, и этот вопрос необходимо пересмотреть) не против них, но против самых выдающихся их противников, против

людей перворазрядных, оставленных за бортом на несчастье нашей бедной родины».

Чувствуя, что этот разговор к добру не приведет, я поспешно заговорил снова о платьях.

— «Помните, герцогиня, — сказал я, — ту нашу встречу, когда вы в первый раз были любезны со мной?» — «В первый раз была любезна с ним!» — подхватила она, смотря со смехом на г-на де Бреоте, кончик носа которого заострился, улыбка смягчилась из учтивости к герцогине, а голос, напоминающий треск, который слышится при точке ножа, издал несколько неясных и хриплых звуков. «Вы были в желтом платье с большими черными цветами». — «Да ведь, милый мой, это то же самое, все это вечерние туалеты». — «А ваша шляпа с васильками, которую я так любил! Но все это, в конце концов, только воспоминания. Я хотел бы заказать для интересующей меня особы меховое манто, вроде того, что было на вас вчера утром. Нельзя ли мне будет на него взглянуть?» — «Почему же. Но Аннибал как раз отлучился сейчас на минутку. Приходите ко мне, и моя горничная вам все это покажет. Я с удовольствием помогу вам, мой мальчик, своим советом, в чем угодно, только если вы вздумаете заказывать вещи от Калло, Дусе или Пакена у мелких

портних, вы получите совсем не то». — «Да я и не собираюсь обращаться к мелкой портнихе, я прекрасно знаю, что получится совсем не то, но меня интересует, почему это так получится». — «Вы ведь хорошо знаете, что я не умею объяснять, что я глупая и говорю, как мужичка. Все зависит от отделки, от фасона; что касается меховых вещей, я могу по крайней мере дать вам записку к моему скорняку, который в этом случае вас не ограбит. Но знайте, что вещь все же обойдется вам в восемь или девять тысяч франков». — «А то домашнее платье, которое так дурно пахнет, оно было на вас однажды вечером: темное, пушистое, в золотистых крапинах или полосках, как крыло бабочки?» — «О, это платье от Фортюни, ваша барышня вполне может носить его дома. Таких платьев у меня много, я покажу их вам, могу даже подарить, если угодно. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы увидели платье моей кузины Талейран. Я как-нибудь напишу ей прислать мне его». — «На вас были такие удивительно красивые туфли, они тоже от Фортюни?» — «Нет, я знаю, о чем вы говорите, это туфли из золоченой кожи, которую мы нашли в Лондоне, обходя тамошние магазины с Консуэлой Манчестерской. Восхитительная вещь. Я не способна понять, как это сделано;

кажется, будто кожа золотая, вы видите только золото и на нем бриллиантик. Бедная герцогиня Манчестерская умерла, но, если вам угодно, я напишу госпоже Ворзик или госпоже Мальборо, чтобы они постарались найти что-нибудь похожее. Как будто даже у меня самой осталась эта кожа. Тогда можно будет, пожалуй, заказать здесь. Я поищу сегодня вечером и сообщу вам».

Так как я старался покинуть герцогиню до возвращения Альбертины, то, уходя от герцогини Германтской, часто встречал на дворе г-на де Шарлюс и Мореля, направлявшихся к Жюпьену пить чай, что было знаком величайшего благоволения для барона. Встречался я с ними не каждый день, но ходили они туда ежедневно. Следует, впрочем, заметить, что привычка обыкновенно бывает тем устойчивее, чем она нелепее. Блистательные подвиги совершаются в большинстве случаев вдруг. Жизнь же бессмысленная, когда маньяк сам лишает себя всех радостей и навлекает на себя величайшие невзгоды, принадлежит к числу явлений, почти не меняющихся. Если через каждые десять лет вы из любопытства будете навещать несчастного, то обнаружите, что он неизменно просыпает часы, в течение которых мог бы жить, и, напротив, выходит из

дому, когда на улицах нечего делать, разве только представлять собой мишень для убийцы, пьет ледяную воду, когда жарко, вечно простужен и лечится от насморка. Чтобы покончить с этим раз навсегда, достаточно было бы один только раз сделать маленькое усилие. Но такого рода жизнь является обыкновенно уделом как раз существ, не способных к затрате энергии. Пороки являются другой стороной этих однообразных существований, которые можно было бы сильно скрасить при помощи волевого усилия. Обе эти стороны видны были у г-на де Шарлюса одинаково явственно во время его ежедневных посещений Жюпьена в обществе Мореля. Один только раз гроза омрачила этот каждодневный обычай. Когда племянница жилетника сказала как-то Морелю: «Отлично, приходите завтра, я вас угощу чайком», г. де Шарлюс вполне основательно нашел это выражение крайне вульгарным для особы, которую он рассчитывал сделать почти что невесткой, но так как барон любил браниться и опьянялся своим гневом, то вместо того, чтобы попросить Мореля дать этой девице урок приличия, он всю дорогу домой закатывал скрипачу раздирательные сцены. Самым заносчивым и надменнейшим тоном он кричал: «Развитие

пальцев, «туше», которое, я вижу, не связывается непременно с «тактом», должно быть, помешало нормальному развитию вашего обоняния, раз вы допустили, чтобы это вонючее выражение «угостить чайком» — на пятнадцать сантимов, я полагаю — ударило своим навозным духом в мой царственный нос? Разве бывало когда-нибудь, чтобы в моем доме, по окончании вами соло на скрипке, вас награждали звучно выпущенными ветрами вместо неистовых аплодисментов или молчания, еще более красноречивого, ибо оно рождено бессилием сдержать не то, что расточает вам ваша невеста, но рыдание, подступающее к горлу при звуках вашей игры?»

Когда такие упреки случается выслушивать чиновнику от своего начальника, это верный признак, что на другой день его выгонят со службы. Напротив, для г-на Шарлюс не могло быть ничего более ужасного, чем удаление Мореля; поэтому, испугавшись, не зашел ли он слишком далеко, барон начал расточать девушке тонкие, полные вкуса похвалы, невольно пересыпая их грубостями. «Она очаровательна, и так как вы музыкант, то мне кажется, что она прельстила вас голосом, который у нее прекрасен на верхних нотах, когда она как будто ожидает аккомпане-

мента вашего си диез. Нижний ее регистр мне нравится меньше, должно быть, это связано с тройным началом ее странной тонкой шеи, которая, как будто закончившись, снова поднимается; глаз мой радуют не столько ее посредственные черты, сколько весь ее силуэт. Так как она портниха и, вероятно, умеет орудовать ножницами, то нужно, чтобы она подарила мне красивую бумажную выкройку своей фигуры».

Шарли пропускал эти похвалы мимо ушей, тем более что прославляемые в них прелести невесты ему никогда не удавалось подметить. Однако он ответил г-ну де Шарлюс: «Решено, мой мальчик, я намылю ей голову, чтобы она больше так не говорила». Если Морель говорил г-ну де Шарлюс «мой мальчик», то отсюда не следует, будто прекрасному скрипачу не было известно, что он почти втрое моложе барона. Равным образом он говорил эти слова не так, как их сказал бы Жюпьен, а с той простотой, которая в известного рода отношениях предполагает, что нежность молчаливо предварена уничтожением разницы лет. Нежность, притворная у Мореля. У других нежность искренняя. Так, приблизительно в это время г. де Шарлюс получил следующее письмо: «Дорогой мой Паламед, когда же я снова увижусь

с тобой? Я очень скучаю по тебе и часто о тебе думаю. *Пьер».* Г. де Шарлюс ломал голову, кто это из его родственников позволил себе написать ему так фамильярно, должно быть кто-то близко знавший его, а между тем почерк был незнакомый. Все принцы, которым Готский Альманах уделяет по несколько строк, дефилировали в течение нескольких дней в мозгу г-на де Шарлюс. Вдруг, при \ виде адреса, написанного на обороте, его озарило: автор письма был посыльный из игорного клуба, куда ходил иногда г. де Шарлюс. Этот посыльный не считал обращение, написанное в таком тоне, невежливостью по отношению к барону, который был в его глазах большим барином. Но ему казалось нелюбезным говорить «вы» человеку, который столько раз целовал его и тем доказал ему — воображал он по своей наивности — свою искреннюю любовь. Г. де Шарлюс был в глубине души восхищен этой фамильярностью. При разъезда с одного утра он предложил даже проводить г-на де Вогубер, чтобы по дороге показать ему письмо. Между тем всем было известно, что г. де Шарлюс не любит выходить с г-ном де Вогубер. Ибо этот последний, вооружившись моноклем, все время озирался на проходящих мимо молодых людей. Больше того,

находясь в обществе г-на де Шарлюс, он не стеснялся говорить языком, которого барон терпеть не мог. Все мужские имена г. де Вогубер обращал в женские; по глупости он считал эту выдумку необыкновенно остроумной и все время звонко хохотал. Но так как дипломат очень старался не уронить своего престижа, то его слишком непринужденные манеры и постоянный смех на улице то и дело прерывались приступами панического страха при встречах со светскими людьми и особенно с чиновниками. «Взгляните на эту телеграфисточку, — говорил он, подталкивая локтем нахмурившегося барона, — я знаю ее, но она устроилась, мерзавка! А этот мальчишка, развозящий товары из галереи Лафайет, какое чудо! Боже мой, вот идет навстречу директор коммерческого департамента. Лишь бы только он не заметил моего жеста. Он способен рассказать о нем министру, который оставит меня за бортом, тем более, что, мне кажется, дело к тому идет». Г. де Шарлюс был вне себя от бешенства. Наконец, чтобы сократить эту раздражавшую его прогулку, он решился достать свое письмо и дать прочесть его послу, но попросил Вогубера никому об этом не рассказывать, так как изображал Шарли ревнивым, желая создать впе-

чатление, будто скрипач в него влюблен. «А вы знаете, — прибавил барон в порыве уморительной доброты, — всегда надо стараться причинять как можно меньше огорчений».

Прежде чем возвратиться к лавочке Жюпьена, автор считает своим долгом сказать, что ему будет крайне прискорбно, если читатель окажется оскорбленным столь странными сценами. С одной стороны (это довольно второстепенная частность), у читателя создается впечатление, будто аристократия обвиняется здесь в вырождении в гораздо большей степени, чем другие общественные классы. Даже если бы это было и так, удивляться тут нечему. У наиболее древних родов красный и горбатый нос, уродливый подбородок становятся в заключение отличительными признаками, по которым каждый узнает «породу». Но среди этих устойчивых и непрестанно усиливаемых черточек есть и невидимые, каковыми являются наклонности и вкусы. Более серьезным, будь оно основательно, явилось бы возражение, что все это нам чуждо и что поэзию следует извлекать из истин более очевидных. Искусство, извлеченное из самых обыденнейших предметов, действительно существует, и его владения, может быть, наиболее обширны.

Но не менее верно и то, что большой интерес, иногда даже красота, могут быть порождены действиями, вытекающими из душевного строя столь далекого от всех наших привычных чувств и мыслей, что мы не можем даже приблизиться к их пониманию, и они развертываются перед нами как беспричинное зрелище. Что может быть поэтичнее Ксеркса, сына Дария, приказывающего высечь розгами море, поглотившее его корабли?

По всей вероятности Морель, пользуясь над девушкой властью, которую давали ему его прелести, передал ей замечание барона, принятое им на свой счет, потому что выражение «угостить чайком» исчезло из лавочки жилетника столь же бесследно, как исчезает из салона близкий друг дома, которого принимали каждый день, но с которым по той или другой причине хозяева поссорились или прячут его и видятся с ним в другом месте. Г. де Шарлюс был удовлетворен исчезновением «угостить чайком». Он видел в нем доказательство своего влияния на Мореля и удаление единственного пятнышка, маравшего совершенство девушки. Кроме того, подобно всем представителям своей породы, будучи совершенно искренним другом Мореля и его невесты, горячим сторонником их брака, он был в то же

время очень падок устраивать по своему усмотрению более или менее безобидные ссоры, на которые взирал со стороны и с высоты таким же олимпийцем, как его брат.

Морель сказал г-ну де Шарлюс, что любит племянницу Жюпьена, хочет жениться на ней, и барону приятно было сопровождать своего юного друга во время визитов к Жюпьену, где он играл роль будущего посаженного отца, тароватого и снисходительного. Ничто так его не радовало.

Я лично думаю, что «угощать чайком» исходило от самого Мореля и что в любовном ослеплении юная портниха усвоила выражение обожаемого ею существа, звучавшее резким диссонансом на фоне изящной речи молодой девушки. Благодаря этой речи, милым манерам, так мило гармонировавшим с ее внешностью, и покровительству г-на де Шарлюс, многие ее заказчицы принимали ее дружески, приглашали обедать, вводили в круг своих знакомых, хотя девушка принимала приглашения только с позволения барона де Шарлюс и только в те вечера, когда это было для нее удобно. «Портниха в свете?» — скажут мне читатели, какая небылица! Если поразмыслить, не менее невероятны были полуночный визит ко мне Альбертины, два года назад, и ее теперешняя

жизнь со мной. Невероятны они были бы, может быть, со стороны другой, но никак не со стороны Альбертины, круглой сироты, которая вела столь свободный образ жизни, что сначала я принял ее в Бальбеке за любовницу велосипедиста-гонщика, и самой близкой родственницей которой была г-жа Бонтан, уже во время визитов к г-же Сван восхищавшаяся только дурными качествами своей племянницы, а теперь закрывавшая глаза на ее поведение, особенно если оно могло помочь сбыть ее с рук, посодействовав ее богатому браку, при котором немного денежек перепадет и на долю тетки (в самом высшем свете сплошь и рядом бывает, что очень знатные и очень бедные матери, если им удалось найти богатых жен для своих сыновей, не стесняются жить на содержании молодых супругов, принимают меха, автомобиль и деньги от нелюбимых невесток, которых они вводят в свет).

Наступит может быть день, когда портнихи — и я не нахожу в этом ничего шокирующего — станут бывать в свете. Впрочем, племянница Жюпьена, составляя исключение, не дает еще права ни для каких прогнозов, одна ласточка не делает весны. Во всяком случае, если весьма скромное положение племянницы Жюпьена

шокировало некоторых лиц, то к числу этих лиц не принадлежал Морель, ибо в известных отношениях глупость его была так велика, что он не только находил «глуповатой» эту девушку, которая была в тысячу раз умнее его, вероятно потому лишь, что она любила его, но считал также принимавших ее солидных особ, знакомством с которыми она не чванилась, авантюристками, переряженными портнихами, игравшими роль светских дам. Разумеется, это были не Германты, ни даже люди с ними знакомые, а богатые, элегантные буржуа, державшиеся достаточно свободных взглядов, чтобы не находить никакого бесчестья, принимая у себя портниху, но также и достаточно раболепные, чтобы испытывать известное удовлетворение от покровительства девушке, которую ежедневно посещал с самыми чистыми намерениями его светлость барон де Шарлюс.

Ничто так не радовало барона, как мысль об этом браке, ибо он думал, что тогда Мореля у него не отнимут. По-видимому, племянница Жюпьена, будучи еще почти ребенком, совершила «грех». И г. де Шарлюс, несмотря на постоянные расхваливания ее Морелю, ничуть не был бы раздосадован, если бы друг его оказался посвященным в тайну

ее греха и пришел от этого в ярость и если бы между молодыми был посеян таким образом раздор. Ибо, несмотря на свою чудовищную злобность, г. де Шарлюс был похож на огромное множество тех добрых людей, которые расточают похвалы тому или другому из своих знакомых, чтобы показать собственную доброту, но как огня испугались бы столь редко произносимых благодетельных слов, содействующих воцарению мира. Тем не менее барон остерегался всякого нескромного намека по двум следующим причинам: «Если я расскажу ему, — думал он, — что его невеста не безупречна, его самолюбие будет уязвлено, он рассердится на меня. А кто мне поручится, что он не влюблен в нее? Если же я не скажу ничего, этот соломенный костер быстро потухнет, я стану управлять их отношениями, как мне вздумается, он будет любить ее только в той степени, в какой мне будет желательно. Если я расскажу ему старый грех его суженой, то кто мне поручится, что мой Шарли уже не настолько влюблен, чтобы воспылать ревностью? Тогда я сам буду виновником превращения незначительного флирта, которым мы распоряжаемся, как нам угодно, в большую любовь, которой управлять трудно». По двум этим причинам г. де Шарлюс хранил молчание,

имевшее только видимость сдержанности, хотя и его можно было поставить в заслугу барону, так как молчание есть вещь почти непосильная для подобных ему людей.

Впрочем, племянница Жюпьена была прелестна и всецело удовлетворяла эстетический вкус, который у г-на де Шарлюс мог быть к женщинам, так что ему хотелось иметь сотни ее фотографий. Барон не был таким глупцом, как Морель, и с удовольствием узнавал имена принимавших ее светских дам, которых его общественный нюх помещал довольно высоко, но (желая сохранить власть) он остерегался говорить об этом Шарли, который будучи в данном отношении полнейшим невеждой, продолжал думать, что кроме «скрипичного класса» и Вердюренов существовали одни только Германты да несколько почти королевских фамилий, перечисленных бароном, а все остальное — «подонки», «сброд». Шарли перенял эти выражения у г-на де Шарлюс буквально.

Г. де Шарлюс радовался женитьбе скрипача на молодой девушке еще и потому, что рассчитывал увидеть в племяннице Жюпьена своего рода продолжение личности Мореля, а следовательно также власти барона над Морелем, знания

Мореля. «Обманывать» в супружеском смысле будущую жену скрипача, — г-ну де Шарлюс ни на секунду не пришло бы в голову увидеть в этом что-либо зазорное. Но иметь под рукой «молодую чету», которой можно руководить, чувствовать себя страшным и всемогущим покровителем жены Мореля, которая, рассматривая барона как божество, показывала бы таким образом, что дорогой Морель внедрил в нее эту мысль, и содержала бы в себе, следовательно, некоторую частицу Мореля, было приятно г-ну де Шарлюс, это вносило разнообразие в характер его господства и рождало в его «собственности», в Мореле, еще одно существо, супруга, то есть придавало ему нечто иное, новое, нечто такое, что было бы занятно любить в нем. Это господство стало бы теперь, может быть, большим, чем оно было когда-нибудь. Ведь если Морель, одинокий, голый, так сказать, часто оказывал сопротивление барону, будучи вполне уверен, что вскоре вновь приобретет его благосклонность, то, став человеком женатым, он будет больше бояться за свое хозяйство, свою квартиру, свое будущее и предоставит прихотям г-на де Шарлюс больше простора, больше возможностей. Все это и при случае даже, в дни, когда ему будет скучно, раз-

жигание войны между супругами (барон никогда не гнушался батальными картинами) нравилось г-ну де Шарлюс. Меньше, однако, чем мысль о зависимости от него, в которой будет жить молодая чета. Любовь г-на де Шарлюс к Морелю вновь приобретала сладостную новизну, когда он говорил себе: его жена будет также моей, поскольку сам он мой, они не будут делать ничего такого, что могло бы огорчить меня, будут повиноваться моим капризам, и таким образом он станет (до сих пор мне неизвестным) символом того, что уже почти забыто мной и к чему так чувствительно мое сердце — того, что в глазах всего света, в глазах людей, которые увидят, как я им покровительствую, их устраиваю, в моих собственных глазах, Морель — мой. Это наглядное для него и для других доказательство доставляло г-ну де Шарлюс больше удовольствия, чем все прочее. Ибо обладание тем, кого любишь, есть радость еще большая, чем любовь. Очень часто люди, скрывающие это обладание, поступают так только из страха, чтобы любимый предмет не был у них похищен. Но вследствие этого благоразумного молчания счастье их убавляется.

Читатель помнит, может быть, как Морель рассказал когда-то барону о своем заветном желании

соблазнить какую-нибудь девушку, в частности племянницу Жюпьена, и о том, что для успеха своего замысла он пообещает ей жениться, а, изнасиловав, «навострит лыжи» и удерет подальше; но, слыша признания Мореля в любви к племяннице Жюпьена, г. де Шарлюс позабыл об этом рассказе. Больше того: о нем забыл может быть сам Морель. Быть может, существовало огромное расстояние между натурой Мореля, — той, в которой он цинично признавался, пожалуй, даже искусно преувеличивая, — и минутой, когда она в нем снова взяла бы верх. Чем больше он сближался с девушкой, тем больше она ему нравилась, он начинал любить ее. Он так мало знал себя, что воображал, будто полюбил ее взаправду и даже, может быть, навсегда. Его первоначальное желание, его преступный замысел продолжали существовать, но на них напластовалось столько инородных чувств, что мы бы не вправе были подозревать скрипача в неискренности, если бы он стал отрицать, что это порочное желание являлось истинным мотивом его поступка. Был, впрочем, краткий период, когда, не сознавая этого отчетливо, он считал женитьбу на портнихе необходимой. Морель мучился в то время довольно сильными судорогами правой руки

и принужден был считаться с возможностью бросить скрипку. Так как во всем, что не касалось его искусства, он отличался непостижимой ленью, то перед ним повелительно вставала необходимость жить на чьем-либо содержании, и Морель предпочитал, чтобы его содержала племянница Жюпьена, а не г. де Шарлюс: эта комбинация предоставляла ему больше свободы, а также больший выбор женщин, как из числа всегда новых мастериц, которых он поручил бы племяннице Жюпьена совращать для него, так и из числа красивых богатых дам, которым он заставил бы ее продаваться. Возможность отказа его будущей жены от этих угождений и проявление ею строптивости ни на минуту не входили в расчеты Мореля. Впрочем, расчеты эти отошли на второй план и уступили место чистой любви, как только судороги прекратились. Довольно будет заработка от концертов да жалованья г-на де Шарлюс, требования которого несомненно умерятся после того, как он, Морель, женится на девушке. Свадьба была делом спешным по причине любви Мореля и в интересах его свободы. Он попросил у Жюпьена руки племянницы, Жюпьен же посоветовался с ней самой. Но в этом не было надобности. Страсть девушки к скрипачу

струилась из нее, как ее волосы, когда они бывали распущены, как радость ее лучистых взоров. Почти все, что бывало приятно или выгодно Морелю, вызывало у него волнение, трогательные слова, иногда даже слезы. Поэтому он вполне искренно — если подобное слово может быть приложимо к Морелю — обращался к племяннице Жюпьена с чувствительными речами (чувствительными бывают также речи стольких молодых аристократов, желающих бездельной жизни, которые они произносят какой-нибудь прелестной девушке из очень богатой буржуазии), — речами по существу столь же беззастенчиво низкими, как и те, что он держал г-ну де Шарлюс на тему об обольщении, о лишении девственности. Однако добродетельный энтузиазм к особе, доставлявшей ему удовольствие, и принятые им на себя торжественные обязательства по отношению к ней имели у Мореля и оборотную сторону, как только известная особа переставала доставлять ему удовольствие или же обязательство выполнить данные обещания начинало казаться ему неприятным, эта особа тотчас возбуждала в Мореле антипатию, которую он старательно оправдывал в собственных глазах; после нескольких неврастенических припадков, когда его

нервная система вновь начинала функционировать нормально, антипатия эта позволяла ему проникнуться убеждением, будто он, даже рассматривая вещи с чисто добродетельной точки зрения, свободен от всяких обязательств. Так, в конце своего пребывания в Бальбеке он растратил, не знаю на что, все свои деньги и, не смея сказать об этом г-ну де Шарлюс, искал человека, у которого можно было бы взять в долг. Он знал от своего отца (который, однако, строго-настрого запретил ему делаться «попрошайкой»), что в подобных случаях принято писать человеку, к которому мы хотим обратиться: «нам нужно поговорить с ним о делах» и «мы просим назначить нам деловое свидание». Эта магическая формула так восхищала Мореля, что он, мне кажется, охотно растратил бы свои деньги только ради удовольствия попросить свидания «для делового разговора». С течением времени он убедился, что формула лишена той чудодейственной силы, которую он ей приписывал. Он констатировал, что люди, к которым он никогда бы не обратился, не веруй он в формулу, не торопились отвечать ему через пять минут по получении письма, выражающего желание «поговорить о делах». Если проходило полдня, а Морель все не получал

ответа, у него и мысли не возникало, что даже в самом благоприятном случае человек, к которому он обращался с просьбой, может быть, еще не возвратился домой или должен был раньше ответить на другие письма, не говоря уже о том, что он мог в это время куда-нибудь уехать, быть больным и т. п. Если при счастливом стечении обстоятельств Морель получал свидание на другой день утром, его первыми словами было: «Я был крайне удивлен неполучением ответа, я боялся, уж не случилось ли чего, между тем здоровье ваше слава богу и т. д».. Вот почему в Бальбеке, не сообщая, что ему нужно поговорить с ним о «деле», Морель попросил меня познакомить его с тем Блоком, по отношению к которому он вел себя так неучтиво неделю назад в поезде. Блок без всяких колебаний одолжил ему или вернее уговорил одолжить г-на Ниссима Бернара — 5000 франков. С этого дня Морель стал обожать Блока. Он спрашивал со слезами на глазах, как ему отблагодарить человека, спасшего его жизнь. В конце концов, я взялся выхлопотать у г-на де Шарлюс для Мореля 1000 франков ежемесячно, с тем чтобы Морель тотчас же вручал эти деньги Блоку и таким образом сравнительно скоро с ним расквитался. В первый месяц Морель, находив-

шийся еще под свежим впечатлением доброты Блока, немедленно отослал ему 1000 франков, но потом должно быть решил, что остальные 4000 можно употребить гораздо приятнее, ибо начал говорить много гадостей о Блоке. Один вид последнего способен был внушить ему черные мысли, и когда Блок, позабыв, сколько в точности им было дано Морелю в долг, требовал от него 3500 франков вместо 4000, так что скрипач выгадывал от этой забывчивости 500 франков, то Морель имел дерзость ответить, что после подобной лжи он не только не заплатит больше ни сантима, но его заимодавец должен благодарить Бога, если он не подаст на него в суд. Когда он произносил эти слова, глаза его сверкали. Он не удовольствовался, далее, заявлением, что Блок и г. Ниссим Бернар не вправе сердиться на него, но прибавил, что они должны почитать счастьем, если сам он не рассердился на них. Наконец, когда г. Ниссим Бернар сказал будто бы, что Тибо играет ничуть не хуже Мореля, этот последний решил привлечь банкира к ответственности, потому что подобное заявление способно было причинить ему материальный ущерб; с тех пор — так как нет больше справедливости во Франции, особенно со стороны евреев (антисемитизм был у Мореля

естественным следствием дачи ему в долг 5000 франков евреем), — он не выходил больше из дому без заряженного револьвера. Подобное не нервное состояние сменило вскоре порывы нежности у Мореля в его отношениях к племяннице Жюпьена. Правда, известную роль в этой перемене сыграл, сам, может быть, не подозревая о том, г. де Шарлюс, который часто заявлял, не придавая значения ни единому своему слову, просто с целью подразнить молодых, что после свадьбы он не увидит их больше и предоставит им летать на собственных крыльях. Сама по себе мысль эта не в силах была отвлечь Мореля от его невесты; однако, засев в уме скрипача, она легко могла в один прекрасный день сочетаться с другими тяготеющими к ней мыслями, способными, после смешения с нею, стать мощным фактором разрыва.

Впрочем, мне не очень часто случалось встречаться с г-м де Шарлюс и Морелем. Часто они находились уже в лавочке Жюпьена, когда я покидал герцогиню, ибо общество ее было для меня так приятно, что я забывал не только свое томительное состояние, охватывавшее меня перед возвращением Альбертины, но даже час этого возвращения.

Один из таких дней, когда я засиделся у герцогини Германтской, особенно ярко запечатлелся в моей памяти, так как был отмечен маленьким происшествием, жестокий смысл которого совершенно ускользнул от меня и был воспринят только много времени спустя. В тот день герцогиня Германтская, знавшая, что я люблю цветы, подарила мне душистый жасмин, присланный с юга. Когда, покинув герцогиню, я поднимался к себе, Альбертина уже вернулась, и я встретился на лестнице с Андре, на которую, по-видимому, неприятно подействовал резкий запах находившихся у меня цветов.

— «Как, вы уже возвратились!» — сказал я ей. — «Только сию минуту, но Альбертина засела за письмо и выпроводила меня». — «Вы не думаете, что она строит какие-нибудь нехорошие планы?» — «Нисколько, Альбертина пишет вероятно своей тетке, только она не любит сильных запахов и вряд ли будет в восторге от вашего жасмина». — «Какая же неудачная мысль пришла мне в голову! Я велю Франсуазе поставить цветы на площадке черной лестницы». — «И вы воображаете, что Альбертина не услышит от вас запаха жасмина? Вместе с запахом туберозы это, может быть, самый одуряющий; к тому же, я думаю,

что Франсуаза ушла куда-то». — «Как же я тогда попаду к себе, я не взял с собой ключа». — «О, да вам стоит только позвонить. Альбертина вам откроет. Да и Франсуаза, может быть, возвратится тем временем».

Я попрощался с Андре. После первого же звонка Альбертина прибежала открыть мне, что оказалось делом сложным, так как Франсуазы не было, а без нее Альбертина не умела зажечь огонь. Наконец, ей удалось впустить меня, но цветы жасмина обратили ее в бегство. Я отнес их на кухню, так что, прервав свое письмо (для меня было непонятно почему), подруга моя успела за это время пройти в мою комнату, откуда она позвала меня, и растянуться на моей кровати. Еще раз повторяю, в то время я нашел все это вполне естественным, самое большее немного бессвязным, во всяком случае не стоящим внимания. Она едва не была застигнута врасплох с Андре и хотела выиграть немного времени, для чего потушила свет, отправилась в мою комнату, чтобы не дать мне увидеть ее постель в беспорядке, и притворилась, будто пишет письмо. Но все это разъяснится впоследствии, причем мне осталось навсегда неизвестно, есть ли тут правда. Вообще же, за этим единственным исключением,

все протекало нормально после моих возвращений от герцогини. Я находил обыкновенно в передней шляпу, пальто и зонтик Альбертины; она оставляла их там на всякий случай, думая, что у меня явится может быть желание погулять с ней перед обедом. Едва только я замечал все эти предметы, переступив порог передней, как тотчас дышать становилось легче. Я чувствовал, что вместо разреженного воздуха комнаты наполняются счастьем. Я бывал избавлен от моей печали, вид этих ничтожных предметов вызывал у меня желание обладать Альбертиной, я бежал к ней.

Если же мне не хотелось спускаться к герцогине Германтской, я пытался убить как-нибудь время перед возвращением моей подруги перелистыванием альбома Эльстира, книги Бергота, сонаты Вентейля.

Так как даже произведения, обращенные по-видимому только к зрению и слуху, могут услаждать нас лишь в том случае, если работа двух названных чувств протекает в тесном сотрудничестве с деятельностью рассудка, то я, не подозревая о том, оживлял в себе мечты, зароненные Альбертиной еще в те времена, когда я не был знаком с нею, и потому заглушенные повседневной жизнью. Я бросал их в фразу композитора или в

картину художника как в горнило, я напитывал ими книгу, которую читал. И книга казалась мне от этого более живой. Но и Альбертина выигрывала не меньше благодаря такому перенесению в один из двух доступных нам миров, куда мы можем последовательно помешать один и тот же предмет, благодаря такому освобождению от сокрушительного гнета материи и легкому парению в текучих пространствах мысли. На мгновение я вдруг обретал в себе способность воспламеняться страстью к скучной и бесцветной барышне. В такие мгновения она приобретала внешность произведения Эльстира или Бергота, я испытывал мимолетное восхищение ею, видя ее в волшебных далях мечты или искусства.

Скоро мне сообщали, что она вернулась; мною было отдано приказание не называть ее имени, если я был не один, если у меня сидел, например, Блок, которого я задерживал на некоторое время, чтобы предотвратить его встречу с Альбертиной. Ибо я скрывал ее пребывание в моем доме и даже то, что я вижусь с ней у себя, настолько я боялся, как бы кто-нибудь из моих приятелей не влюбился в нее, не вздумал поджидать ее на улице, или как бы сама она, ветретясь с ними в коридоре или в передней, не подмигнула и не

назначила свидание. Затем я слышал шум юбки Альбертины, направлявшейся в свою комнату; из скромности, а также вероятно по тем причинам, в силу которых когда-то, во время наших обедов в Распельере, она всячески старалась не возбудить во мне ревности, подруга моя, зная, что я не один, не заходила ко мне. Но я вдруг соображал, что ее поведение объясняется не только этим. Я вспоминал; я знал когда-то одну Альбертину, затем она внезапно превратилась в другую, в теперешнюю. И ответственность за эту перемену я мог возложить только на себя. Все, в чем она легко и охотно призналась бы мне, когда мы были добрыми приятелями, все такие признания прекратились, как только она пришла к убеждению, что я ее люблю, или, не произнося может быть имени Любви, угадала во мне некое инквизиторское чувство, которое жадно хочет знать, страдает от полученных признаний, но пытается узнать еще больше. С этого дня она стала скрывать от меня все. Она обходила подальше мою комнату, если думала, что я был часто даже не с приятелем, а с приятельницей, — та самая Альбертина, глаза которой так оживлялись в прежнее время, когда я заговаривал о какой-нибудь барышне: «Нужно постараться пригласить ее, мне бы очень хоте-

лось с ней познакомиться». — «Но она из тех, кого вы называете женщинами дурного тона». — «Тем более, это будет еще интереснее». В то время я мог бы, может быть, узнать все. И даже когда в маленьком казино она перестала прижиматься грудью к груди Андре, мне кажется, поступила она так не ради меня, а благодаря присутствию Котара, который, как она думала вероятно, распустил бы о ней дурные слухи. И однако уже тогда она начала замыкаться, доверчивые слова не слетали больше у нее с уст, жесты ее стали сдержанными. Потом она отбросила от себя все, что могло бы взволновать меня. Благодаря моему неведению она легко сообщила неизвестным мне частям своей жизни совершенно безобидный характер. Теперь ее превращение было полным: если я был не один, она шла прямо в свою комнату не только из нежелания помешать мне, но также и с целью показать, что ей нет до других никакого дела. Была единственная вещь, которой она бы ни за что не позволила себе больше со мной, которую она бы позволила только тогда, когда вещь эта стала бы для меня безразличной, которую она бы позволила охотно именно по причине моего равнодушия, — именно: откровенность. Отныне я навсегда, подобно судье, буду обречен выводить

шаткие заключения из случайных ее обмолвок, которые можно было бы, пожалуй, объяснить и не строя гипотез о ее виновности. И она всегда будет чувствовать мою ревность, мое осуждение.

Слушая шаги Альбертины со спокойным удовольствием от сознания, что она больше никуда не уйдет сегодня вечером, я дивился, как для этой барышни, познакомиться с которой, я думал раньше, мне никогда не удастся, ежедневное возвращение домой стало в то же время возвращением ко мне. Наслаждение, сотканное из тайны и чувственности, которое мимолетно и отрывочно испытал я в Бальбеке в тот вечер, когда она приходила ночевать в гостиницу, сделалось полным, стабилизовалось, наполняло мою некогда пустую квартиру неиссякаемым запасом домашней, почти семейной теплоты, которая излучалась даже в коридор и переднюю и мирно согревала все мои чувства то реально, то — в минуты, когда я был один, — в мечтах, предвосхищавших возвращение Альбертины. Услышав шум закрываемой двери в ее комнату, я старался поскорее спровадить приятеля, если в это время у меня был приятель, но расставался с ним, только вполне уверившись, что он вышел на лестницу, для чего иногда сам спускался на

несколько ступенек. Приятель говорил, что я простужусь, обращал мое внимание на то, что наша квартира холодная, везде сквозняки и что ни за какие деньги он не согласился бы в ней жить. Жалобы на холод объяснялись тем, что зима только начиналась и к ней еще не привыкли, но по этой самой причине холод воскрешал во мне радость, сопровождавшую бессознательное воспоминание первых зимних вечеров, когда, возвратившись бывало из путешествия, я шел в кафе-шантан вновь соприкоснуться с забытыми парижскими удовольствиями. Вот почему, попрощавшись с приятелем, я поднимался по лестнице и входил в комнаты с веселыми песенками. Улетевшее лето забрало с собой птиц. Но их заменили другие музыканты, невидимые, внутренние. Без устали напеваемые мотивы Фрагсона, Майоля или Полюса с таким же исступлением приветствовали холодный северный ветер, проклинаемый Блоком, но восхитительно дувший в щели плохо прилаженных дверей нашей квартиры, с каким лесные птицы приветствуют погожие летние дни. В коридоре передо мной появлялась Альбертина. «Вот что, пока я буду переодеваться, побудьте с Андре, она зашла на минутку, хочет с вами попрощаться».

Вся закутанная в большую серую вуаль, спускавшуюся с шиншиловой шапочки, которую я подарил ей в Бальбеке, Альбертина удалялась в свою комнату, словно догадываясь, что Андре, которой я поручил наблюдать за нею, сообщив мне ряд подробностей, упомянув о встрече их с одной знакомой, внесет некоторую четкость в туманные области, по которым они разгуливали в течение целого дня и которые мне не удавалось представить. Недостатки Андре выступили наружу, она не была больше так приятна, как во времена, когда я с ней познакомился. По лицу ее было разлито теперь какое-то напряженное беспокойство, всегда готовое разразиться шквалом, как только я заговаривал о чем-нибудь приятном для Альбертины и для меня. Это ничуть не мешало Андре относиться ко мне лучше, любить меня больше — у меня есть для этого достаточно доказательств — чем люди гораздо более любезные. Но малейшее счастливое выражение, появлявшееся на моем лице, если оно было вызвано не ею, действовало ей на нервы, было ей неприятно, как шум громко хлопнувшей двери. Она относилась участливо к страданиям, виновницей которых она не была, но не допускала радостей. Если она заставала меня больным, она сокру-

шалась, жалела меня, изъявляла готовность за мной ухаживать. Но если я испытывал хотя бы самое ничтожное удовлетворение, например, потягивался с блаженным видом, закрывая книгу и говоря: «Ах, какие очаровательные два часа провел я за чтением этой интересной книги!» — то эти слова, которые доставили бы удовольствие моей матери, Альбертине. Сен-Лу, вызывали у Андре как бы осуждение, может быть, чисто нервное движение. Мое довольство чем-нибудь причиняло ей раздражение, которое она не могла скрыть. К этим маленьким недостаткам присоединялись более серьезные; однажды, когда я заговорил о том молодом человеке, большом эрудите в области скачек, игр, гольфа и круглом невежде во всех остальных областях, которого я встречал когда-то в Бальбеке с девичьей «ватагой», Андре стала хихикать: «Вы знаете, его отец проворовался, дело чуть не дошло до суда. Они страшно зачванились, но я с удовольствием сообщаю об этом всем и каждому. Хотела бы я, чтоб они привлекли меня к ответу за клевету. Какое хорошенькое показание я бы дала!» Глаза ее сверкали. Спустя некоторое время я узнал однако, что отец не совершил ничего предосудительного и что Андре это было известно так

же хорошо, как и всякому. Но Андре считала, что сын относится к ней пренебрежительно; и вот она искала способа смутить его, опозорить, выдумала целый роман относительно показаний, которые она будто бы была призвана дать, и, благодаря частому повторению подробностей этих показаний, сама, может быть, перестала считать их выдуманными. Таким образом у меня не возникало желания видеть Андре такой, как она стала (даже если бы она избавилась от своих мимолетных нелепых антипатий): мне были неприятны ее недоброжелательность и подозрительность, окружавшие каким-то колючим ледяным поясом ее подлинную более пылкую и благородную натуру. Но сведения о моей подруге, которые она одна могла мне дать, слишком меня интересовали, и я не в силах был пренебречь столь редким случаем для их получения. Андре входила, закрывала за собой дверь; они встретили одну приятельницу, о которой Альбертина никогда мне не говорила. — «О чем же они разговаривали?» — «Не знаю, я воспользовалась тем, что Альбертина была не одна, и пошла покупать шерсть». — «Покупать шерсть?» — «Ну да, меня просила Альбертина». — «Лишнее основание не слушаться ее, может быть, она просто хотела от

вас отделаться». — «Но она просила меня купить шерсть еще до встречи с приятельницей». — «А-а!» — отвечал я, со вздохом облегчения. Тотчас подозрения вновь овладевали мной: а кто поручится, что она не назначила свидание своей приятельнице заранее и не сочинила предлог остаться одной, когда ей захочется? Кроме того, так ли уж я был уверен, что мое давнишнее мнение (согласно которому Андре не всегда говорила мне правду) неосновательно? Андре была, может быть, в стачке с Альбертиной. Мы любим, говорил я себе в Бальбеке, ту женщину, чьи действия возбуждают в нас ревность; мы чувствуем, что если бы она рассказала нам все, мы, пожалуй, легко излечились бы от любви. Напрасно ревность искусно маскируется ревнивцем, она довольно быстро открывается внушающей ее женщиной, которая в свою очередь пускается на хитрости. Она пытается обмануть нас относительно того, что могло бы сделать нас несчастными, и она действительно нас обманывает, ибо каким образом ничтожная фраза выдаст человеку непосвященному заключенную в ней ложь? Мы не отличаем этой фразы от других фраз; произнесенная испуганно, она выслушивается нами без внимания. Впоследствии, оставшись наедине, мы

возвратимся к этой фразе, она нам покажется не совсем согласной с действительностью. Хорошо ли однако мы запомнили эту фразу? По-видимому, когда мы о ней думаем, в нас невольно закрадывается сомнение насчет точности нашего воспоминания из числа тех, благодаря которым при известного рода нервных расстройствах мы ни за что не можем припомнить, задвинули ли мы задвижку, и в пятидесятый раз дело обстоит ничуть не лучше, чем в первый; сколько бы раз мы ни совершали известное действие, оно, кажется, никогда не будет сопровождаться точным и облегчающим воспоминанием. Но когда дело касается двери, то по крайней мере в пятьдесят первый раз мы можем ее запереть. Между тем беспокоящая нас фраза находится в прошлом и доносится до нас неясно; мы не в силах заставить ее зазвучать вновь. Тогда мы сосредоточиваем внимание на других фразах, ничего в себе не таящих, но единственным лекарством, которое мы однако отвергаем, было бы полное неведение, так как оно не возбуждает желания знать лучше.

Как только ревность обнаружена, она рассматривается вызвавшей ее женщиной, как недоверие, которое дает право обманывать. Кроме того, при наших попытках выведать что-

нибудь, мы первые прибегаем к *лжи*, к обману. Андре, Эме клянутся нам держать язык за зубами, — но сдержат ли они свое слово? Блок не давал никаких обещаний, потому что ничего не знал; таким образом достаточно Альбертине обменяться несколькими словами с каждым из троих, и она при помощи того, что Сен-Лу назвал бы «перекрестным допросом», узнает, что мы *лжем* ей, притворяясь равнодушными к ее действиям и нравственно неспособными устраивать за ней слежку. Таким образом, — приходя на смену, когда дело касалось поведения Альбертины, моему привычному безграничному сомнению, слишком неопределенному для того, чтобы оставаться болезненным (для ревности оно то же, что для горя начало забвения, когда успокоение рождается смутностью воспоминаний), — отрывочные ответы, приносимые мне Андре, тотчас же возбуждали новые вопросы; исследуя клочок простиравшейся вокруг меня обширной области, я успевал лишь немножко отодвинуть то непознаваемое, каковым является для нас реальная жизнь другого лица, когда мы пытаемся представить эту жизнь в ее подлинной сущности. Я продолжал расспрашивать Андре, между тем как Альбертина из скромности и же-

лания дать мне (догадывалась ли она об этом?) возможность побеседовать с Андре обстоятельно продолжала переодеваться в своей комнате. «Мне кажется, что дядя и тетя Альбертины меня очень любят», — опрометчиво заявлял я Андре, упуская из виду особенности ее характера.

Ее скучное лицо тотчас же мрачнело; как скисший сироп оно казалось навсегда помутневшим. Складка ее губ делалась горькой. У Андре ничего не оставалось от юного веселья, которому, подобно всей девичьей «ватаге», несмотря на свою болезненность, она предавалась в год моего первого пребывания в Бальбеке; теперь (правда, с тех пор Андре на несколько лет постарела) это веселье быстро у нее пропало. Но я невольно оживлял ее, когда она собиралась уходить домой обедать. «Один мой знакомый ужасно мне вас расхваливал», — говорил я ей. Тотчас же луч радости озарял ее взор, казалось, что она меня неподдельно любит. Она избегала смотреть мне в лицо, но улыбалась в пространство, и глаза ее становились вдруг совсем круглыми. «Кто же это?» — спрашивала она с наивным и жадным интересом. Я говорил ей и, кто бы это ни оказался, она бывала счастлива.

Потом наступал час, когда ей нужно было ухо-

дить, Андре меня покидала. Ко мне возвращалась Альбертина; она была в домашнем наряде, в красивом пеньюаре из крепдешина или в японском платье, описание которых я раздобыл у герцогини Германтской; некоторые дополнительные подробности сообщила мне г-жа Сван в письме, начинавшемся такими словами: «После продолжительного вашего исчезновения я подумала, читая ваше письмо относительно моих tea gown, что получила известие от выходца с того света».

Альбертина была обута в черные туфли с бриллиантами (Франсуаза гневно называла их калошами), похожие на те, что через окно гостиной она видела по вечерам на герцогине Германтской, а немного попозже Альбертина приходила ко мне в домашних туфлях без задка, иногда из золоченой кожи, иногда подбитых мехом шиншила, вид которых был мне сладок, потому что они являлись как бы знаками (чего нельзя было бы сказать о других туфлях) ее совместной со мной жизни. У нее были также вещи, полученные не от меня, например, красивое золотое кольцо. *Я* восхищался выгравированными на нем распущенными орлиными крыльями. «Это подарок тети, — сказала мне она. — Все же она иногда бывает ко мне мила. Кольцо это меня

старит, потому что было подарено, когда мне исполнилось двадцать лет».

Ко всем этим красивым вещицам у Альбертины было гораздо больше пристрастия, чем у герцогини, так как, подобно всякой помехе к обладанию чем-нибудь (такою была для меня болезнь, делавшая путешествия столь трудными и столь желанными), бедность, более щедрая, чем достаток, дает женщинам нечто гораздо большее, чем туалет, которого они не могут приобрести, — желание этого туалета, являющееся его подлинным знанием, подробным, углубленным. Оба мы, — она, благодаря невозможности приобретать эти вещи, я, из желания доставить ей удовольствие, преподнося их ей, — были похожи на двух студентов, наперед узнающих все о картинах, которые они жаждут посмотреть в Дрездене или в Вене. Тогда как женщины богатые, обладательницы несчетного количества шляп и платьев, похожи на тех посетителей музеев, у которых прогулка по картинной галерее, не предваренная никаким желанием, вызывает только головокружение, усталость и скуку.

Какая-нибудь шапочка, соболье манто, пеньюар от Дусе с рукавами на розовой подкладке приобретали для Альбертины, которая приметила

их, позарилась на них и, благодаря исключительности и мелочности, свойственными всякому желанию, одновременно и обособила их от всего остального, окружив пустотой, на фоне которой чудесно обрисовывалась подкладка или шарф, и изучила во всех подробностях, — а также для меня, почему я шел к герцогине Германтской и старался разузнать, в чем заключается особенность, отменность, элегантность манто или пеньюара, и неподражаемый фасон портного-художника, — вещи эти приобретали для нас обоих значительность, очарование, какими они конечно не обладали для герцогини, пресыщенной прежде, чем у нее появлялся аппетит, да даже и для меня, если бы я увидел их несколько лет тому назад, сопровождая какую-нибудь элегантную женщину в ее скучных объездах модных портних.

Впрочем, и Альбертина мало-помалу становилась элегантной женщиной. В самом деле, если каждая вещь, которую я заказывал ей таким образом, была в своем роде самой красивой, если она обладала всей изысканностью, которую внесли бы в нее герцогиня Германтская или г-жа Сван, то таких вещей у Альбертины накопилось очень много. Но это было неважно, ибо сначала она

полюбила каждую из них в отдельности.

Если мы увлекались каким-нибудь художником, а потом другим, мы в заключение можем горячо восхищаться всем музеем, потому что это восхищение соткано из последовательных увлечений, каждое из которых было исключительным в свое время, но которые в конце концов приладились друг к другу и согласовались.

Она не была, впрочем, легкомысленна, много читала, когда бывала одна, читала и мне вслух, когда бывала со мной. Она стала необыкновенно культурной. Она говорила, заблуждаясь, впрочем: «Я прихожу в ужас при мысли, что без вас я бы осталась дурой. Нет, нет, не возражайте. Вы открыли мне мир идей, о котором я не подозревала, и тем немногим, что я приобрела, я обязана исключительном вам».

Известно, что она говорила то же самое относительно моего влияния на Андре. Кто же из них питал нежные чувства ко мне? И чем были Альбертина и Андре в своем подлинном существе? Чтобы узнать это, нужно бы было остановить вас, не жить больше в непрестанном ожидании вас, когда вы приходите всегда иными, нужно бы было не любить вас больше, чтобы вас определить, не ведать больше ваших бесконечно разнооб-

разных и всегда сбивающих с толку появлений, о девушки, о луч, мелькающий в вихре трепета, которым мы наполняемся при каждой встрече с вами, едва вас узнавая, — в головокружительной скорости света! Может быть, мы бы не знали этой скорости, и все казалось бы нам неподвижным, если бы половое влечение не гнало нас к вам, золотые капельки, всегда разные, всегда превосходящие наши ожидания! При каждой новой встрече девушка так мало походит на то, чем она была прошлый раз (разбивая вдребезги, едва только мы замечаем ее, сохранившееся у нас воспоминание о ней и наполнявшее нас желание), что постоянство характера, которым мы ее наделяем, является чисто фиктивным, оно вызвано простым удобством речи. Нам изобразили какую-нибудь красивую девушку милой, любящей, исполненной самых нежных чувств. Наше воображение верит этому на слово, и когда перед нами впервые появляется окаймленный кудрявыми локонами белокурых волос овал ее розового личика, мы почти боимся, что эта слишком добродетельная сестра охладит нас самой своей добродетелью, никогда не станет нашей любовницей, как нам хотелось бы. Во всяком случае, сколько признаний делаем мы

ей с первой же минуты нашего знакомства, доверяясь благородству ее сердца, сколько планов замышляем мы совместно. Но через несколько дней мы сожалеем о своей доверчивости, ибо розовая девушка, с которой мы познакомились, обращается к нам при второй встрече со словами похотливой фурии. А что касается мелькающих лиц, которые нам рисуются в розовом свете лихорадочного возбуждения, то может статься даже, что черты их изменило какое-нибудь внешнее по отношению к этим девушкам movimento: так случилось вероятно и с моими бальбекскими приятельницами.

Родные превозносят вам кротость, чистоту какой-нибудь девицы. Но потом они чувствуют, что вы бы предпочли нечто более пряное, и советуют девице вести себя более непринужденно. Но кто же она сама по себе: скромница, развязная? Пожалуй, ни то ни другое, но способна приобщиться множеству различных возможностей в головокружительном потоке жизни. По отношению к другой девице, вся привлекательность которой заключалась в своего рода неукротимости (которую мы рассчитывали сломить по-своему), — например, по отношению к бесстрашной бальбекской прыгунье, которая почти задевала

ногами головы перепуганных стариков, — какое, напротив, разочарование, если, раскрывая нам новое свое лицо, когда мы расточаем ей нежности, вызванные воспоминанием о стольких ее дерзостях в обращении с другими, девица эта с самого начала заявляет нам, что она робкая, что она никогда не умеет сказать ничего умного человеку, которого видит в первый раз, так ей бывает страшно, и что только по прошествии двух недель она будет с вами разговаривать спокойно. Сталь превратилась в вату, вам не над чем больше пытать свою силу, потому что ваша знакомая сама потеряла всю свою прочность. Сама; но, может быть, по нашей вине, ибо нежные слова, с которыми мы обратились к Суровости, может быть, внушили ей, даже если поведение ее не было рассчитанным, желание быть мягкой.

Все-таки наше огорчение было неразумным лишь отчасти, ибо признательность за такую кротость обязывает нас, пожалуй, больше, нежели восхищение укрощенной жестокостью. Ничего нет невероятного в том, что наступит день, когда даже этих лучезарных девушек наделим мы очень четкими чертами, но произойдет это оттого, что они перестанут нас интересовать, приход их не будет больше для нашего сердца

явлением, которого оно ожидало совсем не таким и которое каждый раз оставляет его взволнованным новыми воплощениями. Неподвижность их обусловлена будет нашим равнодушием, которое отдаст их на суд разума. Впрочем, умозаключения его будут лишь немногим категоричнее, ибо, установив, что известный недостаток, преобладающий у одной, счастливо отсутствует у другой, разум увидит затем, что открытый им недостаток уравновешен каким-нибудь драгоценным достоинством. Таким образом устойчивые черты молодых девушек окажутся плодом ошибочного суждения рассудка, который входит в игру, лишь когда наш интерес остыл, и эти устойчивые черты научат нас не больше, чем поразительные образы, постоянно являвшиеся нам в те времена, когда в стремительном водовороте ожидания подруги наши представали нам ежедневно, еженедельно все в новых и новых обликах, не позволявших нам в неустанном беге определить их, поставить на место. Что же касается наших чувств, то мы уже столько раз говорили о них, и едва ли стоит повторять, что сплошь и рядом любовь есть лишь ассоциация образа какой-нибудь девушки (которая без этого скоро стала бы для нас невыносимой) с сердцебиением, неотделимым от

бесконечного напрасного ожидания и от легкомысленного нарушения девицей данного слова. Все это справедливо не только относительно мечтательных юношей и переменчивых девушек. По прошествии некоторого времени племянница Жюпьена изменила, как я узнал потом, свое мнение о Мореле и о г-не де Шарлюс. Мой шофер, желая подогреть ее любовь к Морелю, расписал ей скрипача, как утонченнейшего человека, чему она поспешила, конечно, поверить. С другой стороны, Морель неустанно твердил ей о роли палача, которую г. де Шарлюс играл по отношению к нему и которую девушка объясняла злобностью барона, не догадываясь о его любви. К тому же, она видела собственными глазами, что г. де Шарлюс тиранически присутствовал на всех их свиданиях. Еще больше укреплялась она в этом мнении, слыша толки светских женщин о злобности и свирепости барона. И вот, с недавнего времени суждение ее радикально переменилось. Она открыла в Мореле (не перестав любить его после этого) бездну злобы и вероломства, возмещаемую, впрочем, частыми приливами нежности и подлинной чувствительностью, а в г-не де Шарлюс — неподозреваемую и безмерную доброту, смешанную с грубыми выходками, о

которых она раньше не знала. Таким образом ее суждение о том, чем были в существе своем скрипач и его покровитель, отличалось такой же неопределенностью, как и мое суждение об Андре, которую однако я видел ежедневно, и об Альбертине, которая жила со мной. По вечерам, когда эта последняя не читала мне вслух, она играла мне на рояле, начинала со мной партию в шашки или завязывала разговор, который я прерывал поцелуями. Отношения наши отличались крайней простотой, делавшей их успокоительными. Уже одна незаполненность жизни Альбертины располагала ее к предупредительности и повиновению всем моим требованиям. За этой девушкой, как за пурпурной полосой света, падавшего из-под моих занавесок в Бальбеке в то время, как на берегу играл оркестр, искрились перламутром голубоватые волны моря. Разве не была она на самом деле (вот эта Альбертина, в глубине которой самым привычным образом ютилась такая домашняя мысль обо мне, что после тетки я был, пожалуй, существом, которое она меньше всего отличала от себя) девушкой, которую я увидел впервые в Бальбеке в плоской спортивной шапочке, с глазами пытливыми и насмешливыми, еще незнакомой, крошечной

как силуэт, рисующийся на фоне прилива? Когда эти образы, сохраненные в неприкосновенности нашей памятью, вновь всплывают перед нами, мы бываем удивлены их несходством с знакомым нам человеком, нам становится понятно, какую большую работу скульптора совершает ежедневно привычка. В парижской Альбертине, сидевшей у моего камелька, жило еще желание, внушенное мне задорным и ярким кортежем, шумно двигавшимся по пляжу, и, — как Рахиль сохраняла для Сен-Лу, даже когда тот заставил ее бросить театр, обаяние театральной жизни, — так и в этой Альбертине, заточенной в моем доме, вдали от Бальбека, откуда я ее поспешно увез, продолжали существовать взбалмошность, презрение к общественным условностям, суетность и непостоянство, свойственные морским курортам. Она стала такой ручной, что в иные вечера мне не приходилось даже просить ее покинуть свою комнату и прийти ко мне, — та самая Альбертина, за которой все когда-то увивались, которую я с таким трудом догонял, когда она мчалась на велосипеде, и которую даже мальчик, обслуживавший лифт, не мог привести мне, оставив у меня очень мало надежды на то, что она придет, хотя и прождал ее всю ночь. Разве не была

Альбертина в Бальбеке как бы первой актрисой озаренного закатным пламенем пляжа, зажигающей ревность при своих выступлениях на этой природной сцене, ни с кем не разговаривающей, толкающей завсегдатаев, верховодившей своими подругами, и разве эта столь желанная всеми актриса не находилась теперь, похищенная мной со сцены, заточенная в моем доме, укрытая от жадных взоров курортной публики, все поиски которой остались бы теперь бесплодными, разве не находилась она то в моей, то в своей комнате, где мирно занималась рисованием или гравировкой?

Да, впервые дни моего пребывания в Бальбеке Альбертина как будто двигалась в плоскости, параллельной той, где жил я сам, но плоскости эти стали сближаться (когда я побывал у Эльстира), а затем и совпадать, по мере того как мои отношения с ней в Бальбеке, в Париже, затем снова в Бальбеке делались более интимными. Впрочем, между двумя картинами Бальбека, оставшимися у меня от первого и второго моего пребывания там и составленными из тех же вилл, откуда выходили те же девушки к тому же морю, какая была разница! В подругах Альбертины моего второго пребывания в Бальбеке, так хорошо мне

известных, с их достоинствами и недостатками, так четко отпечатанными на их лицах, мог ли узнать я тех задорных и таинственных незнакомок, которые заставляли когда-то биться мое сердце, открывая скрипевшую по песку дверь своей дачи и задевая по пути колышущиеся тамариски! Их большие глаза с тех пор запали отчасти потому, конечно, что они перестали быть детьми, но также и потому, что эти восхитительные незнакомки, пленительные актрисы романтичного первого года, о которых я неустанно собирал сведения, не были больше окружены в моих глазах тайной. Они стали послушными исполнительницами моих прихотей, эти незатейливые девушки в цвету, и я немало гордился тем, что мне удалось украдкой от всех сорвать с них самую пышную розу.

Между двумя столь не похожими одна на другую декорациями Бальбека помещалось несколько парижских лет, длинная лента которых была испещрена столькими визитами Альбертины. Я видел ее в различные годы моей жизни в различных положениях, дававших мне почувствовать красоту перемежающихся пространств, тех долгих сроков в разлуке с ней, на прозрачном фоне которых жившая со мной розовая женщина обри-

совывалась таинственными тенями все мощнее и рельефнее. Ее рельефность обусловлена была, впрочем, не только наложением друг на друга последовательных образов, оставленных во мне Альбертиной, но и напластованием неожиданных для меня превосходных качеств ума и сердца, с одной стороны, и недостатков характера, с другой, которые Альбертина, в процессе какого-то самопроизрастания, саморазмножения, красочного цветения плоти, прибавила к своему естеству, когда-то ничтожному, а нынче с трудом поддающемуся исследованию. Ведь живые люди, даже те, о которых мы так много мечтали, что они стали казаться нам чем-то вроде картины, вроде фигур Беноццо Гоццоли, выделяющихся на зеленоватом фоне, и мы склонны были уже считать, что все их изменения зависят только от перемены пунктов, с которых мы их рассматриваем, от перемены отделяющего нас от них расстояния и перемены освещения, — ведь живые люди, меняясь по отношению к нам, меняются также и в самих себе, ведь произошло обогащение, уплотнение и увеличение объема фигуры, когда-то так четко рисовавшейся на фоне моря. Впрочем, не только предвечернее море жило для меня в Альбертине, но иногда также дремотный плеск

волн у песчаного берега в лунные ночи.

В самом деле, в иные дни, когда я вставал с намерением поискать какую-нибудь книгу в кабинете отца, подруга моя, испросив у меня позволение прилечь в это время, бывала так утомлена беготней на свежем воздухе все утро и весь день, что даже если я покидал свою комнату только на одну минуту, по возвращении я находил Альбертину уснувшей и не будил ее.

Растянувшись во весь рост на моей кровати в позе непринужденной, которую невозможно было бы придумать, она напоминала мне длинный стебель цветка, положенный на постель, да так и было в действительности: способность мечтать, которой я обладал только в ее отсутствие, снова возвращалась ко мне в такие мгновения, проведенные возле нее, как если бы во время сна она становилась растением. Благодаря этому сон ее осуществлял в некоторой степени возможность любви; в одиночестве я мог размышлять о ней, но мне ее недоставало, я ею не обладал; в ее присутствии я разговаривал с нею, но я был слишком отвлечен от себя и не мог размышлять. Когда же она спала, мне не нужно было разговаривать, я знал, что она не смотрит на меня, у меня не было надобности жить на поверхности своего

существа.

Закрывая глаза, теряя сознание, Альбертина сбрасывала с себя одну за другой разнообразные человеческие личины, которые обольщали меня со дня моего знакомства с нею. Она была одушевлена теперь лишь бессознательной жизнью растений, деревьев, жизнью более отличной от моей, более чудесной, и однако же принадлежавшей мне в большей степени. Ее «я» не ускользало каждое мгновение, как во время моих разговоров с нею, через лазейки невысказанных мыслей и мечтательно устремленных куда-то взглядов. Она вбирала в себя все, что блуждало вне ее, она укрывалась, замыкалась, находила выражение в своем теле. Устремляя на нее взгляд, заключая ее в объятия, я испытывал впечатление, будто вся она принадлежит мне, какого впечатления у меня не было, когда она бодрствовала. Жизнь ее была подчинена мне, овевала меня своим легким дыханием.

Я слушал это таинственное излучение, струистое и мягкое, как морской зефир, фееричное как сияние луны, которым был ее сон. Пока он длился, я мог мечтать о ней и в то же время смотреть на нее, а когда этот сон становился более глубоким, трогать ее, целовать. То, что я испытывал

тогда, было любовью к чему-то столь же чистому, столь же нематериальному в своих чувственных качествах, столь же таинственному, как те неодушевленные создания, какими являются красоты природы. И в самом деле, как только она засыпала немного глубже, она переставала быть только растением, которым была; сон ее, наполнявший меня мечтаниями и бодрящей негой, которая никогда бы не утомила меня и которой я бы мог упиваться бесконечно, был для меня целым пейзажем. Сон ее простирал вокруг меня нечто столь же спокойное, столь же чувственно прелестное, как те лунные ночи в бальбекской бухте, ставшей зеркальной как озеро, когда ветви едва колышутся, когда, растянувшись на песке, вы без конца готовы слушать шум отлива.

Входя в комнату, я замирал на пороге, не смея шелохнуться, и до меня доносился только шум ее дыхания, вылетавшего из губ ее через правильно чередующиеся промежутки, тоже подобно отливу, но отливу более глухому и мягкому. И в момент, когда мое ухо воспринимало это божественное дуновение, мне казалось, что в нем сгущена была вся личность, вся жизнь прелестной пленницы, лежавшей передо мной. По улице с шумом проезжали экипажи, а лицо ее

оставалось столь же неподвижным, столь же чистым, ее дыхание столь же легким — простым выделением необходимого воздуха. Затем, видя, что сон ее не будет нарушен, я осторожно подвигался вперед, я садился на стул, стоявший возле кровати, а потом и на самую кровать.

Я провел с Альбертиной много прелестных вечеров за разговорами, за игрой, но они не могли сравниться с теми минутами, когда я смотрел на ее сон. Пусть во время болтовни, во время игры в карты она отличалась непринужденностью, которой могла бы позавидовать лучшая актриса: непринужденность, являемая мне ее сном, была более высокого порядка. Ее коса, ниспадавшая вдоль розового лица, лежала рядом с ней на кровати, и отделившаяся от волос прямая прядь создавала иногда тот же эффект перспективы, что и хилые бледные деревца, ровные стволы которых виднеются в глубине рафаэлевских картин Эльстира. Если губы Альбертины были сомкнуты, зато с места, где я сидел, веки ее казались настолько приоткрытыми, что я почти готов был спросить себя, да спит ли она взаправду. Все же эти опущенные веки сообщали лицу ее совершенную непрерывность, не нарушаемую глазами. Есть люди, лицо которых приобретает

неожиданную красоту и величие, стоит им только закрыть глаза.

Я измерял глазами Альбертину, лежавшую у моих ног. По временам легкий неизъяснимый трепет пробегал по ней, подобный колыханию сонной листвы, которую волнует несколько мгновений внезапно налетевший ветерок. Она прикасалась к волосам, потом, не сделав того, что ей хотелось, снова подносила к ним руку, и движения ее были так последовательны, так сознательны, что я был убежден: вот сейчас она проснется. Ничуть; она снова становилась спокойной во сне, которого она не покидала. Больше она не шевелилась, положив руку себе на грудь с такой ребяческой непринужденностью, что мне приходилось, смотря на нее, сдерживать улыбку, которая появляется у нас при виде серьезности, невинности и грации маленьких детей.

Я знал несколько Альбертин в одной, и мне казалось, будто я вижу еще и других Альбертин, почивающих возле меня. Ее изогнутые дугой брови, какими я их никогда не видел, окружали выпуклости ее век как уютное гнездышко зимородка. Расы, атавизмы, пороки покоились на ее лице. При каждом повороте головы она творила новую женщину, часто для меня неожиданную.

Мне казалось, что я обладаю не одной девушкой, а несчетным их числом. Ее дыхание, становившееся понемногу все более глубоким, мерно приподнимало теперь ее грудь, а на груди ее скрещенные руки, ее жемчуга, перемещаемые поразному одинаковым движением, как те лодки, те причальные цепи, что качаются от движения волн. Тогда, чувствуя, что сон ее в самом разгаре, что я не наткнусь на рифы сознания, покрытые теперь глубокой водой непробудного сна, я смело подлетал бесшумными прыжками к кровати, ложился рядом с ней, одной рукой обвивал ее стан, прижимался губами к ее щеке, к ее сердцу и ко всем уголкам ее тела, в то время как другая моя рука оставалась свободной и, подобно жемчугам, тоже приподнималась дыханием Альбертины; я сам слегка перемещался ее мерным движением; я уплывал на волнах сна Альбертины. Иногда сон ее давал мне вкушать наслаждение менее чистое. Для этого мне не нужно было совершать ни одного движения, просто я свешивал свою ногу с ее ноги, как весло, которое волочится в уключине, и на которое мы чуть нажимаем по временам, заставляя его слегка покачиваться, наподобие судорожных взмахов крыла спящих на открытом воздухе птиц. Я выбирал, чтобы смотреть на нее,

тот ракурс ее лица, который мне никогда не удавалось видеть и который был так прекрасен.

Для нас в сущности понятно, что буквы полученного нами письма являются почти одинаковыми и рисунок их достаточно отличается от нашего знакомого, так что они образуют как бы вторую личность. Но гораздо более странно, что одна женщина может сливаться, как Розита и Дудика, с другой женщиной, своеобразная красота которой заставляет заключать об ином характере, и что при желании увидеть одну, мы должны смотреть в профиль, а при желании увидеть другую — в лицо. Усиливавшийся шум дыхания Альбертины мог внушить иллюзию, будто она задыхается от наслаждения, и, когда мое собственное наслаждение иссякало, я мог ее целовать, не боясь прервать ее сон. В такие минуты мне казалось, что мое обладание ею было более полным, словно она была лишенной сознания и несопротивляющейся вещью безгласной природы. Меня не тревожили слова, которые слетали по временам с ее уст во время сна, смысл их ускользал от меня, да к тому же, какому бы неизвестному они ни относились, рука ее, оживляемая иногда легким трепетом, сжималась на мгновение на моей руке, на моей щеке. Мое наслаждение ее сном было

бескорыстным, успокоительным, вроде того, как я целые часы слушал рокот волн.

Быть может, только люди, причиняющие нам большие страдания, способны в часы облегчения доставить тот целительный покой, который дает нам природа. Мне не надо было ей отвечать, как в минуты, когда мы разговаривали, и даже когда я мог молчать, что я и делал во время ее рассказов, все равно, слушая ее речи, я не способен был так глубоко в нее проникнуть. Продолжая слушать, подбирать каждый миг умиротворяющее журчанье, словно неуловимый ветерок ее чистого дыхания, я имел перед собой, для себя, всю физиологическую жизнь Альбертины; я готов был смотреть на нее, слушать ее так же долго, как я лежал когда-то на морском берегу, в лунную ночь.

Иногда мне чудилось, что море делается бурным, что буря дает себя чувствовать даже в бухте; она всхрапывала, и я бросался к ней слушать ее шумное дыхание. Иногда, если ей бывало очень жарко, она снимала, уже почти во сне, кимоно и бросала его мне на кресло. И вот, когда она спала, я говорил себе, что все ее письма лежат во внутреннем кармане этого кимоно, куда она всегда их клала. Подписи на письме, назначенного свидания было бы достаточно для доказательства ее

лжи или для рассеяния моих сомнений. Когда я чувствовал, что сон Альбертины достаточно глубок, я покидал место у ее кровати, откуда долго уже созерцал ее, застыв в неподвижности, и делал шаг или два, охваченный жгучим любопытством, чувствуя тайну ее жизни беззащитно лежащей в кармане брошенного на кресло мохнатого кимоно. Может быть, я делал этот шаг также потому, что неподвижное созерцание спящей становилось под конец утомительным. Таким способом, на цыпочках, беспрестанно оборачиваясь, чтобы убедиться, не проснулась ли Альбертина, я добирался до кресла. Затем я останавливался и долго смотрел на кимоно, подобно тому как смотрел перед этим на спящую Альбертину. Но (может быть, я поступил опрометчиво) ни разу не прикоснулся я к кимоно, не засунул руку в карман, не взглянул на письма. В конце концов, видя, что решимости у меня не хватит, я поворачивался, возвращался на цыпочках к кровати Альбертины и снова принимался созерцать спящую, от которой мне нечего было ждать признаний, между тем как я видел на ручке кресла кимоно, которое мне бы рассказало, может быть, многое. И подобно тому, как парижане платят сто франков в день за комнату в бальбекском отеле, чтобы дышать мор-

ским воздухом, я находил вполне естественным тратить еще больше на Альбертину, лишь бы только чувствовать ее дыхание на своей щеке, в ее устах, которые я приоткрывал языком, ощущая на нем ток ее жизни.

Но этому удовольствию видеть ее спящей, которое было столь же сладким, как удовольствие чувствовать ее живой, полагало конец другое — удовольствие видеть ее пробуждение. Это было то самое удовольствие, которое я получал от сознания, что она живет у меня, но более глубокое и более таинственное. Да, в полдень, когда она сходила с экипажа, мне было приятно, что она возвращается в мою квартиру. Но еще приятнее мне было, когда, поднявшись из глубины сна по последним ступенькам лестницы сновидений, она возрождалась к сознанию и к жизни в моей комнате, спрашивала себя удивленно: «где я?» — и, увидя окружающие ее предметы, лампу, от света которой она слегка щурилась, могла ответить себе, что она дома, убедившись, что она проснулась у меня. В этот первый восхитительный миг неуверенности мне казалось, будто мне вновь достается обладание ею, обладание более полное, ибо вместо того, чтобы войти после прогулки в свою комнату, Альбертину охватывала

и заключала в себе моя комната, как только она узнавала ее, причем глаза моей подруги не обнаруживали ни малейшей тревоги, оставаясь столь же спокойными, словно она вовсе не спала.

Неуверенность пробуждения, выданную ее молчанием, совсем нельзя было прочитать в ее взгляде. Как только к ней возвращался дар слова, она говорила «мой» или «мой милый», за которыми следовало мое имя, что звучало бы, если дать рассказчику то же имя, какое носит автор этой книги: «мой Марсель». Я не позволял после этого родным называть меня также милым, чтобы не лишать сладостные слова, сказанные мне Альбертиной, их драгоценного качества быть уникой. Произнося их, она делала гримаску, которая сама собой переходила в поцелуй. Она просыпалась так же быстро, как быстро она заснула.

Как и мое перемещение во времени, как и лицезрение сидящей возле меня девушки, освещенной лампой совсем иначе, чем освещало ее солнце, когда она проходила по берегу моря, это реальное обогащение, это подчиненное внутренним законам развитие Альбертины вовсе не было главной причиной различия между моим теперешним способом видеть ее и моим способом видеть ее сначала в Бальбеке. И большее

число лет могло бы отделять друг от друга два образа, не произведя столь полного изменения; это коренное изменение произошло внезапно, когда я узнал, что моя подруга была почти воспитанницей подруги м-ль Вентейль. Если некогда меня приводила в восторг мысль увидеть тайну в глазах Альбертины, то теперь я бывал счастлив лишь в минуты, когда из этих глаз, и даже из этих щек, выразительных как глаза, иногда таких нежных, но чаще угрюмых, мне удавалось изгнать всякую тайну.

Образ, которого я искал, на котором я отдыхал, созерцая который я хотел бы умереть, не был больше образом Альбертины, живущей неведомой мне жизнью, но Альбертины, известной мне до мельчайших подробностей (поэтому-то любовь моя не могла быть длительной, перестав быть несчастной, ибо, согласно определению, она теперь не удовлетворяла потребности в тайне), — Альбертины, не отражающей далекого и чуждого мне мира, но желающей одного только, были мгновения, когда мне казалось, что так и есть на самом деле, — быть со мной, во всем похожей на меня, — Альбертины, выражающей как раз то, что было моим, а не неведомым. Когда любовь родилась таким образом из мучительного

часа, доставленного нам женщиной, из неуверенности, удастся ли нам удержать ее или она ускользнет от нас, то такая любовь носит печать создавшего ее переворота, она мало напоминает то, что мы видели до тех пор, когда думали об этой самой женщине. Мои первые впечатления от Альбертины на берегу волн могли в какой-то малой части оставаться в моей любви к ней: в действительности эти прежние впечатления занимают лишь ничтожное место в любви такого рода; в отношении своей силы, своей мучительности, своей потребности теплоты и своей тяги под кров мирных, успокоительных воспоминаний, где нам так хотелось бы пребывать, больше ничего не узнавая о той, кого любишь, даже если бы были какие-нибудь неприятные для нас вещи, — больше того: имея дело только с этими прежними впечатлениями, — такая любовь соткана из совсем другого материала!

Иногда я гасил свет перед тем, как она входила. Она ложилась рядом со мной в темноте, едва озаряемая светом головешки. Мои руки, мои щеки одни только узнавали Альбертину, глаза же не видели ее, глаза мои, которые так часто страшились найти ее изменившейся. Так что благодаря этой слепой любви она чувствовала

себя, может быть, омытой большей нежностью, чем обыкновенно. В другие вечера я раздевался, ложился, Альбертина же садилась на постель, и мы продолжали нашу партию в шашки или наш разговор, прерываемый поцелуями; и в разгар желания, которое одно только пробуждает в нас интерес к жизни и личности какой-нибудь женщины, мы остаемся до такой степени верными нашей природе (покидая зато одну за другой различных женщин, которых мы последовательно любили), что однажды, увидя себя в зеркале в то мгновение, когда я целовал Альбертину, называя ее милой девочкой, я был поражен печальным и страстным выражением моего лица, похожим на то, каким оно было когда-то возле Жильберты, которой я больше не помнил, и каким оно будет, может быть, когда-нибудь возле другой, если мне случится забыть Альбертину; выражение это внушило мне мысль, что я не столько оказывал внимание определенному лицу (инстинкту угодно, чтобы мы рассматривали женщину, с которой мы имеем дело, как единственно подлинную), сколько свершал обряд пламенного и скорбного поклонения, приносимого мной как жертва на алтарь женской юности и красоты. Однако к этому желанию, воздающему жертвенными

приношениями почет юности, а также к бальбекским воспоминаниям примешивалось, в моей потребности хранить таким образом Альбертину каждый вечер возле себя, нечто чуждое до сих пор моей жизни, по крайней мере любовной, хотя и не вовсе новое для меня.

То была жажда успокоения, подобной коей я не испытывал со времени далеких комбрейских вечеров, когда моя мать, склонившись над моей кроватью, приносила мне покой поцелуем. В те времена я был бы вероятно очень удивлен, если бы мне сказали, что я в сущности человек недобрый, и особенно, что я буду пытаться когда-нибудь лишить удовольствия других. Должно быть я знал себя тогда очень плохо, так как мое удовольствие прочно владеть Альбертиной, держа ее у себя дома, было в гораздо меньшей степени удовольствием положительным, чем удовольствием уединить от общества, где каждый мог наслаждаться ею в свою очередь, расцветающую девушку, которая хотя и не доставляла мне большой радости, зато по крайней мере лишала этой радости других. Честолюбие, слава оставили бы меня равнодушным. Еще менее способен я был испытывать ненависть. Однако плотская любовь все же была для меня торжеством над столькими

соперниками. Но еще раз повторяю, прежде всего она была успокоением.

До возвращения Альбертины я мог сколько угодно сомневаться в ней, воображать ее в комнате Монжувена, — как только она садилась в пеньюаре против моего кресла или же, как бывало чаще всего, ко мне на кровать, я поверял ей мои сомнения, в самоуничижении верующего, творящего свою молитву, вручал их ей, чтобы она меня освободила от них. Пусть, свернувшись шаловливо в клубочек на моей кровати, весь вечер играла она со мной как большая кошка; пусть ее розовый носик, казавшийся мне еще меньше от кокетливого взгляда, придавал ей лукавство, свойственное некоторым пухленьким женщинам, и задорная рожица покрывалась горячим румянцем; пусть прядь длинных черных волос падала ей на нежно-розовую восковую щеку, и, полузакрыв глаза, раскидав руки, она как будто говорила мне своей позой: «Делай со мной что хочешь», — когда перед уходом она придвигалась с целью пожелать мне покойной ночи и я целовал с обеих сторон ее могучую шею, которую никогда не находил в те времена ни слишком смуглой, ни слишком зернистой, шея эта приобретала для меня как бы родственную теплоту, словно

солидные ее качества имели какую-то связь с прямодушием и добротой Альбертины.

Потом Альбертина в свою очередь прощалась со мной, тоже целуя меня в шею, и ее волосы ласкали мое лицо, как крыло с острыми и нежными перьями. Сколь ни несравнимы были эти поцелуи мира, Альбертина, вкладывая мне в рот свой язык, как бы наделяла меня дарами Святого Духа, давала мне причастие, отпускала мне известное количество покоя, почти столь же сладкого, как тот, что приносила мне моя мать, прикладывая по вечерам в Комбре губы к моему лбу.

— «Пойдете вы с нами завтра, злюка?» — спрашивала она меня перед уходом. — «Куда вы собираетесь?» — «Это будет зависеть от погоды и от вас. Написали ли вы по крайней мере что-нибудь, миленький? Нет? В таком случае, очень жаль, что вы не вышли прогуляться. Скажите, кстати, сейчас, когда я возвратилась, узнали вы мои шаги, догадались, что это я?» — «Конечно. Разве можно ошибиться, разве можно не узнать из тысячи шаги моей дурочки? Пусть она позволит мне разуть себя перед тем, как идти спать, это доставит мне большое удовольствие. Какая вы милая и розовая в этих белоснежных кружевах».

Таков был мой ответ; среди выражений, про-

диктованных страстью, проскальзывали другие, свойственные моей матери и бабушке, ибо с течением времени я все больше делался похожим на всех своих родных, на моего отца, который, — совсем по-иному, конечно, потому что вещи, повторяясь, претерпевают все же большие изменения, — всегда так интересовался погодой; и не только на отца, но, к моему изумлению, также и на тетю Леонию. Без этого, Альбертина служила бы для меня только лишним поводом выходить из дому, чтобы не оставлять ее одну, без наблюдения. Да, на тетю Леонию, совсем законсервированную в благочестии, с которой, я бы чем угодно поклялся, у меня не было ни единой общей черты: столь падкий до наслаждений, я по внешности был совсем не похож на эту маньячку, которая не знала даже, что такое наслаждение, и с утра до вечера твердила молитвы, перебирая четки; тогда как я страдал от невозможности вести жизнь писателя, она была единственной представительницей нашей семьи, которая никак не могла понять, что чтение вовсе не есть «праздное» времяпрепровождение, вследствие чего даже на пасхальных каникулах чтение было разрешено в воскресенье, когда запрещалось всякое серьезное занятие, так как этот день сле-

довало праздновать только молитвой. И вот, хотя я постоянно находил причину своей бездеятельности в каком-нибудь недомогании, так часто заставлявшем меня оставаться в постели, некое существо (не Альбертина, не существо, мною любимое, но существо, имевшее надо мной большую власть, чем существо любимое) переселилось в меня и вело себя так деспотично, что заглушало иногда мои ревнивые подозрения или по крайней мере мешало мне пойти проверить, обоснованы они или нет, — этим существом была тетя Леония. Итак, я не только карикатурно уподоблялся моему отцу вплоть до того, что не довольствовался, как он, посматриванием на барометр, но сам обратился в живой барометр, я не только, повинуясь распоряжениям тети Леонии, оставался дома наблюдать погоду из моей комнаты или даже из своей постели, — даже разговаривал я теперь с Альбертиной то как ребенок, каким я был в Комбре, разговаривая со своей матерью, то так, как обращалась ко мне бабушка.

Когда мы перешагнули известный возраст, душа ребенка, которым мы были, и душа покойников, от которых мы произошли, полными пригоршнями отсыпает нам свои богатства и свои роковые недостатки, требуя сотрудничества

с нашими новыми чувствами, в которых мы разрушаем их прежний образ, переплавляя его в некое оригинальное произведение. Так, все мое прошлое, начиная с самых ранних лет, и даже прошлое моих родных, примешивало к нечистой моей любви к Альбертине нежные чувства, одновременно сыновние и материнские. В нашей жизни наступает пора, когда нам приходится принять всех наших родных, прибывших издалека и собравшихся вокруг нас.

Прежде чем Альбертина повиновалась мне и позволяла снять свои туфли, я приоткрывал ее рубашку. Ее маленькие высоко посаженные груди были такие круглые, что казались не столько составной частью ее тела, сколько созревшими на нем двумя плодами; и ее живот (прикрывая место, которое у мужчины обезображено как бы крюком, оставшимся в расчищенной статуе) замыкался на соединении бедер двумя створками, кривизны столь же успокоительной, столь же умирающей, столь же монастырской, как кривизна горизонта, когда зашло солнце. Она снимала туфли и ложилась возле меня.

О, извечные положения Мужчины и Женщины, в которых ищут соединиться в невинности первых дней и с податливостью глины то, что

было разъединено творением, в которых Ева изумлена и покорствует Мужчине, возле которого она пробуждается, как сам он, еще одинокий, покорствует Богу, его создавшему. Альбертина закидывала руки за черные волосы, ляжка ее надувалась, нога изгибалась наподобие лебединой шеи, которая вытягивается, поворачивается и возвращается к исходному пункту. Когда она лежала совсем боком, лицо ее (такое доброе и прекрасное, если смотреть на него спереди) обрисовывалось в ракурсе, которого я не мог выносить, искривлялось наподобие некоторых карикатур Леонардо и как будто выдавало злобу, корыстолюбие, плутовство шпионки, присутствие которой в моем доме ужаснуло бы меня и которая казалась разоблаченной этими профилями. Тотчас же я брал руками лицо Альбертины и его поворачивал.

— «Будьте милым, обещайте мне, что будете работать, если останетесь завтра дома», — говорила моя подруга, надевая рубашку. — «Да, но не надевайте еще ваш пеньюар». Иногда я в заключение засыпал рядом с ней. В комнате становилось холодно, нужно было подложить дров в камин. Я пробовал найти грушу звонка за спиной, перебирал все медные прутья, между

которыми она висела, и все не мог ее нащупать; Альбертина соскакивала в это время с кровати, чтобы Франсуаза не увидела нас друг возле друга, а я говорил ей: «Нет, побудьте еще секунду, я не могу найти грушу».

Мгновения сладкие, радостные, с виду невинные, в которых накопляется, однако, не подозреваемая нами возможность тяжелых бед, отчего и жизнь влюбленных полна бывает самых резких контрастов: вслед за светлыми и радостными минутами вдруг проливается дождь из серы и горящей смолы; не имея мужества извлечь урок из несчастья, мы немедленно вновь отстраиваем себе жилище на стенках кратера, откуда не может извергнуться ничего, кроме катастрофы. Я был беспечен, подобно всем людям, считающим свое счастье долговременным.

Именно потому, что нежность эта была необходимым условием возникновения горести — и будет по временам возвращаться, чтобы ее успокаивать, — мужчины бывают искренни с другими и даже с собой, прославляя доброту к ним какой-нибудь женщины, хотя если копнуть глубже, в недрах их связи постоянно витает тайная, никому не высказываемая мучительная тревога, обнаруживаемая лишь невзначай

сорвавшимися у них словами, расспросами, справками. Но так как тревога эта не могла бы родиться без предварительной нежности, да даже и впоследствии возвраты нежности необходимы, чтобы делать выносимыми страдания и предотвращать размолвки, то сокрытие тайного ада, которым является совместная жизнь с какой-нибудь женщиной, вплоть до похвальбы, будто интимное общение с нею упоительно, такое сокрытие в порядке вещей, оно выражает связь между действием и причиной, один из способов возникновения страдания вообще.

Я уже не удивлялся, что Альбертина живет у меня и не смеет выйти завтра иначе, как со мной или под надзором Андре. Эти привычки совместной жизни, эти основные линии, очерчивающие мое существование, внутрь которых не мог проникнуть никто, кроме Альбертины, а также (в будущем, еще не известном мне плане моей дальнейшей жизни, похожем на план, набрасываемый архитектором для построек, которые будут начаты много времени спустя) линии дальние, параллельные первым и более широкого охвата, которые намечали во мне, как уединенное жилище, немного суровую и монотонную формулу моих будущих увлечений, — были в действитель-

ности проведены той бальбекской ночью, когда в вагоне узкоколейки, после признания Альбертины, где она воспитывалась, я пожелал во что бы то ни стало оградить ее от некоторых влияний и помешать ей провести вдали от меня несколько дней. Проходили дни за днями, привычки стали машинальными, но если бы кто спросил у меня, что означает затворничество, на которое я обрек себя, вплоть до того, что перестал даже ходить в театр, я мог бы ответить (хоть и не почувствовал бы желания это сделать), что, подобно тем обрядам, значение которых пытается открыть История, оно обязано своим происхождением мучительной тревоге, охватившей меня однажды вечером, и потребности доказать себе самому что женщина, прискорбное детство которой мне стало известно, впредь лишена будет возможности, даже если пожелает, подвергнуться таким же искушениям. Лишь изредка вспоминал я теперь об этих возможностях, но все же они, должно быть, смутно присутствовали в моем сознании. Факт их разрушения с каждым днем — или ежедневно предпринимаемая попытка их разрушить — был, должно быть, причиной, почему мне так сладко было целовать щеки, ничуть не более красивые, чем множество других щек; под всяким сколько-

нибудь глубоким чувственным наслаждением кроется угроза постоянной опасности.

***

Я обещал Альбертине засесть за работу, если мне не захочется выйти с нею, но на другой день дом, словно воспользовавшись нашим сном, волшебно переносился куда-то, и я просыпался при другой погоде, в другом климате. А можно ли работать в момент приезда в новую страну, когда нужно приспособляться к непривычным условиям? Между тем каждый новый день был для меня новой страной. Как было узнать мне даже лень мою в новых формах, которые она принимала?

В дни непоправимо ненастные одно лишь сиденье дома, под шум ровного, обложного дождя, окружавшего скользкой негой, успокоительной тишиной, обладало занимательностью морского путешествия, в ясные же дни, лежа неподвижно в постели, я похож был на ствол дерева, вокруг которого медленно движется тень.

А бывало еще и так, что при первых звуках колоколов соседнего монастыря, редких как ранние богомолки, едва белеющие на сером небе бесформенными пятнами весеннего дождя с крупой, которые плавились и разгонялись теплым ветром,

я различал один из тех бурных, непостоянных и мягких дней, когда по крышам, смоченным внезапным ливнем и высушенным порывом ветра или беглым лучом, лоснятся под солнцем переливчатые шиферные плиты, окрашиваясь в радужные цвета; один из тех дней, которые так наполнены переменами погоды, воздушными происшествиями, грозами, что ленивец не считает их потерянными, будучи всецело поглощен неутомимой деятельностью, развиваемой как бы от его лица стихиями; дней, подобных периодам мятежа или войны, которые не кажутся пустыми школьнику, пропускающему уроки, потому что, проходя мимо Дворца Правосудия или читая газеты, он питает иллюзию, будто развернувшиеся события, содействуя его умственному развитию, служат заменой невыученных уроков и оправданием его праздности; дней, с которыми можно сравнить дни резких переломов в нашей жизни, когда человек, никогда ничего не делавший, надеется, что при счастливом исходе ему удастся приобрести навык к труду; таким бывает, например, утро дуэли, которая должна будет произойти в очень опасных условиях; в тот миг, когда он рискует потерять жизнь, он вдруг познает ее цену: как хорошо он мог бы воспользоваться ею,

чтобы начать литературную работу или просто предаться удовольствиям, между тем как до сих пор он совсем не умел ею наслаждаться. «Если только я не буду убит, — говорит он себе, — как энергично примусь я за работу немедленно же по возвращении домой и с какой жадностью буду я развлекаться».

Жизнь действительно вдруг приобрела в его глазах большую цену, потому что он вкладывает в жизнь все, что, по его мнению, она может дать, а не то немногое, что он обыкновенно брал у нее. Он видит ее в свете своего желания, а не такой, как — ему известно это из собственного опыта — он умел делать ее, тусклой и серенькой! На мгновение она наполнилась работой, путешествиями, горными экскурсиями, всеми теми превосходными вещами, которые, как он уверяет себя, гибельный исход этой дуэли может сделать недоступными для него, тогда как они были такими и до возникновения вопроса о дуэли, по вине его дурных привычек, которые, не будь этой дуэли, продолжали бы действовать. Он возвращается домой даже не раненый, но вновь находит прежние препятствия к удовольствиям, экскурсиям, путешествиям, ко всему тому, что, как он опасался несколько минут тому назад, будет

навсегда похищено у него смертью: их похищает у него жизнь. Что же касается работы, то — так как следствием исключительных обстоятельств бывает еще большее укрепление привычек человека, то есть деятельности у труженика, лени у бездельника — он увольняет себя в отпуск.

Я поступал подобно ему, поступал так, как поступал всегда после давнишнего своего решения приступить к работе; я принял его давным-давно, а мне казалось, что оно у меня сложилось только вчера, так как я считал проходившие один за другими дни недействительными. Точно так же относился я и к описываемому, бездеятельно созерцая его ливни и на мгновение выглядывающее солнце и обещая себе засесть за работу с завтрашнего дня. Но я был уже не тот под безоблачным небом; золотой звон колоколов был не только насыщен светом, как мед, но вызывал также ощущения света и приторного вкуса варенья (так как в Комбре он часто запаздывал, словно оса на нашем столе, с которого уже было убрано). В этот сверкающий солнечный день лежать до вечера с закрытыми глазами было столь же позволительно, естественно, здорово, благотворно, уместно, как держать шторы опущенными во время жары.

Как раз в такую погоду, в начале второго пребывания в Бальбеке, слушал я скрипки оркестра среди голубоватых наплывов растущего прилива. Насколько полнее обладал я Альбертиной сегодня! Бывали дни, когда звон колокола, отбивавшего часы, нес на сфере своего звучания словно пласт влаги или света, такой свежий, так мощно развернутый, что похоже было на перевод для слепых или, если угодно, на музыкальный перевод прелести дождя или прелести солнца. Настолько, что, лежа в постели с закрытыми глазами, я говорил себе, что все может быть переложено на музыку и что вселенная, состоящая только из звуков, может быть столь же разнообразной, как и вселенная зрительная. Медленно проплывая день за днем, словно в лодке, и видя встающие передо мной все новые волшебные воспоминания, — которых я не искал, которые мгновение назад были мне невидимы, которые память рисовала мне, одно за другим, не предоставляя мне права выбора, — я лениво продолжал по этим ровным просторам солнечную свою прогулку.

Утренние бальбекские концерты происходили не так давно. А между тем в то сравнительно близкое время мне было мало дела до Альбер-

тины. В первые дни по приезде я даже не знал, что она в Бальбеке. Кто же мне об этом сказал? Ах, да, Эме! Было так же солнечно, как сегодня. Эме обрадовался, увидя меня. Но он не любит Альбертины. Не могут же все любить ее. Да, это он сообщил мне, что Альбертина в Бальбеке. Откуда же он узнал об этом? Да, он встречал ее, он нашел, что у нее дурные манеры. Вдруг рассказ Эме предстал мне под другим углом, чем тогда, в Бальбеке, и мысли мои, до сих пор безмятежно и радостно плывшие по этим благодатным водам, мгновенно разлетелись вдребезги, словно наткнувшись на невидимую опасную мину, предательски заложенную на этом участке моей памяти. Что подразумевал он под дурными манерами? Я понял их тогда, как манеры вульгарные, потому что, наперед ему возражая, я объявил, что Альбертина женщина изысканная. Но что, если он подразумевал ее гоморрские наклонности? Она была с приятельницей, может быть, они шли обнявшись, бросали взгляды на других женщин и действительно обладали «манерами», которых я никогда не замечал у Альбертины в моем присутствии. Кто была та приятельница, где ее встречал Эме, эту ненавистную Альбертину?

Я старался припомнить рассказ Эме во всех

подробностях, чтобы посмотреть, может ли он быть как-нибудь связан с тем, что рисовалось моему воображению, или же Эме подразумевал только вульгарные манеры. Но тщетно вопрошал я себя, — лицо, задававшее вопрос, и лицо, способное вспомнить, были, увы, одним и тем же лицом, — мною, удваивавшимся на несколько мгновений, но ничего к себе не прибавлявшим. Я спрашивал и я отвечал, — таким путем знаний у меня не прибавлялось. Я не думал больше о мадмуазель Вентейль. Рожденный новым подозрением приступ терзавшей меня ревности был тоже новым, или, вернее, он был лишь продолжением, расширением прежнего подозрения, действие оставалось тем же, только разыгрывалось оно не в Монжувене, а на той дороге, где Эме встретил Альбертину, предметом же ревности были несколько приятельниц Альбертины, одна из которых могла и сегодня сопровождать ее. Может быть, это была некая Елизавета, а, может быть, те две девушки, с которыми Альбертина в казино переглядывалась в зеркале, делая вид, будто их не замечает. У нее наверно были с ними отношения, а также с Эсфирью, кузиной Блока. Если бы о подобных отношениях мне стало известно через третье лицо, это известие было бы

для меня сокрушительным ударом, но так как они измышлялись мною самим, то я старался придать им возможно меньше вероятия, чтобы притупить боль.

Нам случается в форме подозрений поглощать ежедневно в огромных дозах мысль, что нас обманывают, тогда как ничтожнейшая крупица этой мысли могла бы стать смертельной, будучи введена в нас уколом разрывающего сердце слова. Должно быть, по этой причине ревнивец, руководимый инстинктом самосохранения, не колеблясь, измышляет жесточайшие подозрения насчет самых невинных фактов, при условии отрицания очевидности первого же представленного ему доказательства. Впрочем, любовь — болезнь неизлечимая, как те органические состояния, при которых ревматизм дает передышку только для того, чтобы уступить место припадочным мигреням. Едва только ревнивое подозрение успокаивалось, как я уже сердился на Альбертину за то, что она была недостаточно нежна и, может быть, насмехалась надо мной с Андре. Я с ужасом думал, какое она составит обо мне представление, если Андре перескажет ей все наши разговоры; будущее казалось мне ужасным. Терзания эти покидали меня только в

тех случаях, когда какое-нибудь новое ревнивое подозрение толкало меня на новые розыски или же, напротив, избыток нежностей Альбертины делал мое счастье ничтожным. Кем могла быть та девица? Мне непременно нужно будет написать Эме, постараться увидеть его, а затем проверить его показания разговором с Альбертиной, ее исповедью. А тем временем, вообразив, что подозреваемая мной девица — кузина Блока, я попросил своего приятеля, совершенно не понявшего моих намерений, показать мне ее фотографическую карточку или, еще лучше, при случае познакомить меня с ней.

Сколько людей, городов, дорог жаждем мы узнать таким образом, терзаемые ревностью! Ревность возбуждает в нас любознательность, благодаря которой мы по отрывочным данным строим последовательно все возможные гипотезы, за исключением той, которая соответствовала бы действительности. Никогда нельзя быть уверенным, что в нас не заронит подозрения припомнившаяся вдруг неясная фраза, не без умысла установленное алиби. Мы больше не виделись со своей возлюбленной, но есть ревность задним числом, возникающая после того, как мы ушли от нее, ревность на лестнице. Быть может,

выработавшаяся у меня привычка хранить в глубине сердца иные желания: желание светской барышни вроде тех, что проходили мимо моего окна в сопровождении гувернанток, особенно же той, которая, по словам Сен-Лу, посещала дома свиданий; желание красивых горничных, особенно горничной г-жи Пютбюс; желание съездить в деревню в начале весны, чтобы снова увидеть боярышник, яблони в цвету, грозы; желание Венеции; желание приняться за работу; желание жить как все, — быть может, привычка сохранять в себе неутоленными все эти желания, довольствуясь обещанием осуществить их в один прекрасный день, — быть может, эта насчитывающая уже много лет привычка вечно откладывать, которую г. де Шарлюс клеймил словом «прокрастинация», стала у меня настолько всеобъемлющей, что простиралась также на мои ревнивые подозрения и, — неустанно напоминая о необходимости как-нибудь объясниться с Альбертиной по поводу девицы или девиц (эта часть рассказа потускнела, стерлась, сделалась, так сказать, непроходимой в моей памяти), с которой или с которыми встретил ее Эме, — заставляла меня отсрочивать свое объяснение. Во всяком случае, я бы не заговорил с Альбертиной на эту

тему сегодня вечером, не желая подвергнуться риску показаться ей ревнивцем и рассердить ее.

Однако, когда на другой день Блок прислал мне фотографию своей кузины Эсфири, я поспешил переправить ее Эме. И в ту же минуту я вспомнил, что Альбертина отказала мне утром в наслаждении, которое действительно могло бы утомить ее. Значит, она хотела приберечь его для кого-то другого? Сегодня днем, может быть? Для кого же?

Такова беспредельность ревности; ведь даже если любимое существо, сойдя, например, в могилу, не может больше возбуждать ее своими поступками, все же случается, что воспоминания, оставшиеся после реального события, вдруг сами начинают вести себя как реальные события, — воспоминания, которых мы не проясняли до сих пор, которые казались нам незначительными, но над которыми нам стоит только подумать, чтобы без всякого влияния со стороны внешних событий они приобрели новый и страшный смысл. Нет надобности быть вдвоем, достаточно находиться одному в своей комнате и задуматься, чтобы родились новые измены вашей любовницы, хотя бы она уже умерла. Таким образом в любви нужно страшиться не только будущего, как в обычной жизни, но также прошлого, часто

приобретающего для нас реальность лишь после будущего, — мы говорим не только о прошлом, которое становится нам известно впоследствии, но и о том, которое мы давно хранили в себе и которое вдруг научаемся правильно читать.

Нужды нет — с наступлением вечера я был счастлив от сознания, что вскоре придет час, когда близость Альбертины позволит мне вкусить мир, в котором я так нуждался. К сожалению, наступивший вечер был из числа тех, когда желанный мир не приходил ко мне, когда поцелуй, который даст мне Альбертина, прощаясь со мной, совсем непохожий на ее обычный поцелуй, так же мало успокоит меня, как некогда поцелуй моей матери в дни, когда она бывала сердита и я не смел позвать ее, хотя чувствовал, что мне не удастся уснуть. Такими вечерами бывали теперь те, когда Альбертина строила на завтра какой-нибудь план, в который не желала меня посвятить. Если бы она доверила мне этот план, я содействовал бы его осуществлению с таким пылом, какого никто, кроме Альбертины, не мог бы мне внушить. Но она не говорила мне ни слова, да и не чувствовала в этом никакой потребности; едва только она входила, едва показывалась на пороге моей комнаты, не успев еще снять свою

шляпу или шапочку, как я сразу замечал непонятное мне, упорное, остервенелое, неукротимое желание. И часто это случалось в те вечера, когда я ожидал ее возвращения с самыми нежными мыслями, когда собирался броситься ей на шею и расцеловать ее.

Увы, мои разлады с родными, которых я часто находил холодными или раздраженными, подбегая к ним с ласками и нежностью, — ничто по сравнению с разладами между любовниками! Страдание тогда гораздо менее поверхностно, гораздо труднее выносимо, оно гнездится в сердце на большей глубине.

В тот вечер, однако, Альбертина принуждена была сказать мне кое-что о составленном ею плане; я сразу понял, что она хочет сделать завтра визит г-же Вердюрен, визит, который сам по себе не вызвал бы с моей стороны никаких возражений. Но по всей вероятности она шла туда, чтобы с кем-то встретиться, чтобы подготовить там какое-то наслаждение. Иначе она бы так не настаивала на своем визите. Я хочу сказать: она бы мне не повторяла, что нисколько на нем не настаивает. В своей жизни я прошел путь, обратный пути человечества, которое прежде, чем начать пользоваться фонетическим пись-

мом, рассматривало письменные знаки как ряд символов; много лет искал я подлинную жизнь и подлинные мысли людей лишь в прямых выражениях этой жизни и этих мыслей, которыми они сознательно пользовались в общении со мной, — теперь же по их вине я стал, напротив, придавать значение только свидетельствам, являющимся иррациональным и суммарным выражением истины; сами по себе слова бывали для меня поучительны, лишь когда я мог их истолковать наподобие прилива крови к лицу человека, испытывающего смущение, или же наподобие внезапно наступившего молчания.

Иное наречие (например, употребленное г-ном де Камбремер: принимая меня за писателя, он еще прежде, чем заговорить со мной, обернулся ко мне во время рассказа об одном своем визите к Вердюренам и сказал: «Было *именно* что-то из Борелли»), сорвавшееся с языка в пылу разговора вследствие невольного, иногда рискованного сопоставления двух невысказанных мыслей, — иное такое словечко, из которого, пользуясь нужными методами анализа или электролиза, я мог извлечь породившие его мысли, говорило мне больше, чем длинная речь.

Альбертина тоже не раз роняла в своих речах

подобные драгоценные амальгамы, которые я спешил подвергнуть обработке, чтобы преобразовать в ясные представления. Но что может быть мучительнее для влюбленного, чем сознание огромной трудности установления конкретных фактов (лишь тщательная разведка, лишь шпионаж могли бы их открыть среди стольких возможностей), когда так легко бывает прозреть истину или по крайней мере ее почуять?

В Бальбеке я часто видел, как Альбертина внезапно приковывала к проходящим мимо девушкам долгий взгляд, похожий на прикосновение, после чего, если я был с ними знаком, говорила: «А что, если их пригласить? Мне ужасно хочется наговорить им дерзостей». А спустя некоторое время, должно быть после того как она проникла в мои мысли, — ни одной просьбы пригласить кого-нибудь, ни одного слова, даже взгляды ее ни на ком не останавливались, сделались беспредметными и молчаливыми, но в соединении с рассеянным и беспечным выражением лица были такой же ясной уликой, как когда-то уличало ее их оживление. Между тем, мне нельзя было делать ей упреки и задавать вопросы по поводу вещей, которые она объявила бы не стоящими никакого внимания пустяками,

сказала бы, что я останавливаюсь на них единственно из удовольствия «копаться в мелочах». Ведь если трудно бывает спросить: «почему вы посмотрели вот на эту особу», то еще труднее, конечно: «почему вы на нее не взглянули». А между тем я отлично знал почему или по крайней мере узнал бы, если бы придавал веру не столько утверждениям Альбертины, сколько различным пустякам, заключенным в ее взгляде, выданным ее взглядом или каким-нибудь противоречием в ее словах, противоречием, которое я часто замечал очень не скоро, уже расставшись с нею, от которого я страдал всю ночь, о котором не решался заговаривать, но которое, тем не менее, время от времени удостаивало мою память своими периодическими визитами.

Часто, наблюдая эти с виду невинные, воровские взгляды на бальбекском пляже или на парижских улицах, я задавался вопросами, уж не является ли вызвавшая их особа не просто предметом желаний, вспыхнувших, когда она проходила мимо, но давнишней знакомой Альбертины или же девицей, о которой ей много говорили, хотя меня это очень поражало, настолько девица эта стояла вне круга возможных, по мнению Альбертины, знакомств. Но нынеш-

няя Гоморра — это головоломка, составленная из кусков, взятых там, где мы меньше всего ожидали их найти. Так, я видел однажды большой обед в Ривбеле, случайно узнав имена десятка приглашенных на него женщин: они не имели между собой решительно ничего общего, однако так идеально подошли друг к другу, что никогда не наблюдал я столь однородного, несмотря на всю пестроту его, общества.

Но возвращаюсь к юным прохожим, с которыми встречалась Альбертина. На пожилых дам и на стариков никогда не смотрела она так пристально или же, напротив, так осторожно, точно она ничего не видела. Ничего не знающие обманутые мужья знают однако все. Но чтобы устроить сцену ревности, нужно иметь более осязательные данные. Впрочем, если ревность помогает нам открыть у любимой женщины некоторую наклонность к лжи, она удесятеряет у ней эту наклонность, когда женщина обнаружила, что мы ревнивы. Она лжет (в пропорциях, в каких никогда раньше не лгала) из жалости, из страха, или же инстинктивно укрываясь от нашей слежки при помощи строго соразмерных нашим усилиям увертoк. Конечно, бывает любовь, когда легкомысленная женщина с самого начала пред-

ставляется воплощением добродетели в глазах любящего ее человека. Но гораздо чаще в любви можно наблюдать два резко противоположных периода. В течение первого женщина говорит довольно непринужденно, лишь немного смягчая краски, о своей склонности к наслаждению, о своей «рассеянной» жизни, обусловленной этой склонностью, о всем том, что она самым энергичным образом будет отрицать тому же человеку, почувствовав, что он ее ревнует или устраивает за ней слежку. Случается, что мы сожалеем об исчезновении этой, первоначальной откровенности, несмотря на то, что воспоминание о ней для нас мучительно. Если бы женщина осталась такой же откровенной с нами, она почти что сама дала бы нам ключ к тайне, в которую мы тщетно пытаемся проникнуть каждый день. И какую преданность, какую доверчивость, какое дружелюбие она бы этим выказала! Если она не может жить, не обманывая, пусть по крайней мере обманывает по-дружески, рассказывая нам о своих удовольствиях, посвящая нас в них. И мы сожалеем о той жизни, которую как будто сулило начало нашей любви, но которая потом стала немыслимой, ибо любовь наша превратилась в жестокую пытку, которая, смотря по обстоя-

тельствам, сделает разлуку или неизбежной, или невозможной.

Иногда письмена, по которым я расшифровывал ложь Альбертины, не были идеографическими, их просто надо было читать наоборот; так, в тот вечер она с небрежным видом обронила мне сообщение, которое должно было остаться почти незамеченным: «Возможно, что мне придется пойти завтра к Вердюренам, право не знаю, пойду ли я, у меня нет ни малейшей охоты». Детски-наивная анаграмма этого признания: «Завтра я пойду к Вердюренам, пойду во что бы то ни стало, потому что считаю этот визит крайне важным». Это притворное колебание означало твердо принятое решение и имело целью уменьшить в моих глазах важность визита, о котором мне все же было сообщено. Свои непреложные решения Альбертина всегда выражала тоном сомнения. Однако и мое решение было не менее непреложным. Я устроил так, чтобы визит к г-же Вердюрен не мог состояться. Ревность часто есть беспокойная потребность в тирании относительно вещей, касающихся любви. Я должно быть унаследовал от отца эти внезапные вспышки своевольного желания ставить под угрозу надежды самых любимых мною людей, показывая им обманчи-

вость уверенности, с которой они их лелеяли; когда я видел, что Альбертина без моего ведома, тайком от меня, затеяла прогулку, которой я бы с величайшей охотой содействовал и постарался сделать как можно более приятной, если бы она посвятила меня в ее подробности, — я подчеркнуто небрежным тоном, чтобы повергнуть ее в трепет, говорил, что сам собираюсь прогуляться в тот день.

Я стал советовать Альбертине направиться в другие места, исключавшие возможность визита к Вердюренам, и слова мои пропитаны были притворным равнодушием, которым я старался замаскировать мое крайнее раздражение. Но она его разгадала. Мое раздражение индуцировало в ней электрический ток враждебной воли, резко ее отталкивавший; я видел в глазах Альбертины сверкавшие его искры. Впрочем, стоило ли мне придавать значение тому, что говорили зрачки ее в эту минуту? Как мог я не заметить до сих пор, что глаза Альбертины принадлежат к разряду тех, что даже у человека посредственного как будто сложены из нескольких кусков, число которых определяется числом мест, где их обладатель хочет находиться сегодня — тайком от вас. К разряду глаз благодаря своей лживости всегда

неподвижных и пассивных, но динамичных, измеряемых количеством метров или километров, которые нужно одолеть, чтобы оказаться на желанном свидании, свидании во что бы то ни стало, — глаз, которые не столько озаряются улыбкой при мысли об искушающем их наслаждении, сколько затуманиваются печалью или унынием, когда возникают помехи для условленного свидания. Даже заключенные в ваши объятия, такие существа ускользают от вас. Чтобы понять вызываемое ими волнение, которого другие существа, пусть даже более красивые, не вызывают, нужно учитывать, что существа эти не неподвижны, но пребывают в движении, нужно присоединить к их личности знак, соответствующий тому, что в физике обозначает скорость. Если вы расстраиваете их планы, они вам сознаются, какое удовольствие было утаено ими от вас: «Я так хотела пойти в ресторан в пять часов с особой, которую я люблю». Но если шесть месяцев спустя вы познакомитесь с названной особой, вы узнаете, что никогда девушка, планы которой вы расстроили, которая, попавши в ловушку, созналась вам, чтобы вы оставили ее в покое, будто ежедневно в час, когда вы ее не видели, она бывала в ресторане с любимой

особой, — вы узнаете, что эта особа никогда не принимала вашей возлюбленной, что они никогда не бывали вместе в ресторане и что ваша возлюбленная говорила этой особе, будто все ее время занято, притом занято именно вами. Итак, особа, с которой, по ее признанию, она была в ресторане, с которой она умоляла вас оставить ее наедине, — особа эта, без всякого сомнения, была не той, она была другой; тут крылось что-то иное! Иное — но что же? Другой, — но кем же?

Увы, глаза, сложенные из кусков, устремленные вдаль и печальные, позволят, пожалуй, измерить расстояния, но они не указывают направлений. Простирается бесконечное поле возможностей, и если бы случайно нам предстала действительность, она оказалась бы настолько чуждой возможностям, что у нас вдруг помутилось бы в глазах, мы наткнулись бы на выросшую перед нами стену и упали бы навзничь. Даже нет надобности констатировать движение, бегство, — достаточно о них умозаключить. Она обещала нам письмо, мы успокоились, мы больше не любим. Письмо не пришло, ни одна почта его не доставляет, воскресает тревога, а с ней любовь. Такие существа преимущественно и внушают нам любовь, на наше несчастье. Ибо каждая

новая тревога, в которую они нас повергают, на наших глазах похищает кое-что из их личности. Мы покорились страданию, полагая, что предмет нашей любви вне нас, и вот мы замечаем, что наша любовь есть функция нашей печали, что наша любовь, может быть, не что иное, как наша печаль, и что предметом ее лишь в незначительной степени является черноволосая барышня. Но как раз такие люди больше всего внушают любовь.

Предметом любви очень редко бывает тело, — разве только в нем сплавлены волнение, страх его потерять, неуверенность, удастся ли нам найти его вновь. Между тем только что описанная тревога имеет большое тяготение к телу. Она украшает его качествами, затмевающими даже красоту; это одна из причин, почему иные равнодушные к красавицам мужчины страстно любят женщин, которые кажутся нам уродами. Свойства характера и наше беспокойство наделяют крыльями этих женщин, эти ускользающие существа. Даже когда они возле нас, взгляд их как будто говорит, что они вот-вот улетят. Доказательством этой красоты, превосходящей красоту, которой наделяют крылья, служит то, что часто одно и то же существо бывает для нас последовательно бескрылым и крылатым. Как только нас

охватывает страх потерять его, мы забываем всех других. А будучи уверены в своей власти над ним, мы его сравниваем с другими и тотчас же ставим их выше его. Но такой страх и такая уверенность могут каждую неделю чередоваться, и бывает, что одну неделю мы жертвуем какой-нибудь женщине всем, что нам нравилось, а на следующей неделе ее самое приносим в жертву, и так в течение очень долгого времени. Это было бы непонятно, если бы мы не знали по опыту, которым обладает всякий мужчина, хоть раз в жизни разлюбивший и позабывший женщину, — как ничтожно само по себе существо, когда оно не способно больше или еще не способно пробудить в нас волнение. И разумеется, все, что мы говорим о существах ускользающих, справедливо также о существах заточенных, о пленницах, которые, по нашему убеждению, навсегда нам останутся недоступны. Мужчины обыкновенно терпеть не могут сводень, этих пособниц бегства, разукрашивающих соблазн, но если они любят, напротив, женщину заточенную, то охотно прибегают к услугам сводни, чтобы освободить ее из темницы и привести к себе. Если связь с похищенными женщинами бывает сравнительно непродолжительна, то лишь оттого, что вся наша любовь

в таких случаях сводится к боязни, что нам не удастся ими овладеть, или тревоге, как бы они не сбежали; похищенные у мужей, выхваченные с подмостков своего театра жизни, вылеченные от искушения покинуть нас, словом, разобщенные с нашим волнением, каково бы оно ни было, они сказываются только собою, то есть — почти что ничем, и недавно еще страстно желанные, скоро покидаются тем самым мужчиной, который смертельно боялся быть покинутым ими.

Я сказал: «Как я не догадался?» Но разве не догадался я об этом с первого же дня в Бальбеке? Разве не угадал я в Альбертине одну из девушек, под телесной оболочкой которых бьется больше скрытых существ, нежели, не говорю уже, в еще не распечатанной колоде карт, нежели в соборе или в театре перед тем, как мы туда вошли, но нежели в огромной, постоянно обновляющейся толпе. Не только множество существ, но еще и желания, сладострастные воспоминания, беспокойные поиски множества существ. В Бальбеке я не был встревожен, потому что никак не предполагал, что в один прекрасный день займусь выслеживанием, пойду даже по ложным следам. Все равно, это сообщило Альбертине в моих глазах богатство, она показалась мне до дна на-

полненной множеством существ, множеством желаний и сладострастных воспоминаний других существ. И теперь, когда она мне сказала однажды: «Мадемуазель Вентейль», мне бы хотелось не платье с нее сорвать, чтобы увидеть ее тело, но разглядеть сквозь ее тело всю запись ее воспоминаний и назначенных на ближайшее время свиданий.

Какую необыкновенную важность приобретают вдруг вещи, вероятно, самые ничтожные, когда их от нас скрывает любимое существо (или такое, которому не хватало только этой двойственности, чтобы мы его полюбили)! Само по себе страдание не пробуждает в нас непременно любви или ненависти к причиняющему его лицу: хирург, делающий нам больно, остается для нас безразличным. Но вот женщина твердит нам в течение некоторого времени, что мы — все для нее, хотя бы сама она не была всем для нас, — женщина, которую мы с удовольствием видим, целуем, держим у себя на коленях, — как же мы бываем удивлены, если по внезапному ее сопротивлению узнаем, что мы над ней не властны. Горькое это открытие пробуждает иногда в нас давно забытую тоску, которая однако вызвана была не этой женщиной, а другими, чьи измены

вереницей уходят в наше прошлое; да и откуда взять мужество, чтобы желать жить, как найти в себе силы, чтобы оборониться от смерти, в мире, где любовь вызывается только ложью и целиком сводится к потребности в успокоении наших страданий существом, которое нам их причинило? Чтобы освободиться от подавленности, которую мы испытываем, открывая эту ложь и это сопротивление, есть грустное средство попытаться воздействовать на ту, что противится и лжет нам, наперекор ее желаниям, с помощью существ больше нас вхожих в ее жизнь, попытаться самим пуститься на хитрости, внушить к себе отвращение. Но страдание от такой любви принадлежит к числу тех, что неодолимо увлекают больного искать обманчивого облегчения в перемене положения.

В нашем распоряжении есть, увы, сколько угодно подобных способов действия! Ужас такой любви, порожденной одной лишь тревогой, проистекает от того, что, сидя в своей клетке, мы беспрестанно переворачиваем на все лады самые незначительные фразы; не говоря уже о том, что лица, являющиеся ее предметом, редко нравятся нам физически во всех отношениях, ибо выбор наш определяется не свободным влечением, но

случайной минутой тоски, минутой, бесконечно продолжаемой слабостью нашего характера, которая каждый вечер заставляет нас повторять опыты и прибегать к болеутоляющим средствам.

Конечно, любовь моя к Альбертине не обходилась без применения таких средств, до которых можно опуститься по слабоволию, ибо она не была чисто платонической; моя любовница доставляла мне плотские наслаждения и кроме того она была умна. Но все это было несущественно. Меня занимало не то, что она могла сказать умного, но какое-нибудь словечко, пробуждавшее сомнение насчет ее поступков; я пытался вспомнить, сказала ли она то-то и то-то, с каким видом, при каких обстоятельствах, в ответ на какие мои слова, — восстановить всю сцену ее разговора со мной, когда она пожелала идти к Вердюренам, какое мое замечание вызвало на лице ее досаду. Дело касалось страшно важного события, для точного восстановления которого, для воспроизведения подлинной его атмосферы и окраски я не пожалел бы никакого труда. Конечно, случается иногда, что такие тревоги, достигнув невыносимого напряжения, совершенно утихают на целый вечер. В течение нескольких дней ломали мы голову, разгадывая, что это за праздник, на который

должна отправиться наша возлюбленная, — но вот мы сами тоже получаем приглашение, наша подруга занята там только нами, обращается только к нам, мы провожаем ее домой, тревоги наши рассеиваются, и мы вкушаем тот полный, целительный покой, какой приносит иногда глубокий сон после долгой ходьбы пешком. За такой покой стоит, конечно, заплатить дорого. Но не проще ли было бы нам воздержаться от покупки тревоги по еще более дорогой цене? Впрочем, мы отлично знаем, что как бы ни были глубоки эти мимолетные успокоения, тревога все-таки возьмет над ними верх. Иногда ее возобновляет фраза, имевшая целью принести нам покой. Но чаще всего мы от одной тревоги переходим к другой. Одно из слов фразы, предназначавшейся для нашего успокоения, направляет наши подозрения по другому пути. Ревность наша более требовательна и доверчивость ослеплена в большей степени, чем могла предполагать любимая нами женщина.

Когда она ни с того ни с сего клянется нам, что такой-то мужчина для нее только друг, нас потрясает известие, что он ее друг, — мы об этом не подозревали. Когда для доказательства своей искренности она нам рассказывает, как они

несколько часов тому назад пили вместе чай, с каждым ее словом невидимое, неподозреваемое облекается для нас формой. Она признается, что спутник просил ее стать его любовницей, и мы жестоко мучимся, что она могла слушать его предложения. Они были ею отвергнуты, заявляет она. Но вскоре, вспоминая ее рассказ, мы будем спрашивать себя, да точно ли правдив этот рассказ, ибо между различными его частями заметно отсутствие той необходимой логической связи, которая в большей степени, чем рассказанные факты, является свидетельством истины. Кроме того, слова: «Я сказала ему нет, категорически», — были ею произнесены тем ужасным презрительным тоном, какой находят женщины всех общественных классов, когда они лгут. Нам нужно все же поблагодарить нашу подругу за ее отказ, поощрить ее своей добротой к новым столь же жестоким признаниям в будущем. Самое большее, мы решаемся заметить: «Но если он сделал вам такое предложение, зачем согласились вы пить чай с ним?» — «Чтобы он на меня не рассердился и не сказал, что я была не любезна». И у нас не хватает смелости ответить, что, отказав, она была бы, может быть, более любезна по отношению к нам.

Вдобавок, Альбертина пугала меня заявлениями, что я прав, не возводя на нее напраслины, не утверждая, что я ее любовник, «ибо ведь», — прибавляла она, — «вы и в самом деле не любовник». Пожалуй, я действительно не был им вполне, но в таком случае, уж не проделывала ли она все, что мы делали с ней вместе также и с теми мужчинами, которые, по клятвенным ее уверениям, никогда не были ее любовниками? Желание узнать какой угодно ценой, что Альбертина думает, кого видит, кого любит, — как странно было, что я всем бы пожертвовал для удовлетворения этой потребности, ведь и относительно Жильберты я чувствовал такую же потребность знать собственные имена и факты, которые стали для меня теперь так безразличны. Я отлично сознавал, что поступки Альбертины сами по себе ничуть не интереснее. Любопытно, что первая любовь, хотя и прокладывает дорогу для последующих увлечений благодаря немощности, в которой она оставляет наше сердце, она нам не дает однако — несмотря на тождество симптомов и страданий — никаких целительных средств.

Впрочем, есть ли надобность знать факты? Разве не знаем мы заранее, как распространены среди женщин лживость и сдержанность, когда

у них есть что скрывать? Существует ли тут возможность ошибки? Они вменяют себе в заслугу молчание, между тем как нам так хотелось бы заставить их говорить. И мы чувствуем, как они заверили своего сообщника: «Я никогда ни о чем не болтаю. Если что-нибудь станет известно, то не от меня, я никогда ни о чем не болтаю». Мы отдаем свое состояние, свою жизнь ради женщины, и однако хорошо знаем, что через каких-нибудь десять лет, немного меньше или немного больше, мы отказали бы этой женщине в материальных жертвах и предпочли бы сохранить свою жизнь. Потому что тогда эта женщина будет оторвана от нас, будет одна, то есть будет представлять собой ничто. Тысяча корней, несчетные нити, каковыми являются воспоминания о вчерашнем вечере, надежды на завтрашнее утро, сплошная сеть привычек, от которых мы не в силах отделаться, — вот что привязывает нас к другим людям. Подобно тому, как есть скупые, которые копят от щедрости, мы расточительствуем от скупости, и мы жертвуем нашей жизнью не столько определенной личности, сколько всему, что ей удалось привязать к себе из наших часов, из наших дней, из того, по сравнению с чем жизнь еще не прожитая, жизнь будущая кажется нам жизнью более

далекой, более обособленной, менее пригодной, менее нашей. Нам бы следовало прежде всего освободиться от этих оков, обладающих гораздо большей важностью, чем личность женщины, но они постепенно создают в нас минутные обязанности по отношению к ней, обязанности, благодаря которым мы не решаемся покинуть ее, боясь, как бы она нас не осудила, между тем как спустя некоторое время мы найдем в себе решимость, ибо, отделенная от нас, она не будет больше нами, мы же создаем обязанности (хотя бы даже, в силу кажущегося противоречия, они приводили к самоубийству) лишь по отношению к самим себе. Хотя я не любил Альбертины (в чем я, впрочем, не был уверен), однако место, занимаемое ею подле меня, было вполне естественным: мы живем только с тем, чего мы не любим, что мы заставили жить с собой только для того, чтобы убить невыносимую любовь, идет ли речь о женщине, о местности, или же о женщине, вмещающей в себя местность. Мы боимся даже, как бы не воскресла любовь, если вновь наступит разлука. Я не достиг еще этой точки в отношениях с Альбертиной. Ее лживость, ее признания предоставляли мне самому заниматься выяснением истины: ее *лживость*

на каждом шагу, потому что она не довольствовалась той ложью, к которой прибегает всякая женщина, считающая себя любимой, но была еще и по природе лживой, да вдобавок еще столь изменчивой, что даже говоря мне иногда правду, высказывая, например, свои мысли о людях, она говорила каждый раз иное; а ее признания были настолько редкими и так внезапно обрывались, что оставляли между собой, поскольку касались прошлого, огромные пробелы, все пространство которых мне нужно было заполнить картиной ее жизни, для чего сначала нужно было ее узнать.

Что касается настоящего, то, поскольку я способен был правильно истолковывать сивиллины слова Франсуазы, ложь Альбертины не ограничивалась отдельными частностями, а простиралась на все, и «в один прекрасный день я увижу все», что будто бы знала Франсуаза, но чего не хотела мне говорить, а я не решался у нее спросить. Впрочем, по-видимому в силу той же ревности, какую она питала когда-то к Евлалии, Франсуаза говорила неправдоподобнейшие вещи, до такой степени туманные, что в них самое большее можно было разобрать совершенно нелепое предположение, будто бедная пленница (которая любила женщин) предпочитает выйти замуж за

кого-то, кто по-видимому ни в малейшей степени не являлся мной. Если бы это было, то, несмотря на свою радиотелепатию, как бы Франсуаза об этом узнала? Конечно, рассказы Альбертины ни в каком случае не могли утвердить меня в таком предположении, ибо каждый день они были так же переменчивы, как цвета почти остановившегося волчка. К тому же, было достаточно очевидно, что слова Франсуазы были внушены моей дуэнье ненавистью. Дня не проходило без того, чтобы она не произносила передо мной и я не сносил в отсутствие моей матери речей в таком роде:

— «Понятно, вы любезны, и ввек не забуду, сколько я вам обязана (говорилось это вероятно с той целью, чтобы я заслужил право на ее благодарность), а только дом зачумлен с тех пор, как любезность водворила здесь плутовство и ум покровительствует отъявленнейшей дуре, какая когда-либо была видана, — с тех пор, как тонкость, манеры, остроумие, достоинство во всем, наружность и душа принца позволили пороку, самой последней низости и пошлости вводить законы, плести козни и помыкать мной, уже сорок лет живущей у вас в доме».

Франсуаза особенно негодовала на Альбертину

за то, что ей отдавала приказания особа, не принадлежащая к нашему семейству, за увеличение работы по хозяйству, за утомление, подрывавшее здоровье нашей старой служанки, которая тем не менее ни за что не хотела, чтобы ей дали помощницу, как «ни на что больше негодной» старухе. Все это достаточно объясняло ее нервное возбуждение, ее гнев и негодование. Конечно, ей хотелось, чтобы Альбертина — Эсфирь была изгнана. Это было заветное желание Франсуазы. Исполнение его успокоило бы нашу старую служанку. Но, по-моему, дело было не только в этом. Такая ненависть могла родиться только в надорвавшемся теле. Еще больше, чем в уважении, Франсуаза нуждалась в сне.

Альбертина пошла переодеваться, и, чтобы поскорее собрать сведения, я попробовал позвонить Андре; я схватил трубку, вызвал неумолимых богинь, но только их разгневал, услышав в ответ: «Занято». Андре действительно с кем-то разговаривала. В ожидании, когда она кончит, я задался вопросом, почему в настоящее время, когда столько художников пытается возродить женские портреты XVIII века, на которых искусная инсценировка служит предлогом для выражения ожидания, досады, любопытства, мечтательно-

сти, — почему ни один из современных Буше или Фрагонаров не напишет, вместо «письма» или «клавесина» и т. п., сцены, которую можно бы было назвать: «У телефона», и где на губах слушающей невольно рождалась бы улыбка, тем более естественная, что ее никто не видит. Наконец, Андре меня услышала: «Вы заедете за Альбертиной завтра?» — и, произнося имя «Альбертина», я вспомнил о зависти, возбужденной во мне Сваном, когда он сказал однажды на вечере у принцессы Германтской: «Приходите повидать Одетту», и о том, как я подумал, сколько все же силы в женском имени, которое в глазах всего света и самой Одетты звучало как символ безусловного обладания, только когда его произносил Сван.

Каким должно быть сладким такое — вмещенное в одно слово — обладание целой жизнью женщины, думал я каждый раз, когда бывал влюблен! Но в действительности, когда мы получаем право произносить это слово, оно либо стало нам безразлично, либо, если привычка не притупила нежности, она превратила приятность его в боль. Ложь — пустяки, мы живем посреди нее, улыбаясь ей; мы прибегаем к ней, вовсе не думая причинить кому-нибудь зло, но ревность страдает от нее и усматривает в ней больше, чем

она таит на самом деле (часто подруга наша отказывается провести вечер с нами и идет в театр просто для того, чтобы мы не видали ее кислой мины). Как часто ревность остается слепой к тому, что таит правда! Но она ничего не может добиться, ибо женщины, дающие клятву не лгать, отказались бы даже под ножом, приставленным к горлу, чистосердечно признаться, какова их натура. Я знал, что один только я имел право произносить таким тоном имя «Альбертина», обращаясь к Андре. Однако я чувствовал, что и для Альбертины, и для Андре, и для себя самого я был ничто. И я понимал, в каком тупике мечется любовь.

Мы воображаем, будто ее предметом является определенное существо, заключенное в определенном теле, которое может быть положено перед нами. Увы! она простирается на все пункты пространства и времени, которые занимала и будет занимать любимая женщина. Если мы не обладаем ее соприкосновением с таким-то местом, с таким-то часом, мы ею не обладаем. А мы не в состоянии коснуться всех этих пунктов. Добро, если бы они были нам указаны, мы бы, пожалуй, могли дотянуться до них. Но мы блуждаем в потемках, не находя их. Отсюда недоверие, рев-

ность, преследования. Мы теряем драгоценное время на поиски по ложному следу и проходим возле истины, не подозревая об этом.

Но уже одна из гневных богинь с быстрыми как вихрь прислужницами сердилась не на то, что я говорю, а, напротив, — на то, что я ничего не говорю. «Послушайте, абонент, свободно; сколько уж времени, как я соединила; я вас разъединяю». Однако она не исполнила своей угрозы и, вызывая появление Андре, окутала ее с большим поэтическим мастерством, всегда присущим телефонным барышням, особенной атмосферой, насыщавшей жилище, квартал, самую жизнь подруги Альбертины. «Это вы?» — спросила Андре, голос которой моментально был переброшен ко мне богиней, обладающей даром передавать звуки с быстротой молнии. «Слушайте, — отвечал я, — идите, куда хотите, все равно куда, только не к г-же Вердюрен. Нужно во что бы то ни стало удержать завтра Альбертину подальше от нее». — «Но как раз завтра она должна там быть». — «А-а!»

Но мне пришлось на минуту прервать разговор и сделать ряд угрожающих жестов, ибо если Франсуаза по-прежнему не желала, — точно это была такая же неприятная вещь, как прививка оспы, или такая же опасная, как полет на аэро-

плане, — научиться говорить по телефону, что избавило бы нас от сообщений, в которые она свободно могла быть посвящена, — зато она немедленно входила ко мне, когда я начинал сколько-нибудь секретный разговор, который я считал нужным скрывать от нее. Когда она вышла из комнаты, порядочно замешкавшись за уборкой различных предметов, которые стояли там со вчерашнего дня и могли преспокойно простоять еще час, и за растопкой совсем ненужного камина, так как меня и без того бросало в жар от присутствия непрошенной посетительницы и от страха, как бы барышня не разъединила меня: «Извините, пожалуйста, — сказал я Андре, — мне помешали. Это безусловно верно, что она должна пойти завтра к Вердюренам?» — «Безусловно, но я могу ей сказать, что вам это неприятно». — «Нет, напротив, возможно даже, что я сам пойду с вами». — «А-а!» — протянула Андре очень раздосадованным тоном, как бы испугавшись моей решимости, которая, впрочем, от этого только укрепилась. «Ну, я покидаю вас; простите, что побеспокоил из-за пустяков». — «Помилуйте, — отвечала Андре и (так как теперь, когда пользование телефоном стало всеобщим, телефонный разговор принято сопровождать

особенными учтивыми фразами, как в прежние времена разговор за «чаем») прибавила: — мне было очень приятно услышать ваш голос».

Я тоже мог бы это сказать, и был бы более правдив, чем Андре, ибо с изумительной тонкостью воспринял ее голос, впервые обратив внимание, насколько он был отличен от других голосов. И я припомнил эти голоса, преимущественно женские, одни — замедленные точностью вопроса и внимательностью, другие — задушевные, прерываемые лирической волной того, о чем они рассказывают, я припомнил один за другим голоса всех девушек, с которыми я познакомился в Бальбеке, потом голос Жильберты, голос бабушки, голос герцогини Германтской, я нашел всех их непохожими, отлитыми каждый на свой образец, играющими на разных инструментах, и я подумал, каким должен показаться жиденьким концерт, даваемый в раю тремя или четырьмя ангелами-музыкантами старых мастеров, по сравнению со стройным, многозвучным гимном всех этих голосов, которые десятками, сотнями, тысячами возносились к Богу. Оставляя телефон, я не забыл поблагодарить в нескольких умилостивительных словах ту, что властвовала над скоростью звуков, за любезность, с которой она

предоставила к услугам моих ничтожных слов силу, передававшую их в сто раз скорее грома, но ответом на мою благодарность было только разъединение с Андре.

Когда Альбертина вернулась в мою комнату, на ней было черное шелковое платье, которое придавало ей большую бледность, обращало в бескровную, пылкую парижанку, обесцвеченную недостатком воздуха, атмосферой толпы и, может быть, привычкой к пороку; не оживляемые румянцем щек, глаза ее казались более беспокойными.

— «Угадайте, — обратился я к ней, — с кем я только что разговаривал по телефону? С Андре». — «С Андре? — воскликнула Альбертина удивленным и взволнованным тоном, совсем не вязавшимся с таким простым известием. — Надеюсь, она не забыла рассказать вам, как мы встретились на днях с г-жой Вердюрен». — «С г-жой Вердюрен? Не припоминаю», — ответил я с таким видом, точно думал о чем-то другом, чтобы проявить равнодушие к этой встрече и в то же время не выдать Андре, сказавшей мне, куда Альбертина собиралась пойти завтра.

Но, кто знает, не предавала ли меня сама Андре и не расскажет ли она завтра Альбертине, что я

просил во что бы то ни стало помешать ей пойти к Вердюренам, — не открыла ли уже Андре, что я не раз делал ей аналогичные наставления? Андре уверяла меня, что ни разу никому о них не обмолвилась, но значение ее слов ослаблялось в моем уме впечатлением, что с некоторых пор на лице Альбертины пропало доверие, которое она так долго ко мне питала.

Любопытно, что за несколько дней до этого пререкания с Альбертиной я уже раз с ней поспорил, но в присутствии Андре. Однако, давая добрые советы Альбертине, Андре всегда имела такой вид, точно внушала ей что-то дурное. «Послушай, не говори так, замолчи», — говорила она, словно наверху блаженства. Лицо ее покрывалось сухой малиновой краской набожной экономки, рассчитывающей одного за другим всех слуг. Пока я обращался к Альбертине с упреками, которых мне не следовало делать, у нее бывал такой вид, точно она с наслаждением сосет леденец. Потом она не могла больше сдержать мягкого смеха. «Пойдем, Титина, со мной. Ты ведь знаешь, что я твоя нежно любящая сестренка». Я не только бывал раздражен этим приторным воркованием, но даже задавался вопросом, действительно ли Андре чувствовала к Альбертине приязнь, которую

она так старательно изображала. Но Альбертина, знавшая Андре гораздо больше, чем я, всегда пожимала плечами, когда я спрашивал ее, вполне ли она уверена в дружеском расположении Андре, и неизменно отвечала, что никто на земле ее так не любит, отчего и теперь еще я убежден, что привязанность Андре была неподдельной. Может быть, в ее богатой, но провинциальной семье эквивалент этих чувств нашелся бы в тех лавках на Епископской площади, где некоторые сладости считаются «что ни на есть лучшим». Но не знаю почему, несмотря на все доводы в пользу обратного мнения, у меня всегда бывало впечатление, что Андре хочет сделать неприятность Альбертине, и моя подруга тотчас становилась мне симпатичной, а гнев утихал.

Страдание в любви по временам проходит, но лишь для того, чтобы возобновиться в другом виде. Мы плачем, не замечая больше у любимой женщины той любовной предупредительности, тех порывов симпатии, на которые она была так щедра вначале, и еще больше мучимся оттого, что утратив их для нас, она их находит для других; затем от этого мучения нас отвлекает другая, еще худшая беда: подозрение, что она нам солгала о вчерашнем вечере, на котором наверно

нас обманывала; это подозрение в свою очередь рассеивается, любезность нашей подруги нас успокаивает, но тут нам приходят на память какие-нибудь забытые слова; нам сказали, что она с жаром предается наслаждению, между тем как мы знаем ее только спокойной; мы пытаемся представить себе то, чем были эти неистовства с другими, чувствуем, как мало мы для нее значили, замечаем выражение скуки, тоски, грусти во время нашего разговора, глядим, как на мрачный небосклон, на заброшенные платья, которые она надевает, когда находится с нами, сохраняя для других те, которыми она прельщала нас в начале. Если, напротив, она нежна, какая это для нас радость, увы, мимолетная! Но, видя ее призывно высунутый язычок, мы думаем о тех, к кому этот призыв так часто бывал обращен, и, может быть, даже в моем присутствии, когда Альбертина вовсе о них не думала, остался у нее, в силу слишком долгой привычки, машинальным знаком. Потом чувство, что ей скучно с нами, возвращается. Но вдруг это мучение кажется пустяком, когда мы думаем о пагубной неизвестности ее жизни, о недоступных местах, где она бывала да, может, и теперь еще бывает в часы, когда нас нет с нею, если только не замышляет поселиться там окон-

чательно, — местах, где она кажется далекой, не нашей, более счастливой, чем с нами. Таковы вертящиеся огни ревности.

Ревность является также бесом, который не поддается заклятию и вечно возвращается воплощенным в новую форму. А если бы нам удалось истребить их все и навеки сохранить ту, кого мы любим, Дух Зла принял бы тогда другое обличие, еще более волнующее, обличие отчаяния, что мы добились верности только силой, отчаяния, что нас не любят.

Между Альбертиной и мной часто возникала глухая стена молчания, складывавшаяся очевидно из провинностей, которые она скрывала, потому что считала непоправимыми. Как ни ласкова бывала Альбертина в иные вечера, она не совершала больше тех безотчетных движений, какие я знал у нее в Бальбеке, когда она мне говорила: «Как вы все же милы!» — и как будто от всего сердца подходила ко мне, не утаивая проделок, которые теперь водились за ней и о которых она умалчивала, наверно считая, что они непоправимы, не поддаются забвению и сознаться в них невозможно, тем не менее они воздвигали между нами непроницаемую преграду из осмотрительных ее слов или же непереходимую

пропасть молчания.

— «А можно узнать, зачем вы звонили Андре?» — «Чтобы спросить у нее, не будет ли ей неприятно, если я завтра к вам присоединюсь и сделаю наконец визит Вердюренам, обещанный мной еще в Распельере». — «Как вам угодно. Но предупреждаю вас, что сегодня вечером страшный туман, который простоит наверно и завтра. Говорю об этом, потому что боюсь, как бы вам не сделалось худо. Вы ведь знаете, мне всегда хочется, чтобы вы выходили с нами. Впрочем, — прибавила она с озабоченным видом, — я еще не знаю, пойду ли я к Вердюренам. Они сделали мне столько одолжений, что в сущности мне бы следовало… После вас, они были наиболее благожелательны ко мне, но некоторые мелочи у них мне не нравятся. Мне обязательно нужно сходить в Бон-Марше и Труа-Картье купить белую шемизетку, потому что это платье слишком темное».

Позволить Альбертине пойти одной в большой магазин, где всегда толкотня и столько выходов, что, покидая его, невозможно найти свой экипаж, ожидавший у другого подъезда, — нет, я твердо решил не давать ей на это согласия, но каким я чувствовал себя несчастным! И все же я не отдавал себе отчета, что мне давно следует

прекратить отношения с Альбертиной, ибо моя любовь к ней вступила в тот плачевный период, когда существо, рассеянное в пространстве и времени, для нас больше не женщина, но ряд событий, на которые мы не способны пролить свет, ряд неразрешимых задач, море, которое мы, подобно Ксерксу, на смех людям, пробуем высечь в наказание за то, что оно поглотило наше сокровище. Раз этот период начался, мы неизбежно терпим поражение. Счастлив, кто это вовремя понял и не затягивает понапрасну изнурительной, стесненной воображением борьбы, когда ревность ведет себя так постыдно, что человек, воображавший когда-то интригу, чувствовавший мильон терзаний, если взгляды женщины, всегда находившейся подле него, устремлялись порой на другого, — этот самый человек под конец покоряется, отпускает ее одну, иногда даже с заведомым ее любовником, соглашаясь принять эту по крайней мере ясно сознаваемую пытку, лишь бы не мучиться неизвестностью! Тут вопрос выработанного ритма, которому мы потом следуем по привычке. Люди нервные не могли бы пропустить обед, впоследствии же предаются покою, сколь угодно продолжительному; недавно еще легкомысленные женщины живут раска-

янием. Ревнивцы, которые жертвовали своим сном, покоем, чтобы следить за каждым шагом любимой женщины, чувствуют мало-помалу, что ее интимные желания, этот столь необъятный и таинственный мир, наконец, время — сильнее их, они ей позволяют выходить одной, потом отпускают путешествовать, потом разлучаются. Ревность кончается таким образом за отсутствием пищи, и длилась она столько времени лишь потому, что мы беспрестанно искали этой пищи. Мне было еще очень далеко до такого конца.

Теперь я свободно мог, когда мне хотелось, совершать прогулки с Альбертиной. Так как незадолго перед тем вокруг Парижа были понастроены авиационные ангары, которые служат для аэропланов тем же, что гавани для кораблей, и с того дня, как почти мифологическая встреча в окрестностях Распельера с авиатором, напугавшим мою лошадь, стала для меня как бы образом свободы, то часто к концу дня я избирал целью наших прогулок, — кстати сказать, очень нравившихся Альбертине, увлекавшейся всеми видами спорта, — один из этих аэродромов. Нас притягивали туда непрестанные взлеты и приземления, которые, подобно отходу и прибытию кораблей, придают столько прелести прогулкам

по дамбе или просто по отлогому морскому берегу для тех, кто любит море, или блужданиям вокруг какого-нибудь «авиационного центра» — для тех, кто любит небо. Каждую минуту мы видели, как несколько человек обслуживавшего персонала, подойдя к одной из неподвижно стоявших, точно на якоре, машин, с большими усилиями тащили ее, как тащат по песку лодку, заказанную туристом для катанья по морю. Потом заводился мотор, машина приходила в движение, разбегалась, и вдруг в напряженном, как бы застывшем экстазе медленно взмывала под прямым углом, преобразив горизонтальную свою скорость в величавый вертикальный полет. Альбертина не в силах была сдержать восхищение и обращалась с расспросами к обслуживающему персоналу, который, исполнив свою обязанность, возвращался в ангар. Тем временем пассажир был уже за несколько километров; большой челнок, за которым мы следили, не отрывая глаз, обращался в почти неприметную точку на лазури, впрочем мало-помалу вновь приобретавшую внешность, объем и естественную величину, когда прогулка подходила к концу и приближалась минута возвращения в гавань. Мы с завистью смотрели на соскакивавшего с аэроплана пассажира, только

что насладившегося на просторе, среди пустынных горизонтов, тишиной и прозрачностью вечера. Потом с аэродрома или же из какого-нибудь музея или церкви, осмотренных нами, мы вместе возвращались домой к обеденному часу. Но я не ощущал того успокоения, какое мне давали более редкие прогулки в Бальбеке, продолжавшиеся всю вторую половину дня и потом рисовавшиеся мне в виде красивых куп цветов на фоне жизни Альбертины, как на пустом небе, перед которым сладко, беспредметно мечтаешь. Время Альбертины не принадлежало мне тогда в таких больших количествах, как теперь. Однако оно мне казалось тогда в гораздо большей степени моим, потому что я принимал в расчет только часы, проведенные ею со мной, которыми любовь моя наслаждалась, как нечаянным даром, теперь же меня занимали лишь часы, проводимые ею без меня: моя ревность с беспокойством искала в них возможностей измены.

А между тем завтра она непременно пожелает таких часов. Надо будет сделать выбор: отказаться от страданий или отказаться от любви. Ибо если любовь создается желанием, то поддерживается лишь мучительным беспокойством. Я чувствовал, что часть жизни Альбертины от меня

ускользает. Любовь в состоянии мучительного беспокойства, как и в состоянии счастливого желания, есть требование полного обладания. Она рождается и живет, лишь если осталась какая-то часть, которой мы еще не овладели. Мы любим только то, чем не обладаем сполна. Альбертина лгала, говоря мне, что вряд ли пойдет к Вердюренам, как и я лгал, говоря, что хочу к ним пойти. Она лишь пыталась помешать мне выйти с нею, а я, внезапно возвестив ей намерение, которое совсем не собирался приводить в исполнение, хотел прикоснуться к ее самому чувствительному месту, заставить ее выдать свое тайное желание и признаться, что мое присутствие помешает ей завтра удовлетворить его. Она это и сделала, перестав вдруг стремиться к Вердюренам.

— «Если вы не хотите идти к Вердюренам, — сказал я ей, — то, может быть, пойдете в Трокадеро, где завтра великолепный бенефисный спектакль». Альбертина выслушала мой совет с опечаленным видом. Я снова стал суров с ней, как в Бальбеке во время моей первой ревности. На лице ее выразилось разочарование, а я, выговаривая ей, пустил в ход те же доводы, которые так часто применялись моими родными, когда я был маленький, и, по детскому неразумию,

казались мне несправедливыми и жестокими. «Нет, несмотря на ваш опечаленный вид, — говорил я Альбертине, — я не могу вас жалеть. Я пожалел бы вас, если бы вы были больны, если бы с вами случилось несчастье, если бы вы потеряли кого-нибудь из родных. Впрочем, это, вероятно, нисколько бы вас не огорчило: столько вы расточаете фальшивой чувствительности по пустякам. Притом я вовсе не ценю чувствительность людей, которые делают вид, будто страшно нас любят, а в то же время не способны оказать нам самую маленькую услугу и настолько к нам невнимательны, что забывают взять порученное им письмо, от которого зависит наше будущее».

Все эти слова, — большая часть того, что мы говорим, затвержено нами наизусть, — я не раз слышал от моей матери, которая любила мне объяснять, как не следует смешивать подлинную чуткость, которую, по ее словам, немцы, — а она была большой любительницей немецкого языка, несмотря на отвращение моего отца к немецкой нации, — называют «Empfindung» в противоположность притворной чувствительности «Empfindelei». Раз, когда я плакал, она сказала даже, что Нерон был вероятно человек нервный, но от этого он нисколько не лучше. В самом деле,

как бывает у деревьев, которые во время роста разветвляются, рядом с чувствительным ребенком, которым я только и был сначала, теперь стоял взрослый человек, исполненный здравого смысла и весьма суровый к болезненной чувствительности других, человек, похожий на то, чем были для меня родные. Каждому суждено стать продолжателем жизни своих, поэтому и у меня уравновешенный и насмешливый человек, которого не было сначала, присоединился к чувствительному ребенку, и было вполне естественно, что я в свой черед стал тем, чем были мои родители.

Больше того: когда складывалось это новое «я», оно находило готовый язык в тех иронических и укоризненных речах, которые мне держали когда-то старшие, а теперь мне самому приходилось держать другим, и речи эти совершенно безотчетно срывались у меня с языка, рожденные миметизмом и ассоциацией воспоминаний, или, может быть, тонкие и таинственные проявления родовой силы начертали во мне, без моего ведома, как на листке растения, те же интонации, те же жесты, те же позы, какие были свойственны людям, от которых я произошел. В самом деле, обращаясь иногда к Альбертине с

рассудительными речами, я как будто слышал слова бабушки, впрочем, не случалось ли разве моей матери (сколько темных подсознательных токов проникло в меня, управляя малейшими движениями даже моих пальцев и увлекая меня в те же циклы, какие были пройдены моими родными) обознаться и думать, что в комнату входит мой отец, настолько похожей была моя манера стучать ногами по полу?

С другой стороны, совокупление противоположных элементов есть закон жизни, принцип оплодотворения и, как мы увидим, причина многих несчастий. Обыкновенно мы не выносим того, что похоже на нас, и наши собственные недостатки, видимые извне, нас раздражают. Но еще более противно человеку, миновавшему возраст, когда эти недостатки проявляются в наивной форме, и привыкшему, например, в минуты острого возбуждения делать ледяное лицо, наблюдать ту же самую манеру у других — у молодых, у простодушных, у дураков. Есть чувствительные люди, которые выходят из себя, увидя на глазах у других слезы, сдерживаемые ими самими. Именно слишком большое сходство приводит к тому, что, несмотря на нежную любовь, в семьях постоянно царят раздоры, и чем

нежнее любовь, тем они острее.

Может быть, у меня, как и у многих, мое второе «я» было просто вторым лицом первого, возбужденным и чувствительным по отношению ко мне самому, рассудительным Ментором по отношению к другим. Может быть, так же точно обстояло и с моими родителями: по отношению ко мне они были другими, чем сами по себе. Суровое обращение со мной бабушки и матери совершенно очевидно было деланным и даже стоило им больших усилий, но, может быть, и холодность отца была только внешним выражением его чувствительности? И не заключалось ли в этой двуликости — лице, обращенном в сторону внутренней жизни, и лице, обращенном в сторону социальных отношений, — некоторой правды, находившей выражение в следующих словах по адресу моего отца, казавшихся мне когда-то столь же ложными по содержанию, сколь банальными по форме: «Под ледяной холодностью у него таится необыкновенно чувствительное сердце; как в нем характерно то, что он стыдится своей чувствительности?»

В самом деле, не прикрывало ли это спокойствие, когда нужно уснащаемое сентенциозными размышлениями, иронией к неуклюжим прояв-

лениям чувствительности, — не прикрывало ли это отцовское спокойствие, которое и я теперь напускал на себя в обращении с людьми и от которого особенно не мог отделаться в обращении с Альбертиной, не утихавших тайных бурь?

Кажется, в тот день я действительно собирался окончательно порвать с ней и отправиться в Венецию. Если я вновь оказался скованным моей цепью, остался верен Нормандии, то не потому, что моя подруга выражала когда-нибудь желание ехать в эту область, где я ревновал ее (к счастью, никогда ее планы не задевали болезненных пунктов моих воспоминаний), а потому, что в ответ на мое замечание: «Допустим, что я говорил вам о приятельнице вашей тетки, живущей в Энфревиле», — она с гневом заявила, очень довольная (как всякий, кто в споре находит лишний аргумент в свою пользу) тем, что может доказать мою ошибку и свою правоту: «Никогда у моей тети не было знакомых в Энфревиле, и сама я никогда туда не ездила».

Она забыла, как однажды вечером солгала мне, будто ей во что бы то ни стало нужно сделать визит одной крайне щепетильной даме, хотя бы это грозило ей потерей моей дружбы и даже гибелью. Я не стал напоминать Альбертине этой

лжи. Но она произвела на меня гнетущее впечатление. И я снова отложил разрыв до другого раза. Вовсе не нужно искренности, ни даже искусной лжи, чтобы быть любимой. Я называю здесь любовью взаимную пытку. В тот вечер я нисколько не находил предосудительным разговаривать с Альбертиной тем же тоном, каким разговаривала со мной моя столь последовательная бабушка; сообщая ей о своем решении пойти завтра вместе с ней к Вердюренам, я не придавал никакого значения допущенной мной при этом резкости, так напоминавшей манеру моего отца, который всегда крайне резко объявлял нам о своих решениях, совсем не соответствовавших по своей важности возбужденному им в нас волнению. Вполне понятно поэтому, что он недоумевал, зачем мы расстраиваемся из-за таких пустяков, хотя на самом деле наше волнение бывало вызвано лишь резким тоном его голоса. Так как, — подобно неизменному благоразумию бабушки, — эти самовластные порывы отца явились у меня придатком к чувствительной натуре, которой они так долго оставались чуждыми и даже в течение моего детства являлись для меня источником страданий, то моя чувствительность очень точно их осведомляла относительно наиболее уязви-

мых своих пунктов: нет лучшего наводчика, чем бывший вор или подданный государства, с которым идет война. В семьях, где ложь вошла в привычку, брат, без видимой причины навещающий другого брата и, уходя, уже на пороге двери, невзначай задающий вопрос с таким видом, будто ответ совершенно ему не интересен, тем самым выдает своему брату, что вопрос этот и был настоящей целью его визита, ибо брату его прекрасно известны и это мнимое равнодушие, и эти слова, произнесенные как бы вскользь в последнюю секунду: он сам часто прибегал к такому маневру. Есть также патологические семьи, родственные чувствительные натуры, братские темпераменты, посвященные в тайны немого языка и понимающие друг друга без слов. Что же удивительного, если сильнее всего действует нам на нервы человек нервный? Но была, может быть, еще более общая и более глубокая причина моего поведения в таких случаях. В эти краткие, но неминуемые периоды отвращения к любимому человеку, — периоды, длящиеся иногда всю жизнь с людьми, которых мы не любим, — мы не хотим казаться добрыми, чтобы не вызвать к себе жалости, напротив, мы притворяемся страшно злыми и необыкновенно счастливыми, чтобы

наше счастье стало действительно ненавистным и уязвило душу случайного или постоянного врага. Сколько раз я ложно клеветал на себя только для того, чтобы мои «успехи» показались моим собеседникам безнравственными и привели их в ярость! Между тем следовало действовать как раз обратно: вместо того, чтобы хоронить так тщательно свои добрые чувства, лучше было без рисовки их выказать. И это было бы легко, если бы мы не знали, что такое ненависть, а умели только любить. Ибо тогда для нас было бы таким счастьем говорить лишь вещи, способные осчастливить, растрогать, внушить к нам любовь.

Правда, это недостойное поведение с Альбертиной вызывало у меня некоторые угрызения совести, и я говорил себе: «Если бы я не любил ее, она была бы мне более признательна, потому что я не был бы с нею зол; впрочем, нет: преимущество это было бы уравновешено тем, что я был бы тогда менее любезен». Я бы мог также в свое оправдание сказать ей, что я ее люблю. Но подобное признание, помимо того, что оно не открыло бы Альбертине ничего нового, пожалуй, больше бы охладило ее ко мне, чем суровость и обман, единственным извинением которых была именно любовь. Быть суровым и обманщиком в

обращении с тем, кого любишь, так естественно! Если наше внимание к другим не мешает нам быть с ними ласковыми и предупредительными, значит это внимание притворно. Люди, к которым мы внимательны, для нас безразличны, а безразличие не располагает к злобе.

Вечер проходил. Приближался час, когда Альбертина шла спать, и нам нельзя было терять времени, если мы хотели помириться, возобновить нежности. Никто из нас не решался взять на себя почин. Чувствуя, что она рассердилась не на шутку, я воспользовался случаем и заговорил об Эсфири и Леви. «Блок сказал мне (это была неправда), что вы были хорошо знакомы с его кузиной Эсфирью». — «Я ее даже не узнала бы», — рассеянно отвечала Альбертина. «Я видел ее карточку», — с гневом продолжал я. Произнося эти слова, я не смотрел на Альбертину и не мог видеть выражение ее лица, которое было ее единственным ответом, потому что она промолчала.

Не успокоение, приносимое мне поцелуем матери в Комбре, испытывал я возле Альбертины в такие вечера, но, напротив, тоску, посещавшую меня, когда мама небрежно желала мне покойной ночи и вовсе не поднималась в мою комнату, оттого ли, что она была сердита на меня, или же

оттого, что ее удерживали гости. Тоска эта, — а не только ее транспонировка в любовь, — нет, сама эта тоска, которая одно время была кристаллизована в любви, которая отошла к ней всецело после обособления, разделения страстей, теперь как будто снова разлилась широкой волной, снова, как в детстве, стала недифференцированной, как если бы все мои чувства, трепетавшие от бессилия удержать Альбертину возле моей кровати одновременно и как любовницу, и как сестру, и как дочь, и даже как мать, в напутственном ко сну поцелуе которой я снова стал ощущать детскую потребность, начали собираться вместе, сливаться на преждевременном склоне моей жизни, которой по-видимому суждено было быть столь же короткой, как зимний день. Но если я испытывал детскую тоску, то перемена существа, которое было ее виновницей, различие чувства, которое оно мне внушало, наконец изменение моего собственного характера, совершенно не позволяли мне просить у Альбертины того успокоения, какое я когда-то получал от матери.

Я больше не способен был говорить: «Мне грустно». Нося в душе смерть, я заводил разговор на какую-нибудь постороннюю тему, нисколько не приближавшую меня к счастливому решению. Я

беспомощно барахтался в мучительных банальностях. И с тем умственным эгоизмом, который, стоит нам только услышать самую ничтожную истину о нашей любви, наполняет нас большим почтением к тому, кто ее открыл, может быть, так же нечаянно, как гадальщица, предсказавшая нам какое-нибудь банальное событие, которое потом действительно произошло, я готов был поставить Франсуазу выше Бергота и Эльстира на том основании, что она мне сказала в Бальбеке: «Эта девушка приносит вам одни только огорчения».

Каждая минута приближала меня к прощанию с Альбертиной, и наконец она действительно желала мне покойной ночи. Но в такие вечера поцелуй ее, в котором сама она не присутствовала и который направлялся куда-то мимо, повергал меня в такую тоску, что, с трепещущим сердцем наблюдая, как она направляется к двери, я думал: «Если я хочу найти предлог, чтобы подозвать ее, удержать; помириться с нею, то нужно спешить, ей остается только несколько шагов до двери, только два, только один, она поворачивает ручку; она отворяет, уже слишком поздно, она затворила дверь!» Все же, может быть, еще не слишком поздно. Как в Комбре, в те вечера, когда мама

уходила, не успокоив меня поцелуем, я хотел броситься за Альбертиной, я чувствовал, что у меня не будет покоя, пока я не увижу ее, что это свидание принесет нечто огромное, чего до сих пор еще не было, и что — если мне не удастся совершенно одному избавиться от своей тоски, — я приобрету, вероятно, постыдную привычку ходить к Альбертине за подаянием. Я соскакивал с кровати, когда она была уже в своей комнате, и начинал расхаживать взад и вперед по коридору, в надежде, что она выйдет и позовет меня, я замирал в неподвижности подле ее двери, боясь не пропустить ее зова, я за несколько минут возвращался к себе в комнату посмотреть, не забыла ли она там по счастливой случайности носовой платок, сумку, или какую-нибудь другую вещь, так что, сделав вид, будто я забочусь о ее удобствах, я мог бы воспользоваться этим предлогом и войти к ней. Нет, ничего не забыла. Я возвращался на свой пост у двери, но в щелку уже не было видно света. Альбертина потушила огонь, легла, а я по-прежнему стоял, надеясь не знаю уж на какой счастливый случай, но он не приходил. И через много времени я возвращался, озябший, к себе на кровать, укрывался и плакал весь остаток ночи.

Вот почему в иные вечера я прибегал к хитро-

сти, которая дарила мне поцелуй Альбертины. Зная, как быстро она засыпала, стоило ей только прилечь (она тоже это знала, потому что, ложась, инстинктивно сбрасывала подаренные мной ночные туфли и кольцо, которое она клала возле себя, как в своей комнате, когда ложилась спать), зная, как глубок бывал ее сон и как нежно пробуждение, я придумывал предлог уйти поискать что-нибудь, а ее укладывал на свою кровать. Когда я возвращался, она уже спала, и я видел перед собой ту другую женщину, какой она становилась, поворачиваясь ко мне лицом. Но очень быстро она меняла личность, потому что я сам ложился рядом с ней и видел ее в профиль. Я мог класть свою руку в ее руку, на ее плечо, на щеку. Альбертина не просыпалась.

Я мог брать ее голову, запрокидывать ее, прижимать к губам, обвивать свою шею ее руками, а она все спала, как часы, которые ни на мгновение не останавливаются, как зверек, продолжающий жить, в какое бы положение мы его ни ставили, как вьющееся растение, вьюнок, пускающий ростки, какую бы подпору ему ни придать. Лишь дыхание ее менялось от каждого моего прикосновения, как если бы она была инструментом, на котором я играл, извлекая то из одной, то из

другой его струны различные ноты. Ревность моя утихала, ибо я чувствовал, что Альбертина стала существом дышащим, и ничем другим, как об этом свидетельствовало ритмическое дуновение, выражавшее чисто физиологическую функцию и в своей текучести не обладавшее ни плотностью слова, ни плотностью молчания, вследствие полного неведения зла; ее дыхание, исходившее скорее из полого тростника, чем из человеческого существа, было поистине райским, было для меня чистой ангельской песнью, и в такие минуты я чувствовал Альбертину отвлеченной не только от всего материального, но и от всего духовного. Но вдруг мне чудилось, что в этом дуновении все же наверно играет много человеческих имен, принесенных памятью. Иногда к музыке присоединялся человеческий голос. Альбертина произносила несколько слов. Как хотел бы я уловить их смысл! Случалось, что с губ ее срывалось имя особы, о которой у нас бывал разговор, особы, возбуждавшей во мне ревность, но я не мучился, потому что вызванное именем воспоминание было только воспоминанием о наших разговорах об этой особе.

Впрочем, однажды вечером, наполовину уже проснувшись, несмотря на закрытые глаза, по-

друга моя сказала, обращаясь ко мне: «Андре!» Я подавил волнение. «Ты грезишь, я не Андре», — отвечал я ей со смехом. Она тоже улыбнулась: «Нет, я хотела только спросить, что тебе говорила сегодня Андре». — «Скорее можно было подумать, что ты лежала вот так возле нее». — «Нет, никогда», — воскликнула она. Однако прежде, чем произнести эти слова, она на мгновение закрыла лицо руками. Ее молчание было, значит, лишь покрывалом, ее поверхностная нежность, значит, лишь сдерживала в глубине тысячу воспоминаний, которые меня бы истерзали, ее жизнь была, значит, полна тех событий, над которыми мы так любим весело посмеяться, когда речь идет о других, безразличных нам людях, но которые, если дело касается существа, заблудившегося в нашем сердце, кажутся нам столь драгоценным озарением его жизни, что для познания этого подспудного мира мы бы охотно отдали собственную жизнь. Тогда сон ее представлялся мне как бы чудесным и волшебным миром, где по временам из едва видной глубины поднимается признание тайны, которая останется для нас непонятной. Но обыкновенно Альбертина во сне как бы вновь обретала невинность. В позе, которую я придавал ей, но с которой она быстро осваивалась, она

как будто доверяла мне свои тайны! На лице ее совершенно пропадало выражение хитрости и вульгарности, рука ее покоилась на мне, так что казалось, будто между нею и мной царит полнейшая непринужденность, нерасторжимая дружба. К тому же, сон не разлучал ее со мной и не гасил в ней ощущения нашей нежной близости; скорее он гасил в ней все другие представления; я целовал ее, говорил, что хочу уйти на несколько минут, она приоткрывала глаза, спрашивала меня с удивленным видом, — и действительно была уже ночь: «Куда же ты пойдешь в такой час, милый», — называя меня по имени, и тотчас снова засыпала. Сон ее был как бы погружением в небытие остальной ее жизни, ровным молчанием, с которого время от времени взлетали нежные фамильярные слова. Соединяя их друг с другом, можно было бы составить разговор, лишенный посторонней примеси, сокровенную задушевность чистой любви. Этот невозмутимо спокойный сон восхищал меня, как восхищает мать крепкий сон ее ребенка. И сон Альбертины был действительно сном ребенка. Пробуждение тоже, и в нем было столько естественности, столько нежности, прежде даже чем она успевала сообразить, где она, что иногда я с ужасом спра-

шивал себя, да не сложилась ли у нее привычка, еще до сожительства со мной, спать вдвоем и, открывая глаза, находить кого-нибудь возле себя. Но ее детская грация брала верх над моими страхами. Тоже подобно матери, я восхищался тем, что она всегда просыпалась в прекрасном расположении. Через несколько мгновений она приходила в себя и начинала лепетать прелестные бессвязные слова. Благодаря неожиданному движению, ее шея, обыкновенно мало заметная, делалась ослепительной красивой, приобретала необыкновенную значительность, утраченную сомкнутыми сном глазами — моими постоянными собеседниками, к которым я не мог больше обращаться, когда опускались веки. Как закрытые глаза придают лицу целомудренную и суровую красоту, прикрывая слишком красноречивую выразительность взглядов, так и слова, срывавшиеся по пробуждении с губ Альбертины, осмысленные, но прерываемые молчанием, обладали чистой красотой, не загрязняемой каждое мгновение, как во время разговора, привычными словечками, банальностями, следами пороков. Впрочем, решаясь разбудить Альбертину, я мог сделать это безбоязненно, я знал, что ее пробуждение не будет находиться ни в какой связи с

только что проведенным нами вечером, но выплывет из ее сна, как из ночи выплывает утро. Едва приоткрыв глаза, Альбертина с улыбкой протягивала мне губы, и прежде чем она успевала вымолвить слово, я уже наслаждался свежестью ее рта, действовавшей так же успокоительно, как свежесть еще безмолвного сада перед зарей.

На другой день после заявления Альбертины, что она, может быть, пойдет к Вердюренам, а затем, что не пойдет к ним, я проснулся рано, и по наполнившей меня радости еще в полусне знал, что в полосу зимнего ненастья забрел весенний день. На дворе народные темы, искусно написанные для разнообразных инструментов, от рожка реставратора (фарфора или трубы реставратора стульев до флейты погонщика коз, который казался в погожий день сицилийским пастухом, непринужденно оркестровали утренний воздух в «увертюру к праздничному дню». Слух, это восхитительное чувство, вводит нас в уличное общество, рисуя нам фигуры всех проходящим там людей, показывая их краски. Железные шторы булочника и молочника, опустившиеся вчера вечером над всеми возможностями женского счастья, теперь поднимались как легкие блоки корабля, готового отчалить и понестись по про-

зрачному морю вожделений молодых хозяек. В другом квартале этот шум поднимаемой железной шторы был бы вероятно моим единственным удовольствием. Здесь же радовала меня еще сотня всяких шумов, и я не хотел бы прозевать ни один из них, предаваясь слишком долгому сну. Какую прелесть придает старым аристократическим кварталам их простонародность! Как иногда возле порталов средневековых соборов располагались мелкие лавочки (что закрепилось даже в их названиях, например, портал руанского собора и до сих пор называется порталом «книжников», потому что против него шла на открытом воздухе торговля книгами), так и перед старинным особняком Германтов то и дело проходили различные разносчики, напоминая временами старую церковную Францию. Ибо выкрики, обращаемые ими к соседним домикам, за редкими исключениями, не содержали в себе ничего песенного. Они были так же далеки от песни, как едва окрашенные незаметными вариациями речитативы «Бориса Годунова», и «Пелеаса»; с другой же стороны они напоминали возгласы священника во время богослужения: в самом деле, эти уличные сцены представляют лишь наивное, площадное и все же полулитургийное

переложение церковных служб. Никогда не доставляли они мне такого удовольствия, как после переезда ко мне Альбертины; они мне представлялись как бы веселым сигналом ее пробуждения и, вызывая интерес к уличной жизни, давали мне глубже почувствовать успокоительное действие драгоценного присутствия девушки, которая будет оставаться у меня, сколько я пожелаю. Кое-какие из выкрикиваемых на улице снедей, которых сам я терпеть не мог, очень нравились Альбертине, так что Франсуаза посылала за ними молодого лакея, который наверно считал немного унизительным для себя смешиваться с плебейской толпой. В этом пустынном квартале (где шумы не портили настроения Франсуазы, а меня разнеживали) до меня явственно доходили, каждый с особенными переходами, речитативы, выкликаемые людьми из простонародья, совершенно так же, как они звучат в удивительной народной музыке «Бориса», где начальный тон едва заметно меняется при помощи переливов, переходов одной ноты в другую, — музыке толпы, больше похожей на речь, чем на музыку. Возглас: «вот! моллюски, два су моллюск», — заставлял бросаться к сверткам, в которых продавались эти ужасные раковинки, не будь здесь Альбертины,

они вызвали бы у меня отвращение, не меньшее, чем улитки, продававшиеся в тот же час. И тут торговец приводил на память чуть лирическую декламацию Мусоргского, но не только ее. Ибо, произнося почти «говорком»: «улитки, свежие, отменные», продавец улиток с расплывчатой грустью Метерлинка, переложенной Дебюсси на музыку в одном из тех скорбных финалов, что так роднят автора «Пелеаса» с Рамо: «Мне суждено быть побежденной, ужели ты мой победитель?» — добавлял с певучей меланхолией: «по шести су дюжина»...

Мне всегда было трудно понять, почему эти столь ясные слова протягивались так мало подходящим для них заунывным тоном, точно тайна, от которой у всех печальный вид в старом замке, куда Мелизанде не удалось внести радость, — тоном глубоким, как мысль старого Аркеля, пытающегося выразить в самых простых словах всю мудрость и всю судьбу. Те самые ноты, на которые с возрастающей нежностью поднимается голос старого короля Альмонда или Голанда, чтобы сказать: «Никто не знает, что тут кроется, это может показаться странным, может быть, нет ненужных событий», или же: «Не надо страшиться, это было бедное маленькое суще-

ство, таинственное, как все на свете», — служили торговцу улитками для того, чтобы подхватить в тягучей кантилене: «По шести су дюжина». Но это метафизическое рыдание не успевало замереть у края бесконечности, его прерывал резкий звук трубы. На этот раз речь шла не о съестном, слова либретто гласили: «Стригу собак и кошек, обрубаю хвосты и уши».

Конечно, фантазия и остроумие каждого торговца или торговки часто вносили разнообразие в слова всей этой музыки, которую я слушал, лежа в кровати. Однако обрядовая остановка, помещавшая паузу посередине слова, особенно когда оно повторялось двукратно, неизменно приводила на память старые церкви. Сидя в тележке, запряженной ослицей, которую он останавливал у каждого дома, чтобы войти во двор, торговец платьями, с кнутом в руке, возглашал: «Платья, торгую платьями, пла…атья», с такой же паузой между двумя последними слогами, как если бы он возглашал в церкви: «И во веки веко…ов», или: «Со святыми упоко…ой», — хотя едва ли он верил в вечность своих платьев и не предлагал их в качестве саванов для последнего упокоения в мире. Точно так же, — мотивы начинали перемешиваться в этот утренний час, — торговка

зеленью, подталкивая тележку, заимствовала для своей литании григорианский распев:

Свеженькие, зелененькие,
Артишоки нежные,
Артишо…ки, —

хотя наверно была незнакома с осьмигласником и семью тонами, символизирующими четыре дисциплины квадривиума и три — тривиума.

Извлекая из какой-нибудь дудочки или волынки напевы далекого юга, яркое солнце которого так хорошо гармонировало с погожими днями, человек в блузе, с плетью из бычачьей жилы в руке и в баскском берете останавливался перед домами. Это был погонщик коз с двумя собаками и стадом коз перед собой. Он приходил издалека и появлялся в нашем квартале довольно поздно; к нему выбегали женщины с чашками за молоком для своих ребятишек. Но к пиренейским мелодиям этого пастуха-благодетеля уже примешивался колокол точильщика, выкрикивавшего: «Точить ножи, ножницы, бритвы». С ним не мог состязаться точильщик пил, потому что, за неимением инструмента, он довольствовался простым обращением: «Есть у вас пилы для правки, вот точильщик», между тем как более ве-

селый лудильщик, перечислив котлы, кастрюли и другую утварь, припевал: «Там, там, там, лужу даже макадам, все латаю и чиню, затыкаю каждую дыру, ру, ру, ру»; а маленькие итальянцы с большими красными железными ящиками, на которых были обозначены проигрывающие и выигрывающие номера, предлагали, постукивая трещотками: «Барыни-сударыни, попытайте счастья!»

Франсуаза принесла мне «Фигаро». Достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться, что статья моя все еще не напечатана. Старая служанка доложила, что Альбертина спрашивает, можно ли ей войти ко мне, и передает, что во всяком случае она отказалась от своего визита к Вердюренам и собирается, как я ей советовал, на «экстраординарное» представление в Трокадеро — то, что назвали бы сейчас, не придавая ему впрочем такого значения, представлением «гала», — после небольшой прогулки верхом, которую она обещала Андре. Узнав, что моя подруга отказалась от своего, может быть, дурного намерения, я со смехом сказал: «Пусть войдет», и подумал про себя, пусть идет куда ей угодно, мне это безразлично. Я знал, что к концу второй половины дня, когда наступят сумерки, я все

равно стану другим человеком, печальным, и буду приписывать самым пустячным отлучкам Альбертины важность, которой они были лишены в этот утренний час, в такую хорошую погоду. И хотя моя беспечность сопровождалась ясным сознанием ее причины, это нисколько ее не омрачало. «Франсуаза уверяла, что вы проснулись и я вас не потревожу», — сказала мне входя Альбертина. Больше всего боялась она двух вещей: простудить меня, открыв у себя окно в неподходящее время, и войти в мою комнату, когда я сплю: «Надеюсь, что я не совершила оплошности, — продолжала она. — Я боялась услышать от вас: «Кто, дерзкий, сюда на погибель идет?»» И она засмеялась так волновавшим меня смехом. Я отвечал ей в том же шуточном тоне: «Для вас разве отдан мой строгий приказ?» И, боясь, как бы она не нарушила его когда-нибудь, добавил: «Хоть я был бы взбешен, разбуди вы меня». «Я знаю, знаю, будьте покойны», — перебила меня Альбертина. И чтобы смягчить суровость своей реплики, я проговорил, продолжая разыгрывать с нею сцену из «Эсфири», между тем как на улице продолжались крики, совершенно заглушенные нашим разговором: «Лишь на вашей красе отдыхаю душой, ею взор никогда не насытится мой»

(но про себя я думал: «ох, очень часто пресыщается»). Вспомнив, что она говорила накануне, я с преувеличенной любезностью поблагодарил ее за отказ от визита к Вердюренам, чтобы и в другой раз она с такой же готовностью мне повиновалась, и прибавил: «Альбертина, я вас так люблю, а вы относитесь ко мне недоверчиво и доверяете людям, которые вас не любят», — (но что может быть естественнее недоверчивого отношения именно к любящим вас людям, ведь только для них есть расчет лгать вам, чтобы выведать, чтобы помешать), и я заключил такими лживыми словами: «В душе вы не верите, что я вас люблю, это странно. Действительно, я не *обожаю* вас». Она солгала в свою очередь, сказав, что доверяет только мне, и была потом искренна, поклявшись, что хорошо знает, как я ее люблю. Но эта клятва едва ли подразумевала, что она не считает меня лжецом и соглядатаем. И она по-видимому мне прощала, словно усматривая в этих качествах неприятное следствие большой любви или же считая себя самое еще более недоброй. «Только прошу вас, милая, не гарцевать, как вы делали это третьего дня. Подумайте, Альбертина, что если с вами случится несчастье!» Понятно, у меня и в мыслях не было желать ей зла. Но как

было бы хорошо, если бы она возымела благую мысль отправиться со своими лошадьми куда-нибудь, куда ей заблагорассудится, и больше уже не возвращалась. Как бы все упростилось, если бы она поселилась, счастливая, где-нибудь в другом месте; я бы не стал даже разузнавать, где: «О, я отлично знаю, что вы не переживете меня и двое суток, что вы покончите с собой».

Так обменивались мы лживыми словами. Но правда более глубокая, чем та, которую мы бы высказали, если бы были искренними, может иногда быть выражена и сообщена не только путем искренности. «Вас не беспокоит этот уличный шум? — спросила она меня. — Сама я его обожаю. Но ведь сон ваш такой чуткий!» Напротив, у меня бывал иногда очень глубокий сон (я уже говорил о нем, но снова возвращаюсь к этой теме благодаря изложенному ниже происшествию), особенно когда я засыпал только утром. Так как подобный сон в среднем восстанавливает силы вчетверо скорее, то он кажется нам вчетверо длиннее нормального сна, тогда как на самом деле он был вчетверо короче его. Великолепная иллюзия, проистекающая от умножения на 16, которая придает столько красоты пробуждению и вносит в жизнь настоящее обновление, подобное

тем резким переменам ритма, что придают в музыке восьмушке анданте такую же длину, какая присуща половинной престиссимо, и наяву совершенно неизвестны. Наяву жизнь почти всегда одна и та же, откуда разочарование, приносимое путешествиями. Между тем сновидение соткано, по-видимому, из самой грубой материи жизни, но эта материя в нем так переработана, так размягчена и, благодаря отсутствию помех, которые ставятся наяву границами часов, простерта до таких недосягаемых высот, что мы ее не узнаем.

По утрам, когда мне выпадало такое счастье, когда губка сна стирала с моего мозга письмена повседневных забот, начертанные там как на грифельной доске, я бывал вынужден оживлять свою память: усилием воли можно восстановить то, что было погружено в забвение амнезией сна или паралича и что постепенно возрождается по мере того, как глаза раскрываются и онемение проходит. В несколько минут я прожил столько часов, что, желая заговорить с вызванной мной Франсуазой языком, который соответствовал бы действительности и был бы согласован с часом дня, я только ценою страшных усилий удержался от того, чтобы не сказать: «Послушайте, Франсуаза, вот уже пять часов, а я не видел вас

со вчерашнего вечера». И для вытеснения своих сновидений, впадая в противоречия с ними и говоря неправду самому себе, я бесстыдно выпалил, изо всех сил принуждая себя к молчанию, нечто прямо противоположное: «Франсуаза, уже десять часов!» Я не сказал даже десять часов утра, но просто десять часов, чтобы тон, каким были произнесены эти столь невероятные десять часов, показался более естественным. Однако вымолвить эти слова вместо тех, о которых продолжал думать едва проснувшийся сонливец, каковым я оставался, стоило мне таких же эквилибристических усилий, какие мы затрачиваем, соскакивая на ходу с поезда и пробегая несколько шагов по направлению движения, чтобы удержаться на ногах. Мы некоторое время бежим, потому что покинутая нами среда была оживлена большей скоростью и очень отличается от инертной почвы, к которой наши ноги привыкают не без труда.

Из того, что мир сновидений отличен от мира яви, не следует, что мир яви менее истинный, — напротив. В мире сна наши воспоминания настолько перегружены, настолько уплотнены другими восприятиями, бесполезно их удваивающими и затемняющими, что мы даже не в

состоянии различить, что происходит в головокружительную минуту пробуждения: Франсуаза ли это пришла, или же я, устав ее звать, шел к ней сам. В такие минуты молчание бывало единственным средством не выдать себя, как в минуту, когда вас арестовывает следователь, осведомленный о касающихся вас обстоятельствах, но сами вы в тайну их не посвящены. Франсуаза ли это пришла, я ли ее позвал? Не спала ли на самом деле Франсуаза, а я только что разбудил ее? Больше того: не была ли заключена Франсуаза в моей груди, — настолько смутно различаются люди и их взаимоотношения в этой полумгле, где действительность так же мало прозрачна, как в мозгу какого-нибудь дикобраза, и где еле намечающиеся восприятия похожи вероятно на восприятия некоторых животных? Но если даже в светлом безумии, заливающем нас перед погружением в мертвый сон, плавают как яркие огоньки клочки мудрости, если мы продолжаем помнить имена Тэна и Джорджа Элиот, все же мир яви обладает тем преимуществом, что каждое утро он может быть продолжен, между тем как сновидение возобновляется не каждый вечер. Но нет ли других миров, более реальных, чем мир яви? Мы ведь видели, что и он подвергается изменению с каж-

дым переворотом в области искусства, и даже больше — в одно и то же время он различен для людей разной культуры и разных способностей, для художника и для невежественного глупца.

Часто лишний час сна равносилен апоплексическому удару, после которого приходится снова овладевать механизмом движений телесных органов, учиться говорить. Усилия воли тут не помогут. Мы слишком крепко спали, нас больше нет. Пробуждение едва ощущается механически и бессознательно: так, вероятно, испытывается трубой закрытие крана. Мы живем тогда более тусклой жизнью, чем жизнь медузы, и наше самочувствие можно было бы сравнить с самочувствием человека, вытащенного из глубин моря или вернувшегося из тюрьмы, если бы вообще у нас были в то время какие-нибудь мысли. Но тут к нам спускается с небес богиня Мнемотехния и в форме «привычки спрашивать кофе со сливками» подает нам надежду на воскресение. Однако внезапный дар памяти не всегда бывает так прост. Часто в эти первые минуты после пробуждения мы прикасаемся к истине различиях реальностей, и нам кажется, что мы можем делать между ними выбор, как при игре в карты.

Сегодня пятница, и мы возвращаемся с прогул-

ки, или же теперь час вечернего чая на берегу моря. Мысль о сне и о том, что мы лежим на кровати в ночной рубашке, часто приходит нам в голову последней.

Воскресение совершается не сразу; нам кажется, что мы позвонили, тогда как мы и не прикасались к звонку, мы ведем какие-то бредовые рассуждения. Лишь движение возвращает нам рассудок, и лишь действительно нажав кнопку электрического звонка, мы можем наконец медленно, но отчетливо проговорить: «Уже наверно десять часов, Франсуаза, дайте мне кофе с молоком». О чудо! Франсуаза и не подозревала о все еще омывавшем меня море нереального, через которое я набрался сил бросить свой странный вопрос. В самом деле, она отвечала мне: «Уже десять минут одиннадцатого». Этот ответ сообщал мне видимость рассудительности и позволял не дать заметить причудливых разговоров, которые нескончаемо баюкали меня в дни, когда я не был отрезан от жизни горой небытия. Усилием воли я возвращал себя в царство действительности. Я еще наслаждался обрывками сна, этого единственного выдумщика, единственного обновителя повествовательной манеры, ибо все, что мы измышляем в состоянии бодрствования, будь

даже наши вымыслы украшены литературой, лишено того таинственного разнообразия, откуда рождается красота.

Напрашивается сравнение с красотой, создаваемой опиумом. Но для человека, привыкшего засыпать лишь с помощью наркотиков, неожиданный час естественного сна откроет утреннюю необъятность столь же таинственного и более бодрящего пейзажа. Варьируя час и место сна, вызывая сон искусственными способами или же, напротив, возвращаясь изредка к сну естественному — самому необычайному из всех для человека, привыкшего засыпать с помощью снотворных средств, — мы можем добиться неисчислимых разновидностей сна, в тысячу раз превосходящих разновидности гвоздик и роз, которые удается вырастить искусному садоводу. Иные цветы, выращиваемые такими садоводами, похожи на упоительные грезы, другие — на кошмары. Засыпая определенным способом, я просыпался стуча зубами, в уверенности, что у меня корь, или же, — вещь гораздо более мучительная, — что моя бабушка (о которой я никогда больше не думал) страдает оттого, что я посмеялся над ней, когда однажды в Бальбеке, почувствовав приближение смерти, она захотела

сняться и подарить мне свою фотографию. Хотя я совсем проснулся, я хотел тотчас же пойти объяснить ей, что она меня не поняла. Но тем временем я согрелся. Диагноз «корь» был отброшен, и бабушка настолько отдалилась от меня, что не причиняла больше страданий моему сердцу. Иногда над этими разнообразными снами внезапно нависала тьма. Мне было страшно продолжать прогулку по непроглядной улице, с которой до меня доносились шаги бродяг. Вдруг отчетливо слышалась перебранка между полицейским и одной из женщин, которые часто занимаются кучерским промыслом и издали кажутся молодыми извозчиками. Я не видел ее на погруженном во мрак сиденье, но отчетливо различал ее голос, и звуки его говорили мне о красоте ее лица и юной гибкости тела. Я направлялся к ней в темноте с намерением сесть в ее фиакр прежде, чем она уедет. Идти было далеко. К счастью, перебранка с полицейским продолжалась. Я успевал подойти к экипажу, когда он еще стоял. Эта часть улицы освещалась фонарями. Лицо кучера можно было разглядеть. Это была действительно женщина, но старуха, рослая и сильная, с седыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки, и красными пятнами на лице. Я уходил, думая: не такова ли

молодость всех вообще женщин? Не обращаются ли в старух встреченные нами девушки, если у нас вдруг возникает желание вновь их увидеть? Молодая женщина, возбуждающая наше желание, похожа на театральную роль, которую, когда увядает ее создательница, приходится поручать новой звезде. Но тогда это уже не та.

Потом мной овладевала печаль. Во сне мы часто проникаемся жалостью, напоминающей *Pieta* Ренессанса, но не изваянной из мрамора, а напротив — очень шаткой. Она однако оказывает на нас благотворное действие, напоминая о более участливом, более человечном отношении к вещам, которое мы очень склонны забывать в состоянии бодрствования — рассудительном, холодном, часто исполненном враждебности. Так вспомнил я о данном себе в Бальбеке обещании всегда относиться участливо к Франсуазе. По крайней мере сегодня утром я постараюсь не раздражаться на перебранку Франсуазы с метрдотелем, постараюсь быть мягким с Франсуазой, к которой другие проявляли так мало доброты. Сегодня утром, — но нужно будет составить себе немного более устойчивый кодекс; ибо, как народами нельзя долго управлять при помощи политики чувства, так и отдельными людьми

при помощи воспоминания о виденных снах. Уже оно начинало улетучиваться. Пытаясь удержать его, чтобы закрепить в наглядных образах, я лишь скорее его прогонял. Веки мои уже не смыкались с такой силой на моих глазах. Попытайся я восстановить свой сон, они бы совсем открылись. Каждую минуту приходится выбирать между здоровьем, благоразумием, с одной стороны, и духовными наслаждениями — с другой. Я всегда проявлял малодушие и выбирал первое. Опасная сила, от которой я отступался, была к тому же еще более чревата опасностями, чем обыкновенно думают. Жалостливость, сны улетают не одни. Разнообразя условия, при которых мы засыпаем, и прогоняя таким образом сновидения, мы на долгие дни, иногда на целые годы, не только утрачиваем способность видеть сны, но вообще лишаемся сна. Сон — божественный дар, но он так воздушен: стоит немного его потревожить, и он улетучивается. Он друг привычек; более стойкие, они удерживают его каждый вечер на освященном ими месте, предохраняют от всякого потрясения, но если мы его перемещаем, если он лишается опоры, он разлетается как дым. Он похож на молодость и на любовь: однажды утратив, мы больше его не найдем.

В этих разнообразных снах, как и в музыке, красоту создавало увеличение или уменьшение интервалов. Я наслаждался ею, но зато утратил, несмотря на краткость моего сна, добрую часть уличных возгласов, в которых мы так явственно ощущаем бродячую жизнь парижских ремесленников и разносчиков. Поэтому обыкновенно (не предвидя, увы! драмы, к которой должны были вскоре привести меня подобный поздний сон и мои драконовские персидские законы расинова Артаксеркса) я старался проснуться пораньше, чтобы ничего не упустить из этих уличных криков.

Помимо удовольствия разделять с Альбертиной любовь к ним и чувствовать себя на улице, оставаясь в постели, я воспринимал их как символ чуждой мне атмосферы, полной опасностей кипучей жизни, куда я отпускал Альбертину только под своей опекой, лишая ее таким образом свободы даже вне дома, и откуда извлекал в час, когда хотел вернуть ее к себе. Поэтому я мог самым искренним образом ответить Альбертине: «Напротив, они мне нравятся, так как я знаю, что вы их любите». «Устрицы свежие, устрицы!» — «Ах, устрицы, мне так хочется устриц!» К счастью Альбертина, отчасти благодаря

непостоянству, отчасти из послушания, скоро забывала о своих желаниях и, прежде чем я успевал сказать ей, что можно получить лучшие устрицы у Прюнье, последовательно хотела всего, что выкрикивала торговка рыбой: «Креветки, хорошие креветки, скаты, живые скаты!» — «Мерланы жарить, жарить». — «А вот получена макрель, свежая макрель, отменная». — «Вот макрель, сударыни, хорошая макрель». — «Ракушки свежие, хорошие, ракушки!» Возглас: «Получена макрель», — невольно повергал меня в трепет. Но так как мне казалось, что его нельзя отнести к нашему шоферу, то я сосредоточивал свои мысли только на рыбе, которой терпеть не мог, и беспокойство мое скоро проходило. «Ах, ракушки, — воскликнула Альбертина, — мне так хотелось бы поесть ракушек!» — «Милая, они хороши в Бальбеке, здесь же никуда не годятся; кроме того, вспомните, пожалуйста, что вам сказал Котар по поводу ракушек». Но мое замечание становилось тем более зловещим, оттого что торговка зеленью выкликала овощ, совершенно запрещенный Котаром:

Салат — латук, латук — салат!
Не на продажу, а на прокат.

Однако Альбертина согласилась пожертвовать салатом, когда я пообещал ей сделать в ближайшие дни покупку у торговки, выкрикивающей: «А вот спаржа из Аржантейля, спаржа хорошая». Таинственный голос, от которого ожидал бы услышать самые странные предложения, произносил вкрадчиво: «Бочки, бочки!» Приходилось так и оставаться разочарованным тем, что речь идет всего лишь о бочках, ибо слова эти были почти совсем заглушены выкриком: «Стеколь, — стеколь-щик, у кого разбиты окна, вот стекольщик, стеколь-щик», на григорианский лад, меньше однако напомнивший мне богослужение, чем выкрик старьевщика, резко обрывавшего звук, не подозревая о том, как точно он воспроизводит прием, часто применяющийся в церковном обряде посреди молитвы: «Praeceptis salutatibus moniti et divina institutione formati, audemus dicere», — возглашает священник, отрывисто заканчивая на слове «dicere». Именно это «dicere», без тени в нем непочтительности, как не было ее у средневекового народа, игравшего на церковной паперти фарсы и шутовские пьесы, приводил на ум старьевщик, когда, протяжно прокричав свое обращение, последний слог произносил скороговоркой, достойной акцентировки, узако-

ненной великим папой VII века: «Прялки, железо старое продать, шкурки» (все это возглашалось медленно, ровно как и два следующих слога, между тем как последний заканчивался еще скорее, чем «dicere») «кроли-ков». — «Валенсия, прекрасная Валенсия, свежий апельсин». Даже скромный порей: «Вот порей хороший», и лук: «Вот лучок, по семь су пучок», бушевали для меня как эхо волн, среди которых могла затеряться выпущенная на свободу Альбертина, и приобретали таким образом приятность стихов: «Suave mari magno». — «Вот морковь, по два су пучок». «Ах! — воскликнула Альбертина, — капуста, морковь, апельсины! Всё вещи, которых мне так хочется покушать. Пускай Франсуаза пойдет и купит. Она приготовит морковь в сливках. Будет так приятно покушать все это вместе с вами. Тогда все эти звуки, которыми мы наслаждаемся, претворены будут во вкусный завтрак». — «Ах, попросите, пожалуйста, Франсуазу приготовить поскорее ската в поджаренном масле. Это так вкусно!» — «Милочка, хорошо, уходите, иначе вы попросите всего, что продают торговки зеленью». — «Ладно, ухожу, но мне хочется, чтобы на обед подавалось только то, что выкликали утром на улице. Это очень забавно. Боже мой, придется

ждать еще два месяца, чтобы услышать: «Бобы зеленые, нежные, бобы, вот бобы зеленые». Как это хорошо сказано: нежные бобы; вы знаете, я люблю, когда они совсем, совсем мелкие, в уксусном соусе, они так и тают во рту, свеженькие как роса. Увы, как еще долго ждать, дольше, чем до: «Свежий творог со сметаной, сметаной, свежий творог». И до шасла из Фонтенбло: «Шасла, хороший шасла». — И я с ужасом думал, сколько еще времени мне придется оставаться с ней, чтобы дождаться, когда поспеет шасла. «Слушайте, я сказала, что мне хочется только того, что выкликали утром на улице, но, понятно, я допускаю исключения. Поэтому нет ничего невозможного, если я пойду к Ребате и закажу для вас и для себя мороженого. Вы скажете, что еще не время, но мне так хочется мороженого!» — Я был очень встревожен проектом поездки к Ребате, заронившим во мне подозрения благодаря словам: «нет ничего невозможного».

Сегодня был приемный день у Вердюренов, и с тех пор как Сван сообщил им, что Ребате лучшая фирма, Вердюрены всегда заказывали там мороженое и птифуры. «Я ничего не имею против мороженого, милая Альбертина, но позвольте мне заказать его вам, я сам еще не знаю

где: у Пуаре-Бланш, у Ребате или у Рица, словом, я посмотрю». — «Значит, вы собираетесь выйти», — сказала Альбертина с недоверчивым видом. Она всегда заявляла, что будет в восторге, если я начну выходить почаще, но достаточно мне было обронить слово, поселявшее в ней подозрение, что я не останусь дома, как ее беспокойство заставляло усомниться, действительно ли так уже искренна была ее радость по случаю моих постоянных отлучек из дому. «Я, может быть, выйду, может быть, нет, вы отлично знаете, что я никогда не загадываю наперед. Во всяком случае, мороженого не выкрикивают, не развозят по улицам, почему же вам так его захотелось?» Слова, услышанные мной в ответ, показали, как сильно она развилась после Бальбека в умственном отношении и сколько у нее обнаружилось вдруг скрытого вкуса, — слова, которыми, по ее утверждению, она обязана была исключительно моему влиянию, совместной жизни со мной, но которых сам я никогда бы не произнес, как если бы мне навсегда запрещено было кем-то неведомым употреблять в разговоре литературные обороты. Должно быть, Альбертине и мне суждено было разное будущее. Я почти предчувствовал это, видя, как она торопится применять чисто

книжные образы, которые казались мне предназначенными для другого, более возвышенного употребления, остававшегося для меня еще неясным. Она мне сказала (и, несмотря на все, я был глубоко растроган, так как подумал: конечно, я бы не мог сказать так, как она, но все-таки без меня и она бы так не сказала, общение со мной оказало на нее глубокое влияние, она не может, следовательно, не любить меня, она — мое произведение): «Мне больше всего нравится в этой выкрикиваемой на улице снеди то, что вещь, услышанная как рапсодия, меняет на столе природу и обращается к моим вкусовым ощущениям. Что касается мороженого (ибо я надеюсь, что вы конечно закажете мне его только в старомодных формочках в виде различных архитектурных сооружений), то каждый раз, когда я его ем, античные храмы, церкви, обелиски и скалы служат для меня как бы живописной географией, которой я сначала любуюсь, а затем обращаю ее формы из малины или ванили в прохладу, так приятно освежающую мое горло».

Я находил, что это немного чересчур хорошо сказано, но она чувствовала, что я ценю такую манеру говорить, и продолжала, по временам делая паузы, когда ее сравнение выходило удач-

ным; она смеялась тогда своим красивым смехом, который терзал меня заключенным в нем сладострастием: «Бог мой, боюсь, что в отеле Риц вы найдете Вандомские колонны из шоколадного или малинового льда, и тогда их придется взять несколько, чтобы они имели вид пилонов, выстроенных в ряд во славу Прохлады. Там изготовляют также малиновые обелиски, которые будут расставлены там и сям в палящей пустыне моей жажды; их розовый гранит я расплавлю в глубине своего горла, и они утолят его лучше, нежели оазис (тут раздавался грудной смех — не то от удовлетворения такой красивой фразой, не то от иронии над собой, что она способна выражать свои мысли в таких изящных образах, или же, увы! от физического наслаждения ощущать в себе нечто столь приятное и столь свежее, доставлявшее ей столько чувственной радости). Эти ледяные пики от Рица напоминают иногда Мон-Розу, и даже если мороженое лимонное, я ничуть не против того, чтобы оно имело монументальную форму, чтобы комочки его были неправильны, обрывисты, как горы на картинах Эльстира. Тогда оно не должно быть слишком белым, а чуточку желтоватым, должно напоминать грязный и тусклый снег, которым покрыты горы

Эльстира. Пусть эти комочки лимонного мороженого будут невелики, пусть они будут в половину нормальной величины, все же они представляют собой миниатюрные горы, и воображение легко восстанавливает их размер, как при виде карликовых японских кедров, дубов, мансанилл: поставив несколько таких деревьев вдоль желобка с водой в моей комнате, я получила бы огромный спускающийся к реке лес, в котором легко заблудиться маленьким детям. Таким же образом у подошвы моего желтоватого комочка лимонного мороженого я отчетливо вижу почтарей, путешественников, почтовые кареты, на которые язык мой обваливает погребающие их под собой ледяные глыбы (жестокое сладострастие, с которым она это сказала, наполнило меня ревностью); таким же образом, — продолжала она, — я берусь истребить, столб за столбом, порфирные венецианские церкви из земляники и обрушить на верующих все, что уцелеет. Да, все эти монументальные сооружения перекочуют со своего каменного фундамента в мою грудь, где уже щекочет их тающая прохлада. Но, знаете, даже без мороженого ничто так не возбуждает жажды, как объявления о минеральных водах. В Монжувене, у мадемуазель Вентейль, не было по

соседству хорошего мороженщика, но мы совершали в саду турне по Франции, распивая каждый день новую минеральную воду, например Виши; когда ее нальешь в стакан, то со дна поднимается белое облачко, тающее и исчезающее, если пить не очень скоро». Но мне было очень тяжело слушать о Монжувене, и я перебил ее. «Я вам надоела, прощайте, милый». Какая перемена после Бальбека, где, я думаю, сам Эльстир не мог бы угадать в Альбертине этих поэтических богатств, правда, не столь удивительных и не столь своеобразных, как поэтическое дарование Селесты Альбаре. Никогда бы Альбертина не придумала того, что говорила мне Селеста, но любви, даже когда она по-видимому на исходе, свойственна односторонность. Я предпочитал живописную географию мороженых, незамысловатое изящество которой казалось мне лишним поводом любить Альбертину и доказательством моей власти над ней, ее любви ко мне.

Когда Альбертина ушла, я почувствовал, какой обузой было для меня ее постоянное присутствие, ее неугомонная беготня, мешавшая мне спать, вечно державшая меня простуженным, так как двери оставались незакрытыми, и принуждавшая меня, — для подыскания предлогов, которые

оправдывали бы мой отказ сопровождать ее, не производя в то же время впечатления, что я тяжело болен, а с другой стороны не позволили бы ей быть одной, — проявлять ежедневно больше изобретательности, чем Шехерезада. К несчастью, если благодаря этой изобретательности персидская сказочница отдаляла свою смерть, то я, напротив, ее приближал. Словом, в жизни бывают положения, — они не всегда создаются, как у меня, ревностью влюбленного и слабым здоровьем, не позволяющим разделять жизнь существа деятельного и юного, — когда вопрос, продолжать ли совместную жизнь или же вернуться к прежней раздельной жизни, ставится почти медицински: на какой из двух видов покоя следует обречь себя (продолжая ежедневно переутомляться, или же возвращаясь к терзаниям одиночества) — на покой мозга или на покой сердца?

Во всяком случае, я был доволен, что Альбертина отправилась в Трокадеро в сопровождении Андре, ибо недавние, весьма впрочем ничтожные, инциденты привели к тому, что, сохраняя разумеется прежнее доверие к честности шофера, я перестал вполне полагаться на его бдительность или по крайней мере на его проницательность.

Так, совсем недавно, вернувшись с прогулки в Версаль, куда она ездила с одним только шофером, Альбертина сказала мне, что завтракала в «Водоемах», между тем как шофер говорил о ресторане «Ватель»; встревоженный этим противоречием, я под каким-то предлогом спустился к шоферу (тому же самому, которого мы видели в Бальбеке), когда Альбертина одевалась. «Вы сказали мне, что завтракали у Вателя, а мадемуазель Альбертина говорит о «Водоемах». Что это значит?» Шофер отвечал: «Я сказал о себе, что я завтракал у Вателя, но я не могу знать, где завтракала мадемуазель. По приезде в Версаль она покинула меня и взяла фиакр, она предпочитает его автомобилю, если ехать недалеко». Я уже бесился при мысли, что она была одна, притом не только во время завтрака. «Разве вы не могли бы, — мягко сказал я (так как не хотел создавать впечатление, будто наблюдаю за Альбертиной, что было бы для меня унизительно, и даже вдвойне, ибо это означало бы, что она скрывает от меня свои поступки), — позавтракать, ну не вместе с ней, но в том же ресторане?» — «Она просила меня быть на площади д'Арм только в шесть часов вечера. Мне было не велено искать ее по выходе из ресторана». — «А!» — произнес

я, стараясь скрыть свое удручение, и вернулся к себе.

Итак, больше семи часов подряд Альбертина была одна, предоставленная самой себе. Я знал, правда, что фиакр не был простой уловкой с целью отделаться от стеснительного надзора. Альбертина предпочитала кататься по городу в фиакре, говоря, что с фиакра лучше видно и ветер не такой резкий. Но она провела одна целые семь часов, относительно которых я никогда ничего не узнаю. И я не решался себе представить, как она их провела. Я нашел, что шофер проявил большую нерасторопность, но мое доверие к нему с этих пор стало полным. Ибо если бы он был хоть в малейшей стачке с Альбертиной, он ни за что бы не признался мне, что оставил ее без присмотра от одиннадцати часов утра до шести часов вечера. Было, правда, еще одно объяснение этого признания шофера, но очень уж нелепое. Именно: ссора между ним и Альбертиной внушила ему мысль сделать мне маленькое разоблачение и показать таким образом моей подруге, что он человек болтливый и что, если после этого очень мягкого предупреждения она не пойдет навстречу его желаниям, он выложит мне все начистоту. Но, повторяю, объяснение

это было нелепым; нужно было, во-первых, предположить несуществующую ссору между ним и Альбертиной, а, кроме того, наделить качествами шантажиста этого превосходного знатока своего дела, всегда такого предупредительного славного парня. Впрочем, через два дня я убедился, что опасения, возникшие у меня в припадке подозрительности, были неосновательны, и на самом деле он умел ловко и незаметно наблюдать за Альбертиной. Ибо, улучив минуту, когда можно было поговорить с ним наедине о встревожившей меня поездке в Версаль, я обратился к нему с видом дружеским и непринужденным: «Прогулка в Версаль, о которой вы мне говорили позавчера, была превосходна, и вы вели себя безупречно, как всегда. Но позвольте вам сделать одно маленькое разъяснение, не имеющее, впрочем, никакого значения: у меня такая ответственность перед госпожой Бонтан, доверившей мне свою племянницу, я так боюсь несчастных случаев и так упрекаю себя за то, что не выезжаю вместе с ней, что хотел бы поручить именно вам возить повсюду мадемуазель Альбертину, — вы такой опытный, такой изумительно ловкий, у вас не может случиться несчастья. Когда она с вами, я совершенно спокоен». Очарователь-

ный христианнейший шофер тонко улыбнулся, сложив руки на рулевом колесе в форме креста, которым освящаются на литургии святые дары. Затем он произнес слова, которые (изгнав из моего сердца всякое беспокойство и мгновенно наполнив его радостью) внушили мне желание прыгнуть ему на шею: «Не бойтесь, — сказал он, — с ней ничего не может случиться, потому что, когда я не сижу за рулем, глаз мой следует за ней повсюду. В Версале я, не подавая виду, гулял по городу можно сказать вместе с ней. Из «Водоемов» она отправилась во дворец, из дворца в Трианон, и я все время ходил за ней так, как будто я ее не вижу, и самое замечательное, что и она меня не видела. А кабы и увидела, — невелика беда! Ведь это так естественно, что, имея в своем распоряжении целый день, я тоже иду осматривать дворец. Тем более, что мадемуазель наверно обратила внимание, что я кое-что читал и интересуюсь всеми старинными достопримечательностями (шофер говорил правду, я бы даже немало подивился, если бы узнал, что он друг Мореля: настолько он превосходил скрипача по части вкуса и сметливости). Но, словом, она меня не видела». — «Она наверно встретила подруг, ведь у нее их несколько в Версале». — «Нет, она

все время была одна». — «В таком случае, на нее наверно все смотрели: такая шикарная барышня и совершенно одна». — «Наверно смотрели, но она вряд ли это заметила: все время она ходила, уткнувшись в путеводитель, и отрывалась от него только для того, чтобы взглянуть на картину».

Рассказ шофера показался мне тем более правдивым, что в день своей прогулки Альбертина действительно прислала мне две открытки: одну со снимком дворца и другую со снимком Трианона. Внимание, с которым любезный шофер следил за каждым ее шагом, меня очень тронуло. Как было мне предположить, что эта поправка, — в форме простого дополнения к его позавчерашнему рассказу, — объяснялась тем, что в течение этих двух дней Альбертина, обеспокоенная, как бы шофер мне не проболтался, покорилась и восстановила с ним добрые отношения? Такое подозрение даже не пришло мне в голову. Понятно, рассказ шофера, рассеяв все мои опасения насчет обмана со стороны Альбертины, вызвал у меня вполне естественное охлаждение к моей подруге и ослабил интерес к тому, как она провела день в Версале. Однако я думаю, что объяснения шофера, обелившие Альбертину и сделавшие ее еще более скучной для меня,

сами по себе не могли бы, пожалуй, так быстро успокоить меня. Два прыщика, появившиеся в последние дни на лбу моей подруги, пожалуй, сильнее способствовали изменению моих сердечных чувств. Наконец, чувства эти еще больше отвратились от нее (настолько, что я вспоминал о ее существовании лишь в те минуты, когда я ее видел) благодаря необыкновенному признанию, которое мне сделала случайно встреченная горничная Жильберты. Она мне сообщила, что в те времена, когда я ежедневно ходил к Жильберте, та любила одного молодого человека, с которым виделась гораздо чаще, чем со мной. Раз у меня закралось, правда, такое подозрение, и я даже стал расспрашивать эту самую горничную. Но так как ей было известно, что я влюблен в Жильберту, то она все отрицала и клялась, что мадемуазель Сван никогда не видела этого молодого человека. Теперь же, зная, что моя любовь давно уже умерла, что уже много лет я оставлял все письма Жильберты без ответа, — а, может быть, также и потому, что сама она больше не служила у Жильберты, — горничная по собственному почину рассказала мне во всех подробностях неизвестный мне любовный эпизод. Это ей казалось вполне естественным. Вспоминая ее тогдашние

клятвы, я думал, что она не была в курсе дела. Ничуть не бывало, — именно она, по приказанию г-жи Сван, ходила предупреждать молодого человека как только та, которую я любил, оставалась одна. Которую я любил тогда… Но точно ли моя старая любовь умерла в такой степени, как я считал? Во всяком случае мне тяжело было слушать рассказ горничной.

Так как я не верю, чтобы ревность могла пробудить умершую любовь, то мне кажется, что мое болезненное впечатление, по крайней мере отчасти, обусловлено было уязвленным самолюбием, ибо некоторым неприятным мне людям, насмешливо поглядывавшим на меня в ту пору и даже немного позже, — впоследствии все это переменилось — было отлично известно, что Жильберта, в которую я был влюблен, водит меня за нос. Вследствие этого я даже задался ретроспективно вопросом, не содержалось ли в моей любви к Жильберте некоторой дозы самолюбия, ибо теперь мне было очень мучительно сознавать, что в часы нежности, когда я был так счастлив, моя подруга на самом деле обманывала меня, и об этом знали люди, которых я не любил. Во всяком случае, любовь ли то была или самолюбие, Жильберта почти умерла для меня, но не

совсем, и рассказ горничной окончательно прогнал все тревоги об Альбертине из моего сердца, где она занимала такое маленькое место. Тем не менее, возвращаясь к ней (после столь длинного отступления) и к ее прогулке в Версаль, должен признаться, что ее открытки из Версаля (значит, сердце может находиться под перекрестным огнем двух ревностей, относящихся к двум разным лицам?) вызывали у меня не особенно приятное ощущение, попадаясь мне на глаза, когда я перебирал свои бумаги. И я думал, что, не будь шофер таким честным парнем, совпадение его второго рассказа с открытками Альбертины имело бы весьма ничтожное значение, ибо что же и присылать в первую очередь из Версаля, как не виды дворца и Трианона, если открытка выбрана не гурманом, влюбленным в какую-нибудь статую, и не глупцом, прельстившимся станцией конки или вокзалом де Шантье. Впрочем, я не прав, говоря: глупцом, — такие открытки покупались не только глупцами на память о пребывании в Версале.

В продолжение двух лет люди культурные, художники находили Сиену, Гренаду, Венецию несносными, а о самом захудалом омнибусе, о железнодорожных вагонах говорили: «Вот это

красота». Потом это увлечение прошло, как и другие. Кажется даже, снова стали твердить, что «разрушение благородных памятников старины — святотатство». Во всяком случае, вагон первого класса перестал рассматриваться a priori как произведение более прекрасное, чем собор Святого Марка в Венеции. Однако можно было слышать: «Вот это жизнь, возвращение назад противоестественно», — хотя говорившие так не делали отсюда четких выводов. На всякий случай, продолжая питать полное доверие к шоферу, я не отпускал больше Альбертину иначе, как в сопровождении Андре, — ведь она могла неожиданно покинуть шофера, а тот не решился бы последовать за ней из боязни прослыть шпионом, — между тем как в прежнее время я довольствовался одним шофером. Я даже отпускал ее тогда (чего не решился бы сделать потом) на трое суток с одним только шофером до самого Бальбека, — настолько ей хотелось промчаться с большой скоростью в открытой машине. На трое суток, — но я оставался совершенно спокоен, несмотря на то, что град открыток, которыми она меня засыпала, долетел до меня, благодаря отвратительной работе бретонской почты (хорошо работающей летом, а зимой приходящей

в полное расстройство), только через неделю после возвращения Альбертины и шофера; они оказались настолько выносливы, что в самый день приезда предприняли, как ни в чем не бывало, обычную прогулку. Я был в восторге, что Альбертина отправилась сегодня в Трокадеро на «экстраординарное» представление, но особенно меня радовало, что она поехала туда не одна, а с Андре.

Теперь, когда Альбертина уехала, мысли эти больше не занимали меня, и я подошел к окну. Сначала царила тишина, рассекаемая в разных октавах, как при настройке рояля, свистком продавца требухи и рожком трамвая. Потом мало-помалу стали отчетливо выделяться перебивавшие друг друга мотивы, и к ним прибавлялись все новые и новые. Среди них можно было различить еще один рожок, рожок разносчика, торговавшего каким-то неведомым мне товаром; рожок этот был в точности похож на трамвайный, но он не уносился быстрым движением, так что его можно было принять за сигнал потерпевшего аварию и остановившегося трамвая, который время от времени издавал жалобные крики, как умирающее животное. Я думал, что если мне когда-нибудь придется покинуть этот аристократический

квартал, сменив его не на чисто простонародный, то центральные улицы и бульвары (где фруктовая, рыбная и т. п. торговля сосредоточена в больших гастрономических магазинах и делает ненужными крики уличных торговцев, да их там нельзя было бы и расслышать) покажутся мне очень унылыми, необитаемыми, оголенными, очищенными от всех этих литаний мелких ремесленников и ходячих съестных лавочек, лишенными пленявшего меня по утрам оркестра. По тротуару шла не очень элегантная (или повиновавшаяся уродливой моде) женщина в слишком светлом широком пальто из грубой шерсти; но нет, это была не женщина, это шофер, закутанный в козью шкуру, направлялся пешком в свой гараж. Высыпавшие из больших отелей крылатые мальчики-курьеры в переливчатых костюмах неслись на велосипедах к вокзалам встречать пассажиров, приезжающих с утренними поездами. Порой раздавался взвизг скрипки, виновником которого был проезжавший автомобиль или же мой электрический кипятильник, куда я налил мало воды. В симфонию врывалась старомодная «ария»: на смену продавщице конфет, обыкновенно сопровождавшей свои выкрики трещоткой, появлялся торговец иг-

рушками с привязанным к дудочке картонным паяцем, которого он подбрасывал во все стороны; он нес целую связку таких же паяцев и, пренебрегая ритуальным речитативом Григория Великого, преобразованным Палестриной, а также лирическим речитативом новых композиторов, запевал полным голосом, — запоздалый приверженец чистой мелодии: «Эй, папаши, эй, мамаши, позабавьте Ваню, Машу, я торгую, продаю, и я денежек хочу. Тра ля ля ля. Тра ля ля ля, тра ля ля ля ля ля ля. Эй, детишки!» Итальянцы в беретах даже не пробовали состязаться с этой бравурной арией и, ни слова не произнося, предлагали прохожим статуэтки. Но вот военная флейта прогоняла торговца игрушками, и он пел глуше, хотя и *престо:* «Эй, папаши, эй, мамаши!» Уж не драгун ли, которого я слышал по утрам в Донсьере, играл на этой флейте? Нет, ибо когда она смолкала, раздавались следующие слова: «А вот реставратор фаянса и фарфора. Чиню стекло, мрамор, хрусталь, слоновую кость и старинные вещи. А вот реставратор». В мясной лавке, левая часть которой была залита солнцем, а в правой подвешен был целый бык, юный мясник очень высокого роста и очень худой, с белокурыми волосами и длинной шеей, высовывавшейся из небесно-голубого воротника,

с головокружительной быстротой и величайшей добросовестностью откладывал в одну сторону изысканные филеи, а в другую — огузки последнего сорта, помещал все это на ослепительно сверкавшие весы, увенчанные крестом, с которого ниспадали красивые цепочки, и, — хотя потом он лишь раскладывал на витрине почки, турнодо, антрекоты, — в действительности гораздо больше походил на прекрасного ангела, что в день Страшного суда будет сортировать по достоинствам и взвешивать души, отделяя добрые от злых. И снова воздух рассекался тонкими и пронзительными звуками флейты, возвещавшей не разрушения, которых так боялась Франсуаза каждый раз, когда по улице дефилировал кавалерийский полк, но «реставрации», которые брался производить «антикварий», простак или насмешник, во всяком случае большой эклектик, далекий от специализации, прилагавший свое искусство к самым разнообразным материям. Булочницы-разносчицы торопливо напихивали в свои корзины батоны для «большого завтрака», а молочницы проворно нацепляли на крючки бутылки молока. Точно ли они были так хороши, как это рисовалось моим жадным взорам? Может быть, вся их привлекательность исчезла бы, ес-

ли бы я заполучил к себе одну из этих женщин, которых наблюдал с высоты своего окна в лавках или же бегущими по улице. Чтобы оценить, чего я лишался благодаря своему заточению, иными словами исчислить богатство, которое сулил мне день, нужно было бы вырвать из длинного развертывающегося передо мной живого фриза одну из молоденьких прачек или молочниц, заставить на мгновение появиться, как силуэт подвижной декорации, в раме моих дверей и там удержать перед глазами, добыв у нее на память какую-нибудь примету, которая позволила бы мне вновь ее найти, вроде того, как орнитологи или ихтиологи, выпуская на свободу птиц или рыб, подвязывают им отличительные значки, чтобы узнать их потом и восстановить пройденный ими путь.

Вот почему, придумав подходящий предлог, я попросил Франсуазу прислать мне одну из этих девушек, постоянно заходивших к нам за бельем, приносивших хлеб или графины молока и часто получавших от Франсуазы поручения. Я был похож в этом отношении на Эльстира: принужденный оставаться в своем ателье в иные весенние дни, когда наполненные фиалками леса внушали ему страстное желание взглянуть

на них, он посылал свою консьержку за букетом фиалок. Тогда Эльстиру казалось, что перед глазами у него не стол, на котором он поставил образчик лесной флоры, но целый лесной ковер, испещренный тысячами виденных им когда-то змеевидных стебельков, гнувшихся под тяжестью насаженных на них голубых клювов, — ковер, разостланный в его ателье волшебной силой тонкого запаха голубенького цветка.

На прачку нечего было рассчитывать в воскресенье. Что касается разносчицы хлеба, то на мое несчастье она звонила, когда Франсуазы не было на кухне, оставила свои батоны в корзине на площадке лестницы и скрылась. Фруктовщица придет лишь гораздо позже. Однажды я ходил к молочнику заказать сыр, и среди продавщиц заметил одну экстравагантную блондинку, высокого роста, хотя еще совсем девочку, которая, казалось, мечтала, стоя в довольно гордой позе. Я видел ее лишь издали, и она так быстро скрылась, что о ее наружности я мог бы сказать только то, что она должно быть преждевременно выросла и что голова ее украшена прической, создававшей впечатление не столько массы волос, сколько скульптурной стилизации извилин, которые можно наблюдать на параллельно стекающих

ледниковых глыбах. Это все, что я успел различить наряду с резко очерченным на худеньком лице носом (вещь редкая у девочек), напоминавшим клюв ястребенка. Впрочем, мне помешали хорошенько ее разглядеть не столько товарки, толпившиеся вокруг нее, сколько неуверенность насчет чувств, которые мог я ей внушить с первого взгляда и впоследствии: неприступная ли то была гордость, ирония или же презрение, выраженное ею потом товаркам. Ряд этих мгновенно возникших у меня предположений окружил ее словно пеленой тумана, в которой она укрылась, как укрывается какая-нибудь богиня в грозовой туче. Ибо душевная неуверенность является большим препятствием для отчетливого зрительного восприятия, чем физические недостатки глаза. В этом слишком худеньком молодом существе, слишком сильно поражавшем внимание, избыток того, что другой назвал бы, пожалуй, прелестями, как раз мне и не нравился, но он все-таки помешал мне что-нибудь заметить и тем более что-нибудь вспомнить о других молоденьких молочницах: орлиный нос блондинки и ее мечтательный, самолюбивый, — черта, так мало приятная, — взгляд погрузили их во тьму, как золотистая молния погружает во мрак

окружающий пейзаж. И таким образом из моего посещения молочной, куда я ходил заказать сыр, я запомнил (если можно употребить это слово по отношению к человеческому лицу, рассмотренному так плохо, что десять раз прилаживаешь к его пустоте различные носы), я запомнил только девушку, которая мне не понравилась. Этого достаточно для зарождения любви. Все же я позабыл бы экстравагантную блондинку, и никогда у меня не явилось бы желания увидеть ее вновь, если бы Франсуаза мне не сказала, что, несмотря на свои молодые годы, девчонка эта разбитная и собирается бросить свою хозяйку, так как, из-за кокетства, наделала долгов в квартале. Говорят, что красота есть обещание счастья. И обратно: возможность наслаждения бывает иногда началом красоты.

Я принялся читать письмо мамы. Сквозь цитаты из г-жи де Севинье: «Если мысли мои не совсем черные в Комбре, то они во всяком случае серо-бурые, — каждую минуту я думаю о тебе: мне тебя недостает; твое здоровье, твои дела, твое отсутствие, — как, по-твоему, в каком свете может рисоваться все это в надвигающихся сумерках?» — я чувствовал, что моя мать была недовольна затянувшимся пребыванием

Альбертины в нашем доме, где ее положение упрочилось, хотя мои намерения жениться еще не были объявлены невесте. Мама больше не говорила мне об этом прямо, боясь, как бы ее письма не попались кому-нибудь на глаза. Своими завуалированными фразами она упрекала меня еще в том, что я не сообщаю немедленно о получении ее писем: «Тебе хорошо известно, что госпожа де Севинье говорила: *«Когда мы далеко, нам не смешны больше письма, начинающиеся: я получил ваше письмо».* Не заикаясь ни одним словом о том, что беспокоило ее больше всего, она негодовала на мои большие расходы: «На что могут уходить все твои деньги? И без того меня очень мучит, что, подобно Шарлю де Севинье, ты не знаешь, чего ты хочешь, и в тебе сидит *два или три человека сразу,* постарайся по крайней мере не быть похожим на него по части расходов, чтобы я не могла сказать о тебе: *он ухитряется тратить незаметно, спускать деньги, не играя в карты, и платить, не расплачиваясь».* Только что я окончил письмо мамы, как вошла Франсуаза доложить, что у нее сейчас сидит та самая разбитная молочница, о которой она мне говорила. «Она отлично сможет снести письмо мосье и съездить по его поручению, если это не очень

далеко. Пусть мосье посмотрит, она похожа на Красную шапочку». Франсуаза пошла за ней, и скоро я услышал, как она вела ее, приговаривая: «Ну, ну, смелее, ты боишься пройти коридором, дурища экая, а я думала, что ты не такая робкая. Что же, за руку тебя вести?» И Франсуаза, на правах хорошей преданной служанки, умеющей внушать почтение к своему господину, которое она сама к нему питает, приняла величественный вид, так облагораживающий своден на картинах старых мастеров, где рядом с ними почти совсем стушевываются любовники. Но Эльстиру, созерцавшему фиалки, не было дела до их чувств и поведения.

Появление молоденькой молочницы тотчас же отняло у меня спокойствие созерцателя, я стал думать, как бы придать побольше правдоподобия басне о письме, которое она должна будет снести, и принялся быстро писать, взглядывая на нее лишь украдкой, чтобы не показалось, будто я пригласил ее только для этого. Она была украшена для меня прелестью неведомого, которой не хватало в моих глазах красивым девушкам из тех домов, где они нас ожидают. Она не была ни голой, ни ряженой, но настоящей молочницей, одной из тех, что представляются такими хоро-

шенькими, когда у нас нет времени подойти к ним поближе, она была до некоторой степени олицетворением того, что составляет вечное желание, что заставляет нас вечно сокрушаться о жизни, двойной поток которой наконец отведен, направлен к нам. Двойной, — ибо если речь идет о неведомом, о женщине, в которой мы угадываем божественное совершенство, судя по ее осанке, стройности, равнодушному взгляду, горделивому спокойствию, то, с другой стороны, нам хочется, чтобы эта женщина занималась определенной профессией, позволяя нам таким образом переноситься в мир, романтически рисующийся нам, благодаря ее своеобразному костюму, столь непохожим на наш собственный.

Впрочем, если бы мы вздумали найти точную формулу закона любовного любопытства, то она выразилась бы в максимальной удаленности замеченной нами женщины от женщины, ставшей нам близкой, доступной нашим ласкам. Если женщины тех заведений, которые когда-то назывались закрытыми домами, если даже кокотки (при условии, что нам известна их профессия) так мало нас привлекают, то объясняется это не тем, что они менее красивы, а тем, что все они доступны; тем, что как раз то, чего мы собираемся

добиваться, они сразу нам предлагают; тем, что их не нужно побеждать. Удаленность, о которой мы говорим, сведена у них к минимуму. Продажная женщина уже на улице улыбается нам той же улыбкой, какой будет улыбаться в наших объятиях. Мы скульпторы. Мы хотим вылепить из женщины статую, совсем не похожую на то, чем она нам представилась. Мы увидели равнодушную, заносчивую девушку на берегу моря, увидели серьезную, всю поглощенную своей работой продавщицу у прилавка, дающую нам сухие ответы, может быть, только из боязни стать предметом насмешек своих товарок, увидели торговку фруктами, едва нам отвечающую. И вот, мы без устали размышляем, удастся ли нам при помощи искусного обхождения сломить прямолинейность гордой девушки на берегу моря, продавщицы, боящейся сплетен, рассеянной торговки фруктами, заставить руки, носившие корзины с фруктами, обвить нашу шею, заставить глаза, до сих пор — о красота суровых глаз! — ледяные или рассеянные в часы работы, когда продавщица так боялась злословия своих подруг, склониться над нашими губами с улыбкой согласия, эти избегавшие наших осаждающих взглядов глаза, которые теперь, когда мы увидели

ее наедине, лучатся и морщатся от смеха, слыша наши комплименты и предложения.

Между продавщицей, прачкой, внимательно утюжащей белье, торговкой фруктами, молочницей, — и вот этой девушкой, готовой стать нашей любовницей, существует максимальная удаленность, еще более увеличенная и доведенная до крайних пределов теми привычными профессиональными жестами, благодаря которым девичьи руки во время их работы представляют собой по своим линиям нечто диаметрально противоположное гибким кольцам, что каждый вечер обвиваются вокруг нашей шеи, в то время как рот готовится к поцелую. И вот, всю свою жизнь проводим мы, снова и снова увиваясь вокруг серьезных девушек, профессия которых по-видимому так удаляет от нас. Заключенные в наши объятия, они оказываются только тем, чем они были в действительности, — расстояние, которое мы мечтали преодолеть, уничтожено. Но мы повторяем свои маневры сызнова с другими женщинами, отдаем им все свое время, все свои деньги, все свои силы, выходим из себя от бешенства на слишком медлительного кучера, из-за которого мы можем опоздать на наше первое свидание, нас бьет лихорадка. Между тем мы зна-

ем, что это первое свидание рассеет иллюзию. Но нам все равно, пока иллюзия длится; мы хотим посмотреть, можно ли ее претворить в действительность, и тогда думаем о прачке, холодность которой привлекла наше внимание. Любовное любопытство подобно тому, что возбуждают в нас имена местностей: вечно обманываемое, оно вновь возрождается и вечно остается неудовлетворенным.

Увы! Оказавшись возле меня, блондинка молочница с волнистыми кудрями лишилась обаяния, созданного воображением, перестала возбуждать мое желание, вернулась к тому, чем она была. Ее не окутывал большой вихрь облака моих догадок. Она как будто чувствовала себя совсем сконфуженной тем, что у нее (вместо десятка, двух десятков носов, которые я последовательно вспоминал, не будучи в силах отчетливо представить который-нибудь из них) только один нос, более круглый, чем я предполагал, внушавший мысль о глупости и во всяком случае утративший способность множиться. Плененная, неподвижная, неспособная что-либо прибавить к своим жалким прелестям, она лишилась союзника — моего воображения. Упав в косную действительность, я попытался воспрянуть вновь; незамеченные в

лавочке щеки показались мне такими красивыми, что я даже оробел и, чтобы овладеть собой, сказал молочнице: «Будьте так добры, передайте мне *Фигаро* со стола, мне нужно посмотреть адрес места, куда я хочу вас послать». Беря газету, она откинула до локтя красный рукав жакетки и подала мне консервативный листок ловким и изящным движением, понравившимся мне своей непринужденной быстротой, бархатным видом и алым цветом. Развертывая *Фигаро,* я, чтобы сказать что-нибудь, спросил у молочницы, не поднимая глаз: «Как называется то, что на вас, из красного трико, очень вам к лицу?» Она мне отвечала: «Это мой гольф». Ибо вследствие превратностей, которым подвержены все моды, те костюмы, что несколько лет назад казались принадлежностью сравнительно элегантного круга альбертининых подруг, стали теперь уделом работниц. «Я не очень вас стесню, — сказал я, делая вид, будто что-то ищу в *Фигаро,* — если пошлю вас довольно далеко?» Как только молочнице показалось, что я нахожу трудным мое поручение, так тотчас и сама она стала находить, что оно ее стеснит. «Да, мне нужно катить сейчас на велосипеде. Боже мой, мы бываем свободны только по воскресеньям». — «Разве вы не боитесь

простудиться вот так, с непокрытой головой?» — «Нет, у меня голова не будет открыта, я надену свой поло, да могу обойтись и без него, у меня густые волосы». Подняв глаза, я взглянул на отливавшие золотом завитые кудри и почувствовал, что их вихрь захватывает у меня дух, унося в блеск и шквалы настоящего урагана красоты.

Я снова погрузился в газету; несмотря на то, что мне хотелось только овладеть собой и выиграть время, и я лишь делал вид, будто читаю, все же смысл слов, лежавших у меня перед глазами, мной схватывался, и они меня поразили: «Программу объявленного нами утреннего представления, которое дано будет сегодня в большом зале Трокадеро, нужно дополнить участием мадемуазель Лии, любезно согласившейся выступить в *«Проделках Нерины»*. Она, разумеется, исполнит роль Нерины, в которую вкладывает столько шумного задора и обворожительного веселья». Это было все равно, как если бы с моего сердца грубо сорвали повязку, под которой начали заживать его раны после возвращения из Бальбека. Вся утихшая было тревога хлынула широким потоком из открывшихся ран. Лия была актриса, приятельница тех двух девиц из Бальбека, на которых однажды вечером в казино Альбертина

смотрела в зеркало с таким видом, будто их не замечает. Правда, услышав имя Лия, Альбертина сказала мне в Бальбеке каким-то особенно негодующим тоном, почти оскорбленная, что могли возникнуть подозрения насчет столь безупречной добродетели: «Нет, нет, это совсем не такая женщина, она вполне порядочная». На мое несчастье, такие утверждения Альбертины всегда являлись лишь исходным пунктом утверждений совсем иного рода. Через некоторое время после первого утверждения следовало второе: «Я с ней не знакома». Но после того, как известная особа была объявлена «стоящей выше подозрений», и было сказано, что с ней незнакомы, Альбертина понемногу забывала это последнее утверждение и в какой-нибудь фразе незаметно для себя впадала с собой в противоречие, рассказывала, что она с ней знакома. После первого забвения, кончавшегося высказыванием нового утверждения, начиналось второе забвение — забывалось, что обсуждаемая особа «стоит выше подозрений». «Разве такая-то, — спрашивал я, — не грешит извращенностью?» — «Как же, конечно, это всем известно!» Тотчас же негодующий тон вновь слышался в словах, являвшихся смутным и сильно ослабленным отзвуком первоначального

утверждения: «Должна сказать, что со мной она всегда вела себя безукоризненно. Понятно, она знала, что я бы ее осадила, да еще как! Но, в конце концов, все это пустяки. Я должна быть ей признательна за неподдельное уважение, которое она всегда ко мне проявляла. Видно, она знала, с кем имеет дело».

Правда запоминается, потому что у нее есть имя, есть глубокие корни, но сочиненная экспромтом ложь забывается быстро. Альбертина забыла эту последнюю, четвертую, ложь, и однажды, желая завоевать мое доверие интимными признаниями, настолько увлеклась, что сказала мне о той же, столь безупречной, по ее словам, особе, с которой она была незнакома: «Представьте, она неравнодушна ко мне. Три или четыре раза просила меня проводить ее и зайти к ней. Я не видела ничего худого в том, чтобы провожать ее на виду у всех, среди бела дня. Но, подойдя к двери, я всегда придумывала какой-нибудь предлог, чтобы прощаться с ней и никогда у нее не была». Спустя некоторое время у Альбертины невзначай срывался намек на красоту предметов, которые можно было видеть у той же дамы. Продолжая расспросы, можно было, конечно, мало-помалу добиться от нее правды, и правда эта едва ли

была так страшна, как я думал, ибо, несмотря на свое легкомысленное обращение с женщинами, Альбертина вероятно предпочитала любовника, и теперь, когда я был ее любовником, вряд ли думала о Лии. Во всяком случае, по отношению к этой Лии я находился в стадии первого утверждения и не знал, знакома ли с ней Альбертина. Но, что касается многих других женщин, то мне было бы достаточно собрать и сопоставить противоречивые утверждения моей подруги, и они без труда ее бы изобличили (женские провинности, подобно астрономическим законам, гораздо легче вывести путем рассуждения, чем наблюдать, чем подметить в действительности). Но она скорее согласилась бы объявить ложным одно из нечаянно сорвавшихся у нее утверждений и таким образом разрушить всю мою систему, чем признать, что все рассказанное ею с самого начала было лишь узором фантастических сказок. Такие сказки можно встретить в *«Тысяче и одной ночи»*, сказки пленительные. Они заставляют нас страдать за лицо, которое мы любим, и таким образом мы немного подвигаемся в познании человеческой природы, не ограничиваясь игрой на ее поверхности. Проникая в нас, боль привлекает наше внимание и пробуждает нашу собственную

проницательность. Отсюда истины, которые мы не чувствуем себя вправе таить, так что если даже открыл их умирающий атеист, уверенный, что его ждет небытие, равнодушный к славе, то и он тратит последние часы своей жизни на то, чтобы поведать их миру.

Да, несомненно, я находился лишь в стадии первого из утверждений моей подруги относительно Лии. Я даже не знал, знакома ли с ней Альбертина или нет. Но это нисколько не меняло дела. Нужно было во что бы то ни стало помешать ей встретиться в Трокадеро с этой знакомой или познакомиться с этой незнакомкой. Повторяю, я не знал, знакома она с Лией или нет; между тем я наверно слышал об этом в Бальбеке от самой же Альбертины. Ведь и у меня, как и у Альбертины, забвение уничтожало значительную часть того, о чем она мне говорила. Память не есть способность всегда иметь перед глазами дублетный экземпляр разных фактов нашей жизни; скорее она — небытие, откуда сходство время от времени позволяет нам извлекать воскрешенными мертвые воспоминания. Но есть тысяча мелких фактов, выпадающих из этой виртуальности памяти, которые навсегда останутся для нас недоступными. Мы оставляем без внимания

все, что считаем не относящимся к реальной жизни любимой нами особы, мы сейчас же забываем сказанное ею о неизвестном нам факте или незнакомых нам людях, а также выражение лица, которое у нее было, когда она нам об этом говорила. Вот почему, если впоследствии этим самым людям случается возбудить нашу ревность, то, роясь в прошлом с целью узнать, не обманываемся ли мы, и действительно ли к ним торопится уйти наша любовница, действительно ли такое-то ее недовольство объясняется тем, что мы вернулись слишком рано и лишили ее свидания с ними, — роясь в прошлом и ища в нем указаний, мы не находим там ничего; всегда оглядывающаяся назад, ревность наша подобна историку, собравшемуся описывать эпоху, для которой у него нет ни одного документа, всегда запаздывающая, она как разъяренный бык бросается туда, где нет гордого и блестящего существа, дразнящего его своими уколами и вызывающего восторг у жестокой толпы своим великолепием и коварством. Ревность бьется в пустоте, испытывая ту неуверенность, какая свойственна нам во сне, когда мы мучимся, не находя в пустом доме человека, хорошо нам знакомого в жизни, но здесь, может быть, ставшего другим, заимствовав-

шего чьи-то чужие черты, — ту неуверенность, какая овладевает нами в еще большей степени по пробуждении, когда мы пытаемся припомнить ту или иную подробность нашего сна. Какой вид был у нашей подруги при произнесении таких-то слов: не казалась ли она счастливой, не насвистывала ли, что она делает только в тех случаях, когда у нее рождаются игривые мысли? Во времена любви, чуть только наше присутствие ей докучало или раздражало ее, не говорила ли она прямо противоположного тому, что утверждает нам теперь, будто она знакома или не знакома с такой-то особой? Мы этого не знаем, мы никогда этого не узнаем; с остервенением ищем мы бессвязных обрывков сновидения, а тем временем наша жизнь с любовницей продолжается, жизнь, беспечная к фактам, важность которых нам не видна, внимательная к вещам, может быть, вовсе для нас не важным, наводненная людьми, внутренно нам совершенно чуждыми, полная забывчивости, пробелов, напрасных тревог, — жизнь, подобная сновидению.

Тут я заметил, что молоденькая молочница все еще у меня. Я ей сказал, что конечно ей будет не по пути, и я не хочу ее затруднять. Тогда и она нашла, что мое поручение очень бы стеснило ее.

«Сегодня состоится интересный матч, мне бы не хотелось его пропустить». Я почувствовал, что у нее вероятно уже проснулась любовь к спорту и что через несколько лет она скажет: поживем всласть. Я сказал ей, что, право, ее услуги мне не нужны, и дал ей пять франков. Совсем на них не рассчитывавшая молочница тотчас же решила, что если она получила пять франков ни за что, то за мое поручение наверно получит гораздо больше, и матч начал терять привлекательность в ее глазах. «Я, пожалуй, успею исполнить ваше поручение. Все можно будет устроить». Но я вытолкал ее вон. Я чувствовал потребность в одиночестве, надо было во что бы то ни стало помешать Альбертине встретиться в Трокадеро с подругами Лии. Надо было, надо было добиться успеха; по правде сказать, я еще не знал как, и в эти первые мгновения только подносил руки к глазам, рассматривал ладони, сплетал пальцы и похрустывал ими, оттого ли, что ум, неспособный найти то, что ему надо, лениво позволяет себе минутную передышку, в течение которой самые безразличные вещи рисуются перед ним так отчетливо, как те колышущиеся от ветра стебельки травы на откосах, которые видны нам из вагона, когда поезд останавливается посреди поля, —

неподвижность так же мало плодотворная, как неподвижность пойманного животного, когда, парализованное страхом или онемевшее, оно глядит не шевелясь, — или же оттого, что я держал наготове свое тело — с заключенным в нем умом и присущими уму способами воздействия на ту или другую особу, — словно обратясь весь в оружие, удар которого должен был разлучить Альбертину с Лией и с двумя ее подругами. Правда, утром, когда Франсуаза пришла мне сказать, что Альбертина идет в Трокадеро, я мысленно произнес: «Альбертина может делать все, что ей угодно», я возомнил, что в этот лучезарный день ее поступки до вечера будут для меня совершенно безразличны; но виновником моей беззаботности было не только утреннее солнце, как я думал; она объяснялась также тем, что, заставив Альбертину отказаться от планов, которые могли у нее зародиться или даже быть ею осуществлены у Вердюренов, и предложив ей пойти на утреннее представление, для которого она не могла ничего подготовить, так как я выбрал его сам, я знал, что все ее поступки поневоле будут невинными. Равным образом, слова Альбертины, сказанные через несколько мгновений: «Если я убьюсь, мне это все равно», объяснялись ее убежденностью,

что она не убьется.

И я и Альбертина окружены были в это утро (гораздо плотнее, чем солнечным светом) некоей невидимой нам прозрачной и переменчивой средой, сквозь которую мы видели, я — ее поступки, она — цену собственной жизни, иными словами — не замечаемые нами убеждения, которые однако столь же мало можно уподобить чистой пустоте, как и окружающий нас воздух; образуя вокруг нас непостоянную атмосферу, иногда необыкновенно приятную, часто удушливую, убеждения эти стоят того, чтобы мы их подмечали и записывали с такой же заботливостью, как температуру, барометрическое давление, погоду, ибо каждому прожитому нами дню свойственна оригинальность, физическая и духовная. Незамеченное мной утром, и все же радостно меня окутывавшее, пока я не развернул *Фигаро,* убеждение в том, что Альбертиной будут совершены только безобидные поступки, — радостное это убеждение вдруг пропало. С ним пропал и окружавший меня счастливый день, сменившись днем мрачным, полным беспокойства, как бы Альбертина не столкнулась с Лией или еще хуже — с двумя девицами, которые по всей вероятности пришли в Трокадеро похлопать ак-

трисе и легко могли встретиться с Альбертиной в антракте. Я больше не думал о мадемуазель Вентейль, имя Лия вызвало наполнивший меня ревностью образ Альбертины в казино возле двух девиц. Ибо я обладал в своей памяти только сериями Альбертин, разрозненными, неполными, усеченными, мимолетными; таким образом моя ревность прикреплялась к отрывочным выражениям, беглым и четким, и людям, вызывавшим их на лице Альбертины.

Мне вспомнилось одно из таких выражений, появлявшееся у нее в Бальбеке под слишком пристальным взором двух девиц или женщин этого типа; вспомнилось страдание, испытанное мной при виде этих взоров пристальных, как у художника, собирающегося набросать эскиз, — взоров, бороздивших во всех направлениях лицо Альбертины, которое, вероятно благодаря моему присутствию, не подавало виду, будто их замечает, подвергалось их прикосновению с пассивностью, втайне должно быть сладострастной. И прежде чем она овладевала собой и заговаривала, проходила секунда, в течение которой Альбертина не шевелилась, улыбаясь в пустоту, с видом притворной непринужденности и скрытого удовольствия, как если бы с

нее делали фотографический снимок; или даже, принимая перед объективом более задорную позу, — ту, что она принимала в Донсьере, когда мы гуляли с Сен-Лу, — смеясь и высовывая язычок, точно дразня собаку. Конечно, совсем другое выражение лица бывало у нее в те минуты, когда сама она засматривалась на проходивших мимо девушек. В этом последнем случае взгляд ее узких бархатных глаз делался пристальным и так прочно приклеивался к прохожей, что, казалось, мог оторваться от нее не иначе, как с кожей. Но в такие минуты взгляд Альбертины придавал ей по крайней мере какую-то серьезность, он как будто даже делался страдальческим и мне казался приятным по сравнению со счастливым неподвижным взглядом, загоравшимся у нее в обществе двух бальбекских девиц, так что я предпочел бы мрачное выражение желания, которое она должно быть испытывала подчас, смеющемуся выражению, причиненному желанием, которое сама она внушала другим.

Тщетно пробовала она подавить свое довольство, — оно ее омывало, обволакивало, расплывчатое, полное неги, румянило ей лицо. Но все, что Альбертина таила в себе в такие минуты, что лучилось кругом нее и причиняло мне столько

страданий, — вдруг все это прорвется наружу в мое отсутствие, воспользовавшись которым она смело ответит на авансы двух девиц! Эти воспоминания повергали меня в большую печаль, они как бы выдавали вкусы Альбертины, были как бы откровенным признанием в неверности, которого не могли поколебать ни ее торжественные клятвы и моя готовность им верить, ни отрицательные результаты моих разведок, ни уверения Андре, может быть, ее соумышленницы. Альбертина могла сколько угодно отрицать свои отдельные измены, — нечаянно вырывавшиеся у нее слова, более убедительные, чем противоположные заявления, и даже одни лишь ее взгляды являлись красноречивым признанием не столько отдельных фактов, сколько того, что она так хотела бы скрыть и в чем ни за что бы не созналась, даже если бы ей грозили смертью: ее наклонностей. Ибо ни у кого нет желания открывать свою душу. Несмотря на печаль, в которую повергали меня эти воспоминания, мог ли я отрицать, что потребность в Альбертине была пробуждена у меня программой утреннего спектакля в Трокадеро? Альбертина была из тех женщин, проступки которых могут при случае оказаться более притягательными, чем их прелести, и

наравне с проступками — доброта, всегдашняя спутница вины, возвращающая нам душевный мир, который, живя с ними, мы вынуждены вечно завоевывать вновь, как те больные, что никогда не чувствуют себя хорошо два дня сряду. Впрочем, еще важнее проступков той поры, когда мы их любим, проступки, совершенные ими до знакомства с нами, и самый главный: их натура.

Мучительность такого рода любви объясняется тем, что ей предсуществует некоторый первородный грех женщины, именно и рождающий нашу любовь, так что, когда мы о нем забываем, то чувствуем меньше потребности в женщине, и для воскрешения любви необходимо возобновления страдания. Встретится ли Альбертина с двумя девицами и знакома ли она с Лией, — вот чем в эту минуту я был больше всего озабочен, позабыв о том, что отдельными фактами следует интересоваться лишь со стороны их общего значения, и дробить свое любопытство на то, что случайно кристаллизовалось в нашем сознании от невидимого потока жестокой реальности, навсегда для нас недоступной, если такое же ребячество, как предпринимать путешествие или искать знакомств с женщинами. Ведь если нам и удается разрушить эту кристаллизацию, она тотчас же

заменяется другой. Вчера я боялся, чтобы Альбертина не пошла к г-же Вердюрен. Теперь все мои помыслы были заняты Лией. Ревность, у которой всегда повязка на глазах, не только бессильна что-либо открыть в окутывающем ее мраке, она является еще одной из тех пыток, когда работу беспрестанно приходится начинать сызнова, вроде пытки Данаид или Иксиона. Даже если двух девиц на спектакле не будет, какое впечатление произведет на нее Лия, украшенная сценическим нарядом, возвеличенная успехом, какие мечты заронит она в Альбертине, какие пробудит в ней желания? Ведь, даже обузданные, они наполнят ее отвращением к жизни, в которой их нельзя утолить.

А что если она знакома с Лией, что если она зайдет к ней в уборную, что если Лия знакома с ней? Кто поручится, что Лия ее не узнает, — ведь она во всяком случае заметила ее в Бальбеке, — и не сделает ей со сцены знака, который даст Альбертине право пройти за кулисы? Когда опасность отвращена, она кажется несерьезной. В данном случае опасность еще не была отвращена, я боялся, что она неотвратима, и она представлялась мне тем более страшной. Моя любовь к Альбертине почти рассеивалась, когда я пробовал осуществить ее

на деле, но напряженность моего страдания в эту минуту служила как бы наглядным ее доказательством. Я позабыл все на свете, я думал только, как бы помешать Альбертине остаться в Трокадеро, я готов был предложить Лии какую угодно сумму лишь бы она не ходила туда. Если, следовательно, наше поведение является более веским доказательством наших чувств, чем наша уверенность в их существовании, то я любил Альбертину. Но этот новый приступ страдания не сообщал больше устойчивости образу Альбертины. Она причиняла бедствия как богиня, остающаяся невидимой. Строя тысячи догадок, я пытался оградиться от моего страдания, но любовь моя от этого не выигрывала.

Прежде всего нужно было удостовериться, что Лия действительно пошла в Трокадеро. Спровадив молочницу, я телефонировал Блоку, который был близок с Лией, чтобы спросить его об этом. Он ничего не знал и был по-видимому удивлен, что это может меня интересовать. Я решил действовать быстро, и так как Франсуаза была совсем одета, а я нет, то я велел ей взять автомобиль, пока я буду одеваться; Франсуаза должна была поехать в Трокадеро, купить билет, отыскать в зале Альбертину и передать ей от меня записку. В

ней я писал, что меня очень взволновало только что полученное письмо от той самой дамы, из-за которой, как ей было известно, я был так несчастен однажды ночью в Бальбеке. Я напоминал Альбертине, что на другой день она меня упрекала за то, что я ее не позвал. Поэтому я позволял себе, — писал я, — просить ее пожертвовать сегодняшним спектаклем и вернуться ко мне, чтобы немного погулять вместе и постараться меня развлечь. Но так как мне понадобится довольно много времени, чтобы одеться и привести себя в порядок, то пусть она сделает мне одолжение и, воспользовавшись присутствием Франсуазы, поедет в Труа-Картье (магазин этот был меньше, чем Бон-Марше, и не так меня беспокоил) и купит там нужную ей шемизетку из белого тюля. Записка моя была вероятно не лишней. По правде сказать, мне было совершенно неизвестно, что делала Альбертина со времени моего знакомства с ней, да даже и раньше.

Но в ее разговорах (Альбертина наверное сказала бы, если бы я обратил на это ее внимание, что я плохо расслышал) встречались противоречия и поправки, казавшиеся мне столь же доказательными, как захват на месте преступления, но мало пригодными в качестве оружия против

Альбертины, так как, будучи уличена в обмане, она каждый раз выворачивалась при помощи неожиданного стратегического маневра, ловко отражала мои жестокие атаки и восстанавливала положение. Жестокие главным образом для меня. Она прибегала, не ради стилистической изощренности, а для исправления допущенных оплошностей, к резким синтаксическим скачкам, немного напоминавшим то, что в грамматике называется анаколуфом или как-то в этом роде. В рассказе о женщинах ей случалось, обмолвясь, произносить: «Помню, как недавно я», но после «паузы в шестнадцатую долю такта» «я» вдруг превращалось в «она», речь шла о том, что Альбертина заметила во время самой невинной прогулки, но никоим образом не о ее собственных поступках. Действующим лицом была вовсе не она. Мне очень хотелось вспомнить точно начало фразы, чтобы самостоятельно заключить, — раз она увиливала, — о том, каков должен быть конец. Но так как я слышал этот конец, то плохо припоминал начало, в котором она сбилась, может быть, под влиянием моего слишком внимательного взгляда, и оставался в мучительном неведении о ее истинных мыслях, о ее действительном воспоминании. С зачатками лжи нашей

любовницы дело обстоит, к несчастью, так же, как и с зачатками нашей собственной любви или какой-нибудь нашей склонности.

Они образуются, скопляются, движутся, не замеченные нашим вниманием. Когда мы хотим вспомнить, каким образом мы начали любить женщину, мы уже любим; предаваясь мечтаниям, мы не говорили себе: это прелюдия любви, будем внимательны, — эти мечтания развивались потихоньку, едва замеченные нами. Равным образом, за сравнительно очень редкими исключениями, я лишь для связности рассказа сопоставлял здесь ложь Альбертины с ее первоначальными утверждениями по тому же самому поводу. Не обладая способностью читать будущее и не догадываясь, какими противоречащими утверждениями они будут замечены, я пропускал эти первоначальные утверждения мимо ушей, — конечно, я их слышал, но не выделял из потока слов Альбертины. Впоследствии, чувствуя явную ложь или охваченный мучительным сомнением, я так хотел бы припомнить. Напрасные усилия: память моя не была вовремя предупреждена; она не считала нужным хранить отпечатки.

Я велел Франсуазе телефонировать, когда она извлечет Альбертину из зала, и привести ее до-

мой, будет ли та довольна или нет. «Не хватало только, чтобы она была недовольна возвращением к мосье», — ответила Франсуаза. «Ведь я совсем не уверен, что ей так нравится видеть меня». — «Для этого нужно быть совсем неблагодарной», — заявила Франсуаза, в которой, по прошествии стольких лет, Альбертина возрождала ту самую пытку зависти, которой некогда подвергала ее Евлалия возле моей тети. Не зная, что теперешнее положение Альбертины было результатом моего желания, а не ее происков (из самолюбия и чтобы побесить Франсуазу, я предпочитал скрывать это от нее), моя дуэнья превозносила и проклинала ловкость Альбертины, называла ее, говоря о ней с другими слугами, «комедьянткой», «обольстительницей», вертевшей мной как угодно. Она еще не решалась начать борьбу с Альбертиной, делала ей приветливое лицо и всячески подчеркивала передо мной услуги, которые она ей оказывала в сношениях со мной, считая бесполезным делать мне какие-либо замечания, так как, по ее мнению, они все равно ни к чему бы не привели, но тщательно подстерегая подходящий случай: если бы ей удалось подметить трещину в положении Альбертины, она бы немедленно ее углубила и

постаралась нас совершенно разлучить. «Совсем неблагодарной? — Помилуйте, Франсуаза, это я неблагодарен, вы не знаете, как она добра со мной. (Мне было так сладко прикинуться горячо любимым) — поезжайте скорее». «Слетаю в один момент».

Влияние дочери начало понемногу менять словарь Франсуазы. Так все языки теряют свою чистоту через присоединение новых терминов. Впрочем, и сам я был косвенно повинен в этой порче говора Франсуазы, который знавал в его цветущую пору. Дочка Франсуазы не в силах была бы низвести на уровень самого пошлого жаргона классический язык своей матери, если бы довольствовалась разговором с ней на «патуа». Она никогда не обходилась без него совсем, и если в моем присутствии матери и дочери нужно было обменяться секретами, то вместо того, чтобы уединиться в кухню, они окружали себя посреди моей комнаты оградой более надежной, чем самым плотным образом закрытая дверь, разговаривая на «патуа». Я заключал только, что мать и дочь не всегда живут в добром согласии, если судить по частоте, с какой повторялось единственное доступное для меня слово: m'osasperate (если только предметом их раздражения не был

я сам). К несчастью, самый чуждый язык в конце концов становится понятным, если постоянно его слышишь. Я жалел, что это был «патуа», ибо изучил бы его и научился бы понимать так же хорошо и в том случае, если бы Франсуаза имела обыкновение выражать свои мысли по-персидски. Тщетно Франсуаза, заметив мои успехи, ускоряла свою речь, и дочь следовала ее примеру; это не помогало. Мать была огорчена тем, что я стал понимать «патуа», но потом с удовольствием слушала мои разговоры на этом наречии. По правде сказать, в ее удовольствии сквозила насмешка, ибо хотя я в заключение стал произносить почти так же, как и она, Франсуаза усматривала между нашими произношениями пропасть, приводившую ее в восторг и вызывавшую сожаление, что она больше не видится со своими земляками, о которых давно уже перестала вспоминать, а то, говорила она, они покатились бы со смеху, услышав, как плохо я говорю на «патуа». Одна мысль об этом наполняла ее весельем и сожалением, и она поименно перечисляла крестьян, которые хохотали бы до слез. Однако вся эта радость не искупала ее огорчения тем, что, несмотря на плохой выговор, я стал хорошо понимать ее «патуа». Ключи делаются ненужными, если тот,

кому хотят помешать войти, может пользоваться отмычкой. Когда «патуа» перестал служить ей надежной защитой, Франсуаза начала говорить с дочерью по-французски, очень скоро усвоив самые пошлые слова и обороты.

Я был готов, что Франсуаза все не телефонировала; нужно ли было уезжать, не дождавшись звонка? Но кто знает: разыщет ли она Альбертину? Не будет ли та за кулисами, да даже и встретившись с Франсуазой, позволит ли увести себя. Через полчаса раздался телефонный звонок, и в моем сердце смятенно забились: надежда и страх. Это летучий эскадрон звуков, по распоряжению телефонного служащего, приносил ко мне с молниеносной скоростью слова не Франсуазы, а телефониста, — унаследованные от предков робость и недоверчивость к предмету, неизвестному ее отцам, препятствовали моей служанке подойти к телефонному аппарату, точно к заразному больному. Она встретила в фойе Альбертину одну, и та, сходив лишь в зал предупредить Андре, что она не может остаться, тотчас же предоставила себя в распоряжение Франсуазы. «Она не рассердилась? Виноват! Спросите у этой дамы, не рассердилась ли барышня». — «Эта дама просит меня передать вам, что нисколько не

рассердилась, совсем напротив; во всяком случае, если она и недовольна, то этого не показывает. Сейчас они едут в Труа-Картье и в два часа будут дома».

Я понял, что два часа означают три часа, потому что было больше двух часов. Но таков уж был органический, постоянный, неизлечимый недостаток Франсуазы, почти что болезнь: никогда она не могла ни назвать, ни назначить точно часа. Я никак не мог понять, что творится в ее голове. Когда Франсуаза, взглянув на часы, говорила: час или три часа, между тем как в действительности было два часа, — я никак не мог понять, где следует локализовать это странное явление: в зрении Франсуазы, в ее мыслях, или же в речи; бесспорно лишь, что явление это неизменно повторялось. Человечество очень старо. Наследственность, скрещивание сообщили несокрушимую силу дурным привычкам, порочным рефлексам. Один чихает и задыхается, проходя мимо розового куста, другого тошнит от запаха свеженаписанной картины, у третьего начинаются страшные рези в желудке, когда нужно отправляться в путешествие, а внуки воров, хотя бы они были миллионерами и отличались щедростью, часто не могут удержаться от того, чтобы не украсть

пятидесяти франков. Что касается моего желания узнать, откуда проистекала неспособность Франсуазы сказать точно, который час, то я никогда не мог добиться от нее ни малейшего указания на этот счет. Ибо, несмотря на гнев, который обыкновенно вызывали у меня ее неточные ответы, Франсуаза никогда не пыталась ни извиниться в своем промахе, ни объяснить его. Она оставалась безгласной, имела такой вид, точно ничего не слышит, чем окончательно выводила меня из терпения. Мне хотелось услышать какое угодно оправдание, хотя бы для того, чтобы обрушиться на нее, но нет: ответом было лишь равнодушное молчание.

Во всяком случае, сегодня у меня не было сомнений: Альбертина вернется с Франсуазой в три часа, Альбертина не увидит ни Лии, ни ее приятельниц. Но когда опасность, что Альбертина завяжет с ними сношения, была предотвращена, она тотчас же потеряла в моих глазах всякое значение, и, увидев, с какой легкостью это произошло, я удивился, почему мне показалось, будто я бессилен ее предотвратить. Я испытал чувство живой признательности к Альбертине, ибо для меня было теперь ясно, что она пошла в Трокадеро не ради приятельниц Лии; поки-

нув спектакль и возвращаясь домой по одному моему знаку, она мне показывала, что принадлежит мне больше, чем я воображал. Чувство признательности еще более усилилось, когда велосипедист привез мне письмо от нее, чтобы я запасся терпением, — письмо, наполненное так свойственными Альбертине милыми выражениями: «Мой милый и дорогой Марсель, я еду не так скоро, как этот велосипедист, и так мне хочется взять у него машину, чтобы поскорее быть возле вас. Как могли вы подумать, что я могу рассердиться и что что-нибудь может быть мне приятнее вашего общества? Так мило будет прогуляться вдвоем, и было бы еще более мило, если бы в будущем мы выходили всегда вместе. Ну, что за мысли приходят вам в голову! Какой вы, Марсель! Какой вы! Вся ваша, твоя Альбертина».

Платья, которые я ей покупал, яхта, о которой говорил ей, пеньюары от Фортюни, — все это, получив в послушании Альбертины не то что компенсацию, а восполнение, представлялось мне драгоценными моими привилегиями; ибо обязанности и повинности господина составляют часть его власти и служат таким же характерным ее признаком и доказательством, как и его права. И эти права, которые Альбертина беспрекослов-

но за мной признавала, как раз и придавали моим повинностям их истинное значение: в моем распоряжении была женщина, почтительно откликающаяся на первый мой зов, передающая по телефону, что она сейчас вернется, позволяющая увезти себя. Я был господином в большей степени, чем считал себя. Господином в большей степени, то есть в большей степени рабом. У меня пропало всякое желание видеть Альбертину. Уверенность, что она находится с Франсуазой и в ближайший момент, который я охотно бы отсрочил, вернется, освещала, как лучистая и кроткая звездочка, время, которое теперь я с гораздо большим удовольствием провел бы в одиночестве. Моя любовь к Альбертине подняла меня с постели и заставила приготовиться к прогулке, но она же помешает мне насладиться этой прогулкой. Я думал, что в этот воскресный день наверно гуляют по Булонскому лесу молоденькие работницы, мидинетки, кокотки. И вместе со словами: мидинетки, молоденькие работницы (как это часто у меня бывало с собственным именем, именем молодой девушки, прочитанным в отчете о каком-нибудь бале), вместе с образом белой блузки, коротенькой юбки, — так как в них я наряжал вымышленную мной особу, которая

могла бы меня полюбить, — я сочинял наедине с самим собой желанных женщин и говорил себе: «Как они должны быть прекрасны! Но какой мне от этого прок, если я выйду не один?» Пользуясь тем, что я еще в одиночестве, я задернул занавески, чтобы солнце не мешало читать ноты, сел за рояль, открыл наудачу сонату Вентейля и начал играть; так как до приезда Альбертины оставалось еще довольно много времени, но зато приезд этот был совершенно обеспечен, я наслаждался одновременно и досугом и спокойствием духа.

Твердая уверенность в возвращении Альбертины с Франсуазой и надежда на ее послушание омывали меня словно нежащей волной некоего внутреннего света, такого же живительного, как свет солнца, и я мог располагать своими мыслями, мог оторвать их на некоторое время от Альбертины и направить на сонату. Я даже не стал задумываться над тем, насколько в ней сочетание мотива неги и мотива тоски больше отвечает теперь моей любви к Альбертине, так долго не содержавшей в себе ревности, что я мог признаться Свану в полном незнании этого чувства. Нет, подойдя к сонате с другой стороны, взглянув на нее как на произведение великого художника, я приведен был потоком звуков к дням

Комбре, — я не хочу сказать к дням Монжувена и стороны Мезеглиза, но к дням прогулок в сторону Германта, — когда я сам желал стать художником. Оставив эту честолюбивую мечту, не отступился ли я от чего-то реального? Способна ли была жизнь утешить меня в моем пренебрежении искусством, или же искусство содержит какую-то более глубокую реальность, где наша подлинная личность находит выражение, которого не дает никакая практическая деятельность? Действительно, каждый великий художник кажется таким непохожим на других и оставляет в нас яркое ощущение индивидуальности, которого напрасно ищем мы в повседневной жизни. В то мгновение, как я это думал, один такт сонаты поразил меня, такт однако хорошо мне знакомый: иногда внимание освещает по-новому вещи давно нам известные, и мы вдруг замечаем то, чего никогда еще не видели. Хотя Вентейль выражал в этом такте мечту, совершенно чуждую Вагнеру, однако, играя его, я не мог удержаться, чтобы не прошептать: «Тристан», — с той улыбкой, какая появляется у друга семьи, когда в интонации или в жесте внука тот подмечает черточку деда, которого внук совсем не знал. И как в таких случаях смотрят на фотографию, позволяющую

уточнить сходство, я поставил на пюпитр поверх сонаты Вентейля клавир «Тристана», откуда как раз в эту минуту давались отрывки в концерте Ламуре. Мое восхищение байрейтским маэстро не омрачалось ни одним из сомнений, мучающих тех людей, которым, подобно Ницше, долг предписывает избегать в искусстве, как и в жизни, соблазняющей их красоты, которые отвергают «Тристана» на том основании, что ими осужден «Парсифаль», и из духовного аскетизма, переходя от самоистязания к самоистязанию, поднимаются по самому кровавому крестному пути до безоговорочного признания и превознесения до небес «Почтальона из Лонжюмо». Я старался уяснить себе, что же содержит реального творение Вагнера, обозревая эти настойчивые и летучие лейтмотивы, испещряющие его оперы и удаляющиеся лишь для того, чтобы вернуться; иногда далекие, приглушенные, почти отрешенные, — в другие моменты, оставаясь столь же бесформенными, они бывают такими назойливыми и такими близкими, такими внутренними, такими органическими, такими утробными, что кажутся не столько повторением музыкальных мотивов, сколько возобновлением невралгических болей.

Музыка, очень отличная в этом отношении от

общества Альбертины, помогала мне погружаться в себя, открывать в глубине своего существа новое: разнообразие, которого напрасно искал я в жизни, в путешествиях, но тоска по которому вызывалась этим морем звуков, его озаренными волнами, замиравшими возле меня. Разнообразие двойное. Как спектр делает для нас наглядным состав света, гармония Вагнера, краска Эльстира позволяют нам познать ту качественную сущность ощущений другого, куда любовь к другому не дает нам проникнуть. Потом разнообразие в недрах самого произведения, достигаемое единственным способом, каким вообще может быть осуществлено подлинное разнообразие: соединением различных индивидуальностей. Если бездарный композитор, воображая, будто он рисует оруженосца или рыцаря, на самом деле заставляет их петь одну и ту же музыку, то Вагнер, напротив, под каждое наименование подставляет различную реальность, и каждый раз, как появляется оруженосец, мы видим своеобразную фигуру, одновременно и сложную и простую, которая вписывается в звуковую необъятность радостным и феодальным сплетением линий. Отсюда полнота музыки, насыщенной множеством видов музыки, каждый из которых есть существо.

Существо или впечатление, оставляемое в нас мимолетным состоянием природы. Даже то, что наиболее независимо от вызываемого ею чувства, сохраняет свою внешнюю резко определенную реальность; пение птицы, звуки охотничьего рога, мелодия, наигрываемая пастухом на свирели, вычерчивают на горизонте своеобразные звуковые силуэты. Конечно, Вагнер сближал их, ими пользовался, вплетал в оркестровую ткань, подчинял более высоким музыкальным идеям, но всегда бережно обращался с их первичной оригинальностью, как токарь с волокнами и особенностями обрабатываемого им дерева.

Но несмотря на богатство этих произведений, в которых наряду с действием, наряду с индивидуальностями, являющимися не только именами действующих лиц, отведено место созерцанию природы, я поражался, как все же они всегда отличаются — хотя и чудесной неполнотой, и как эта неполнота свойственна всем великим произведениям XIX века, — эпохи, когда самые крупные писатели, закончив свои книги, бросали на них взгляд рабочего и судьи одновременно и извлекали из этого самосозерцания некую новую красоту, более высокую и внешнюю по отношению к произведению, ретроспективно сообщая

ему недостающие единство и величие. Даже если не останавливаться на Бальзаке, задним числом усмотревшем в своих романах какую-то *Человеческую Комедию,* а также на Гюго и на Мишле, назвавших не связанные между собой стихотворения и статьи *Легендой веков* и *Библией человечества,* — разве нельзя все же сказать, что последний так хорошо воплощает XIX век, что наибольшие красоты Мишле следует искать не столько в самих его произведениях, сколько в позиции, которую он занимает по отношению к ним, не в «Истории Франции» и не в «Истории революции», а в предисловиях к этим книгам? Предисловиях, то есть страницах, написанных впоследствии, на которых автор обозревает свои произведения, прибавляя там и сям несколько фраз, являющихся не столько предосторожностью ученого, сколько каденцией музыканта. Другой музыкант — тот, что восхищал меня в эту минуту, — Вагнер, доставая из стола написанную им раньше прелестную пьесу с тем, чтобы ввести ее в качестве ретроспективно необходимой темы в произведение, о котором он не думал, когда сочинял ее, затем, написав первую мифологическую оперу, а вслед за ней вторую, третью и четвертую, и заметив вдруг, что им создана

тетралогия, испытал должно быть почти такое же опьянение, как и Бальзак, когда, бросив на свои произведения взгляд сразу и человека постороннего и отца, найдя в одном из них чистоту Рафаэля, а в другом евангельскую простоту, автор «Человеческой комедии» внезапно сообразил, когда они предстали ему в ретроспективном освещении, что они очень выиграют, будучи соединены в цикл, где повторяются одни и те же действующие лица, и благодаря такому сочетанию прибавил к своему творению лишний мазок кисти, последний и самый прекрасный.

Единство, привнесенное задним числом, но ничуть не искусственное, иначе оно рассыпалось бы прахом, подобно стольким систематизациям посредственных писателей, с помощью множества заголовков и подзаголовков создающих видимость осуществления какого-то единого и возвышенного замысла. Ничуть не фиктивное, может быть, даже более реальное, оттого что оно привнесено впоследствии, рождено мгновением энтузиазма, позволившим открыть его между пьесами, которым остается затем только соединиться друг с другом. Единство, не подозревавшее о себе, следовательно живое, а не логическое, не изгнавшее разнообразия, не засушившее

исполнения. Оно возникает (но на этот раз в приложении к целому) так же, как самостоятельная пьеса, то есть рождается вдохновением (включаясь затем в остальные части), а не требуется искусственным развитием какого-нибудь тезиса. Еще до бурного подъема оркестра, предваряющего возвращение Изольды, само произведение привлекло к себе полузабытый напев пастушьей свирели. По всей вероятности, подобно нарастанию звуков при приближении корабля, когда оркестр завладевает этим напевом свирели, преобразует его, приобщает к своему опьянению, разбивает его ритм, озаряет тональность, ускоряет темп, усложняет инструментовку, по всей вероятности, в такой же мере и сам Вагнер охвачен был радостью, когда открыл в своей памяти пастуший напев, включил его в свое произведение, наделил всем свойственным ему значением. Впрочем, радость никогда его не покидает.

У Вагнера печаль поэта всегда утешается, преодолевается — то есть прискорбно быстро уничтожается — веселием созидателя. Но эта вулканическая искусность смутила меня в такой же степени, как и подмеченное мной только что тождество между фразой Вентейля и фразой Вагнера. Неужели это она создает у великих ху-

дожников иллюзию глубокой оригинальности, с виду неразложимой, отражающей какую-то надчеловеческую реальность, на самом же деле являющейся результатом прилежания и изобретательности? Если искусство — лишь это, оно не более реально, чем жизнь, и мне не стоило столько горевать, что я ему не отдался. Я продолжал играть «Тристана». Отделенный от Вагнера звуковой перегородкой, я слышал его ликование, приглашение разделить его радость, слышал, как звонко раздаются удары молота и бессмертно юный смех Зигфрида, в котором, впрочем, еще чудеснее отчеканены были музыкальные фразы, — техническая искусность профессионала лишь помогала им легче оторваться от земли, — эти птицы, похожие не на лоэнгриновского лебедя, но на аэроплан, превративший на моих глазах, в Бальбеке, свою энергию во взлет, проплывший над морем и пропавший в небе. Может быть, подобно тому, как у птиц, взмывающих на наибольшую высоту и летающих с наибольшей скоростью, бывают более мощные крылья, так и для исследования беспредельных просторов нужны эти прочно построенные материальные аппараты в сто двадцать лошадиных сил, марки «Тайна», однако, как ни высоко они парят,

громкое жужжанье мотора немного мешает наслаждаться на них тишиной пространств!

Не знаю почему, мои мечты питавшиеся до сих пор воспоминаниями о музыке, изменили свое течение и направились на лучших современных исполнителей, среди которых, немного преувеличивая его талант, я помещал Мореля. Вслед за тем мысль моя сделала резкий поворот, и я стал думать о характере Мореля, о некоторых его странностях. Между прочим, — и эта черта, может быть, стояла в связи, но не отожествлялась с точившей его неврастенией, — Морель имел обыкновение говорить о своей жизни, но в таких туманных образах, что было очень трудно что-нибудь разобрать. Так, он предоставлял себя в полное распоряжение г-на де Шарлюс при условии, чтобы тот оставлял ему свободными вечера, так как он хотел проходить после обеда курс алгебры. Г-н де Шарлюс позволил, но просил заходить к нему потом. «Невозможно, это старая итальянская картина» (шутка эта, приведенная в такой связи, лишена всякого смысла; но г. де Шарлюс посоветовал как-то Морелю прочесть «Воспитание чувств», в предпоследней главе которого Фредерик Моро произносит эту фразу; с тех пор Морель никогда не произносил слова

«невозможно» без того, чтобы в шутку не прибавить: «это старая итальянская картина»); «урок затягивается очень поздно, что само по себе составляет большое неудобство для преподавателя, и он, понятно, будет обижен». — «Но ведь эти уроки совсем не нужны, алгебра не плавание и даже не английский язык, ее отлично можно изучить по книге», — возражал г. де Шарлюс, сразу же угадавший в курсе алгебры один из тех образов, в которых было совершенно невозможно разобраться. Может быть, он обозначал связь с женщиной или, если Морель пытался заработать деньги нечистыми средствами и завел сношения с тайной полицией, участие в каком-нибудь предприятии сыщиков или — кто знает? — нечто еще худшее: предложение услуг, в которых может встретиться надобность в одном из домов терпимости. «По книге даже гораздо легче, — отвечал Морель г-ну де Шарлюс, — потому что на уроках алгебры ничего не понимаешь». — «Так почему же ты не изучаешь ее у меня, где тебе будет гораздо удобнее», мог бы ответить г. де Шарлюс, но удержался, зная, что воображаемый курс алгебры тотчас превратился бы, сохранив лишь право Мореля свободно распоряжаться вечерними часами, в обязательные уроки танцев

или рисования. Однако г. де Шарлюс легко мог заметить, что он в этом ошибается, по крайней мере отчасти, так как Морель нередко занимался у барона решением уравнений. Г. де Шарлюс сказал ему, что алгебра не может пригодиться скрипачу. Морель возразил, что она отличное развлечение для времяпрепровождения и лекарство от неврастении. Конечно, г. де Шарлюс мог бы попробовать собрать справки, разузнать, чем были в действительности эти таинственные и обязательные уроки алгебры, дававшиеся только ночью. Но г. де Шарлюс был слишком погружен в светские занятия, чтобы уделить время распутыванию клубка занятий Мореля. Визиты, которые барон принимал и делал сам, часы, проведенные в клубе, обеды в городе, вечера в театре мешали ему думать об этом, а также о бурной и затаенной злобе, которая, по слухам, прорывалась у Мореля и им маскировалась везде, где он появлялся, в разных городах, где он побывал и где о нем всегда говорили с каким-то содроганием, понижая голос и не решаясь сообщить подробностей.

К несчастью, один из таких припадков злобной нервозности мне довелось услышать, когда, бросив рояль, я спустился во двор навстречу Альбертине, которая все не приезжала. Проходя

мимо лавочки Жюпьена, где Морель и та, кто вскоре должна была стать его женой, находились одни, я был поражен отчаянным криком Мореля, в котором прорывались никогда еще не слышанные мной звуки, — мужицкие, обыкновенно им сдерживаемые и крайне странные. Не менее странными были слова: «Извольте выйти вон, дрянная потаскуха, дрянная потаскуха, дрянная потаскуха», — твердил он бедняжке, которая наверно сначала не поняла, что он хочет сказать, а потом, вся содрогаясь от негодования, замерла перед ним в гордой позе. «Я вам сказал ступайте вон, дрянная потаскуха, дрянная потаскуха, ступайте разыщите вашего дядю, и я скажу ему, кто вы такая, шлюха». Как раз в это мгновение раздался во дворе голос Жюпьена, возвращавшегося домой с каким-то своим приятелем, и так как я знал, что Морель страшный трус, то счел лишним присоединять свои силы к силам Жюпьена и его приятеля, находившихся уже в нескольких шагах от лавки, и скрылся в подъезде, чтобы избежать встречи с Морелем, который, несмотря на выраженное им желание видеть Жюпьена (вероятно, чтобы напугать девушку и держать ее в повиновении при помощи шантажа, ни на чем в сущности не основанного), поспешил удалиться, как только

заслышал шаги во дворе. Приведенные мной слова сами по себе ничто, они не могли бы послужить причиной сердцебиения, начавшегося у меня, когда я поднимался по лестнице. Но когда такие сцены разыгрываются в нашем присутствии, они приобретают не поддающуюся учету силу в том, что военные называют, рассуждая о наступлении, преимуществом неожиданности, и как ни успокоительно действовала на меня мысль, что Альбертина вместо того, чтобы оставаться в Трокадеро, возвращается ко мне, она все же не способна была стереть впечатление от десятикратно повторенных слов: «дрянная потаскуха, дрянная потаскуха», которые так сильно меня взволновали.

Мало-помалу возбуждение улеглось. Альбертина сейчас вернется. Через несколько мгновений я услышу ее звонок. Я почувствовал, что моя жизнь уже не такова, какой она могла бы быть, и что вот это обладание женщиной, с которой, когда она вернется, мне будет так естественно выйти погулять, женщиной, на украшение которой все больше и больше будут направляться силы и деятельность моего существа, уподобляло меня стеблю, отягченному пышным плодом, куда вливаются все его жизненные соки. Благодаря

контрасту с тоской, томившей меня всего час тому назад, успокоение, вызванное возвращением Альбертины, было более глубоким, чем то, что я испытал сегодня утром до ее отъезда. Простираясь на будущее, поскольку послушание моей подруги делало меня почти господином его, более прочный, как бы наполненный предстоящим назойливым, неминуемым и сладким ее присутствием, теперешний покой мой (избавлявший от необходимости искать счастья внутри себя) вытекал из чувства семейного и домашнего счастья. Семейным и домашним было также, не меньше, чем чувство, принесшее мне столько мира во время ожидания Альбертины, чувство, испытанное мной потом во время прогулки с ней. Она сняла на несколько мгновений перчатку для того ли, чтобы прикоснуться к моей руке, или же для того, чтобы ослепить меня, показав на мизинце рядом с кольцом, подаренным г-жой Бонтан, другое кольцо, украшенное широким светлым рубином: «Опять новое кольцо, Альбертина. Какая у вас щедрая тетушка!» — «Нет, это не от тетушки, — со смехом отвечала она. — Я сама купила его, так как, благодаря вам, могу делать большие сбережения. Не знаю даже, кому оно принадлежало. Какой-то проезжий, нуждаясь в деньгах, оставил

его владельцу одной гостиницы в Мане, где я останавливалась. Тот не знал, что с ним делать, и готов был продать ниже его стоимости. Но оно было все-таки слишком дорогим для меня. Теперь же, став благодаря вам шикарной дамой, я попросила владельца гостиницы прислать мне кольцо, если оно еще у него есть. Вот оно». — «У вас теперь очень много колец, Альбертина. Куда вы наденете то, что я собираюсь вам подарить? Во всяком случае это кольцо очень красивое, я совсем не вижу чеканки вокруг рубина, оно похоже на кривляющееся человеческое лицо. Но у меня довольно плохое зрение». — «Будь оно у вас отличным, вы все равно не много бы увидели. Я могу разобрать не больше вашего». Когда-то, читая мемуары или роман, где мужчина всегда выходит гулять с женщиной, завтракает с ней, я часто испытывал желание делать то же самое. Мне казалось иногда, что желание мое исполняется, когда, например, я провожал любовницу Сен-Лу, ходил с ней в ресторан. Но сколько я ни призывал на помощь мысль, что я играю в эту минуту роль человека, вызвавшего у меня зависть в романе, мысль эта убеждала меня, что я должен испытывать удовольствие в обществе Рахили, но удовольствия мне не доставляла.

Дело в том, что, желая подражать вещи, обладавшей подлинной реальностью, мы забываем, что вещь эта была порождена не желанием подражать, а какой-то бессознательной и тоже реальной силой; но это своеобразное впечатление, которого не могло мне дать самое горячее желание насладиться прогулкой с Рахилью, я теперь действительно испытывал, и вовсе не потому, чтобы я его искал, а по совсем другим, искренним и глубоким причинам; например, потому что ревность мешала мне быть вдали от Альбертины и, — с той минуты, как я мог выходить, — пускать ее на прогулку одну. Я испытывал это впечатление только теперь, потому что познаем мы не внешние вещи, которые хотим наблюдать, а наши непроизвольные ощущения; потому что прежде, сколько бы женщина ни сидела в одном экипаже со мной, *в действительности* ее не было возле меня, поскольку ее не воссоздавала каждую секунду потребность в ней, вроде той, какую я имел в Альбертине, поскольку непрестанная ласка моего взгляда не зажигала на лице ее красок, требующих постоянного освежения, поскольку чувства, даже умиротворенные, но оживляемые воспоминанием, не подкладывали под эти краски вкуса и плотности, поскольку соединенная

с чувствами и воображением воспламеняющая их ревность не удерживала этой женщины в равновесии возле меня силою некоего притяжения, столь же мощной, как междупланетное тяготение. Наш автомобиль быстро катился по бульварам и авеню, и стройные ряды домов, розовых сгустков солнца и холода, приводили мне на память мои визиты к г-же Сван, мягко освещенной хризантемами в ожидании часа, когда засветят лампы.

Огражденный от улицы стеклом автомобиля точно окном моей комнаты, я едва успевал заметить юную продавщицу фруктов или молочницу, стоявшую у двери своей лавки в озарении ясной погоды, словно вовлеченная моим желанием в очаровательные перипетии героиня на пороге недоступного мне романа. Ибо я не мог попросить у Альбертины разрешения остановиться, и уже были невидимы молодые женщины, так что глаза мои едва успевали различить их черты и поласкать их свежесть в омывавшей их золотистой дымке. Волнение, охватывавшее меня при виде сидящей у кассы дочери виноторговца или разговаривающей на улице прачки, было волнением, которое мы испытываем при встрече с Богинями. С тех пор, как Олимпа больше не суще-

ствует, его обитатели живут на земле. Приглашая девушек из народа, занимающихся самыми прозаическими профессиями, позировать в качестве Венер или Церер для мифологических картин, художники вовсе не совершают святотатства, а лишь восстанавливают достоинство этих девушек, возвращают им различные отнятые у них атрибуты. «Как вы нашли Трокадеро, маленькая ветреница?» — «Я страшно довольна, что уехала оттуда и вернулась к вам. Как постройка, он довольно неказист, не правда ли? Его ведь строил Давиу, если я не ошибаюсь». — «Какая же моя Альбертиночка образованная! Действительно, Давиу, но я позабыл об этом». — «Когда вы спите, я читаю ваши книги, лентяй этакий». — «Милочка, вы так быстро меняетесь и становитесь такой умницей (это было верно, но я не был в претензии: Альбертина могла по крайней мере с удовлетворением сказать себе, что время, проведенное ею у меня, не пропало для нее понапрасну), что поймете меня, если я скажу вам одну вещь, которую считаю обыкновенно ошибочной, но она связана с одной интересующей меня истиной. Вы знаете, что такое импрессионизм?» — «Еще бы». — «Так вот что я хочу сказать: помните маркувильскую церковь, которой не любил Эльстир за то, что она

новая? Не впадает ли он в противоречие с собственным импрессионизмом, выбрасывая такого рода постройки из общего впечатления, куда они включены, рассматривая их вне освещения, в котором они растворены, исследуя их внутреннюю сущность с точки зрения археолога? Разве для его живописи больница, школа, афиша на стене не равноценны старинному собору, входящему наряду с ними в один неделимый образ? Помните, как фасад был обожжен солнцем, как рельефные формы маркувильских святых плавали в ярком свете? Что из того, что постройка новая, если она кажется старой, и даже если не кажется?

Все, что есть поэтичного в старых кварталах, уже высосано до последней капли, между тем как некоторые дома в новых кварталах, недавно построенные для зажиточных мелких буржуа из свежеотесанного ослепительно белого камня, разве не разрывают знойного воздуха июльского полдня, в час, когда торговцы возвращаются завтракать на пригородные дачи, пронзительной нотой, кислой, как запах вишен перед завтраком в темной столовой, где стеклянные призмы для ножей бросают многоцветные огни, столь же прекрасные, как витражи собора в Шартре?» — «Какой вы милый! Если я стану когда-нибудь

умной, то лишь благодаря вам». — «Можно ли в погожий день оторваться от Трокадеро, башни которого, похожие на шею жирафа, приводят на мысль картезианский монастырь в Павии?» — «Он напомнил мне также, возвышаясь на холме, одну вашу репродукцию Мантеньи, кажется святого Себастьяна, где в глубине поднимается амфитеатром какой-то город, и в нем, готова побожиться, есть Трокадеро». — «Вы очень наблюдательны! Но каким образом вы увидели репродукцию Мантеньи? Вы ошеломительны». Мы приехали в более демократические кварталы, и стоявшие там за каждым прилавком простонародные Венеры обращали эти прилавки как бы в пригородные алтари, у подножия которых я хотел бы провести всю жизнь.

Точно на пороге преждевременной смерти я мысленно подсчитывал удовольствия, которых меня лишал полагаемый Альбертиной предел моей свободе. В Пасси меня привели в восхищение своей улыбкой девушки, из-за тесноты гулявшие в обнимку прямо по мостовой. Я не успел хорошенько разглядеть, но вряд ли я ошибался; ведь во всякой толпе, особенно толпе юной, не редкость встретить контуры благородного профиля. Так что для сластолюбца эта народная толчея в

праздничные дни столь же драгоценна, как для археолога разрытая земля, откуда извлекаются античные медали. Мы приехали в Булонский лес. Мне казалось, что если бы со мной не было Альбертины, я мог бы в эту минуту слышать в цирке на Елисейских полях бушевание вагнеровской бури, заставляющей стонать все снасти оркестра, и как среди этой бури легкой пеной всплывает только что сыгранный мной напев свирели, как он взлетает ввысь, искажается бурей, дробится, вовлекается в бешеный водоворот. Мне хотелось по крайней мере сократить нашу прогулку и вернуться домой пораньше, так как, ни слова не сказав об этом Альбертине, я решил пойти вечером к Вердюренам. Они недавно прислали мне приглашение, которое я бросил в корзину со всеми прочими. Но на этот вечер я передумал, так как мне хотелось разузнать, с кем Альбертина надеялась там встретиться. По правде сказать, мои отношения с Альбертиной вступили сейчас в ту стадию, когда, если все продолжается по-прежнему, если события протекают нормально, женщина служит нам лишь переходом к другой женщине. Она еще занимает место в нашем сердце, но очень малое; нам хочется встречаться каждый вечер с незнакомками, особенно таки-

ми, которые знают ее и могут нам рассказать о ее жизни. В самом деле, мы ею обладали, мы исчерпали в ней все, что она согласилась нам предоставить. Ее жизнь — это тоже сама она, но как раз та ее часть, которой мы не знаем, то в ней, о чем мы безуспешно ее расспрашивали и о чем могут поведать незнакомые нам уста.

Если моя жизнь с Альбертиной обрекала меня на отказ от посещения Венеции, от путешествий, то по крайней мере я мог бы сейчас, будь я один, познакомиться с рассыпанными в солнечном свете погожего воскресного дня молоденькими мидинетками, красота которых в значительной доле складывалась для меня из наполнявшей их неведомой жизни. Глаза, которые мы видим, разве не пропитаны насквозь неотделимым от них взглядом с неизвестными нам образами, воспоминаниями, чаяниями и антипатиями? Жизнь проходящей мимо девушки разве не придает, соответственно скрытому своему содержанию, меняющегося значения нахмуриванию ее бровей, раздуванию ноздрей? Присутствие Альбертины не позволяло мне подойти к ним и таким образом, может быть, убить мое желание. Кто хочет поддерживать в себе охоту к продолжению жизни и веру в том, что есть вещи более приятные,

чем привычная обстановка, тот должен ходить гулять; ибо улицы, бульвары полны Богинь. Но Богини не подпускают к себе. Между деревьями, у входа в кафе, стояла на страже кельнерша, точно нимфа у опушки священной рощи, а внутри три молодые девушки сидели возле поставленных рядом велосипедов с огромными колесами, как три небожительницы, облокотившиеся на облако или на баснословного скакуна, на которых они совершали свои мифологические путешествия. Я замечал, что каждый раз, как Альбертина останавливала с глубоким вниманием свой взгляд на этих девушках, она тотчас же оборачивалась ко мне.

Но во мне не вызывали большого волнения ни пристальность ее взглядов, ни их краткость, возмещавшаяся пристальностью; ибо Альбертина, — от усталости, или такова вообще манера смотреть у людей внимательных, — часто с такой же пристальностью задумчиво глядела и на моего отца и на Франсуазу; что же касается быстроты, с какой она переводила взгляд на меня, то быстрота эта могла быть обусловлена тем обстоятельством, что Альбертина, зная мои подозрения, избегала, даже если бы они были неосновательны, давать им какую-либо пищу.

Впрочем, если внимание Альбертины к встречным девицам (да и к молодым людям) показалось бы мне преступным, то сам я ни одной секунды не находил преступным смотреть на всех этих мидинеток и даже готов был считать преступными попытки Альбертины помешать мне. Мы находим невинными собственные желания и жестокими желания других. Этот контраст между тем, что касается нас самих, с одной стороны, и той, кого мы любим, с другой, можно наблюдать не только в отношении желаний, но и в отношении лжи. Как она естественна, когда нужно, например, замаскировать каждодневные слабости здоровья, выдаваемого за крепкое, скрыть какой-нибудь порок или сделать то, что хочется, не оскорбляя другого. Ложь — самое необходимое и самое употребительное орудие самосохранения. Но ее-то и стремимся изгнать из жизни той, кого мы любим, ее-то мы и выслеживаем, разнюхиваем, ненавидим повсюду. Она нас потрясает, она способна привести к разрыву, за нею нам чудятся тягчайшие проступки, если только она не скрывает их так хорошо, что мы совсем ничего не подозреваем. Удивительно странное состояние крайней чувствительности к болезнетворному фактору, который, благодаря своему повсемест-

ному распространению, безвреден для других, но так опасен для несчастного, утратившего иммунитет против него.

Жизнь этих красивых девушек (благодаря продолжительности моих сидений взаперти, я встречался с ними так редко) казалась мне, как и всем, у кого легкость осуществления замыслов не притупила силы воображения, чем-то столь же отличным от всего, мне известного, столь же желанным, как самые чудесные города, которые сулит нам путешествие.

Разочарование, вынесенное мной от знакомства с женщинами, от посещения городов, не убило во мне способности увлекаться новыми женщинами и городами и верить в их реальность; вот почему панорама Венеции, — тоску по этом городе вызывала у меня также весенняя погода, но женитьба на Альбертине помешала бы мне его посетить, — панорама Венеции, на взгляд Ски, может быть, более красивая по тонам, чем реальный город, мне нисколько не заменила бы поездки в Венецию, требовавшей непременной затраты определенного времени; мидинетка, искусственно доставленная мне сводней, будь она раскрасавица, никогда не могла бы заменить мне той, что проходила в этот момент под деревьями,

непринужденно покачиваясь и пересмеиваясь с подружкой. Гораздо более красивая мидинетка, которую я нашел бы в доме свиданий, оставила бы меня равнодушным, ибо мы смотрим в глаза незнакомой девушки иначе, чем смотрели бы на опаловый или агатовый шарик. Мы знаем, что радужные их переливы и вспыхивающие в них искорки — это все, что мы можем видеть из их мыслей, желаний, памяти, где пребывает их семья, с которой мы незнакомы, дорогие их сердцу друзья, которым мы завидуем. Добиться завладения всем этим таким трудным и таким неподатливым достоянием — вот что придает цену взгляду девушки гораздо больше, чем его чисто вещественная красота (этим можно объяснить, почему молодой человек, который пробудил целый роман в воображении женщины, принявшей его за принца Уэльского, утрачивает для нее всякий интерес, когда она узнает о своей ошибке); увидеть мидинетку в доме свиданий значит увидеть ее лишенной наполняющей ее неведомой жизни, которой мы жаждем обладать с нею, значит приблизиться к глазам, ставшим действительно лишь драгоценными камнями, к носу, морщинки которого так же невыразительны, как морщинки какого-нибудь цветка.

Нет, при желании сохранить веру в реальность этой незнакомой мидинетки, проходившей по парку, мне было столь же необходимо испробовать силу ее сопротивления, — направляя на нее свои атаки, не останавливаясь перед публичным оскорблением, повторяя нападение, добиваясь свидания, поджидая ее у выхода из мастерских, разузнавая эпизод за эпизодом всю жизнь этой девушки, преодолевая все препятствия на пути к желанному наслаждению, всё воздвигаемое чуждыми ее привычками и особенной жизнью расстояние между мной и вниманием, благосклонностью, которые я хотел снискать, — как совершить длинный переезд по железной дороге при желании убедиться в реальности Венеции, которую я увидел бы воочию и которая была бы не просто панорамой на всемирной выставке. Но самое сходство между желанием и путешествием внушило мне мысль исследовать когда-нибудь поближе природу этой невидимой силы, столь же могущественной, как религиозные верования, или как в мире физическом атмосферное давление, так высоко возносившей города и женщин, покуда я их не знал, и куда-то исчезавшей, как только я к ним приближался, и мгновенно их низводившей на уровень самой плоской действи-

тельности.

Немного поодаль другая девушка, став на колени, приводила в порядок свой велосипед. Окончив починку, юная наездница вскочила на седло, не закидывая ногу, как сделал бы это мужчина. Велосипед качнулся, и девичье тело как будто вооружилось парусом или огромным крылом; через несколько мгновений юное крылатое существо, ангел или пери, стремительно унеслось, продолжая свой путь.

Вот этого-то и лишала меня жизнь с Альбертиной. Да точно ли лишала? Не правильнее ли было думать: всем этим она меня, напротив, награждала? Если бы Альбертина не жила со мной, если бы она была свободна, я не без основания стал бы представлять всех этих женщин как возможные, вероятные объекты ее желания, ее наслаждения. Они показались бы мне похожими на танцовщиц, которые, играя в каком-нибудь бесовском балете роль Искушений для одного несчастного, мечут в то же время свои стрелы в сердце другого. Как бы я тогда возненавидел мидинеток, молодых девушек, актрис! Предмет отвращения, они были бы тогда исключены для меня из красоты вселенной. Рабство Альбертины, позволяя мне не страдать от них, возвращало

этих девушек красоте мира. Став безвредными, утратив жало, вонзаемое в сердце ревностью, они открыли для меня возможность восхищаться ими, ласкать их взглядом, а когда-нибудь и более интимно. Заточая Альбертину, я возвращал вселенной всех этих переливчатых бабочек, порхающих на прогулках, на балах, в театрах, которые вновь становились для меня искусительницами, потому что Альбертина не могла больше подпасть их искушению. Они сообщали красоту миру. Они наделили когда-то красотой Альбертину. Я нашел ее чудесной, оттого что она предстала мне волшебной птицей, а потом искуснейшей актрисой пляжа, такой желанной, может быть, доступной. Попав ко мне в клетку, птица, которую я увидел как-то вечером двигавшейся рассчитанным шагом по дамбе в окружении стаи других девушек, подобных чайкам, прилетевшим неизвестно откуда, — Альбертина — потеряла все свои краски вместе с шансами на то, чтобы другие позарились на нее. Она понемногу потеряла свою красоту. Мне нужно было вообразить Альбертину на прогулке, вроде сегодняшней, но без меня, а в сопровождении какой-нибудь женщины или молодого человека, чтобы снова увидеть ее в блеске пляжа, хотя моя ревность помеща-

лась не в той плоскости, по которой блуждало мое воображение. Но несмотря на эти внезапные проблески, во время которых Альбертина, возбуждая желание у других, снова становилась для меня красивой, я мог отчетливо разделить ее пребывание у меня на два периода: первый, когда она оставалась еще, хотя и все меньше с каждым днем, сверкающей красками актрисой пляжа, и второй, — когда, став серенькой пленницей, вернувшись к своей тусклой личности, она нуждалась в этих проблесках прошлого, чтобы вновь загореться огнями радуги.

Иногда, в часы наибольшего равнодушия к ней, мне приходило на память далекое мгновение, относящееся к тому времени, когда я еще не знал ее: сидя на пляже возле одной дамы, с которой я был в очень дурных отношениях, а она, — я был теперь почти уверен в этом, — находилась в связи, Альбертина нахально смотрела на меня и звонко хохотала. Лоснящееся голубое море шумело кругом. На солнечном пляже Альбертина была самой красивой из всех своих приятельниц. Эта великолепная девушка нанесла мне столь драгоценное для обожавшей ее дамы публичное оскорбление в привычной рамке необъятной водной шири. Оно было окончательным, ибо дама

возвращалась, может быть, в Бальбек, констатировала, может быть, отсутствие Альбертины на солнечном и шумящем пляже. Но она не знала, что эта девушка жила у меня, была вся в моем распоряжении. Необъятное синее море, забвение влечения, которое она к ней чувствовала и которое теперь было направлено на других, замкнулись на оскорблении, нанесенном мне Альбертиной, заключив его в сверкающий несокрушимый ларец. Тогда ненависть к этой женщине начинала грызть мне сердце; к Альбертине тоже, но ненависть, смешанная с восхищением красивой, окруженной лестью девушкой с чудесной шевелюрой, вызывающе хохотавшей на пляже. Стыд, ревность, воспоминание о первых желаниях на фоне блистающего моря вернули Альбертине былую красоту, былую прелесть. Так чередовалось с немного гнетущей скукой, которой я томился возле нее, трепетное желание, полное великолепных грез и сожалений, смотря по тому, находилась ли она со мной в комнате, или же я возвращал ей в своих воспоминаниях свободу, выпуская на дамбу в светленьких летних платьях, под звуки курортной музыки, — Альбертина, то покидавшая эту обстановку, подвластная мне, и лишенная особых прелестей, то в нее воз-

вращавшаяся, ускользавшая в не доступное мне прошлое, оскорблявшая меня на глазах приятельницы, подобно брызгам разбивавшейся волны или палящему солнцу, — Альбертина, гулявшая по пляжу или же заточенная в моей комнате, двоившаяся, как амфибия.

В другом месте большая группа играла в мяч. Все эти девушки спешили воспользоваться солнцем, ибо такие февральские дни, даже когда они полны блеска, непродолжительны, и их яркое сияние скоро угасает. Прежде, чем это случилось, мы успели некоторое время насладиться тенью деревьев, потому что, докатив до Сены, где Альбертина стала любоваться (и благодаря своему присутствию помешала полюбоваться мне) отражением красных парусов в студеной синеватой воде и каким-то домом, приткнувшимся как одинокий полевой мак на светлом горизонте, кусок которого с видневшимся Сен-Клу казался хрупкой иззубренной окаменелостью, — докатив до Сены, мы вышли из автомобиля и долго гуляли пешком, несколько минут даже рука об руку, и мне казалось, что кольцо, которым рука Альбертины обвивала мою руку, соединяло в одно существо наши личности и связывало вместе наши судьбы.

У наших ног параллельные наши тени, сближенные и переплетенные, обрисовывались в восхитительном силуэте. Конечно, и дома мне казалось чудесным, что Альбертина живет со мной, лежит на моей кровати. Но прекрасно было, что и за пределами моего дома, на лоне природы, у так любимого мною озера Булонского леса, среди деревьев, именно ее тень, чистую и упрощенную тень ее ноги, ее бюста, рисовало тушью солнце рядом с моей тенью на песке аллеи. И я находил прелесть, менее вещественную, правда, но не менее интимную, чем в сближении и слиянии наших тел, в этом сближении и слиянии наших теней. Потом мы опять сели в автомобиль. И он покатил обратно по боковым извилистым аллеям, где зимние деревья, увитые, как руины, плющом и терновником, как будто вели к жилищу какого-то волшебника. Когда мы выехали из-под их тенистых ветвей, тотчас снова стало совсем светло, так что я подумал, что еще успею сделать все свои дела до обеда, как вдруг, всего через несколько мгновений, когда наш автомобиль подъезжал к Триумфальной арке, я с удивлением и ужасом заметил над Парижем преждевременную полную луну, точно циферблат остановившихся часов, при взгляде

на который нам кажется, что мы опоздали.

Мы велели шоферу ехать домой. Для Альбертины это означало возвращение ко мне. Общество самых любимых женщин, которые должны расстаться с нами, чтобы вернуться домой, не дает того мира, какой я вкушал в обществе Альбертины, сидевшей рядом со мной в глубине экипажа, — обществе, приводившем не к пустоте, начинающейся вслед за разлукой, но к еще более устойчивому и лучше огражденному единению в моем доме, который был также и ее домом, материальным символом моего обладания ею. Конечно, обладание должно предваряться желанием. Мы не обладаем линией, поверхностью, объемом, если их не занимает наша любовь. Но не в пример Рахили когда-то в прошлом, Альбертина была для меня во время нашей прогулки не безразличным куском мяса и материй. Воображение моих глаз, моих губ, моих рук так прочно построило в Бальбеке ее тело и так гладко его отшлифовало, что теперь, в экипаже, чтобы касаться этого тела, чтобы его ощущать, мне не было надобности прижиматься к Альбертине, ни даже видеть ее, достаточно было ее слышать, а когда она молчала — сознавать ее присутствие возле себя; мои сплетенные чувства окутывали

ее всю целиком, и когда после остановки автомобиля у нашего дома она привычным движением вышла, а я задержался на минутку, отдавая распоряжение шоферу приготовить автомобиль для следующей поездки, взгляды мои по-прежнему ее окутывали по дороге к подъезду, и я вкушал все тот же бездейственный и домашний покой, видя, как она, отяжелевшая, разрумянившаяся, пышная и пленная, так естественно возвращается со мной, точно женщина, принадлежащая мне всецело, и, огражденная стенами, скрывается в нашем доме. К несчастью, она, по-видимому, считала его тюрьмой и держалась мнения мадам де Ларошфуко, которая на вопрос, довольна ли она жизнью в Лианкуре, таком красивом замке, отвечала: «красивых тюрем не бывает», — если судить по ее грустному и усталому виду в тот вечер за обедом с глазу на глаз в ее комнате. Сначала я не обратил на это внимания; мне самому было грустно при мысли, что, не будь Альбертины (потому что с ней я бы очень мучился от ревности в гостинице, где она целый день сталкивалась бы со множеством людей), я мог бы в эту минуту обедать в Венеции в одной из маленьких столовых с низким, как в корабельном трюме, потолком, откуда виден Большой канал через сводчатые

оконца в мавританских рамах.

Должен прибавить, что Альбертина очень восхищалась у меня большой бронзовой группой Барбедьена, которую Блок вполне основательно находил безобразной. Меньше оснований у него было, пожалуй, удивляться тому, что я держу у себя такую вещь. Я никогда не пытался, подобно Блоку, заводить художественную обстановку, стильно убирать комнаты, я был слишком ленив для этого, слишком равнодушен к вещам, которые привык иметь перед глазами. Так как они не оскорбляли моего вкуса, то я вправе был не обновлять своей обстановки. Все же я мог бы, пожалуй, удалить бронзу. Но уродливые дорогие вещи бывают очень полезны, потому что в глазах лиц, которые нас не понимают, которым чужды наши вкусы и в которых мы можем влюбиться, им свойственно обаяние, каким не обладает вещь замечательная, но не каждому открывающая свою красоту. Между тем нам полезно пользоваться такого рода обаянием именно по отношению к непонимающим нас людям, ибо для того, чтобы внушить к себе уважение со стороны людей выдающихся, нам достаточно нашего ума. Хотя у Альбертины и начал развиваться вкус, но она все еще чувствовала некоторое почтение к брон-

зовой группе, и это почтение переливалось и на меня и было мне бесконечно дороже немножко компрометирующей бронзы, потому что я любил Альбертину.

Сознание моего рабства вдруг перестало тяготить меня, и я пожелал его продлить, так как мне показалось, будто Альбертина мучительно ощущает собственное рабство. Правда, каждый раз, когда я ее спрашивал, не скучно ли ей у меня, она неизменно мне отвечала, что не знает, где она могла бы чувствовать себя счастливее. Но часто слова эти изобличались тоскующим, раздраженным выражением лица.

Конечно, если бы у нее были вкусы, которые я ей приписывал, то эта постоянная помеха к их удовлетворению должна была в такой же мере раздражать ее, в какой была для меня успокоительной, настолько успокоительной, что вероятнее всего я счел бы свои обвинения несправедливыми, если бы мне не было так трудно объяснить, почему Альбертина старательно избегает одиночества и праздности, почему она ни секунды не задерживается перед дверью, когда возвращается домой, почему всегда устраивает так, чтобы ее телефонные разговоры происходили в присутствии какого-либо свидетеля, который

мог бы передать мне ее слова, — Франсуазы или Андре, — почему всегда, как будто ненарочно, оставляет меня наедине с Андре, если они выходили вместе, чтобы я мог получить подробный отчет об их прогулке. Эта изумительная покорность находилась в противоречии с кой-какими поспешно подавляемыми нетерпеливыми движениями, побудившими меня задаться вопросом, не составила ли Альбертина план стряхнуть свои цепи. Некоторые побочные факты подкрепляли мое предположение.

Так, прогуливаясь однажды в одиночестве, я встретил возле Пас-си Жизель, и мы разговорились. Очень обрадовавшись случаю поделиться своим счастьем, я тотчас же сказал ей, что постоянно вижу Альбертину. Жизель спросила тогда, где она может ее увидеть, потому что ей *как раз сейчас* нужно кое-что сообщить Альбертине. «Что же именно?» — «Вещи, касающиеся ее подружек». — «Каких подружек? Я, может быть, смогу вас осведомить, что не помешает вам ее увидеть». — «О, прежних подруг, не помню уже их имен», отвечала Жизель с неопределенным выражением лица, ударив отбой. Она меня покинула в уверенности, что разговаривала со мной острожно, так осторожно, что для меня все стало

совершенно ясно. Но ложь ведь не требовательна, ей нужно так немного, чтобы проявиться! Если бы речь шла о прежних подругах, даже имен которых она не помнила, то зачем бы ей *как раз сейчас* понадобилось говорить о них с Альбертиной? Слова эти, очень родственные любимому выражению г-жи Котар: «весьма кстати», могли относиться только к какому-нибудь особенному, текущему, может быть, неотложному делу, связанному с определенными лицами.

Впрочем, уже одна манера Жизели открывать рот, точно перед зевотой, один ее рассеянный вид, когда она говорила (отшатнувшись всем корпусом, точно с этого момента нашего разговора она дала задний ход машине): «Ах, не знаю, не могу припомнить имен!» — столь не явно преображали ее лицо, а в соответствии с лицом и голос, в лицо *лжи*, как совсем другое — сосредоточенное, оживленное — его выражение в начале, при словах: «как раз сейчас», свидетельствовало о правдивости. Я не стал расспрашивать Жизель. Какая бы мне была польза от этого? Правда, она лгала не так, как Альбертина. Правда и то, что ложь Альбертины была для меня более мучительна. Но все же у них была одна общая черта: самый факт *лжи*, которая в иных случаях бывает

совершенно очевидной. Ложь, а не та реальность, что скрывается под этой ложью. Известно, что каждый убийца воображает, будто все им так хорошо обдумано, что ни за что он не попадется; таковы же лжецы и лгуньи, особенно женщины, которых любят. Мы не знаем, куда наша любовница ходила, что она делала. Но в ту минуту, как она говорит, говорит о чем-то другом, под чем скрывается то, о чем она умалчивает, ложь сразу бросается в глаза, и ревность закипает с удвоенной силой, потому что мы чувствуем ложь и нам не удается узнать правду.

Ощущение лжи Альбертины создавалось множеством частностей, о которых мы уже упоминали в течение этого рассказа, но главным образом тем, что, когда она лгала, рассказ ее грешил то неполнотой, пропусками, неправдоподобием, то, напротив, — обилием мелких подробностей, предназначенных для того, чтобы сделать его правдоподобным. Правдоподобие, вопреки представлению лжеца, вовсе не есть правда. Как только в правдивый рассказ вводятся подробности, которые только правдоподобны, которые, может быть, более правдоподобны, чем правда, которые, может быть, чересчур правдоподобны, так тотчас мало-мальски музыкальное

ухо чувствует, что тут не то, как в тех случаях, когда оно слышит фальшивый стих или записочку, прочитанную вслух для другого. Ухо чувствует диссонанс, и сердце, если мы любим, наполняется тревогой. Как это не приходит нам на ум в таких случаях, когда мы меняем всю жизнь из-за того, что нам неизвестно, прошла ли интересующая нас женщина по улице Берри или же по улице Вашингтон, — как не приходит нам на ум, что эти несколько метров в сторону, и сама женщина, сведутся к одной стомиллионной доле сантиметра (то есть к величине, не доступной нашему восприятию), если только у нас хватит благоразумия не видеть этой женщины в течение нескольких лет, и то, что было огромным Гулливером, обратится в ничтожного лилипутика, которого никакой микроскоп, — по крайней мере микроскоп сердца, — ибо микроскоп равнодушной памяти сильнее и не так хрупок, — больше не способен будет различить.

Как бы там ни было, хотя ложь Альбертины и ложь Жизели и имели общую черту — самый факт лжи, — однако Жизель лгала иначе, чем Альбертина, и иначе, чем Андре, но все же эти различные проявления лжи так хорошо вязались между собой при всем их разнообразии, что замыкали всю

девичью ватагу в непроницаемый мирок, каким являются, например, некоторые торговые предприятия, издательства, где несчастный автор ни за что не узнает, несмотря на разнообразие административного персонала, надувают ли его или нет. Издатель газеты или журнала лжет с видом тем более торжественной правдивости, что во многих случаях ему необходимо бывает замаскировать свои меркантильные приемы, ничуть не отличающиеся от приемов других издателей или директоров театров, которые он так бичевал, подняв против них знамя Прямоты. Объявив (в качестве лидера политической партии или поборника какой-нибудь идеи) беспощадную войну лжи, он чаще всего бывает вынужден лгать больше других, не снимая при этом торжественной маски, величественной тиары правдивости. Компаньон «правдивого человека» лжет по-другому и более простосердечно. Он обманывает авторов так же, как обманывает жену, при помощи водевильных трюков. Секретарь редакции, честный и грубоватый человек, лжет совсем просто, как архитектор, обещающий, что ваш дом будет готов к сроку, когда его не начнут даже строить. Главный редактор, ангельская душа, порхает среди этой троицы и, не зная, о чем идет речь, подает

им, из братского участия и дружеской солидарности, драгоценную помощь в виде какого-нибудь неожиданно спасительного слова. Эта четверка живет в вечной вражде, которой кладет конец приход автора. Позабыв все личные распри, каждый вспоминает о священном долге солдата приходить на помощь угрожаемому участку.

Не отдавая себе в этом отчета, я давно уже играл роль такого автора по отношению к «девичьей ватаге». Если, говоря: «как раз сейчас», Жизель имела в виду какую-нибудь приятельницу Альбертины, намеревавшуюся совершить с нею поездку, после того, как моя спутница под тем ли иным предлогом меня покинет, — если Жизель хотела предупредить Альбертину, что час пробил или вскоре пробьет, то она скорее согласилась бы дать рассечь себя на куски, чем признаться мне в своем замысле; поэтому было совершенно бесполезно задавать ей вопросы. Не только такие встречи, как эта встреча с Жизелью, укрепляли мои сомнения. Я восхищался, например, рисованием Альбертины. Акварели Альбертины, трогательное развлечение пленницы, так меня взволновали, что я ее поздравил. «Нет, это очень плохо, но я не брала ни одного урока рисования». — «Почему же вы однажды

вечером велели мне передать в Бальбеке, что вы не свободны, так как у вас урок рисования». Я напомнил ей, когда это было, прибавив, что сразу же почуял обман, ибо кто же берет уроки рисования в такой поздний час. Альбертина покраснела. «Это правда, — сказала она, — я не брала уроков рисования, я вам много лгала вначале, не буду этого отрицать. Но теперь я вам никогда не лгу». Мне очень хотелось, чтобы она рассказала о своей тогдашней лжи, но я наперед знал, что ее теперешние признания будут новой ложью. Поэтому я удовольствовался тем, что поцеловал ее. Попросил только привести мне один какой-нибудь пример такой лжи. Она ответила: «Ну, хотя бы мои заявления, что от морского воздуха мне бывает дурно». Я прекратил попытки, видя такое упорство в неискренности.

Чтобы цепи показались Альбертине более легкими, самое лучшее было бы, конечно, внушить ей, будто я сам собираюсь их порвать. Во всяком случае, я не мог посвятить ее в данную минуту в этот неискренний план, ибо она только что была очень со мной мила, согласившись вернуться из Трокадеро; нельзя было огорчать ее угрозами разрыва; самое большее, я мог утаить от нее мечты о постоянной совместной жизни, складывавшиеся

в моем признательном сердце. Глядя на Альбертину, я с трудом сдерживал желание излить ей свою душу, и она должно быть это замечала. К несчастью, внешнее проявление такого рода чувств не бывает привлекательным. Поведение манерной старухи, столь характерное для г-на де Шарлюс, который, видя в своем воображении лишь гордого молодого человека, считает, что и сам стал гордым молодым человеком, и тем больше укрепляется в этой мысли, чем больше становится манерным и смешным, — такое поведение является типичным, к несчастью, страстно влюбленный не отдает себе отчета в том, что когда он видит перед собой красивое лицо, любовница его видит его собственное лицо, отнюдь не хорошеющее от искажающего его наслаждения, рождаемого созерцанием красоты. Любовь не единственная область, где наблюдается такое несоответствие; мы не видим нашего тела, открытого для чужих взоров, и следим за нашей мыслью — предметом для других невидимым. Иногда художнику удается показать этот предмет в своем произведении. Отсюда разочарование поклонников чьего-нибудь таланта, когда они встречаются с самим автором, так как лицо его лишь очень слабо отражает внутреннюю красоту

его мыслей.

Всякое любимое существо и даже до известной степени всякое вообще существо можно уподобить Янусу: оно поворачивается к нам привлекательным лицом, когда покидает нас, и лицом угрюмым, если мы знаем, что оно в нашем постоянном распоряжении. Что касается Альбертины, то продолжительное пребывание в ее обществе было тягостно еще и по другой причине, которой я не могу касаться в этом рассказе. Ужасно, когда жизнь другого привязана к вашей как бомба, которой нельзя выпускать, чтобы не вышло несчастья. Но возьмем для сравнения опасности, беспокойство, боязнь, что впоследствии поверят вещам ложным и правдоподобным, которых нельзя будет больше объяснить, словом, чувства, испытываемые, когда вы живете в обществе помешанного. Например, я от души жалел г-на де Шарлюс за то, что ему выпало жить с Морелем (тотчас же при воспоминании о сегодняшней сцене у меня появилось такое чувство, будто левая часть моей груди гораздо больше правой); оставляя в стороне существовавшие или не существовавшие между нами отношения, следует думать, что г. де Шарлюс сначала не знал о помешательстве Мореля.

Красота Мореля, его пошлость, его гордость вероятно отвращали барона от таких предположений — до первых припадков меланхолии Мореля, когда тот без всяких оснований начал винить в ней г-на де Шарлюс, оскорблял его своим недоверием при помощи крайне изощренных софизмов, угрожал ему отчаянными решениями, в которых однако всегда можно было разглядеть заботу об ограждении самых насущных интересов. Все это я говорю только ради сравнения. Альбертина не была помешанной.

***

Я узнал, что в этот самый день произошло одно очень грустное для меня событие: умер Бергот. Известно, что его болезнь тянулась очень долго. Не та, понятно, что была у него сначала, болезнь естественная. Природа по-видимому способна посылать нам только очень непродолжительные болезни. Но медицина выработала искусство их затягивать. Лекарства, приносимое ими облегчение, ухудшение, наступающее, когда перестаешь принимать их, создают некоторое подобие болезни, и привычка пациента мало-помалу его стабилизует, стилизует, вроде того как дети обыкновенно еще долго кашляют

после выздоровления от коклюша. Потом лекарства оказывают все более слабое действие, дозы их увеличиваются, они уже не дают никакого облегчения, — напротив, благодаря продолжительному недомоганию, они начали причинять вред. Природа не предоставила бы болезням таких долгих сроков. Великое чудо, что медицина, соперничая с нею своим могуществом, способна приковать нас к постели и заставить под страхом смерти принимать лекарства. С этих пор искусственно привитая болезнь пустила корни, стала вторичной, но настоящей болезнью, с тем единственным различием, что болезни естественные излечиваются, созданные же медициной — никогда, ибо медицина не владеет секретом излечения.

Уже несколько лет Бергот не выходил из дому. Впрочем, он никогда не любил общества или любил его один только день, чтобы потом презирать, как и все прочее, на свой особый лад, а именно: не потому, что он не мог добиться желаемого, но тотчас же как ему удавалось добиться. Бергот жил так просто, что никто не подозревал, насколько он богат, да если бы о его богатстве и стало известно, это привело бы только к кривотолкам, ибо его сочли бы скупым, между тем как не было

человека более щедрого. Он был особенно щедр с женщинами, точнее говоря — с девушками, и те стыдились получать так много за сущие пустяки. Он оправдывал себя в собственных глазах тем, что знал свою неспособность продуктивно работать иначе, как в атмосфере влюбленности. Любовь или, говоря скромнее, более или менее глубокое физическое удовольствие, помогает писателю в работе, потому что парализует другие удовольствия, например удовольствия светские, притягательные для всех. И, даже если такая любовь приводит к разочарованиям, все же и в этом виде она волнует поверхность души, предохраняя ее от опасности застоя. Таким образом, желание не бесполезно писателю, поскольку, во-первых, удаляет его от других людей и избавляет от необходимости сообразоваться с ними, а, во-вторых, дает толчок душевной машине, по достижении известного возраста имеющей наклонность останавливаться. Стать счастливым не удается, но зато подмечаешь причины, мешающие достижению счастья, которые остались бы для нас невидимыми без этих внезапных просветов разочарования. Мечты неосуществимы, мы это знаем; может быть, мы бы им не предавались, не будь у нас желания, и строить воздушные замки

полезно, чтобы видеть, как они рушатся, и извлекать урок из этого крушения.

Вот почему Бергот говорил себе: «Я трачу на девушек больше, чем архимиллионеры, но доставляемые ими удовольствия или разочарования позволяют мне написать книгу, которая приносит мне деньги». С экономической точки зрения это рассуждение было нелепостью, но очевидно он находил некоторое удовольствие в таком превращении золота в ласки и ласк в золото. При описании смерти моей бабушки мы видели, что усталая старость любит покой. Между тем в свете нет ничего, кроме разговоров. Разговоры эти глупые, но они обладают способностью уничтожать женщин, обращая их в вопросы и ответы. За пределами светского круга женщины вновь становятся тем, что действует так успокоительно на усталого старика, — предметом созерцания. Во всяком случае, обо всем этом теперь не было больше речи. Как я уже сказал, Бергот не выходил из дому, и когда вставал не надолго в своей комнате, то был весь закутан в шали, пледы и во все то, что мы надеваем на себя, когда выходим на большой мороз или снаряжаемся в дорогу. Он извинялся за свой наряд перед редкими приятелями, которых пускал к

себе, и, показывая на свои клетчатые пледы, на свои одеяла, весело говорил: «Ничего не поделаешь, дорогой мой, жизнь есть путешествие, как сказал Анаксагор». Так совершал он свой путь, путь маленькой постепенно остывающей планеты, являвшейся прообразом нашей земли, когда теплота, а потом и жизнь мало-помалу ее покинут. Тогда воскресению придет конец, ибо если человеческие творения сверкают в грядущих поколениях, то ведь для этого нужно, чтобы были люди. Когда же людей больше не будет, то хотя бы даже слова Бергота продлились до тех пор, она внезапно угаснет навсегда. Правда, некоторые виды животных дольше сопротивляются всепобеждающему холоду, однако эти животные не будут читать Бергота, ибо трудно допустить, чтобы, подобно апостолам в Пятидесятницу, они стали понимать языки разных народов, не изучив их.

Несколько месяцев перед смертью Бергот страдал бессонницей и, что еще хуже, кошмарами, начинавшимися у него, едва только он засыпал, так что, проснувшись, он старался больше не спать. Долго он любил сны, даже дурные сны, потому что благодаря снам, благодаря их противоречию с действительностью, находящейся

перед нами, когда мы бодрствуем, они дают нам по пробуждении глубокое ощущение того, что мы выспались. Но кошмары Бергота представляли собой нечто совсем иное. Говоря о кошмарах, он в прежнее время разумел под ними неприятные явления, происходящие в мозгу. Теперь же ему казалось, что появляются откуда-то извне — рука с мокрой тряпкой, которой проводит по его лицу какая-то злая женщина и будит его, невыносимый зуд на бедрах, бешенство разъяренного кучера — Бергот засыпая пробормотал, что тот плохо правит — бросавшегося на писателя и кусавшего, отпиливавшего ему пальцы. Наконец, когда сон его окутывался достаточно густой тьмой, природа устраивала нечто вроде репетиции без костюмов угрожавшего ему апоплексического удара: Бергот сидит в экипаже у подъезда нового дома Сванов и хочет сойти. Страшное головокружение приковывает его к сиденью, консьерж пытается ему помочь, но он остается на месте, не будучи в силах подняться, вытянуть ноги. Он пробует ухватиться за стоящий перед ним каменный столб, но не находит в нем достаточной опоры, чтобы встать.

Бергот обратился к врачам, и те, польщенные его обращением, усмотрели причину его

недомогания в привычке к усидчивому труду (уже двадцать лет он ничего не делал), в переутомлении. Они посоветовали ему не читать страшных рассказов (он ничего не читал), больше пользоваться солнцем, «необходимым условием жизни» (несколькими годами относительного улучшения он был обязан только своему затворничеству), усилить питание (от которого он похудел и которое пошло на пользу главным образом его кошмарам). Одному из врачей, одержимому духом противоречия и задирчивости, Бергот, при встречах с ним в отсутствие других врачей и чтобы его не раздражать, излагал в качестве собственных соображений то, что ему советовали другие: противоречащий врач, думая, что Бергот хочет, чтобы ему прописывали то, что ему приятно, тотчас же запрещал все это, и часто его доводы бывали сфабрикованы так поспешно, что Бергот припирал его к стене совершенно бесспорными возражениями, и несговорчивому доктору приходилось в одной и той же фразе противоречить себе, но при помощи новых доводов он подтверждал свое запрещение. Тогда Бергот возвращался к одному из первых врачей, человеку, любившему блеснуть остроумием, особенно перед мастерами пера; в ответ на осторожное

замечание Бергота: «Мне кажется, однако, что доктор Х. сказал мне, — не сейчас, разумеется, а когда-то раньше, — что это средство может вызвать прилив крови к почкам и к мозгу...» — он лукаво улыбался, поднимал палец и произносил: «Я сказал: употреблять, а не злоупотреблять. Разумеется, всякое лекарство, если принимать его неумеренно, становится обоюдоострым оружием». Нашему телу присуще некоторое инстинктивное чутье того, что для нас благотворно, вроде того как в сердце заложен инстинкт нравственного долга, и никакие предписания доктора медицины или доктора богословия не могут заступить место этого инстинкта. Мы знаем, что холодные ванны нам вредны, мы их любим, мы всегда найдем врача, который нам их посоветует, но не будет в состоянии предотвратить их вред. От каждого из своих врачей Бергот получил то, что из благоразумия запрещал себе в течение многих лет.

По прошествии нескольких недель возобновились старые припадки и участились недавние. Вконец измученный ни на минуту не утихавшими болями, к которым прибавилась бессонница, прерываемая короткими кошмарами, Бергот перестал обращаться к врачам и принялся с

успехом, но неумеренно, потреблять различные наркотики, доверчиво прочитывая прилагаемые к каждому из них проспекты, в которых доказывалась необходимость сна, однако с оговоркой, что все снотворные средства (за исключением содержащегося во флаконе, завернутом в соответствующий проспект, которое никогда не вызывало отравления) ядовиты, и поэтому лекарство хуже болезни. Бергот перепробовал их все. Некоторые из них принадлежат к другой группе, чем те, к которым мы привыкли, куда входят, например, составной частью амил и этил. Принимая новое средство с совсем иным составом, мы находимся в сладком ожидании неизвестности. Сердце бьется, как на первом свидании. К каким неведомым видам сна, сновидений поведет нас пришелец? Теперь он внутри нас, он идет по направлению нашей мысли. Каким образом мы заснем? А когда это случится, какими чудесными путями, на какие неисследованные вершины, в какие пропасти заведет нас всемогущий владыка? Какую новую комбинацию ощущений узнаем мы во время этого путешествия? Куда приведет нас оно? К мукам? Блаженству? Смерти?

Смерть Бергота произошла накануне, когда он доверился таким образом одному из этих

столь могущественных друзей (другу? врагу?). Он умер при следующих обстоятельствах. После довольно легкого припадка уремии ему был предписан покой. Но один критик написал, что в «Виде Дельфта» Вермеера (присланном гаагским музеем для голландской выставки), картине, которую Бергот обожал и, как ему казалось, знал в совершенстве, кусочек желтой стены (которого он не помнил) был написан так мастерски, что, подобно драгоценному произведению китайского искусства, загорался самодовлеющей красотой под устремленным на него взором зрителя. Бергот поел картошки, вышел из дому и отправился на выставку. Уже на первых ступеньках лестницы у него началось головокружение. Он бегло взглянул на несколько картин и испытал впечатление сухости и бесплодности этого надуманного искусства, которое ничего не стоило рядом с любым залитым воздухом и солнцем венецианским палаццо или простым домом на берегу моря. Наконец он очутился перед «Видом Дельфта», который представлял себе более блестящим, больше отличающимся от всего, что было ему известно, но на котором, благодаря статье критика, впервые заметил маленьких человечков в голубом, розовую окраску песка и, наконец, дра-

гоценное вещество совсем маленького кусочка желтой стены. Головокружение усиливалось; он приковывал взор к драгоценному кусочку стены, как ребенок к желтой бабочке, которую хочет поймать. «Вот так мне нужно было бы писать, — говорил он. — Мои последние книги слишком сухи, надо было бы положить больше красок, сделать свои фразы сами по себе драгоценными, как этот кусочек желтой стены». Однако серьезность его головокружения не ускользала от него. Ему представились небесные весы, на каждой чашке которых была положена его собственная жизнь, а на другой — кусочек стены, так мастерски написанный желтым тоном. Он чувствовал, как неблагоразумно им была отдана жизнь за такой кусочек. «Мне не хотелось бы однако, — думал он, — послужить материалом для хроники вечерних газет, посвященной этой выставке».

Он все повторял: «Кусочек желтой стены с навесом, кусочек желтой стены». Тем временем он опустился на круглый диван и внезапно перестав думать, что дело идет о его жизни, снова проникся оптимизмом и сказал себе: «Просто у меня несварение желудка от этой недоваренной картошки, пустяки». Новый удар поразил его, он свалился с дивана на пол. Тотчас же сбежались посетители

и сторожа. Бергот был мертв. Мертв навсегда? Кто может на это ответить? Конечно, спиритические опыты, как и религиозные догматы, не дают доказательства, что душа существует. Можно сказать лишь, что все в нашей жизни происходит так, как если бы мы вступали в нее с бременем обязательств, взятых на себя в какой-то предшествующей жизни; в условиях нашей жизни на этой земле не содержится никаких оснований для того, чтобы мы считали своим долгом делать добро, быть деликатными и даже вежливыми, нет в них ничего такого, что вменяло бы требовательному художнику в обязанность двадцать раз переделывать вещь, превознесение которой грядущими поколениями мало будет значить для его изглоданного червями тела, например, кусок желтой стены, с таким мастерством и такой тонкостью написанный художником, навсегда потонувшим в неизвестности, оставившим от себя только имя — Вермеер, — и то едва ли достоверное. Все эти обязанности, ничем не санкционированные в теперешней жизни, принадлежат словно к иному миру, основанному на доброте, совестливости, самопожертвовании, миру совершенно отличному от здешнего, откуда мы являемся, рождаясь на этой земле, и куда

снова, может быть, вернемся под власть таинственных законов, которым мы повиновались, потому что носили в себе их предписания, не зная, кем они начертаны, — законов, к которым нас приближает всякая углубленная умственная работа и которых не видят — все еще! — только дураки. Поэтому предположение, что Бергот не умер навсегда, не является невероятным.

Бергота похоронили, но всю траурную ночь его книги, выставленные по три в освещенных витринах, бодрствовали, словно ангелы с простертыми крыльями, и казались символом воскресения того, кого больше не было.

Итак, я узнал в тот день, что Бергот умер. И я удивлялся неточности газет, сообщавших, — воспроизводя одну и ту же заметку, — что он умер накануне. Между тем накануне его встречала Альбертина, о чем мне тогда же и рассказала; благодаря встрече с ним она даже немного запоздала, потому что Бергот довольно долго с нею разговаривал. Этот разговор был вероятно последним в его жизни. Альбертина познакомилась с ним через меня; я давно уже его не видел, но так как ей очень хотелось быть представленной Берготу, то год тому назад я попросил у старого мэтра разрешения прийти к нему с ней. Он согласился

исполнить мою просьбу, немножко, мне кажется, обидевшись на меня за то, что я прихожу к нему только с целью сделать приятное другому лицу, и тем как бы выказываю собственное равнодушие. Такие случаи нередки: иногда тот или та, кого мы умоляем не об удовольствии встретиться с ними и поговорить, но об интересах третьего лица, отказывают нам наотрез, так что наша протеже считает пустым бахвальством все эти наши связи; чаще однако гений или прославленная красавица дают согласие, но, почувствовав себя задетыми в своем престиже, уязвленными в своей благожелательности, сохраняют по отношению к нам лишь ущербленное, горькое, немного презрительное чувство. Много времени спустя я обнаружил, что мое обвинение газет в неточности было несправедливо, ибо в тот день Альбертина вовсе не встречалась с Берготом, но она не заронила во мне и тени подозрения, таким естественным был ее рассказ; лишь гораздо позже я узнал ее обаятельное искусство лгать с детски непринужденным видом. То, что она говорила, в чем признавалась, было до такой степени сходно с очевидностью — с тем, что мы видим, о чем узнаем непререкаемым образом, — что в промежутки между событиями действительной

жизни она вкрапливала эпизоды из другой жизни, а мне тогда и в голову не приходило, что все это выдумка; я понял это лишь гораздо позже. Я сказал: «в чем она признавалась», вот почему. Порою некоторые странные сопоставления возбуждали во мне ревнивые подозрения, в которых рядом с ней фигурировала в прошлом или, увы, в будущем какая-нибудь другая женщина.

Чтобы удостовериться в правильности своих догадок, я называл имя, и Альбертина говорила мне: «Да, я ее встретила, неделю тому назад, в нескольких шагах от нашего дома. Из вежливости я ответила на ее приветствие. Прошлась с ней несколько шагов. Но между нами никогда ничего не было. И никогда ничего не будет». Между тем Альбертина вовсе не встречалась с этой особой по той простой причине, что последней уже десять месяцев не было в Париже. Но подруга моя находила, что полное отрицание покажется мало правдоподобным. Отсюда эта вымышленная короткая встреча, рассказанная так простодушно, что я буквально видел, как дама останавливается, здоровается с Альбертиной, делает с ней несколько шагов. Если бы в ту минуту я был на улице, мои чувства вероятно удостоверили бы, что дама не разговаривала с Альбертиной. Но я

узнал об этом при помощи цепи умозаключений (самыми крепкими звеньями которой являются слова тех, кому мы доверяем), а не при помощи свидетельства внешних чувств. Чтобы вызвать это свидетельство, я должен бы был находиться тогда на улице, чего на самом деле не было. Можно однако вообразить, что такая гипотеза не является невероятной: я мог выйти из дому и проходить по улице в тот час, когда, по словам Альбертины (не заметившей меня), она встретилась с дамой, и я бы узнал тогда что Альбертина солгала. Но разве этого было бы достаточно? На мой ум могло найти затмение, я бы усомнился в том, что видел ее одну, и самое большее пытался бы понять, в силу какой оптической иллюзии не заметил дамы, причем меня бы не очень удивила моя ошибка, ибо легче постичь мир светил небесных, чем действительные поступки людей, особенно людей, которых мы любим, если они защищены от нашего сомнения покровом выдумок. В течение скольких лет могут они оставлять нашу апатичную любовь в уверенности, что у любимой женщины есть за границей сестра, брат, невестка, которых на самом деле никогда не было!

Свидетельство чувств тоже принадлежит к

операциям ума, в которых очевидность создается убеждением. Не раз уже мы видели, как чувство слуха приносило Франсуазе не то слово, какое было произнесено, но то, какое она считала правильным, и этого было достаточно, чтобы она не слышала поправок, требуемых лучшим произношением. Наш метрдотель нисколько не отличался от нее в этом отношении. Г. де Шарлюс носил в это время, — он сильно изменился, — очень светлые панталоны, которые можно было узнать среди тысячи. Между тем наш метрдотель, считавший, что слово «pissotiére» (обозначающее то, что герцог Германтский, к великому раздражению г-на де Рамбюто, называл «павильончик Рамбюто») было «pistiére», за всю свою жизнь никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал «pissotiére», хотя очень часто так именно и произносили, обращаясь к нему. Но заблуждение отличается большим упорством, чем вера, и не исследует оснований, на которых покоится. Метрдотель постоянно говорил: «Ну, конечно же господин барон де Шарлюс схватил какую-то болезнь, оставаясь так долго в «pistiére». Вот что значит быть старым волокитой. У него и панталоны такие. Сегодня утром мадам посылала меня по одному делу в Нейи, в pistiére на улице Бургонь

я заметил господина барона де Шарлюс, когда он туда входил. Возвращаясь из Нейи должно быть через час, я снова заметил его желтые панталоны в той же pistiére, на том же месте, где он всегда располагается, чтобы его не увидели». Я не знаю ничего более прекрасного, более благородного и более юного, чем племянница герцогини Германтской. Но однажды я услышал от консьержа ресторана, где я иногда бывал, следующее замечание по ее адресу: «Поглядите-ка на эту старую побируху, какая рожа! И ей по крайней мере восемьдесят лет».

Что касается возраста, то он вряд ли считал ее преклонной старухой. Но толпившиеся вокруг него курьеры, хихикавшие каждый раз, когда она проходила мимо отеля, направляясь к жившим невдалеке своим прелестным двоюродным бабушкам, г-жам де Фезенсак и де Бельри, впрямь увидели на лице этой юной красавицы восемьдесят лет, которые в шутку или всерьез дал старой «побирухе» консьерж. Они покатились бы со смеху, если бы кто-нибудь сказал, что эта женщина изящнее ресторанной кассирши, изъеденной экземой смешной толстушки, которая казалась им красавицей. Пожалуй, одно только половое влечение способно было предотвратить

их ошибку, если бы оно вспыхнуло во время появления мнимой старой побирухи и если бы курьеры вдруг возжелали юную богиню. Но по неизвестным причинам, по всей вероятности социального характера, такое желание у них не вспыхнуло. Впрочем, на эту тему можно бы сказать многое. Вселенная истинна для всех нас, но для каждого она различна. Если бы, ради порядка повествования, мы не были вынуждены ограничиться причинами пустыми, то какое множество причин более серьезных позволило бы нам показать обманчивую легковесность начала этого тома, где я слушаю с кровати пробуждение мира то в одну погоду, то в другую. Да, я принужден был обеднить вещь и быть обманщиком, но ведь каждое утро просыпается не одна вселенная, а миллионы вселенных, почти столько же, сколько существует человеческих глаз и человеческих сознаний.

Возвращаясь к Альбертине, скажу, что никогда я не знал женщин, в такой степени одаренных счастливой способностью к лжи воодушевленной, окрашенной в цвета самой жизни, за исключением одной ее приятельницы — тоже из числа моих девушек в цвету, розовой как и Альбертина, но с неправильным профилем, в одной

части впалым, а в другой — выпуклым, совсем как кисти розовых цветов, название которых я позабыл, с такими же длинными и извилистыми впадинами. По части выдумки девушка эта была выше Альбертины, ибо ложь ее не содержала элементов мучительных, скрытого бешенства, которое так часто чувствовалось у моей подруги. Я сказал однако, что Альбертина была прелестна, придумывая рассказ, не оставлявший места для сомнения, ибо вы буквально видели перед собой вещь, — на самом деле выдуманную, — о которой она говорила, пользуясь вместо зрения словом. Одно лишь правдоподобие вдохновляло Альбертину, а вовсе не желание вызвать у меня ревность. Ибо Альбертина, может быть, даже не стремясь к тому, любила, чтобы ей делали любезности. Если же на протяжении этого произведения я пользовался и еще буду пользоваться множеством случаев, чтобы показать, как ревность обостряет любовь, то лишь потому, что я стал на точку зрения любовника. Но стоит только этому последнему обладать хотя бы крупицей гордости, то пусть даже разлука грозит ему смертью, он не ответит на предполагаемую измену любезностью, а отвернется или же напустит на себя холодность.

Поэтому, причиняя ему страдания, его возлюбленная только вредит себе. Если же, напротив, искусным словечком, нежными ласками ей удается рассеять подозрения, терзавшие его, несмотря на напускное равнодушие, то любовник хоть и не испытает того болезненного обострения любви, к которому приводит ревность, но, внезапно перестав страдать, счастливый, разнеженный, умиротворенный, словно после грозы, когда дождь стих и до нас едва доносится под развесистыми каштанами звук опадающих через долгие промежутки капель, уже расцвеченных снова засиявшим солнцем, — он не знает, как выразить свою признательность той, которая его излечила. Альбертина знала, что я люблю вознаграждать ее за милое обращение, и этим, может быть, объясняется ее склонность выдумывать в свое оправдание непринужденные признания, в которых я не сомневался, вроде рассказа о встрече с Берготом, тогда как он был уже мертв. До сих пор мне была известна только та ложь Альбертины, о которой, например, мне докладывала в Бальбеке Франсуаза, — я не упоминал о ней, хотя она мне доставила большое огорчение: — «Так как она не желала прийти, то сказала мне: Не можете ли вы передать вашему барину, что не застали

меня дома, что я вышла?» Но «подначальным», которые нас любят, как любила меня Франсуаза, доставляет большое удовольствие задевать наше самолюбие.

Глава вторая
ВЕРДЮРЕНЫ ССОРЯТСЯ С ГОСПОДИНОМ ДЕ ШАРЛЮС

После обеда я сказал Альбертине о своем желании воспользоваться тем, что я встал, и повидаться с друзьями — с г-жой де Вильпаризи, с герцогиней Германтской, с Камбремерами и вообще со всеми, кого я там встречу. Умолчал я только имя тех, к кому собирался, — Вердюренов. Я спросил Альбертину, не хочет ли она пойти со мною. Альбертина ответила, что у нее нет платья. «Кроме того, я так плохо причесана. Неужели вам хочется, чтобы я явилась в этой прическе?» И, прощаясь со мной, она вздернула плечи и протянула руку резким движением, которое было ей когда-то так свойственно на бальбекском пляже, но потом никогда мною не наблюдалось. Это забытое движение вдруг обратило оживленное им тело в тело той Альбертины, что была еще едва знакома со мной. Напускная резкость вернула церемонной Альбертине ее первоначальную новизну, ее чуждость и даже ее окружение. Я увидел море за

этой девушкой, которая никогда так со мной не прощалась с тех пор, как я покинул берег моря. «Тетя находит, что эта прическа меня старит», прибавила она с кислым видом. «О если бы твоя тетя была права! — подумал я. — Все желания г-жи Бонтан сводятся к тому, чтобы Альбертина, имея вид девочки, молодила ее, а также чтобы Альбертина ничего ей не стоила в ожидании дня, когда, выйдя за меня замуж, она будет приносить ей доход». Я же, напротив, желал, чтобы Альбертина казалась менее юной, менее красивой, привлекала к себе меньше взоров на улице. Ибо старость дуэньи меньше успокаивает ревнивого любовника, чем старость той, кого он любит. Мне только было неприятно, что прическа, сделанная Альбертиной по моей просьбе, могла показаться ей лишним засовом на дверях ее тюрьмы. И это новое, тоже «домашнее», чувство похоже было на цепь, приковывавшую меня к Альбертине, даже когда я находился вдали от нее.

Я сказал Альбертине, — недостаточно нарядной, по ее словам, чтобы сопровождать меня к Германтам или Камбремерам, — что не знаю хорошенько, куда я пойду, и отправился к Вердюренам. Когда мысль о концерте, который предстояло там услышать, напомнила мне под-

слушанную днем сцену: «дрянная потаскуха, дрянная потаскуха», — сцену обманутой, может быть, ревнивой любви, но такую зверскую, что ее мог бы, правда, без слов, устроить женщине влюбленный в нее, если можно так выразиться, орангутанг, — когда, выйдя на улицу, я собирался кликнуть фиакр, до меня донеслись рыдания человека, сидевшего у ворот на тумбе и пытавшегося сдержаться.

Я подошел ближе, — человек, закрывший лицо руками, был, по-видимому, юноша, — и с удивлением обнаружил, что он во фраке и в белом галстуке: пальто его было расстегнуто. Услышав мои шаги, юноша открыл заплаканное лицо, но тотчас же, узнав меня, отвернулся. То был Морель. Он заметил, что я тоже его узнал, и сквозь слезы сказал мне, что на минутку присел, чувствуя себя очень расстроенным. «Я грубо оскорбил сегодня одну особу, к которой питаю весьма нежные чувства. Это подло, так как она меня любит». — «Со временем она, может быть, забудет», ответил я, не подумав, что этими словами выдавал свое присутствие при сегодняшней сцене. Но Морель был слишком поглощен своим горем, и ему не приходило в голову, что я могу что-нибудь знать. «Она, может быть, забудет, — сказал он. — Но мне-то

этого не забыть. Срам какой, как я себе противен! Однако ничего не поделаешь, что сказано, то сказано. Когда меня выводят из себя, я перестаю сознавать, что я делаю. И это мне так вредно, все нервы у меня перекручены», — подобно всем неврастеникам, Морель очень заботился о своем здоровье. Если сегодня днем я видел любовный гнев разъяренного животного, то к вечеру, через несколько часов, протекли века, и новое чувство, чувство стыда, раскаяния, сожаления, показывало, что пройден был огромный этап в эволюции зверя, которому судьба назначила обратиться в человека. Тем не менее, в ушах у меня по-прежнему раздавалось «дрянная потаскуха», и я боялся, что животное состояние не замедлит вернуться. Впрочем, я очень плохо понимал, что произошло, и в этом не было ничего удивительного, так как и сам г. де Шарлюс совсем не знал, что уже несколько дней и особенно сегодня, даже до позорного эпизода, не имевшего прямого отношения к состоянию скрипача, у Мореля возобновилась неврастения. Действительно, в прошлый месяц он с большим рвением (хотя дело подвигалось гораздо медленнее, чем ему хотелось бы) принялся за обольщение племянницы Жюпьена, с которой, на правах жениха, мог выхо-

дить когда вздумается. Но он зашел чересчур уж далеко в своих покушениях на изнасилование, и когда заговорил с невестой о желании вступить в связь с другими девушками, которых она бы ему поставляла, то наткнулся на взбесившее его сопротивление. Мгновенно (оттого ли, что племянница Жюпьена была слишком целомудренна, или же, напротив, оттого, что отдалась) его желание погасло. Морель задумал порвать, но, чувствуя, что барон, несмотря на свою порочность, гораздо нравственнее его, испугался, как бы после разрыва г. де Шарлюс не указал ему на дверь. Вот почему уже две недели назад он решил не видеться больше с девушкой, предоставив г-ну де Шарлюс и Жюпьену самим распутываться (он употреблял более выразительный глагол), и до сообщения о разрыве «смыться», заметя за собой следы.

Хотя поведение Мореля с племянницей Жюпьена до малейших подробностей совпадало с тем, теорию которого он развивал барону за обедом в Сен-Мар-де-Ветю, но между теорией и практикой вышло, должно быть, большое расхождение, у Мореля появились непредвиденные в теоретическом поведении, менее жестокие чувства, смягчившие практическое его поведение и при-

давшие ему сентиментальность. Единственным ухудшением действительности по сравнению с планом Мореля было то, что план его исключал возможность оставаться в Париже после такого предательства. Теперь же, напротив, «смываться» из-за такого пустяка казалось Морелю излишней щепетильностью. Это значило покинуть барона, который, несомненно, придет в ярость, значило погубить свое положение. Он лишится всех денег, которые давал ему барон. Мысль о неминуемости таких последствий вызывала у Мореля нервные припадки, он плакал по целым часам и, чтобы отвлечься, принимал в осторожных дозах морфий. Потом его вдруг озарила мысль, которая, по-видимому, вынашивалась и зрела в уме его исподволь, — мысль, что альтернатива, выбор между разрывом и окончательной ссорой с г-ном де Шарлюс, пожалуй, не так уж неизбежны. Лишиться подачек барона было бы слишком тяжко. В течение нескольких дней Морель пребывал в нерешительности, погруженный в черные мысли, похожие на те, что возникали у него при виде Блока. Потом он пришел к заключению, что Жюпьен и его племянница пробовали завлечь его в ловушку и должны считать для себя счастьем, что так дешево отделались. В общем, он

находил, что молодая девушка повредила себе своей крайней неловкостью, неумением удержать его при помощи чувственности. Не только пожертвование положением у г-на де Шарлюс казалось Морелю нелепым, он жалел даже, что потратился на дорогие обеды, которыми угощал девушку после помолвки и стоимость которых мог бы определить с точностью, как сын лакея, каждый месяц приносившего моему дяде «книгу». А книга, в единственном числе, означающая для обыкновенных смертных напечатанное произведение, утрачивает этот смысл для высочеств и для лакеев. Для вторых она означает счетную книгу, для первых — книгу, в которой расписываются. (Когда однажды в Бальбеке принцесса Люксембургская сказала мне, что не захватила с собой книги, я собрался было предложить ей «Исландского рыбака» и «Тартарена из Тараскона», но сообразил, что она вовсе не жалуется на грозящую ей скуку, но хочет лишь сказать, что мне труднее будет расписаться в ее книге.)

Хотя Морель и переменил точку зрения на последствия своего поведения, которое показалось бы ему гнусным два месяца тому назад, когда он страстно любил племянницу Жюпьена, хотя вот уже две недели как он неустанно твердил

себе, что поведение это является натуральным, похвальным, оно все же обостряло его нервозность, в припадке которой он и решил пойти на разрыв. И он был совсем готов «обратить свой гнев» если не на девушку (я не говорю о минутной вспышке), по отношению к которой у него сохранялся остаток страха, последний след любви, то по крайней мере на барона. Он остерегся однако обратиться к нему с каким-нибудь упреком до обеда, ибо, ставя выше всего свою профессиональную виртуозность, Морель в те дни, когда ему предстояло играть трудные вещи (как сегодня вечером у Вердюренов), избегал (насколько возможно, и дневная сцена была для него уже слишком большим потрясением) всего, что могло сообщить его движениям какую-либо неровность. Так хирург, страстно увлекающийся автомобилем, перестает править, когда ему предстоит операция. Этим объяснялось, почему во время разговора со мной он тихонько перебирал пальцами, чтобы посмотреть, насколько восстановилась их гибкость. Слегка нахмурившаяся бровь как будто говорила, что в них еще есть следы нервной напряженности. Чтобы ее не увеличивать, Морель разглаживал складки на лице, вроде того, как мы стараемся не нервничать,

когда нам не удастся заснуть или спокойно овладеть женщиной, опасаясь, как бы наше нервное состояние еще больше не отдалило мгновения сна или наслаждения. Таким образом, желая восстановить душевное спокойствие, чтобы быть, как всегда, непринужденным во время предстоящей игры у Вердюренов, и желая в то же время дать мне заметить свое расстройство, Морель рассудил, что проще всего будет упросить меня ехать немедленно. Ему не пришлось упрашивать, так как расстаться с ним для меня самого было облегчением. Я очень боялся, как бы, отправляясь через несколько минут в тот же дом, Морель не попросил меня подвезти его: сегодняшняя сцена слишком живо запечатлелась у меня в памяти, чтобы не почувствовать некоторого отвращения от совместной поездки с Морелем. Очень возможно, что любовь, а потом равнодушие или ненависть Мореля по отношению к племяннице Жюпьена были искренними. К несчастью, уже не первый раз он поступал подобным образом, неожиданно бросая девушку, которой клялся в вечной любви: он доходил даже до того, что показывал заряженный револьвер, говоря, что застрелится, если смалодушничает и покинет ее. Все же он неизменно покидал девушек, ис-

пытывая при этом вместо угрызений совести какое-то озлобление. Уже не первый раз он поступал так, и наверно не последний, так что немало девушек, — не так скоро забывавших его, как он забывал их, — страдало, — как долго еще страдала племянница Жюпьена, продолжавшая любить Мореля при всем к нему презрении, — страдало, чуть не разрываясь от душевной боли, потому что у каждой из них был запечатлен в мозгу, — точно обломок греческой скульптуры, — образ лица Мореля, твердого как мрамор и прекрасного как произведение античности, с кудрявыми волосами, умными глазами, прямым носом, шишкой выступавшим на неподходящем для него черепе, такой шишкой, которую однако невозможно было удалить оперативным путем. Но с течением времени эти столь рельефные черты тускнеют и находят себе приют в таком уголке сознания, где не причиняют особенных терзаний; они больше не шевелятся; мы не чувствуем их присутствия: это забвение или равнодушное воспоминание.

От истекшего дня во мне отложилось два осадка. С одной стороны, спокойствие, принесенное мне послушанием Альбертины, давало возможность и, следовательно, наполняло решимостью порвать с ней. А с другой, — размышляя за роялем

в ожидании ее приезда, я пришел к убеждению, что Искусство, которому я собирался посвятить вновь завоеванную мной свободу, есть вещь, не стоящая жертв, не отгороженная от жизни, причастная ее тщете и ничтожеству, ибо видимость подлинной индивидуальности, достигаемой его произведениями, создается лишь технической искусностью. Если впечатления этого дня оставили во мне и другие осадки, может быть, более глубокие, то им суждено было дойти до моего сознания лишь гораздо позже. Что же касается тех двух ясно представляемых мной, то они оказались не очень долговечными: уже в этот самый вечер мои идеи об искусстве оправились от испытанного днем уничижения, но зато спокойствие, а следовательно и свобода, которая позволила бы мне посвятить себя искусству, вновь меня покинули.

Подъезжая по набережной к дому Вердюренов, я остановил фиакр, так как заметил на углу улицы Бонапарт Бришо, который сошел с трамвая, вытер башмаки старой газетой и надел перчатки gris-perle. Я подошел к нему. С некоторых пор зрение Бришо еще более ослабело, он был снабжен, — богато, как обсерватория, — новыми сильными и сложными очками, которые казались привин-

ченными к его глазам, подобно астрономическим трубам; он навел на меня их убийственный огонь и узнал меня. Очки были великолепны. Но за их стеклами я разглядел далекий, миниатюрный, тусклый, конвульсивный, умирающий взгляд, помещенный под этим мощным аппаратом, как в роскошно оборудованных лабораториях помещают под самые усовершенствованные приборы какого-нибудь плюгавенького околевающего зверька. Я предложил руку полуслепому старику, чтобы он мог идти увереннее. «На этот раз мы встречаемся не у великого Шербурга, но возле маленького Дюнкерка», — сказал он мне и очень меня смутил, так как я не понял, в чем соль этой фразы; однако я не решился спросить Бришо, боясь не столько его презрения, сколько объяснений. Я ответил, что мне очень хочется увидеть салон, где Сван когда-то каждый вечер встречался с Одеттой. «Как, вам известна эта старая история?» — удивился Бришо. «Ведь ее отделяет от смерти Свана то, что поэт справедливо называет: *Grande spatium mortalis aevi!*»

Смерть Свана в свое время очень потрясла меня. Смерть Свана! Сван играет в этой фразе роль не просто родительного падежа. Я разумею тут смерть особенную, смерть, посланную судьбой

для облегчения Свана. Ибо мы говорим упрощенно «смерть», между тем как есть почти столько же смертей, сколько людей. У нас нет чувства, позволяющего нам видеть смерти, носящиеся с разными скоростями во всех направлениях, смерти активные, направляемые судьбой к тому или иному человеку. Часто им предстоит окончательно справиться со своей задачей лишь через два-три года. Они быстро подлетают, садят рак во внутренностях какого-нибудь Свана, потом отлучаются для исполнения других дел, чтобы снова появиться после произведенной хирургами операции, когда нужно бывает посадить рак в другом месте. Потом наступает момент, когда мы читаем в «Gaulois», что здоровье Свана внушало беспокойство, но теперь он на пути к полному выздоровлению. Тогда, за несколько минут до последнего вздоха, как монашенка, ухаживающая за больным не с тем, чтобы его губить, является смерть; она присутствует при последних минутах, венчает нездешним ореолом существо, навсегда застывшее, чье сердце перестало биться. И это разнообразие смертей, тайна их извилистого пути, цвет роковой их повязки, делают такими волнующими газетные строки:

«С прискорбием сообщаем, что г. Шарль Сван

скончался вчера в Париже, в своем доме, после продолжительной и тяжкой болезни. Парижанин, обладатель всеми признанного тонкого ума, с небольшим, но изысканным кругом знакомых, он будет единодушно оплакиваем как в художественных и литературных кругах, где тонкость и безукоризненность его вкуса доставляла всем такое высокое наслаждение и всех побуждала искать его общества, так и в Жокей-Клубе, где он был одним из самых старых членов, к мнению которого наиболее прислушивались. Он принадлежал также к Объединенному и Земледельческому обществам. Незадолго перед смертью он вышел из Общества на улице Рояль. Его одухотворенные черты, а равно и выдающаяся известность неизменно возбуждали любопытство публики на каждом *great event* музыки и живописи и особенно на «вернисажах», которых он был верным посетителем до последних лет своей жизни, когда лишь очень редко выходил из дому. Похороны состоятся… и т. д».

С этой точки зрения, если умерший не знаменитость, то отсутствие видного титула еще более ускоряет разложение, вызываемое смертью. Так, герцог Юзесский живет замкнуто, и личность его ничем не замечательна. Но герцогская коро-

на удерживает некоторое время от распада его элементы, как четкие формы тех мороженых, которые так ценила Альбертина, между тем как имена ультрасветских буржуа сразу же после кончины их носителей распадаются и тают, «вынутые из формы». Мы видели, что герцогиня Германтская говорила о Картье, как о лучшем друге герцога де ла Тремуй, как о человеке, который был нарасхват в аристократических кругах. Для следующего поколения Картье стал чем-то столь бесформенным, что его почти возвеличивали, породнив с ювелиром Картье, когда как сам он наверно посмеялся бы над невежеством людей, способных так смешивать! Сван был, напротив, замечательной личностью в отношении ума и художественного вкуса; хотя он ничего не «создал», у него были однако шансы просуществовать немного дольше. И все же, дорогой Шарль Сван, которого я знал, когда был еще совсем юным, а вы стояли на краю могилы, о вас вновь начинают говорить, и вы, может быть, оживете, оттого что человек, которого вы вероятно считали дурачком, сделал вас героем одного из своих романов. Если о вас столько говорят в связи с картиной Тиссо, изображающей балкон Общества на улице Рояль, где вы стоите рядом с Галифе, Эдмондом Полинья-

ком и Сен-Морисом, то объясняется это тем, что все замечают некоторые черты сходства между вами и персонажем моего романа Сваном.

Возвращаясь к соображениям более общего характера, отмечу, что об этой предчувствуемой и однако неожиданной смерти сам Сван говорил в моем присутствии герцогине Германтской в тот вечер, когда был фестиваль у ее кузины. Она же, эта смерть, вновь поразила меня своеобразной и волнующей странностью, когда, просматривая однажды вечером газету, я наткнулся на траурное объявление, и строки его показались мне таинственными, неуместными на газетной странице. Строк этих было достаточно, чтобы превратить живого человека в нечто неспособное отвечать на задаваемые вопросы, в одно лишь имя, имя написанное, вдруг перенесшееся из реального мира в царство молчания. Эти самые строки и теперь еще вызывали у меня желание лучше познакомиться с домом, где когда-то жили Вердюрены и где Сван, который не сводился тогда к нескольким газетным буквам, так часто обедал с Одеттой. Нужно прибавить также (и от этого смерть Свана долго была для меня более мучительной, чем другая чья-нибудь смерть, хотя излагаемые мотивы не имеют никакого

отношения к индивидуальной странности *его* смерти), что я не пошел к Жильберте, как обещал Свану у принцессы Германтской, — что он так и не сообщил мне «другого основания», на которое намекнул в тот вечер, — основания, почему он посвятил именно меня в свой разговор с принцем, — и что мне приходила на память тысяча вопросов (как пузыри, поднимающиеся со дна бокала), которые я хотел задать ему о самых различных предметах: о Вермеере, о г-не де Муши, о нем самом, об одной шпалере Буше, о Комбре, — вопросов, конечно, не очень спешных, потому что я откладывал их со дня на день, но ставших в моих глазах необыкновенно важными после того, как губы Свана сомкнулись и ответ не мог уже последовать.

«Но ведь Сван — отвечал мне Бришо, — встречался со своей будущей женой не здесь, или по крайней мере эти встречи происходили здесь только в самое последнее время, после пожара, частично уничтожившего первую квартиру госпожи Вердюрен».

К несчастью, боясь привлечь внимание Бришо к своему барскому способу передвижения, казавшемуся мне неуместной роскошью, так как профессор им не пользовался, я чересчур

поспешно соскочил с экипажа, так что кучер не понял слов, брошенных ему мною наспех, чтобы успеть отойти от него, прежде чем Бришо меня заметил. Результат был тот, что кучер нагнал нас и спросил, нужно ли ему заезжать за мной; я торопливо ответил «да» и удвоил почтительность к профессору, приехавшему в омнибусе.

— «О, вы в экипаже!» сказал он мне серьезным тоном. «Бог мой, — отвечал я, — это чистейшая случайность; со мной этого никогда не бывает. Я всегда езжу в омнибусе или хожу пешком. Но эта случайность, может быть, доставит мне большую честь отвезти вас домой, если вы согласитесь ради меня сесть в мою колымагу. Вам будет немножко тесновато. Но вы так благосклонны ко мне». Увы, предлагая Бришо эту услугу, я ничуть себя не стесняю, думал я, потому что все равно мне надо будет ехать домой ради Альбертины. Ее пребывание у меня в час, когда никто не мог прийти к ней, позволяло мне так же свободно располагать своим временем, как и днем, когда, сидя за роялем, я знал, что она возвращается из Трокадеро, и не спешил вновь увидеться с ней. Но все же, как и днем, я чувствовал, что у меня есть женщина и что, вернувшись, я не испытаю укрепляющего возбуждения одиночества.

«Принимаю от всего сердца, — поблагодарил меня Бришо. — Во времена, которые вы имеете в виду, наши друзья жили на улице Монталиве; они занимали там великолепное помещение в нижнем этаже с антресолями, выходящими в сад, понятно, не такое роскошное, как отель Послов в Венеции, но я его предпочитаю».

Бришо сообщил мне, что сегодня вечером на «Набережной Конти» (так выражались верные, говоря о салоне Вердюренов, после того как они переехали туда) состоится большое музыкальное «тра-ла-ла», устраиваемое г-ном де Шарлюс. Он прибавил, что в старые времена, о которых я завел речь, ядро кружка было другое и тон иной, не только оттого, что верные были моложе. Бришо рассказал мне о фарсах Эльстира (которые называл «чистыми панталонадами»), например, о том, как однажды художник, притворившись, будто увиливает в последнюю минуту, явился переряженным в сверхштатного метрдотеля и, обнося гостей, говорил непристойности на ухо баронессе Пютбюс, очень натянутой особе, и та багровела от страха и негодования; потом, исчезнув перед концом обеда, велел внести в гостиную ванну с водой и, когда гости встали из-за стола, вылез оттуда совершенно голый,

разражаясь проклятиями. Я услышал также от старого профессора об ужинах, на которые гости являлись в бумажных костюмах, выкроенных и раскрашенных по эскизам Эльстира; костюмы эти были шедевром; сам Бришо был однажды наряжен вельможей двора Карла VII, в остроконечных башмаках, а другой раз Наполеоном I, причем большую ленту Почетного легиона Эльстир намалевал на мундире сургучом. Словом, Бришо, созерцая в памяти тогдашний салон с большими окнами и низенькими диванами, выгоревшими от солнца, так что их пришлось перебить, объявлял, что предпочитает его теперешнему. Конечно, я прекрасно понимал, что под «салоном» Бришо разумеет, — как слово церковь обозначает не только культовую постройку, но также общину верующих, — не только антресоли, но и людей, которые их посещали, своеобразные удовольствия, за которыми они приходили туда и которые запечатлелись в его памяти в форме диванов, где усаживались гости в ожидании г-жи Вердюрен, когда ее посещали днем, между тем как цветы каштанов за окнами и гвоздики в вазах на камине, как бы выражая при помощи своих приветливых розовых красок ласковую благожелательность к посетителю, пристально

следили за появлением запоздавшей хозяйки дома. Но если тогдашний салон казался Бришо выше теперешнего, то это, может быть, объяснялось тем, что наш ум подобен старому Протею, которого не способна поработить ни одна форма, так что даже в сфере светских отношений он вдруг отвергает салон, медленно и с трудом достигший совершенства, и отдает предпочтение другому, менее блестящему салону, подобно тому как «ретушированные» фотографии Одетты, изготовленные Отто, на которых Одетта была в элегантном вечернем туалете, завитая Лентериком, меньше нравились Свану, чем маленькая альбомная карточка, снятая двадцать лет назад в Ницце, где Одетта, в шерстяной пелерине, с плохо причесанными волосами, выбивавшимися из-под соломенной шляпки, украшенной анютиными глазками и черным бархатным бантом, имела вид нянюшки и казалась (женщины обыкновенно кажутся тем старее, чем к более давнему времени относятся их фотографии) на двадцать лет старше.

А, может быть, Бришо приятно было похвастать передо мной тем, чего я не знал, показать, что он знавал удовольствия, которые были мне недоступны. И Бришо успевал в этом намерении,

ибо простым упоминанием имен лиц, которых уже не было в живых и каждому из которых он сообщал нечто таинственное своей манерой о них говорить, какую-то очаровательную интимность, профессор заставлял меня задуматься над тем, какими они могли быть, я чувствовал, что все, что мне рассказывали о Вердюренах, было слишком поверхностно и грубо; я упрекал себя за то, что не проявил достаточного внимания даже к Свану, с которым был знаком, не проявил к нему достаточно объективного внимания, плохо его слушал, когда он меня занимал перед завтраком в ожидании появления жены и показывал красивые вещи, — теперь, когда я знал, что он был одним из лучших собеседников своего времени.

У самого подъезда Вердюренов я заметил плывущего к нам всем своим огромным корпусом г-на де Шарлюс; не подозревая о том, он увлекал за собой одного из тех апашей или попрошаек, которые теперь точно из-под земли вырастали при каждом его появлении на улице, даже в самых пустынных с виду уголках, и всегда эскортировали, правда, на почтительном расстоянии, как рыбки-кормчие акулу, это мощное чудовище; он так был непохож на высокомерного незнакомца эпохи моего первого пребывания в Бальбеке, сурового с

виду, с напускной мужественностью, что я точно открывал сопровождаемое спутником светило в своем ином периоде его обращения, когда мы начинаем видеть его в полном блеске, или же видел больного, совсем пораженного болезнью, которая была лишь небольшим прыщиком несколько лет назад, когда больной без труда маскировал этот прыщик и нельзя было предположить его серьезности.

Хотя операция, которой подвергся Бришо, вернула ему крохотный кусочек зрения, по его мнению, потерянного им навсегда, все же я не уверен, заметил ли он оборванца, следовавшего по пятам за бароном. Впрочем, это было не важно, ибо, со времени Распельера, присутствие г-на де Шарлюс причиняло профессору некоторое беспокойство, несмотря на его дружеские чувства к барону. Жизнь каждого человека несомненно продолжает во тьме пути, которых мы не подозреваем. Однако так часто обманывающая ложь, которой пропитаны все разговоры, менее искусно прячет неприязненные чувства, или корысть, или визит, который мы не хотим выдавать, или свидание со случайной любовницей, которое мы хотим утаить от жены, чем добрая репутация прикрывает, — так что о них ни за

что не догадаться, — дурные нравы. Они могут оставаться скрытыми всю жизнь; случайная встреча вечером, на дамбе, выдаст их; притом такая случайность часто бывает плохо понята, и надо, чтобы третье осведомленное лицо посвятило нас в тайну, никому не известную. Но узнав, в чем дело, мы пугаемся, потому что ощущаем соприкосновение не столько с безнравственностью, сколько с безумием. Нравственное чувство у г-жи де Сюржи было развито крайне слабо, и она отнеслась бы снисходительно к самым низким и корыстным поступкам своих сыновей, лишь бы мотивы их были всякому понятны. Но она запретила им продолжать знакомство с г-ном де Шарлюс, узнав, что при каждом визите барон, наподобие часов с репетицией, фатально щиплет мальчиков за подбородок и заставляет их щипать друг друга. Она испытала чувство физической тревоги, побуждающее нас задаться вопросом, не заложены ли в нашем добром знакомом инстинкты людоеда, и на настойчивые вопросы барона: «Вы разрешите мне вскоре снова увидеться с молодыми людьми?» — отвечала, зная, какие громы навлечет на себя, что они очень заняты уроками, готовятся к поездке и т. д. Невменяемость отягчает поступки и даже преступления, что бы там

ни говорили. Ландрю (если предположить, что он действительно убивал своих жен), действующий по корыстным побуждениям, с которыми можно бороться, может быть помилован, но его ждет безусловное осуждение, если им руководил непреодолимый садизм.

Грубые шутки Бришо в начале знакомства с бароном уступили место заслонившему веселость тяжелому чувству, когда профессора перестало занимать высказывание банальностей и он захотел все осмыслить. Он себя успокаивал декламацией страниц из Платона, стихов Вергилия, потому что, страдая также и умственной слепотой, не понимал, что в те времена любить молодого человека было все равно, что теперь (шутки Сократа выдают это лучше, чем теории Платона) содержать перед женитьбой танцовщицу. Этого не понял бы и сам г. де Шарлюс, смешивавший свою манию с дружбой, ни в чем на нее не похожей, и атлетов Праксителя с послушными боксерами. Он упускал из виду, что за тысячу девятьсот лет («набожный царедворец набожного государя был бы безбожником при государе-безбожнике», сказал Лабрюйер) всякий бытовой гомосексуализм, — как юношей Платона, так и пастухов Вергилия, — исчез, а уцелел и множится только

гомосексуализм непроизвольный, нервный, который от всех таится и всегда носит маску. Г. де Шарлюс поступил бы гораздо честнее, отвергнув языческую генеалогию. Поступившись крупицей пластической красоты, какое приобрел бы он нравственное превосходство! Пастух Феокрита, вздыхающий по каком-нибудь мальчике, потеряет впоследствии всякое право считать себя обладателем более тонких чувств и более острого ума, чем другой пастух, свирель которого тоскует по Амарилиде. Ведь этот пастух не поражен болезнью, он просто следует моде своего времени. Лишь гомосексуализм, выживший несмотря на препятствия, позорный, заклейменный, является истинным, лишь с ним может быть сопряжено утончение душевных качеств. Нас повергает в трепет связь, существующая между свойствами души и физическим устройством тела, когда мы подумаем, что небольшое смещение чисто физической склонности, легкое искривление одного из чувств объясняют, почему вселенная поэтов и музыкантов, наглухо закрытая для герцога Германтского, приоткрывается для г-на де Шарлюс, Существование у последнего вкусов, свойственных мелочной домохозяйке, нас не удивляет; удивителен в нем просвет, позволяю-

щий воспринимать Бетховена и Веронезе! Людей здоровых это не избавляет от страха, когда умалишенный автор бесподобной поэмы, объяснив им при помощи самых разумных рассуждений, что он лишен свободы по ошибке, по злобным происка жены, умоляет заступиться за него перед директором убежища, жалуется на невозможное общество, которое ему навязывают, и говорит в заключение: «Посудите, человек, который подойдет ко мне разговаривать на прогулке, с которым я вынужден общаться, считает, что он Иисус Христос. Одного этого достаточно для доказательства, с какими душевнобольными меня заключили; он не может быть Иисусом Христом, потому что Иисус Христос — это я!» За несколько мгновений перед этим мы готовы были заявить врачу-психиатру о допущенной ошибке. Но при последних словах мы, даже вспомнив изумительную поэму, над которой ежедневно работает этот человек, уходим прочь, как уходили от г-на де Шарлюс сыновья г-жи де Сюржи, не потому что он причинял им какое-либо зло, но вследствие роскошных посулов, расточаемых только для того, чтобы ущипнуть мальчиков за подбородок. Достоин жалости поэт (особенно если его не ведет никакой Вергилий), который должен пройти все

круги ада из серы и горящей смолы, броситься в падающий с неба огонь, чтобы вывести оттуда нескольких обитателей Содома! Произведение его лишено всякой прелести; жизнь его исполнена такой же суровости, как жизнь тех расстриг, что соблюдают строжайшее целомудрие, только бы никто их не упрекнул в том, что они сняли рясу не вследствие утраты веры, а по каким-нибудь другим причинам.

Притворяясь, будто он не замечает шагавшего за ним подозрительного субъекта (когда барон отваживался появиться на бульварах или проходил по обширному вестибюлю вокзала Сен-Лазар, такие субъекты увивались за ним дюжинами в надежде на пятифранковую монету и не упускали из рук), и из страха, как бы тот не набрался дерзости с ним заговорить, барон опустил с видом святоши начерненные ресницы, которые, контрастно выделяясь над напудренными щеками, уподобляли его великому инквизитору в изображении Эль Греко. Но этот священнослужитель внушал страх и имел вид священника, которому запрещено отправление богослужения, ибо различные компрометирующие поступки, к которым его принуждала необходимость придать благовидную форму своим наклонностям

и охранить их тайну, в результате привели к появлению на лице его как раз того выражения, которое барон пытался скрыть, — выражение беспутной жизни, нравственного падения. А последнее, какова бы ни была его причина, всегда легко прочитать, ибо оно очень скоро материализуется и утверждается на лице, особенно на щеках и вокруг глаз, столь же вещественно, как накопляются желтые пятна при болезни печени или отвратительная краснота при болезни кожи. Впрочем, не только на щеках, вернее, на отвислых щеках, этого намазанного лица, на мясистой груди и на толстых бедрах этого запущенного и заплывшего жиром тела разливался теперь, точно наведенный маслом, порок, некогда так глубоко загонявшийся г-ном де Шарлюс в тайники своего существа. Он выпирал теперь также и из речей барона.

— «Эге, Бришо, вы гуляете ночью с красивым молодым человеком, — сказал он, подходя к нам, между тем как обманувшийся в своих ожиданиях проходимец ретировался. — Вот так славно! Смотрите, вашим юным ученикам в Сорбонне передадут, что вы перестали быть серьезным. Впрочем, общество молодежи вам идет на пользу, господин профессор, вы свежи, как только что

распустившаяся роза. Я вам помешал, вы, видно, веселились как две глупенькие девчонки и не нуждались в старой скучной бабушке, вроде меня. Я не пойду ради этого на исповедь, потому что вы уже почти у дверей». — Барон был в тем более веселом расположении, что ему осталась неизвестной разыгравшаяся сегодня днем сцена: Жюпьен счел более целесообразным оказать защиту своей племяннице в случае повторных оскорблений, чем идти жаловаться к г-ну де Шарлюс. Таким образом, последний по-прежнему уверен был в браке и очень ему радовался. Можно подумать, что подобного рода отшельникам приятно бывает скрашивать трагическое свое безбрачие фиктивным отцовством. — «Честное слово, Бришо, — продолжал барон, со смехом оборачиваясь к нам, — я испытываю тревоги совести, видя вас в таком галантном обществе. Вы имели вид двух влюбленных. Шли под ручку, — право, Бришо, вы позволяете себе большие вольности!»

Следовало ли видеть причину подобных слов в наступлении старости, в том, что мышление, перестав с прежней уверенностью управлять своими рефлексами, выдает в минуты автоматизма тайну, столь тщательно оберегавшуюся в течение сорока лет? Или же она заключалась в

том презрении к мнению разночинцев, которым в сущности проникнуты были все Германты и которое брат г-на де Шарлюс, герцог, выражал в другой форме, когда, совершенно не считаясь с тем, что его может увидеть моя мать, брился у окна в открытой ночной рубашке? А может быть, г. де Шарлюс выработал во время переездов в жару из Донсьера в Довиль опасную привычку располагаться непринужденно и, сдвигая на затылок соломенную шляпу, чтобы освежить свой огромный лоб, снимать, первоначально лишь на несколько мгновений, маску, которой он в течение такого долгого времени старательно закрывал свое подлинное лицо? Супружеские манеры г-на де Шарлюс в обращении с Морелем вызвали бы удивление у каждого, кому они стали бы известны. Но однообразие удовольствий, предоставляемых его пороком, прискучило под конец г-ну де Шарлюс.

Он инстинктивно начал искать новых развлечений, и, пресытившись случайно встреченными незнакомцами, вдался в противоположную крайность, стал подражать тому, что прежде считал самой ненавистной вещью на свете, — «брачному сожительству», или «отцовству». Порой даже это его больше не удовлетворяло, ему требовалось

что-нибудь новое, он отправлялся провести ночь с женщиной, вроде того как нормальный мужчина может пожелать раз в жизни отношений с мальчиком в силу такого же извращенного и в обоих случаях одинаково нездорового любопытства. Поступление барона в число «верных», перемещение им, ради Шарли, всей своей жизни в «маленький клан», подействовало так же разрушительно на его многолетние усилия сохранять обманчивую внешность, как научное путешествие или долгое пребывание в колониях действует на иных европейцев, утрачивающих там правила, которыми они руководились во Франции. Однако внутренний переворот, случившийся с человеком, который сначала не подозревал о том, какую он носит в себе аномалию, потом пришел от нее в ужас, когда она ему стала известна, и наконец настолько с ней свыкся, что перестал понимать недопустимость безопасного посвящения других в такие вещи, в которых он в заключение без стыда стал признаваться самому себе, — этот внутренний переворот еще радикальнее вытравил в г-не де Шарлюс последние остатки сдержанности, чем время, проведенное им у Вердюренов. В самом деле, никакая ссылка на Южный полюс или на вершину

Монблана не в состоянии так удалить нас от других людей, как продолжительное пребывание в лоне какого-нибудь внутреннего порока, то есть в системе мыслей, отличной от общепринятой. Порока (так г. де Шарлюс определял когда-то свои особенности), которому барон приписывал теперь безобидные черты простого недостатка, весьма распространенного, скорее симпатичного и почти забавного, вроде лени, рассеянности или чревоугодия. Чувствуя, что особенности его характера возбуждают любопытство, г. де Шарлюс не без удовольствия его удовлетворял, подстрекал, поддерживал. Подобно тому, как публицист еврей выступает ежедневно поборником католицизма не с тем, надо полагать, чтобы его приняли всерьез, а чтобы не обмануть ожидания доброжелательных к нему насмешников, г. де Шарлюс в шутку бичевал в маленьком клане дурные нравы, как он стал бы передразнивать английскую речь или имитировать Мюне-Сюлли, не дожидаясь, чтобы его упрашивали, а сам внося с готовностью свою лепту, развлекая общество своими талантами любителя; таким образом, г. де Шарлюс грозил Бришо объявить в Сорбонне о его прогулках с молодыми людьми точь-в-точь так, как хроникер-обрезанец говорит по всякому

поводу о «старшей дочери церкви» и о «священном сердце Иисуса», то есть без тени ханжества, а с некоторой дозой комедиантства.

Любопытно было бы поискать объяснения не только перемены речей, столь отличных теперь от тех, которые барон позволял себе когда-то, но также перемены интонаций и жестов, которые теперь как две капли воды похожи были на то, что г. де Шарлюс некогда с такой беспощадностью бичевал; теперь он непроизвольно издавал почти такие же возгласы (от непроизвольности они у него выходили тем более глубокими), какие произвольно бросают люди с извращенными вкусами, которые называют друг друга: «моя дорогая»; можно было подумать, что эти льстивные ласкательные слова, которых так долго чурался г. де Шарлюс, употребляя в разговоре прямо противоположные им выражения, в действительности являются лишь гениальным и верным подражанием манерам, которые усваивают, как бы они на них ни ополчались, господа Шарлюсы, когда они вступили в определенную фазу развития своей болезни, вроде того как у паралитиков или людей с некоординированными движениями фатально проявляются по достижении известного возраста симптомы их болезни. В действительно-

сти, — это и выдавали сидевшие глубоко внутри у него ласкательные слова, — между тем суровым Шарлюсом, одетым во все черное и остриженным под гребенку, с которым я был знаком, и намазанными молодыми людьми, увешанными драгоценностями, существовало лишь то чисто внешнее различие, какое существует между беспокойным субъектом, сыплющим слова скороговоркой и все время находящимся в движении, и невропатом, который говорит медленно и постоянно бывает флегматичен, но поражен такой же неврастенией в глазах клинициста, знающего, что обоих больных снедают одни и те же тревога и оба они поражены одними и теми же физическими пороками.

Впрочем, то, что г. де Шарлюс постарел, видно было также и по другим признакам, например, по частому повторению в его разговоре некоторых выражений, чрезвычайно размножившихся и каждую минуту срывавшихся у него с языка (например: «сцепление обстоятельств»), выражений, на которые слова барона опирались в каждой фразе, как на костыли. «Вы не знаете, приехал уже Шарли?» — спросил г-на де Шарлюс Бришо, когда мы завидели двери особняка. «Право, не знаю», — отвечал барон, поднимая

руки и полузакрывая глаза с видом человека, не желающего, чтобы его обвинили в нескромности, тем более, что ему, вероятно, приходилось выслушивать упреки Мореля за вещи, которые он говорил и которые скрипач, соединяя в себе тщеславие с трусостью и отрекаясь от г-на де Шарлюс так же охотно, как он им кичился, считал компрометирующими, хотя на самом деле они не имели никакого значения. «Вы знаете, мне ничего не известно о том, что он делает». Если разговоры двух лиц, находящихся между собой в связи, полны лжи, то такая же ложь не менее непринужденно срывается с языка в разговорах третьего лица с любовником о любимой им особе, все равно какого пола.

— «А давно вы его видели?» — спросил я г-на де Шарлюс, чтобы создать впечатление, будто, во-первых, я не боюсь с ним разговаривать о Мореле, а, во-вторых, не верю, что тот живет с ним. «Он приходил случайно на пять минут сегодня утром, когда я был еще полусонный, присел на моей кровати, точно желая меня изнасиловать». Я тотчас подумал, что г. де Шарлюс виделся с Шарли всего час тому назад, потому что если вы спрашиваете у любовницы, завтракала ли она с вашим знакомым, встретившись с ним, — и если

у нее притом есть основания предполагать, что вы считаете этого знакомого ее любовником, — она отвечает: «Я с ним встретилась перед самым завтраком». Единственная разница между этими двумя фактами та, что один из них выдуманный, а другой истинный, но выдуманный столь же невинен или, если угодно, столь же преступен. Таким образом, нам было бы непонятно, почему любовница (в данном случае г. де Шарлюс) всегда предпочитает выдумку, если бы мы не знали, что ответы определяются помимо воли того, кто их дает, множеством факторов, находящимся в таком несоответствии с ничтожностью самого факта, что мы почитаем себя вправе с ним не считаться. Но для физика место, занимаемое самым маленьким шариком из бузины, определяется борьбой или равновесием сил, действующих по тем же самым законам притяжения и отталкивания, которые управляют мирами гораздо более значительными. Упомянем здесь мимоходом желание казаться непринужденным и смелым, инстинктивный жест, направленный к сокрытию тайного свидания, смесь стыдливости и хвастовства, потребность признаться в том, что так для вас приятно, и показать, что вы любимы, проникновение в то, что знает или предпола-

гает — но не высказывает — ваш собеседник, проникновение, которое, превосходя его проницательность или ей уступая, склоняет вас то к ее переоценке, то к недооценке, невольное желание играть с огнем и предоставить на его волю то, чего отстоять нельзя. Такое же количество других законов, действующих в противоположном смысле, диктует более общие ответы относительно невинности, «платонизма» или, напротив, плотского характера отношений с особой, когда мы говорим, что видели ее утром, тогда как на самом деле наше свидание с ней происходило вечером. Во всяком случае, скажем в более общей форме, что, несмотря на обострение болезни, побуждавшей его непрестанно разоблачать компрометирующие подробности, намекать на них, а иногда попросту их выдумывать, г. де Шарлюс старался в течение этого периода своей жизни утверждать, будто Шарли человек другого типа, чем он, Шарлюс, и между ними будто бы существуют только дружеские отношения. Это ему не мешало (хотя, может быть, это была правда) порою себе противоречить (например, называя час, когда он его видел в последний раз), оттого ли, что он забывал тогда истину, или же, говоря неправду, хотел хвастнуть, сентиментальничал,

а то так находил остроумным сбить с толку собеседника.

«Вы знаете, — продолжал барон, — он мой славный маленький товарищ, к которому я чувствую величайшую привязанность, как, я уверен (сомневался ли он в этом, испытывая потребность говорить, что он в этом уверен?), и он ее ко мне чувствует, но ничего другого между нами нет, ничего такого, вы меня понимаете, ничего такого, — сказал барон так просто, как если бы говорил о женщине. — Да, он приходил сегодня утром стащить меня с постели за ноги. Однако он знает, что я терпеть не могу, чтобы меня видели в постели. А вы? О, это ужас, это стесняет, это безобразно до жути, я ведь отлично знаю, что мне не двадцать пять лет и не разыгрываю непорочной девушки, а все-таки у каждого есть свое маленькое кокетство».

Очень возможно, что барон говорил искренно, отзываясь о Мореле, как о славном маленьком товарище, и в словах его было больше правды, чем он сам думал, когда он говорил: «Я не знаю, что он делает, жизнь его мне неизвестна».

Действительно, оговоримся (прервав на несколько минут нашу повесть, которую возобновим сейчас же после этого отступления,

оно начинается, когда г. де Шарлюс, Бришо и я подходили к дому г-жи Вердюрен), оговоримся, что незадолго до этого вечера барон повержен был в горестное изумление одним адресованным Морелю письмом, которое он вскрыл по ошибке. Письмо это, которому косвенным образом суждено было причинить мне жестокие страдания, было прислано актрисой Лией, славившейся своим исключительным влечением к женщинам. Между тем письмо ее к Морелю (г. де Шарлюс не подозревал даже, что Морель с ней знаком) написано было самым пылким тоном. Грубость выражений этого письма не позволяет мне его воспроизвести, отмечу только, что Лия все время обращалась к скрипачу в женском роде, говоря: «у, мерзавка!», «милочка моя очаровательная, ты по крайней мере нашей породы», и т. п. Там упоминались еще некоторые женщины, по-видимому, одинаково близкие как Морелю, так и Лии. С другой стороны, насмешки Мореля над г-ном де Шарлюс и насмешки Лии над содержавшим ее офицером, о котором она говорила: «Он меня упрашивает в своих письмах быть паинькой! Представляешь себе, моя беленькая кошечка?» — открывали г-ну де Шарлюс нечто столь же для него неожиданное, как и своеобраз-

ные отношения между Морелем и Лией. Барон в особенности встревожен был словами «нашей породы». Находясь сначала на этот счет в неведении, он довольно давно уже узнал, что сам он «особенной породы». И вот, приобретенное им знание оказывалось теперь под вопросом. Когда барон обнаружил, что он «особенной породы», он отсюда заключил, что женщины, как говорит Сен-Симон, не в его вкусе. Между тем, для Мореля выражение «быть особенной породы» приобретало более широкий смысл, которого г. де Шарлюс не знал, настолько широкий, что, как оказывалось из этого письма, Морель был «особенной породы», имея к женщинам такой же вкус, как и женщины. С тех пор ревность г-на де Шарлюс не имела более оснований ограничиваться знакомыми с Морелем мужчинами, она начала простираться и на женщин. Таким образом, существами особенной породы были не только те, что он думал, но огромная часть нашей планеты, составленная как из женщин, так и из мужчин, любящих не только мужчин, но и женщин, и барон, поставленный перед новым значением столь хорошо ему знакомого слова, почувствовал мучительное беспокойство, которым охвачены были как ум его, так и серд-

це, — беспокойство, рожденное двойной тайной, заключавшей в себе одновременно обострение ревности и внезапную неудовлетворительность привычного определения.

Г. де Шарлюс всегда был в жизни только любителем. Это значит, что происшествия подобного рода не могли принести ему никакой пользы. После тяжелых впечатлений, которое они в нем оставляли, он отводил душу в бурных сценах, во время которых умел быть красноречивым; или в интригах исподтишка. Но для человека такой проницательности, как, например, Бергот, они могли бы быть драгоценны. Этим, может быть, и объясняется отчасти (мы действуем хотя и вслепую, но умеем все же выбирать, подобно животным, растение, которое для нас благотворно), почему такие люди, как Бергот, живут обыкновенно в обществе женщин серењких, двоедушных и злых. Красоты последних достаточно, чтобы воспламенить воображение писателя, пробудить в нем доброту, но она не способна изменить сколько-нибудь природу его спутницы, жизнь которой, протекающая где-то глубоко внизу, ее неправдоподобные знакомства, ложь, доведенная до невероятных размеров и направленная в совершенно неожиданную сторону, время от вре-

мени открываются ему во внезапных озарениях.

Ложь, ложь артистическая, относительно знакомых нам людей, относительно сношений, которые у нас с ними были, относительно побуждений, которыми мы руководились в таком-то поступке, излагая их совсем иначе, ложь относительно того, кто мы такие, что мы любим, что испытываем в отношении существа, которое нас любит и считает нас образованными по своему подобию, потому что оно обнимает нас и целует с утра до вечера, — ложь эта является почти единственной вещью на свете, способной открыть нам вид на новое, на неведомое, способной пробудить в нас уснувшие чувства для созерцания вселенной, которой иначе мы никогда бы не узнали. В отношении г-на де Шарлюс надо сказать, что хотя барон был ошеломлен, узнав о Мореле вещи, которые тот тщательно от него скрывал, все-таки он не прав был, заключив отсюда, что не следует вообще связываться с людьми из народа. Читатель увидит в последнем томе этого произведения, как сам г. де Шарлюс проделывал вещи, которые привели бы в еще большее изумление его родных и друзей, чем могла привести его самого жизнь, разоблаченная Лией. (Самым неприятным для него разоблачением была поезд-

ка Мореля с Лией, тогда как скрипач уверял г-на де Шарлюс, будто провел это время за изучением музыки в Германии. Чтобы сделать ложь свою более правдоподобной, он воспользовался услугами доброжелателей, которым отправлял письма в Германию, и те пересылали их обратно г-ну де Шарлюс, — предосторожность излишняя, так как последний настолько уверен был в пребывании Мореля за границей, что даже ни разу не заглянул на почтовый штемпель.) Пора однако догнать барона, который подходил с Бришо и со мной к дверям дома Вердюренов.

— «А что сталось, — продолжал он, обращаясь ко мне, — с вашим молодым приятелем-евреем, которого мы видели в Довиле? Я подумал, что если это вам доставит удовольствие, то его можно было бы, пожалуй, пригласить как-нибудь вечером». Надо сказать, что, бесцеремонно устроив шпионаж за Морелем посредством одного полицейского агентства, точь-в-точь как это делает муж или любовник, г. де Шарлюс продолжал уделять внимание другим молодым людям. Наблюдение над поведением Мореля, которое он поручил организовать через агентство одному старому слуге, было настолько бесцеремонным, что все лакеи считали, будто за ними устроена

слежка, и одна горничная совсем перепугалась и не решалась больше выходить на улицу, будучи уверена, что каждый раз за ней по пятам идет полицейский. «Она может спокойно делать все, что пожелает! Как будто ее поведение нам сколько-нибудь интересно!» — восклицал иронически старый слуга, беззаветно преданный своему господину; нисколько не разделяя вкусов барона, слуга этот с таким горячим усердием их обслуживал, что в заключение стал говорить о них, как о своих собственных. «Золото, а не человек», — говорил об этом старом служителе г. де Шарлюс, потому что никого мы так не ценим, как тех людей, которые с великими своими достоинствами соединяют способность безоговорочно их предоставлять к услугам наших пороков. Впрочем, г. де Шарлюс способен был ревновать Мореля только к мужчинам. Женщины ему не внушали никаких подозрений.

Таково, впрочем, почти всеобщее правило в отношении господ Шарлюсов. Любовь мужчины, которого они любят, к женщине есть нечто иное, с их точки зрения, нечто происходящее в другом животном виде (лев оставляет в покое тигров), она их не тревожит, а скорее успокаивает. Некоторым, правда, тем, кто обращает свою

извращенность в жречество, любовь эта противна. Они ставят тогда в вину своему другу, который ей отдается, не измену, а падение. Какой-нибудь Шарлюс, — не барон, а другой, — возмутился бы связью Мореля с женщиной совершенно так же, как он возмутился бы, прочтя на афише, что скрипач, великолепный исполнитель Баха и Генделя, собирается играть Пуччини. Именно по этой причине молодые люди, по корыстным мотивам отвечающие согласием на предложения Шарлюсов, уверяют их, будто женщины внушают им отвращение, вроде того, как они сказали бы врачу, что в рот не берут спиртного и любят только ключевую воду. Но г. де Шарлюс в этом пункте немного отклонялся от общего правила. Все пленяло его в Мореле, успехи юного скрипача у женщин не тревожили барона, а, напротив, радовали не меньше, чем его концертные успехи или выигрыши в карты. «Вы знаете, дорогой мой, это покоритель женщин, — говорил он с таким видом, точно делает скандальное разоблачение, может быть, с завистью и, во всяком случае, с восхищением. — Он бесподобен, — продолжал барон. — Самые модные кокотки глаз с него не спускают. Его замечают повсюду, и в метро, и в театре. Это несносно! Я не могу пойти с ним в

ресторан без того, чтоб официант не принес ему любовных записок по крайней мере от трех женщин. Притом всегда от хорошеньких. Впрочем, чему же тут удивляться? Мне это понятно, вчера я смотрел на него, он стал красавцем, у него тип Бронзино, положительно, он прелестен». Г. де Шарлюс любил показать, что он любит Мореля, и убедить других, а может быть, и самого себя, что он им любим.

Постоянное присутствие Мореля (несмотря на то, что этот незначительный молодой человек мог причинить серьезный вред положению барона в свете) льстило его самолюбию. Ибо (как это часто случается с людьми солидными и со снобами, которые из тщеславия порывают все свои знакомства, чтобы их везде видели с любовницей, дамой полусвета или с подмоченной репутацией, которой нигде не принимают, но связь с которой им кажется лестной) он дошел до той точки, когда самолюбие изо всех сил старается погубить все, что им было достигнуто, оттого ли, что под влиянием любви мы находим нам одним доступное обаяние в рисовке связью с любимой женщиной, или же оттого, что благодаря упадку интереса к достигнутым в свете успехам и приливу любопытства к тому, что делается в

людских, любопытства тем более захватывающего, чем оно платоничнее, последнее не только достигает уровня, на котором с трудом удерживалась всякая иная любознательность, но даже его превосходит.

Что же касается других молодых людей, то г. де Шарлюс находил, что существование Мореля не препятствовало ему увлекаться ими и даже что громкое имя скрипача и растущая его известность как композитора и журналиста могли бы в некоторых случаях служить для них приманкой. Если барону представляли молодого композитора приятной наружности, он искал случая оказать ему услугу при помощи талантов Мореля. «Непременно принесите мне ваши вещи, — говорил он ему, — я попрошу Мореля сыграть их в концерте или в заграничном турне. Для скрипки написано так мало приятной музыки. Он рад будет получить что-нибудь новенькое. И иностранцы очень это ценят. Даже в провинции есть маленькие музыкальные кружки, где горячо любят и удивительно тонко понимают музыку».

С такой же искренностью (весьма относительной, потому что все это служило лишь приманкой, и Морель редко соглашался предоставить себя к услугам барона), вспомнив, как Блок при-

знавался, что он немного поэт, «в положенные часы», прибавлял мой приятель с саркастическим смехом, которым сопровождал какую-нибудь банальность, когда не мог придумать ничего оригинального, — с такой же искренностью г. де Шарлюс сказал мне: «Так скажите этому юному израильтянину, который, кажется, пишет стихи, чтобы он непременно мне их принес для Мореля. Ведь композитору ужасно трудно найти что-нибудь подходящее для переложения на музыку. Можно бы было даже подумать о либретто. Это было бы не безынтересно и приобрело бы некоторое значение благодаря достоинствам поэта, моей протекции и вообще весьма благоприятному сцеплению обстоятельств, среди которых на первом месте стоит талант Мореля, так как в настоящее время он много сочиняет, а также пишет, и очень мило, я еще буду говорить вам об этом. Что же касается его исполнительского таланта (в этом отношении, вы знаете, он уже совершенно законченный мастер), то вы увидите сегодня же вечером, как хорошо этот парнишка играет Вентейля; он меня ошеломляет; в его годы обладать подобной понятливостью, оставаясь совсем мальчишкой, совсем школьником! О, сегодня вечером будет только маленькая репе-

тиция. Парадное представление состоится через несколько дней. Но сегодня будет гораздо элегантнее. Поэтому мы чрезвычайно рады, что вы пожаловали, — сказал он, употребляя это «мы» должно быть потому, что король говорит: мы желаем. — По причине великолепной программы я посоветовал госпоже Вердюрен устроить два вечера. Один через несколько дней, на который она соберет всех своих знакомых, а другой сегодня, когда наша хозяйка уступает свои права мне. Я разослал приглашения и позвал несколько лиц из другого круга, они могут быть полезны Шарли, и Вердюренам приятно будет с ними познакомиться. Ведь, не правда ли, очень хорошо давать прекрасные вещи в исполнении первоклассных артистов, но весь эффект теряется, звуки падают точно в вату, если публика состоит из мелочной торговки напротив и лавочника с угла. Вы знаете мое мнение об умственном уровне светских людей, но они способны играть некоторые довольно важные роли, между прочим, роль, исполняемую по отношению к общественным событиям прессой: служить органом разглашения. Вы понимаете, что я хочу сказать; я пригласил, например, мою невестку Ориану; я не уверен, придет ли она, но зато уверен, что если придет, то

не поймет решительно ничего. Но никто от нее и не требует, чтобы она понимала, это выше ее сил, надо только, чтобы она говорила, а к этому она приспособлена изумительно и тут уж маху не даст. Следствие: с завтрашнего дня, вместо молчания торговки и лавочника, оживленный разговор у Мортемаров, Ориана рассказывает, что она слышала удивительные вещи, что некий Морель и т. д., неописуемое бешенство лиц неприглашенных, которые будут говорить: «Паламед, очевидно, решил, что мы недостойны; впрочем, что это за люди, у которых это происходило», — мнение противоположное, столь же полезное, как и похвалы Орианы, потому что имя Мореля поминутно повторяется и в конце концов запечатлевается в памяти, как урок, перечитанный десять раз подряд. Все это образует сцепление обстоятельств, могущее оказаться очень ценным для артиста, для хозяйки дома, послужить своего рода рупором для концерта, который станет доступен таким образом самым широким кругам слушателей. А это, право, стоит труда; вы увидите успехи, сделанные Шарли. Вдобавок, у него открылся новый талант, дорогой мой, он пишет как ангел. Как ангел, говорю вам».

Г. де Шарлюс позабыл сказать, что уже доволь-

но давно он стал поручать Морелю, подобно вельможам XVII века, гнушавшимся подписывать и даже писать свои пасквили, составление маленьких, грубо клеветнических газетных заметок, направленных против графини Моле. Если они казались наглыми даже рядовому читателю, то как же больно должна была воспринимать их эта молодая женщина, находя искусно вставленные в текст, ни для кого, кроме нее, не видные отрывки из ее писем, которые приводились дословно, но взяты были в таком смысле, что могли свести ее с ума как жесточайшая месть. Молодая женщина от этого умерла. Но каждый день в Париже выходит, сказал бы Бальзак, что-то вроде устной газеты, которая еще страшнее печатной. В дальнейшем читатель увидит, что эта устная газета сокрушила могущество вышедшего из моды Шарлюса и высоко над ним вознесла Мореля, который не стоил миллионной части своего бывшего покровителя. Наивна ли по крайней мере эта интеллектуальная мода и взаправду ли она верит в ничтожество гениального Шарлюса и в неоспоримый авторитет глупца Мореля? Барон был не так простодушен в своем неумолимом мщении. Речь его часто дышала злобным ядом, от разлития которого желтели щеки барона,

когда он бывал в гневе. «Вы были знакомы с Берготом, — продолжал г. де Шарлюс, — и я подумал, что вы могли бы, пожалуй, оказать мне содействие, освежив в его памяти прозу нашего юнца, могли бы помочь мне в моем покровительстве двойному таланту, музыкальному и литературному, который со временем приобретет, может быть, авторитет Берлиоза. Вы знаете, знаменитостям часто некогда об этом подумать, они окружены лестью и интересуются только самими собой. Но Бергот человек подлинно простой и услужливый, и он мне обещал устроить в «Gaulois» или в какой-то другой газете маленькую хронику моего друга, полуюмористическую, полумузыкальную, которая выходит теперь у него так мило, — я, право, очень доволен, что к своей скрипке Шарли прибавляет крошечку этих упражнений, напоминающих мазки Энгра. Понятно, я легко преувеличиваю, когда речь идет о нем, как все старые маменьки из консерватории, балующие своих детей. Как, дорогой мой, вы этого не знали? Это оттого, что вам неизвестны мои качества гурмана. Я часами простаиваю у дверей экзаменационных жюри. Я развлекаюсь как королева. Что же касается прозы Шарли, то Бергот меня уверял, что она действительно очень

хороша».

Г. де Шарлюс, давно уже познакомившийся с Берготом через Свана, действительно навестил больного писателя за несколько дней до его смерти и просил порекомендовать Мореля в одной газете, чтобы тот вел там нечто вроде полуюмористической хроники на музыкальные темы. Собираясь с этим визитом, г. де Шарлюс чувствовал некоторое угрызение совести, потому что, несмотря на свое преклонение перед Берготом, никогда не ходил к нему ради него самого, а только для того, чтобы попросить об услуге Морелю или кому-нибудь другому из своих друзей, в уверенности, что Бергот, высоко ценивший ум барона и его положение в свете, ему не откажет. Если он обращался к светским людям только за такого рода услугами, это не шокировало г-на де Шарлюс, но вести себя подобным же образом по отношению к Берготу показалось ему свинством, так как он чувствовал, что Бергот не такой утилитарист, как светские люди, и заслуживает лучшего обращения. Но барон был очень занят и умел находить время, только когда ему очень чего-нибудь хотелось, хотелось, например, услужить Морелю. Больше того, сам человек умный, он был глубоко равнодушен к разговорам с ум-

ными людьми, в особенности к разговорам с Берготом, который был на его вкус чересчур литературен и другого клана, барону чужда была его точка зрения на вещи. Что же касается Бергота, то от него не укрылся утилитарный характер визитов г-на де Шарлюс, но он не обиделся, потому что никогда в жизни не способен был на доброту последовательную, но любил делать приятное, был понятлив и не находил удовольствия в чтении нотаций. Порока г-на де Шарлюс он не разделял ни в малейшей степени, но видел в нем нечто красочное, его, как художника, привлекали не нравственные примеры, а воспоминания о Платоне и Содоме.

«Но где же вы пропадаете, прекрасная молодежь, вас что-то не видно на набережной Конти. Вы не злоупотребляете посещениями этого дома!» Я сказал, что выхожу главным образом со своей кузиной. «Вы слышали? Он выходит с кузиной, как это благонравно!» — сказал г. де Шарлюс Бришо. Потом он обратился снова ко мне: «Да мы у вас не требуем отчета о том, что вы делаете, дитя мое. Вы вольны делать все, что вас развлекает. Нам жаль только, что мы не принимаем участия в ваших развлечениях. Впрочем, у вас прекрасный вкус, она прелестна, ваша кузина, спросите

у Бришо, он только и говорил о ней в Довиле. Все будут жалеть об ее отсутствии. Но, может быть, вы хорошо сделали, не взяв ее с собой. Музыка Вентейля восхитительна. Но мне передавали, что на сегодняшнем вечере обещала быть дочь автора со своей приятельницей, две особы, которые пользуются ужасной репутацией. А для молодой девушки такие гостьи всегда неприятны. Они будут сегодня, разве только девицам этим помешает то, что они непременно должны были присутствовать днем на репетиции, которую устраивала госпожа Вердюрен специально для скучных людей, для родственников, для тех, кого не будет вечером. Однако перед самым обедом Шарли нам сказал, что эти особы, которых мы называем девицами Вентейль, не пришли, хотя их все ждали».

Несмотря на жестокую боль, которую я ощутил, сопоставив вдруг уже известное мне следствие с наконец открытой причиной, желание Альбертины пойти на вечер к Вердюренам с обещанным присутствием (о чем я однако ничего не знал) на этом вечере мадемуазель Вентейль и ее приятельницы, я сохранил все же достаточно присутствия духа, чтобы отметить ложь г-на де Шарлюс, который несколько минут тому назад сказал нам,

что он не видел Шарли с утра, а теперь легкомысленно признавался, что видал его перед обедом. Мое страдание становилось видимым. «Что с вами? — сказал барон. — Вы весь зеленый; войдемте скорее, вы простудились, вид у вас нехороший».

Не сомнение относительно добродетели Альбертины пробудили во мне слова г. де Шарлюс. Мне не раз уже случалось сомневаться на этот счет; при каждом новом сомнении думаешь, что чаша переполнена, что больше не в силах будешь вынести, но все-таки находишь для него местечко, а раз войдя в обиход нашей жизни, оно начинает состязаться с таким множеством желаний верить и причин забыть, что довольно скоро мы к нему применяемся и в заключение перестаем им интересоваться. Оно остается, подобно полузамеченной боли, подобно простой угрозе страдания; оборотная сторона желания, состояние того же порядка, оно делается, как и желание, центром наших мыслей и излучает в них на бесконечное расстояние тонкую печаль, как желание излучает удовольствие смутного происхождения повсюду, где что-нибудь может ассоциироваться с мыслью о той, которую мы любим. Но когда в нас входит какое-нибудь совершенно новое сомнение, боль пробуждается;

как бы мы ни твердили себе почти сейчас же вслед за этим: «а устроюсь, выработается система мыслей и действий, которая позволит избежать страдания, нет, это сомнение неосновательно», — все равно в первый миг мы страдаем, словно мы в него поверили. Если бы мы обладали только такими частями тела, как руки или ноги, жизнь была бы переносимой; к несчастью, мы носим в себе один маленький орган, называемый сердцем и подверженный болезням, в течение которых он бывает бесконечно чувствителен ко всему, что касается жизни некоей особы, и тогда ложь, — эта безобидная вещь, посреди которой мы живем припеваючи, сами ли мы лжем или нам лгут другие, — ложь, исходящая от этой особы, причиняет нашему маленькому сердцу, которое следовало бы научиться удалять хирургически, невыносимые страдания. Не будем говорить о мозге, потому что, как бы ни изощрялся наш ум во время таких припадков, он так же не в силах облегчить их, как наше внимание не в силах облегчить зубную боль.

Правда, особа эта, солгав нам, провинилась, потому что она клялась всегда говорить нам правду. Но мы знаем по самим себе и по другим, чего стоят клятвы. И мы вздумали придать им веру,

когда они исходили от женщины, в интересах которой как раз и было нам лгать и на которой опять-таки мы остановили свой выбор совсем не за ее добродетели. Конечно, впоследствии ей почти незачем будет нам лгать, — когда сердце наше станет равнодушным ко лжи, — потому что нас больше не будет интересовать ее жизнь. Мы это знаем, и все-таки легко жертвуем собственной жизнью, либо навлекая на себя смертный приговор за убийство этой особы, либо попросту истратив на нее в несколько вечеров все наше состояние, что вынуждает нас покончить с собой, так как нам не на что больше жить. Впрочем, как бы мы ни считали себя спокойными, когда мы любим, любовь всегда пребывает в нашем сердце в состоянии неустойчивого равновесия. Какой-нибудь пустяк способен сделать нас счастливым, мы сияем, осыпаем нежностями не ту, кого мы любим, а тех, кто поднял нас в ее глазах, оградил ее от всяких искушений; мы считаем себя спокойными, но довольно одной фразы: «Жильберта не придет», «приглашена мадемуазель Вентейль», чтобы все подготовленное счастье, к которому мы устремлялись, рухнуло, чтобы солнце скрылось, чтобы флюгер повернулся и разразилась внутренняя буря, с которой в один прекрасный

день мы больше не в силах будем справиться.

В тот день, день, когда сердце наше сделалось таким хрупким, любящие нас друзья позволяют, чтобы такие ничтожности, чтобы некоторые существа причиняли нам зло, вгоняли нас в гроб. Но что они могут сделать? Если поэт умирает от инфекционного воспаления легких, мыслимо ли, чтобы его друзья стали объяснять микробам, возбудителям этой болезни, что поэт талантлив и они должны позволить его вылечить? Сомнение, связанное с мадемуазель Вентейль, не было совершенно новым. Но моя послеполуденная ревность, возбужденная Лией и ее приятельницами, до некоторой степени его рассеяла. А устранив эту опасность, связанную с Трокадеро, я ощутил глубокий мир, вообразил, что навсегда его завоевал. Но для меня была полной новостью одна прогулка, о которой Андре мне говорила: «Мы ходили туда и сюда и никого не встретили», — между тем как, напротив, на этой прогулке мадемуазель Вентейль очевидно назначила Альбертине свидание у г-жи Вердюрен. Теперь я бы охотно позволил Альбертине выходить одной, бывать, где ей вздумается, лишь бы я мог запереть где-нибудь мадемуазель Вентейль с ее приятельницей и быть уверенным, что Альбертина с ними не

увидится. Дело в том, что поле зрения ревности обыкновенно ограниченно, она сосредоточивается то на одном пункте, то на другом, оттого ли, что она является мучительным продолжением тревоги, вызываемой то одним, то другим лицом, которое могла бы полюбить наша приятельница, или же вследствие недостаточности нашего мышления, оперирующего только тем, что оно ясно представляет, и оставляющего прочее в полумраке, неспособном возбудить мучительные чувства.

Когда мы уже собирались звонить к Вердюренам, нас догнал Саньет, сообщивший, что в шесть часов умерла княгиня Щербатова; он сказал также, что сразу нас не узнал. «А между тем я довольно долго на вас смотрел, — сказал он задыхающимся голосом. — Неужели не курьезно, что у меня возникли колебания?» «Не курьезно ли» показалось бы ему ошибкой, и со своими старинными оборотами речи он становился раздражающе фамильярным. «Вы однако люди, которых можно признать друзьями». Его сероватая физиономия казалась освещенной свинцовым отблеском грозы. Одышка, еще нынешним летом появлявшаяся у Саньета, лишь когда его «честил» г. Вердюрен, мучила его теперь

постоянно. «Я знаю, что будет исполнено превосходными артистами и особливо Морелем одно неизданное произведение Вентейля». — «Почему особливо?» — спросил барон, усмотревший в этом наречии критику. «Наш друг Саньет, — поспешил объяснить Бришо, игравший роль толмача, — будучи человеком превосходно начитанным, любит говорить на языке того времени, когда «особливо» значило то же, что теперешнее «в особенности».

Когда мы входили в переднюю г-жи Вердюрен, г. де Шарлюс спросил меня, работаю ли я, и на мой ответ, что не работаю, но очень интересуюсь в настоящее время старыми серебряными и фарфоровыми сервизами, сказал, что у Вердюренов есть сервизы, лучше которых я никогда не увижу; что я, впрочем, мог бы их увидеть в Распельере, так как, под тем предлогом, что предметы тоже друзья, они увозили с собой туда всю обстановку; что, конечно, не очень удобно вынимать все это для меня в день большого приема, но все же он готов попросить хозяев, чтобы они мне показали свои сокровища. Я попросил барона, боже сохрани, этого не делать. Г. де Шарлюс расстегнул пальто, снял шляпу, и я увидел, что его волосы на макушке теперь местами серебрятся. Однако,

как у куста драгоценного растения, не только расцвеченного красками осени, но кое-где завернутого ватой или замазанного глиной, эти пучки седых волос на макушке были у г-на де Шарлюс только лишним красочным пятном в добавление к тем, что испещряли его лицо. И все-таки даже под слоями различных выражений, румян и лицемерия, так плохо его подкрашивавших, лицо г-на де Шарлюс по-прежнему почти никому не выдавало тайны, о которой, на мой взгляд, оно громко кричало. Меня буквально стесняли его глаза, в которых я ее читал, как в раскрытой книге, и его голос, казалось мне, твердивший о ней на все лады с неутомимым бесстыдством. Но тайны хорошо хранятся такими людьми, потому что всякого, кто к ним подходит, поражает глухота и слепота. Лица, узнававшие о бароне правду от кого-нибудь, например, от Вердюренов, ей верили, но только до тех пор пока не знакомились с г-ном де Шарлюс. Лицо его не только не распространяло, но, напротив, рассеивало дурные слухи. Ибо о некоторых вещах мы составляем себе такое преувеличенное представление, что не в состоянии приложить его к привычным чертам нашего знакомого. С большим трудом поверим мы в порочность и никогда не поверим

в гениальность человека, с которым мы не далее как вчера ходили в оперу.

Г. де Шарлюс собирался отдать свое пальто с наставлениями завсегдатая. Но лакей, которому он его протянул, был новенький, совсем молодой. Между тем, г. де Шарлюс часто терял теперь то, что называется путеводной нитью, и не отдавал себе отчета, что можно делать и чего нельзя. Если в Бальбеке он одержим был похвальным желанием показывать, что известного рода темы его не пугают, бесстрашно объявлять по поводу какого-нибудь прохожего: «Какой хорошенький мальчик», — говорить, словом, то самое, что мог бы сказать человек совсем на него непохожий, то теперь ему случалось выражать это желание, говоря, напротив, вещи, которых никогда бы не мог сказать человек на него непохожий, вещи, которые постоянно настолько его занимали, что он забывал о том, что они вовсе не так интересны для большинства людей. Вот почему, взглянув на нового лакея, барон поднял вверх указательный палец и, воображая, будто говорит нечто весьма остроумное, произнес: «Эй вы, запрещаю вам строить мне глазки, — после чего обратился к Бришо с такими словами: — Какая забавная у этого малого рожица и какой уморительный

нос», — и в завершение своей шутки, или уступая непреодолимому желанию, повернул свой палец горизонтально, минуточку поколебался, потом, не в силах больше сдержаться, ткнул им прямо в нос оторопевшему лакею с восклицанием: «Пиф!» — «Какой смешной пузан», — подумал лакей, спросив у товарищей, что это: шут, или у него не все дома. «Такие уж у него манеры, — отвечал ему метрдотель (считавший барона немного «тронутым», немного «спятившим»), — но он один из лучших друзей мадам, и я всегда отношусь к нему с уважением, у него доброе сердце».

— «Собираетесь вы в этом году в Энкарвиль? — обратился ко мне Бришо. — Кажется, наша хозяйка опять сняла Распельер, хотя и немного повздорила с его владельцами. Но все это пустяки, все эти тучки рассеются», — и прибавил тем же оптимистическим тоном, каким газеты пишут: «Были, разумеется, допущены ошибки, но кто их не делает?» Но я помнил, в каком мучительном состоянии покинул я Бальбек, и не чувствовал никакого желания туда возвращаться. Я все откладывал со дня на день исполнение своих планов с Альбертиной. «Ну понятно, он поедет, мы все этого желаем, он нам необходим», — объявил г. де Шарлюс с не допускающим возражения

эгоизмом и непонятливостью человека, желающего быть любезным.

В эту минуту вышел нам навстречу г. Вердюрен. Когда мы выразили ему соболезнование по поводу княгини Щербатовой, он сказал: «Да, я знаю, она очень больна». — «Да нет же, она умерла в шесть часов», — воскликнул Саньет. «Ну, вы всегда преувеличиваете», — грубо оборвал его г. Вердюрен. Так как отменить вечер нельзя было, он предпочитал держаться гипотезы о болезни, подражая таким образом, хотя он этого и не знал, герцогу Германтскому. Саньет, боявшийся простудиться, потому что наружная дверь то и дело отворялась, покорно дожидался, чтобы от него взяли пальто. «Что вы там делаете в позе легавой собаки на стойке?» — спросил его г. Вердюрен. «Я жду, чтобы один из служителей, присматривающих над гардеробом, взял от меня пальто и дал мне номерок». — «Что такое вы говорите? — сердито спросил г. Вердюрен: «Присматривающих над гардеробом»». Да вы совсем впали в детство, говорят «присматривать за гардеробом», вас надо учить говорить, как людей, с которыми был удар». — «Присматривать над чем-нибудь правильная форма, — пробормотал Саньет прерывающимся голосом; аббат Ле Батте…» — «Вы

меня раздражаете, — не своим голосом закричал г. Вердюрен. — Как вы задыхаетесь! Можно подумать, что вы только что поднялись на шестой этаж».

Грубость г-на Вердюрена имела следствием то, что люди, обслуживавшие гардеробную, пропускали других гостей перед Саньетом, и когда он пытался протянуть им пальто, отвечали: «Соблюдайте очередь, мосье, не надо так торопиться». — «Вот это люди порядка, они знают свое дело, очень хорошо, молодцы», — сказал с сочувствующей улыбкой г. Вердюрен, чтобы ободрить своих слуг в их намерении принять пальто от Саньета в последнюю очередь. «Пойдемте, — сказал он, — это животное хочет нас всех простудить на любимом своем сквозняке. Пойдемте погреемся в гостиной. Присматривать над гардеробом! — продолжал он, когда мы пришли в гостиную, — вот болван!» — «Он говорит немного вычурно, но парень он не плохой», — сказал Бришо. «Разве я говорю, что он плохой парень, я говорю, что он болван», — возразил с раздражением г. Вердюрен.

Тем временем у г-жи Вердюрен происходило важное совещание с Котаром и Ски. Морель только что отклонил (потому что туда не мог пойти г.

де Шарлюс) приглашение к одним знакомым Вердюренов, хотя г-жа Вердюрен уже им пообещала участие скрипача. Причина отказа Мореля играть на вечере у знакомых Вердюренов, к которой, как мы вскоре увидим, прибавились еще и другие, гораздо более серьезные, могла возыметь силу благодаря одному обыкновению, свойственному вообще праздным кругам, но в особенности «маленькому клану». Конечно, если г-жа Вердюрен, наблюдая разговор «новенького» с «верным», подхватывала сказанную вполголоса фразу, могущую внушить мысль, что они знакомы между собой или имеют желание сойтись поближе («Так значит в пятницу у таких-то», или: «Приходите ко мне в ателье, когда пожелаете, я там всегда до пяти часов, вы мне доставите истинное удовольствие»), слова эти ее волновали, она предполагала у новенького «положение», способное сделать из него блестящего члена маленького клана; делая вид, будто она ничего не слышала, и сохраняя в красивых своих глазах с синими кругами (проведенными привычкой к Дебюсси отчетливее, чем их провела бы привычка к кокаину) изнеможенное выражение, которое у нее появлялось единственно при опьянении музыкой, — хозяйка тем не менее ворочала под великолепным своим

лбом, вздувшимся от бесконечного множества квартетов и последующих мигреней, мыслями, отнюдь не исключительно полифоническими, и, не в силах долее сдерживаться, не в состоянии ни секунды ждать своего укола, бросалась на разговаривающих, отводила их в сторону и говорила новенькому, показывая на верного: «Не желаете ли прийти пообедать с *ним* в субботу, например, или в любой день с милыми людьми! Не говорите об этом слишком громко, потому что я не собираюсь созывать всю эту толпу (термин, которым г-жа Вердюрен обозначала на пять минут свой маленький клан, вдруг проникаясь к нему презрением ради новенького, на которого возлагалось столько надежд)».

Но эта потребность увлекаться, а также сближать между собой людей, имела свой противовес. Аккуратное посещение сред рождало у Вердюренов противоположные чувства. У них появлялось желание ссорить, разобщать. Желание это особенно укрепилось, сделалось прямо безудержным в месяцы, проведенные в Распельере, все обитатели которого были с утра до вечера на глазах друг у друга. Г. Вердюрен изощрялся в поимке гостя на какой-нибудь провинности, в протягивании паутины, где могла бы запутаться и попасть на

съедение его паучихи какая-нибудь невинная муха. Когда не на что было пожаловаться, старались найти у жертвы смешные стороны. Стоило какому-нибудь верному выйти на полчаса, как его поднимали на смех, притворно удивлялись, как это до сих пор никто не заметил, что у него всегда грязные зубы, или, напротив, что он их чистит, как маньяк, по двадцати раз в день. Коли кто-нибудь позволял себе открыть окно, хозяин и хозяйка при виде такой невоспитанности возмущенно переглядывались. Через несколько мгновений г-жа Вердюрен требовала шаль, что являлось для г-на Вердюрена предлогом с бешенством заявить: «Нет, не надо, я лучше пойду закрою окно, не понимаю, кто это позволил себе его открыть», — заставляя виновника краснеть до ушей. Косвенно попрекали гостя за то, что он выпил слишком много вина. «Вино вам идет в прок. Полезная вещь для рабочих людей». Совместные прогулки двух верных, если они их делали, не испросив предварительно позволения у хозяйки, приводили к бесконечным комментариям, таким же невинным, как были эти прогулки. Прогулки г-на де Шарлюс с Морелем такими не были. Только то обстоятельство, что барон не жил в Распельере (из-за казарменного режима Мореля),

отсрочило момент пресыщения, отвращения, рвоты. Но он скоро должен был наступить.

Г-жа Вердюрен была взбешена и решила открыть Морелю глаза на смешную и противную роль, которую его заставляет играть г. де Шарлюс. «Добавлю, — продолжала она (когда г-жа Вердюрен чувствовала себя обязанной кому-нибудь благодарностью, которая ее тяготила, и она не могла за труд его убить своего благодетеля, она открывала в нем серьезный недостаток, благовидным образом освобождавший ее от выражения этой благодарности), — добавлю, что он разыгрывает у меня важного барина, и мне это не нравится». Действительно, у г-жи Вердюрен был более серьезный повод сердиться на г-на де Шарлюс, чем нежелание Мореля выступать на вечере у ее знакомых. Высоко расценивая честь, оказываемую им хозяйке приглашением на набережную Конти людей, которые конечно не пришли бы ради хозяйки, барон при первом же имени, предложенном г-жой Вердюрен в качестве лица, которому можно было бы послать приглашение, произнес самый решительный отвод не допускающим возражений тоном, в котором злопамятная спесь своенравного вельможи сочеталась с догматизмом искушенного

по части устройства званых вечеров художника, готового скорее снять свою вещь и отказать в своем участии, чем пойти на уступки, способные, по его мнению, испортить общее впечатление. Г. де Шарлюс дал свое согласие, и то с оговорками, только на приглашение Сентина; хотя герцогиня Германтская, чтобы не стеснять себя его женой, перешла от ежедневных встреч запросто к полному с ним разрыву, барон, находивший его умным, виделся с ним по-прежнему. Понятно, Сентин, когда-то цвет круга Германтов, пошел искать счастья и, думал он, точки опоры в кругах буржуазии, породнившейся с мелким дворянством, кругах, где все очень богаты и водятся с аристократией, которой высшая аристократия не знает. Но г-жа Вердюрен, осведомленная об аристократических претензиях круга жены Сентина и плохо представлявшая себе положение ее мужа (ведь впечатление высоты дает нам то, что стоит почти непосредственно над нами, а не то, что для нас почти невидимо, настолько этот отдаленный предмет теряется в небе), считала, что приглашение Сентина можно оправдать ссылкой на его обширные знакомства «благодаря женитьбе на мадемуазель ***».

Невежество г-жи Вердюрен, выданное этим

утверждением, диаметрально противоположным действительности, растянуло крашеные губы барона в усмешку, соединявшую снисходительное презрение с широким взглядом на вещи. Он не удостоил г-жу Вердюрен прямого ответа, но, как любитель строить теории на светские темы, в которых богатство его воображения и непомерное самомнение сочетались с наследственной суетностью, сказал: «Сентину следовало бы посоветоваться со мной перед женитьбой, ведь наряду с физиологической евгеникой существует евгеника светская, и я, может быть, единственный знаток по этой части. Женитьба Сентина не возбуждала никаких споров, было ясно, что, вступая в этот брак, он привязывает себе мертвый груз и ставит светильник свой под спудом. Светская его карьера была кончена. Я бы ему это объяснил, и он бы меня понял, потому что он умен. Наоборот, была особа, имевщая все данные для того, чтобы занимать высокое, господствующее, универсальное положение, но один толщенный канат ее связывал. Я помог ей частью нажимом, частью силой его перерубить, и теперь особа эта с торжеством и радостью завоевала себе свободу и всемогущество, которыми она обязана мне; понадобилось, может быть, некоторое усилие воли,

но зато какую она получила награду! Человек обретает таким образом самого себя, когда он умеет слушаться меня, акушера его судьбы».

Было слишком очевидно, что на собственную судьбу г. де Шарлюс действовать не умел; ведь действовать это не то, что говорить, хотя бы даже красноречиво, и не то, что размышлять, хотя бы даже замысловато. «Что же касается меня самого, так я живу философом, который с любопытством наблюдает общественные реакции, мною предсказанные, но сам стоит в стороне. Вот почему я продолжал бывать у Сентина, который всегда относился ко мне с подобающей теплой почтительностью. Я даже обедал у него в его новом жилище, где царит такая же тощища посреди самой роскошной обстановки, какое царило прежде веселье, в те времена, когда, едва перебиваясь, он собирал лучшее общество у себя на чердаке. Итак, вы можете его пригласить, я разрешаю, но я накладываю свое вето на все прочие имена, которые вы мне называете. И вы будете мне благодарны, потому что если я эксперт по части браков, то не меньшей опытностью обладаю по части устройства званых вечеров. Я знаю лиц так сказать восходящих, которые приподнимают собрание, дают ему порыв, высоту; и я знаю

также имена, принижающие, сводящие с неба на землю». Отводы г-на де Шарлюса основывались не всегда на затаенных обидах полупомешанного или на утонченном вкусе художника, но также и на уловках актера. Когда барон произносил по поводу кого-нибудь или чего-нибудь очень удачную тираду, он желал, чтобы она была услышана как можно большим числом людей, но принимал меры к недопущению во вторую партию слушателей тех, которые входили в первую и могли бы констатировать, что исполняемое произведение не изменилось. Он обновлял аудиторию именно потому, что афиша оставалась прежней, и когда беседа его имела успех, готов был организовать в случае надобности турне и давать представления в провинции.

Но каковы бы ни были мотивы отводов г-на де Шарлюс, последние не только задевали самолюбие г-жи Вердюрен, подрывая ее хозяйский авторитет, но еще и причиняли ей значительный вред в отношении светских связей, и вот почему. Во-первых, г. де Шарлюс, еще более обидчивый, чем Жюпьен, ссорился без всякой видимой причины с лицами, которые, казалось, были наиболее подходящими для него друзьями. Понятно, одно из первых наказаний, которому их

можно было подвергнуть, заключалось в неприглашении их на вечер, устраиваемый бароном у Вердюренов. Между тем эти парии часто бывали людьми, стоящими в самых первых рядах, но в глазах г-на де Шарлюса потерявшими свое привилегированное положение с того дня, как он с ними поссорился. Ибо по части нахождения причин для полного разжалования людей, переставших быть его друзьями, воображение барона было столь же изобретательно, как и по части измышления их провинностей для ссоры с ними. Если, например, виновный принадлежал к чрезвычайно древнему роду, но такому, в котором герцогское достоинство насчитывало всего сотню лет, если он был, скажем, Монтескью, то для г-на де Шарлюс имела значение только древность герцогского достоинства, фамилия же ничего не значила. «Они даже не герцоги, — восклицал он. — Ведь титул аббата де Монтескью незаконно перешел к одному из его родственников каких-нибудь восемьдесят лет тому назад. Нынешний герцог, если только он герцог, третий по счету. Вы мне назовите таких людей, как Юзесы, как Ла Тремуй, как Люины, десятые и четырнадцатые герцоги, как мой брат, двенадцатый герцог Германтский и семнадцатый принц Кордовский.

Монтескью происходят от древнего рода, — что может это доказать, даже если бы это было доказано? Они так глубоко опустились по лестнице времени, что очутились на четырнадцатой ступени оскудения».

Если же он ссорился, напротив, с представителем не очень старинного рода, но которому герцогский титул принадлежал давно, с человеком, занимающим блестящее положение, находящимся в родстве с королевскими домами, с одним из Луинов, например, тогда все менялось, тогда принималась в расчет единственно древность рода. «Сами посудите, ну, что такое господин Альберти, предки которого вышли в люди только при Людовике XIII. Почему должны мы считаться с тем, что милости двора позволили им прибрать к рукам герцогства, на которые у них не было никаких прав». Больше того, у г-на де Шарлюс опала следовала непосредственно за милостями в силу свойственной Германтам склонности требовать от разговора, от дружбы того, что они не могут дать, да еще болезненного страха стать предметом злословия. Опала эта бывала тем более суровой, чем щедрее дарил он свои милости. А никто не пользовался в такой степени благосклонностью барона, как графиня

Моле, которой он покровительствовал прямотаки демонстративно. Каким свидетельством равнодушия доказала она в один прекрасный день, что она ее недостойна? Графиня неизменно заявляла, что она никогда не в состоянии была это постигнуть. Во всяком случае, при одном ее имени барон приходил в остервенение, разражался необыкновенно красноречивыми, но крайне грозными филиппиками. Г-жа Вердюрен, с которой г-жа Моле была очень любезна, возлагала на эту даму, как увидит читатель, большие надежды и заранее радовалась при мысли, что графиня увидит у нее самый цвет знати «Франции и Наварры», как говорила хозяйка; вот почему она немедленно предложила пригласить «мадам де Моле». — «Ах, боже мой! У всякого свои вкусы, — отвечал г. де Шарлюс, — и если вы, мадам, расположены беседовать с госпожой Пипле, с госпожой Жибу и с госпожой Жозеф Прюдом, я не желаю ничего лучше, но устраивайте эту беседу в такой вечер, когда меня не будет. Мы говорим на разных языках, я вижу это с первых же слов, потому что я вел речь об именах аристократии, а вы мне называете совершенно безвестные имена каких-то судейских, каких-то зловредных обывателей, проныр и сплетников, каких-то дамочек,

считающих себя покровительницами искусств, потому что они подхватывают октавой ниже манеры моей невестки, герцогини Германтской, подобно сойке, считающей, что она подражает павлину.

Добавлю, что было бы неприлично ввести на вечер, который я согласился устроить у госпожи Вердюрен, особу, сознательно вычеркнутую мной из списка моих знакомых, дуреху без роду и племени, вероломную, лишенную всякого остроумия, имеющую безрассудство вообразить, будто она способна разыгрывать герцогинь Германтских и принцесс Германтских, — совместительство, само по себе свидетельствующее о глупости, потому что герцогиня Германтская и принцесса Германтская являются полной противоположностью. Это все равно, как если бы какая-нибудь особа возомнила себя одновременно Рейхенберг и Сарой Бернар. Во всяком случае, даже если бы тут не содержалось противоречия, это было бы чрезвычайно смешно. Если я порой улыбаюсь при виде преувеличений герцогини и печалюсь, наблюдая ограниченность принцессы, то я имею на это право. Но когда эта маленькая буржуазная лягушка пыжится, чтобы сравняться с двумя великосветскими дамами, у которых в

каждом жесте сквозит несравненное благородство манер, порода, то ведь это, как говорится, курам на смех. Ах, эта Моле! Вот имя, которое не надо произносить, иначе мне остается только уйти», — прибавил он с улыбкой тоном врача, который, желая добра своему пациенту вопреки его воле, умеет уклониться от навязываемого ему сотрудничества с гомеопатом. С другой стороны, некоторые лица, не заслуживающие внимания с точки зрения г-на де Шарлюс, может быть, действительно такими и были для него, но не для г-жи Вердюрен. Г. де Шарлюс, знатный барин, мог обойтись без многих очень элегантных людей, собрание которых обратило бы салон г-жи Вердюрен в один из первых салонов Парижа. А г-жа Вердюрен и без того начинала находить, что упустила уже много удобных случаев, не говоря уже о том, как сильно задержала ее признание ошибка большого света относительно дела Дрейфуса, хотя это обстоятельство и оказало ей некоторую услугу.

Не помню, говорил ли я, с каким неудовольствием смотрела герцогиня Германтская на дам своего круга, которые, все подчинив этому делу, исключали женщин элегантных и принимали безвестных, смотря по тому, были ли те за

пересмотр или против пересмотра дела, после чего сама она подверглась критике со стороны этих дам, объявивших ее равнодушной, неблагомыслящей и подчиняющей светскому этикету интересы родины; могу ли я спросить об этом читателя, как спрашиваем мы друга, в тех случаях, когда, после многочисленных разговоров с ним, больше не помним, подумали ли мы о том, чтобы сообщить ему о таком-то факте и нашелся ли у нас для этого случай? Но говорил ли я об этом или нет, образ действий герцогини Германтской в тот период представить не трудно, а если перенестись затем в позднейшую эпоху, то он может даже показаться со светской точки зрения совершенно безупречным. Г. де Камбремер рассматривал дело Дрейфуса как иностранную махинацию, направленную к уничтожению разведывательной службы, к разрушению дисциплины, к ослаблению армии, к разделению французов, к подготовке неприятельского вторжения. А так как, за исключением нескольких басен Лафонтена, литература была областью, чуждой маркизу, то он предоставлял жене заботу установить, что литература безжалостно разоблачительная, сеющая непочтение, приступила к разгрому с двух фронтов. Г. Рейнак и г. Эрвье на-

ходятся «в стачке», говорила г-жа де Камбремер. Мы не станем обвинять дело Дрейфуса в том, что оно строило такие же черные замыслы и в отношении светского общества. Но оно несомненно разбило рамки последнего. Те светские люди, которые против допущения политики в салоны, столь же прозорливы, как и те военные, которые не желают давать политике доступ в армию. Со светом дело обстоит так же, как с половыми наклонностями: неизвестно, до каких можно дойти извращений, предоставив выбор мотивам эстетическим.

То обстоятельство, что извращения эти были националистические, привило Сен-Жерменскому предместью привычку принимать дам из другого общества; но вот волнение исчезло вместе с национализмом, привычка же сохранилась. Благодаря своему дрейфусарству г-жа Вердюрен привлекла к себе крупных писателей, которые в ту минуту не принесли ей никакой пользы в смысле расширения светских знакомств, потому что были дрейфусары. Но страсти политические, как и все прочие, недолговечны. Приходят новые поколения, которые их не понимают. Да и само то поколение, которое они обуревали, меняется, оно заражается другими политическими страстями,

не являющимися точным повторением прежних и потому позволяющими реабилитировать часть отверженных, поскольку изменилась причина замкнутости. Во время процесса Дрейфуса монархисты перестали придавать значение тому, что такой-то является республиканцем, и даже радикалом, и даже антиклерикалом, лишь бы он был антисемитом и националистом. Если когда-нибудь разразится война, патриотизм примет другую форму, и у писателя-шовиниста никто не спросит, был ли он или не был дрейфусаром. Вот почему при каждом политическом кризисе, при каждом обновлении художественных вкусов г-жа Вердюрен урывала понемножку, как птица для своего гнезда, клочки, до поры до времени бесполезные, того, что в один прекрасный день должно было стать ее салоном. Дело Дрейфуса кончилось, Анатоль Франс у нас остался. Силой г-жи Вердюрен была ее искренняя любовь к искусству, хлопоты, которые она брала на себя ради «верных», чудесные обеды, которые она задавала им одним, не приглашая к себе людей светских. Каждый из верных встречал у нее то обращение, какое Бергот встречал у г-жи Сван.

Когда кто-нибудь из таких друзей дома становился в один прекрасный день человеком

знаменитым, которого желают видеть в свете, его присутствие у г-жи Вердюрен не содержало в себе ничего ненатурального, ничего фальсифицированного, ничего отдававшего кухней Потеля и Шабо на официальных банкетах или школьных пирушках в день «Сен-Шарлемань», оно было как прекрасный домашний стол, остававшийся столь же безукоризненным и в дни, когда никого не приглашали. Труппа г-жи Вердюрен была образцовая, вышколенная, репертуар первоклассный, недоставало только публики. А когда последней приелось рассудительное французское искусство, скажем, Бергота, и началось увлечение главным образом экзотической музыкой, г-жа Вердюрен, являвшаяся чем-то вроде постоянного парижского корреспондента всех иностранных артистов, спешила, войдя в сношения с обворожительной княгиней Юрбелетевой, взять на себя роль старой, но всемогущей феи Карабос по отношению к русским танцорам. Их пленительное нашествие, против соблазнов которого протестовали лишь критики, лишенные вкуса, как известно, возбудило в Париже настоящую лихорадку любопытства, менее азартного, чисто эстетического, но, пожалуй, столь же живого, как и дело Дрейфуса.

И в этом случае г-жа Вердюрен оказывалась в

первом ряду, но эффект ее появления был совсем другой. Если на заседаниях суда присяжных ее видели рядом с г-жой Золя возле самых судейских кресел, то теперь, когда новое поколение, рукоплескавшее русским балетам, толпилось в Опере, она постоянно восседала в литерной ложе, рядом с княгиней Юрбелетевой, убранная диковинными эгретами. И как после волнений во Дворце Правосудия дрейфусары собирались вечером у г-жи Вердюрен, чтобы поглядеть на Пикара или на Лабори и в особенности услышать последние новости, узнать, чего можно ждать от Цурлиндена, от Лубе, от полковника Жуаста, от регламента, так теперь посетители Оперы, мало расположенные идти спать после восторгов, вызванных «Шехерезадой» или половецкими плясками «Князя Игоря», отправлялись к г-же Вердюрен, у которой изысканные ужины, возглавляемые княгиней Юрбелетевой и хозяйкой, соединяли каждый вечер танцоров, не обедавших в дни представлений, чтобы быть более «прыгучими», их директора, их декораторов, замечательных композиторов Игоря Стравинского и Рихарда Штрауса и незыблемый маленький кружок, с которым, как на ужинах супругов Гольвециев, не гнушались смешиваться самые модные

великосветские дамы Парижа и иностранные высочества. Даже те светские люди, что кичились своим вкусом и проводили между русскими балетами пустые различия, находя постановку «Сильфид» более «тонкой», чем постановка «Шехерезады», которую они склонны были связывать с негритянским искусством, — даже и они жаждали посмотреть вблизи на великих обновителей театрального искусства, которые в этой области, пожалуй, немного более эфемерной, чем живопись, произвели столь же глубокую революцию, как и импрессионизм.

Но возвратимся к г-ну де Шарлюс. Г-жа Вердюрен не очень бы страдала, если бы он наложил запрет только на графиню Моле и г-жу Бонтан, которую она отметила у Одетты за ее любовь к искусствам; во время дела Дрейфуса дама эта несколько раз приходила обедать с мужем, прозванным г-жой Вердюрен деревяшкой, потому что он не хлопотал о пересмотре дела, но, как человек очень умный и довольный каждым случаем приобрести связи во всех кругах, стремился показать свою независимость, обедая с Лабори, которого слушал, не высказывая ничего компрометирующего, а лишь ввертывая в подходящих местах похвальные замечания по поводу

признанной всеми партиями политической честности Жореса. Но барон равным образом отверг несколько аристократок, с которыми г-жа Вердюрен завязала недавно сношения на почве устройства музыкальных вечеров, собирания коллекций и благотворительности; что бы ни думал о них г. де Шарлюс, они оказались бы гораздо более существенными элементами, чем сам он, для образования в салоне г-жи Вердюрен нового, аристократического ядра. Именно на этот вечер, на который г. де Шарлюс собирался привести ей женщин того же круга, возлагала надежды г-жа Вердюрен, рассчитывая соединить этих дам со своими новыми приятельницами и заранее наслаждаясь тем, как они будут удивлены, встретив на набережной Конти своих старых знакомых или родственниц, приглашенных бароном. Она была разочарована и взбешена его запретом. Оставалось узнать, что же в конечном итоге принесет ей при таких условиях этот вечер: прибыль или убыток. Последний был бы не так велик, если бы гостьи г-на де Шарлюс явились тепло расположенными к г-же Вердюрен и сделались бы в будущем ее приятельницами. В таком случае это было бы полбеды, обе половины большого света, которые барон желал держать разобщенными,

можно было бы в скором времени соединить, хотя бы ценой его отсутствия на том вечере, когда это произойдет. Вот почему г-жа Вердюрен ожидала гостей барона с некоторым волнением. Скоро-скоро она узнает расположение, в котором они явятся, и какие отношения ей можно будет с ними завязать.

А тем временем г-жа Вердюрен совещалась с верными, но, увидя г-на де Шарлюс, входившего с Бришо и со мной, сразу оборвала совещание. К великому нашему удивлению, когда Бришо выразил хозяйке соболезнование по случаю тяжелой болезни ее большой приятельницы, г-жа Вердюрен ответила: «Послушайте, я должна признаться, что совсем не чувствую себя опечаленной. Незачем напускать на себя чувства, которых не испытываешь». Должно быть, она говорила так по недостатку энергии, потому что считала утомительным делать печальное лицо в течение всего вечера, — из гордости, чтобы не подать виду, будто она ищет оправданий тому, что не отменила приема, — из боязни людского суда все же и из хитрости, потому что проявленное ею равнодушие было более почтенным, если его следовало приписать вдруг пробудившемуся безотчетному нерасположению к княгине, а

не какой-то общей бесчувственности, и потому что нельзя было не сложить оружия перед этой не возбуждавшей никаких сомнений искренностью. Если г-жа Вердюрен не была подлинно равнодушной к смерти княгини, разве ей не пришлось бы для объяснения сегодняшнего приема обвинить себя в гораздо более тяжелом проступке? Ведь, признавая себя опечаленной, г-жа Вердюрен тем самым признавалась бы в том, что у нее не хватило мужества отказаться от удовольствия; конечно, жестокосердие приятельницы было вещью более оскорбительной, более безнравственной, но менее унизительной, следовательно, в нем легче было признаться, чем в суетности хозяйки дома. В уголовном деле, когда преступнику угрожает опасность, признание его диктуется выгодой. В проступках же ненаказуемых — самолюбием.

Быть может, находя слишком избитым предлог тех людей, которые, чтобы не омрачать веселой своей жизни горестями, неустанно твердят, будто им кажется тщеславием выставлять наружу траур, носимый ими в сердце своем, г-жа Вердюрен предпочитала подражать тем умным преступникам, которым претят шаблонные уверения в невиновности и защита которых, — являясь

полупризнанием, хотя они об этом и не подозревают, — состоит в том, что с их точки зрения нет ничего худого в совершении вещи, в которой их обвиняют, но которую, впрочем, им не представилось случая совершить; а может быть, решив объяснить свое поведение равнодушием, г-жа Вердюрен, раз уж она дала волю своему недоброжелательному чувству, нашла в нем некоторую оригинальность, а у себя редкую проницательность, позволившую его распознать, а также смелость, чтобы сказать о нем во всеуслышание, — словом, так или иначе, г-жа Вердюрен твердо стояла на том, что она нисколько не опечалена, испытывая даже некоторое горделивое удовлетворение склонного к парадоксам психолога и дерзко ломающего традиции драматурга. «Да, это очень забавно, — сказала она, — я почти ничего не почувствовала. Боже мой, я не стану утверждать, что мне было бы неприятно, если бы она жила, человек она была неплохой». — «Очень плохой», прервал жену г. Вердюрен. — «Ах, он ее не любит, он находил, что, принимая ее, я наношу себе ущерб, но он ослеплен своей неприязнью». — «Согласись, однако, — сказал г. Вердюрен, — что я никогда не одобрял ее слишком частых посещений. Я тебе всегда говорил, что она пользуется

дурной репутацией». — «Никогда ничего дурного про нее не слышал», возразил Саньет. — «Помилуйте, — вскричала г-жа Вердюрен, — да это всеми признано, — не дурной, а позорной, грязной. Нет, я равнодушна не по этой причине. Я сама не умела объяснить свое чувство; она мне не была противна, но я чувствовала к ней такое равнодушие, что когда мы узнали о ее тяжелой болезни, даже мужа моего это поразило, и он мне сказал: «Можно подумать, что это не производит на тебя никакого впечатления». Вы знаете, сегодня вечером он предложил мне отменить прием, а я, напротив, хотела, чтобы он непременно состоялся, так как, по-моему, было бы комедией изображать на лице своем печаль, которой я не чувствую».

Она так говорила, потому что находила это забавной импровизацией, а также потому, что это было чрезвычайно удобно; ведь открыто признанная бесчувственность или безнравственность настолько же упрощает жизнь, как и легкие нравы; неблаговидные поступки, для которых в этом случае не надо больше искать оправданий, дают только повод выставить напоказ свою искренность. Верные слушали г-жу Вердюрен с тем смешанным чувством восхищения и тревоги,

какое в нас вселяют иные беспощадно реалистические тяжелые пьесы: дивясь искусству дорогой хозяйки, умевшей найти новую форму для своей прямоты и своей независимости, не один из них, хотя успокаивая себя тем, что, в сущности, это было бы далеко не одно и то же, подумал о собственной смерти и спросил себя, оплакивать ли его будут на набережной Конти в день, когда он умрет, или же здесь будут веселиться, как сегодня. «Я очень доволен, что вечер не отменен, ведь я пригласил столько гостей», — сказал г. де Шарлюс, не соображая, что построенная таким образом его фраза оскорбительна для г-жи Вердюрен. Между тем я поражен был, как и всякий, кто подходил в тот вечер к г-же Вердюрен, не очень приятным запахом рино-гоменола. Вот чем он объяснялся. Читатель знает, что эстетические эмоции никогда не получали у г-жи Вердюрен внутреннего выражения, она их выражала физически, чтобы они казались более глубокими и неотвратимыми. И вот, если ей говорили о ее излюбленной музыке, музыке Вентейля, она оставалась равнодушной, как если бы не ждала от нее никаких волнений. Но после того, как взгляд ее несколько минут оставался неподвижным, почти рассеянным, она вам отвечала тоном

четким, практическим, почти невежливым (так, словно она вам сказала: «Меня не беспокоит то, что вы курите, я беспокоюсь за ковер, он у меня превосходный (я и этому не придаю значения), но он очень легко воспламеняется, я очень боюсь пожара, и я бы не хотела, чтобы вы сожгли всех нас, уронив на пол плохо потушенный окурок папиросы»), — она вам отвечала: «Я ничего не имею против Вентейля; на мой взгляд, это самый крупный композитор нашего века, только я не могу слушать его вещи, они заставляют меня все время плакать (слово «плакать» она произносила ничуть не патетическим тоном, а самым естественным, таким, как она сказала бы «спать»; некоторые злые языки утверждали даже, что последний глагол был бы более уместен; никто, впрочем, не мог бы за это поручиться, потому что г-жа Вердюрен слушала музыку, закрыв лицо руками, и некоторые звуки, похожие на всхрапывание, могли быть в конце концов рыданиями). Плакать бы ничего, плакать я могу сколько угодно, только потом от этого у меня бывают сильнейшие насморки. Слезы вызывают у меня прилив крови к слизистой оболочке, двое суток потом у меня вид старого пьяницы, и для того, чтобы заработали мои голосовые связки,

мне надо в течение нескольких дней прибегать к ингаляциям. Наконец один ученик Котара, очаровательное существо, меня от этого избавил. Он проповедует довольно оригинальную аксиому: «Лучше предупреждать, чем лечить». Перед началом музыки он мне смазывает нос. Средство радикальное. Я могу реветь, как сотня матерей, потерявших своих младенцев, и ни малейшего насморка. Иногда небольшой конъюнктивит, вот и все. Действие безошибочное. Без этого я бы не в состоянии была продолжать слушать Вентейля. Дошло до того, что я не вылезала из бронхитов».

Я не мог более удержаться от вопроса о мадемуазель Вентейль. «Скажите, пожалуйста, не находится ли здесь дочь автора, — спросил я у г-жи Вердюрен, — с одной своей приятельницей?» — «Нет, я как раз только что получила телеграмму, — отвечала уклончиво г-жа Вердюрен, — они вынуждены были остаться в деревне». На мгновение меня осенила надежда, что, может быть, не было и речи о том, чтобы они ее покидали, и что г-жа Вердюрен объявила о приезде этих представительниц автора только для того, чтобы произвести выгодное впечатление на исполнителей и на публику. «Как, значит, они не приезжали и на сегодняшнюю репетицию?» — с притворным

любопытством спросил барон, желая создать впечатление, что он не виделся с Шарли. Последний подошел ко мне поздороваться. Я его спросил на ухо относительно мадемуазель Вентейль; мне показалось, что скрипач очень мало об этом осведомлен. Я сделал ему знак, чтобы он не говорил громко, и сказал, что мы еще об этом потолкуем. Он поклонился мне, сказав, что с величайшим удовольствием предоставит себя в полное мое распоряжение. Я заметил, что он стал теперь гораздо вежливее, гораздо почтительнее, чем был прежде. Я сказал о нем — о Мореле, который, может быть, в состоянии будет помочь мне пролить свет на мои подозрения, — несколько любезных слов г-ну де Шарлюс и услышал от него в ответ: «Он делает лишь то, что должен делать, зря бы он прожил столько времени с порядочными людьми, если бы не отделался от своих дурных манер». А хорошими манерами, с точки зрения г-на де Шарлюс, были старые французские манеры, без тени британской чопорности. Вот почему, когда Шарли по возвращении с провинциального или заграничного турне являлся к барону в дорожном костюме, последний, если у него не было слишком много посторонних, запросто целовал скрипача в обе щеки, отчасти, может

быть, затем, чтобы таким выставлением на показ своей нежности прогнать всякую мысль, что она может быть преступной, отчасти затем, чтобы не отказывать себе в удовольствии, но еще более, вероятно, под влиянием литературы, для поддержания и иллюстрации старинных французских манер, противопоставляя британской флегме нежность чувствительного родителя XVIII века, не скрывающего своей радости при виде вернувшегося сына, как он протестовал бы против мюнхенского стиля или стиля модерн, сохраняя старые кресла своей прабабушки. Не заключала ли, наконец, в себе некоторого кровосмешения эта родительская любовь? Всего вероятнее то, что обычный способ удовлетворения г-ном де Шарлюс своего порока, о чем еще будет речь в дальнейшем, не способен был удовлетворить его эмоциональные потребности, остававшиеся незанятыми после смерти его жены; во всяком случае, после неоднократно принимаемых решений жениться вновь, он был одержим теперь желанием кого-нибудь усыновить. Говорили, что он собирается усыновить Мореля, и это вполне правдоподобно. Гомосексуалист, который мог питать свою страсть только литературными произведениями, написанными для нормальных

людей, который думал о мужчинах, читая «Ночи» Мюссе, тоже испытывает потребность исполнять все общественные функции мужчины не извращенного, содержать любовника, как старый завсегдатай Оперы содержит танцовщиц, остепениться, жениться или вступить в сожительство, быть отцом.

Г. де Шарлюс отошел с Морелем в сторону под предлогом получить объяснения об исполняемых вещах; ему было особенно приятно выставлять публично на вид свою тайную близость со скрипачом, когда Шарли показывал ему ноты. А я тем временем восхищался. Хотя маленький клан заключал мало молодых девушек, зато их приглашали в изрядном количестве, когда устраивались большие вечера. Много их было и сегодня, притом очень красивых, с которыми я был знаком. Они мне посылали издали приветливые улыбки. Воздух таким образом время от времени украшался прекрасной улыбкой молодой девушки. Какой богатый орнамент вечеров, а также и дней, эти повсюду раскиданные девичьи улыбки! Иная обстановка вспоминается именно потому, что в ней улыбались молодые девушки.

Можно было бы немало подивиться, отмечая брошенные украдкой замечания, которыми г. де

Шарлюс обменивался с некоторыми солидными людьми, присутствовавшими на этом вечере. То были два герцога, видный генерал, крупный писатель, крупный врач, крупный адвокат. Фразы эти были такие: «Кстати, видели вы того лакея, я говорю о мальчике, который ездит на запятках? А у нашей кузины Германт вы ничего не знаете?» — «В настоящее время нет». — «Как же, перед подъездом, у карет, была этакая молоденькая особа, блондиночка, в коротеньких штанишках, она мне показалась ужасно симпатичной. Она очень любезно позвала мою карету, я бы с удовольствием продолжал с ней разговор». — «Да, но я ее считаю враждебно настроенной, и потом она разводит церемонии, а вы ведь любитель обделывать дело одним махом, у вас это отбило бы охоту. Да к тому же, я знаю, что тут нечего делать, один мой приятель пробовал». — «Прискорбно, я нашел, что профиль у нее очень тонкий, а волосы роскошные». — «Вы действительно находите ее такой хорошенькой? Мне кажется, если бы вы к ней присмотрелись, то были бы разочарованы. Нет, вот у буфета всего каких-нибудь два месяца назад вы бы увидели настоящее чудо, детину в сажень ростом, кожа идеальная, и кроме того, он это любит. Но он уехал в Польшу». — «Да, это дале-

ковато». — «Кто знает, может быть, он вернется. В жизни такие встречи всегда бывают». Если умело копнуть поглубже, то не найдется такого большого великосветского вечера, который не был бы похож на вечера, устраиваемые врачами психиатрами для своих пациентов: последние ведут на них вполне осмысленные разговоры, держат себя превосходно, и вы не могли бы догадаться, что это умалишенные, не шепни кто-нибудь из них вам на ухо, показывая на проходящего старика: «Это Жанна д'Арк».

— «Я считаю прямо-таки нашим долгом открыть ему глаза, — сказала г-жа Вердюрен Бришо. — Вовсе не потому, что я против Шарлюса, наоборот. Он человек приятный, а что касается его репутации, то ведь она такого рода, что никак не может мне повредить! Чего я не выношу в нашем маленьком клане, на наших обедах — беседах, так это флиртов, мужчин, говорящих в уголку глупости какой-нибудь женщине, вместо того, чтобы участвовать в разговоре на интересные темы, но ведь как раз за Шарлюса мне нечего было бояться в этом отношении, с ним не могло случиться то, что случилось со Сваном, с Эльстиром и со столькими другими. С ним я была спокойна, он приезжал на мои обеды, и хотя бы

на них собрались все светские дамы, вы могли быть уверены, что общий разговор не будет нарушен флиртом, шушуканьем. Шарлюс это особая статья, за него вы спокойны, он как духовное лицо. Не надо только, чтобы он позволял себе распоряжаться молодыми людьми, которые сюда приходят, и вносил беспорядок в наш маленький кружок, иначе он окажется еще хуже мужчин, которые волочатся за женщинами». Г-жа Вердюрен была искренна, провозглашая таким образом свою снисходительность к шарлизму. Как всякая церковная власть, она считала слабости человеческие грехом не столь тяжким, как то, что могло подорвать авторитет, повредить ортодоксии, подвергнуть изменению древний символ веры в ее маленькой церкви. «Иначе я оскалю зубы. Вот вам господин, пожелавший помешать Шарли прийти на репетицию, потому что его туда не пригласили. Он получит серьезное предупреждение, надеюсь, что этого для него будет достаточно, иначе ему останется только убраться отсюда. Он его держит взаперти, честное слово».

И, употребляя точно такие же выражения, какие употребил бы почти всякий, — ведь есть известное количество необычных выражений, которые при определенных обстоятельствах,

в разговорах на определенную тему почти неизбежно всплывают в памяти говоруна, воображающего, будто он свободно выражает свою мысль, а на самом деле лишь машинально повторяющего всеми затверженный урок, — она прибавила: «Вы не можете теперь видеть Мореля иначе, как облапленного этим верзилой, этим его телохранителем». Г. Вердюрен предложил увести Шарли в отдельную комнату, чтобы с ним поговорить, придумав для этого подходящий предлог. Г-жа Вердюрен выразила опасение, как бы он не расстроился и это не отразилось на его игре. Лучше отложить исполнение этого плана до конца концерта. Может быть, даже до другого раза. Ибо, как ни дорожила г-жа Вердюрен сладким волнением, которое ее охватит, когда она будет знать, что муж ее открывает Шарли глаза в соседней комнате, она страшилась, как бы в случае неудачи г-на Вердюрена скрипач не рассердился и не увильнул шестнадцатого числа.

Погубило г-на де Шарлюс в тот вечер дурное воспитание, — вещь не редкая в великосветском обществе, — приглашенных им гостей, которые как раз начали собираться. Являясь сюда из дружбы к г-ну де Шарлюс, а также из любопытства, манившего проникнуть в подобное место, каждая

герцогиня направлялась прямо к барону, как если бы принимал здесь он, и говорила в двух шагах от Вердюренов, которые все слышали: «Покажите мне, где здесь мамаша Вердюрен; вы считаете необходимым, чтобы я ей представилась? Надеюсь, по крайней мере, что она не пошлет мое имя в завтрашнюю газету, ведь это наверно рассорило бы меня со всеми моими родными. Как! Как! Вон та дама с седыми волосами, но ведь она совсем не такая страшная». Услышав имя мадемуазель Вентейль, которая, впрочем, отсутствовала, не одна из них говорила: «А, дочь сонаты? Покажите ее мне», — и, встречая множество приятельниц, они составляли отдельную группу, подстерегали, горя ироническим любопытством, появление верных, но, не находя ничего достопримечательного, лишь время от времени показывали друг другу пальцем немного своеобразную прическу какой-нибудь дамы, которой через несколько лет предстояло ввести ее в моду в самом высшем свете, и, в общем, сожалели, что салон этот вовсе не настолько отличается от им известных, как они надеялись, испытывали разочарование светских людей, которые, отправляясь в кабаре Брюана в надежде быть ошельмованными его содержателем, увидели бы, что их встречают при входе

корректным поклоном, а вовсе не вожделенным припевом: «Вот так рожа, вот так рыло, так и плюнул бы в нее».

Г. де Шарлюс подверг однажды в Бальбеке тонкой критике поведение г-жи де Вогубер, которая, несмотря на свой большой ум, явилась причиной непоправимого крушения неожиданно блестящей карьеры своего мужа. Король Феодосий и королева Евдокия, — августейшая чета, при которой аккредитован был г. де Вогубер, — снова приехали в Париж, в этот раз на довольно продолжительный срок, и в их честь ежедневно устраивались празднества; все это время королева, находившаяся в дружеских отношениях с г-жой де Вогубер, которую десять лет видела в своей столице, и не знакомая ни с женой президента республики, ни с женами министров, держалась в стороне от них и везде появлялась только в обществе посланницы. Последняя, считая положение свое неуязвимым, — г. де Вогубер являлся творцом союза между королем Феодосием и Францией, — была весьма польщена исключительным вниманием, оказанным ей королевой, и не почуяла грозившей ей опасности, которая через несколько месяцев выразилась в грубом увольнении в отставку г-на де Вогубер, —

событии, напрасно считавшемся невозможным слишком самонадеянной четой.

Комментируя в поезде узкоколейки падение своего друга детства, г. де Шарлюс дивился, как это умная женщина в подобных обстоятельствах не пустила в ход всего своего влияния на короля и королеву, чтобы добиться от них такого отношения, как если бы она не пользовалась никаким влиянием, и побудить их перенести на жену президента республики и жен министров любезность, которой те были бы тем более польщены, иными словами, за которую они на радостях тем более склонны были бы благодарить Вогуберов, что считали бы любезность эту добровольной, а не продиктованной посланником и его супругой. Но хотя мы видим оплошности других, все-таки части сами их совершаем, стоит только нам немного опьяниться успехом. В то время, как гости барона пробирались к нему, чтобы поздравить его и поблагодарить, г. де Шарлюс, словно он был хозяином дома, и не думал просить их подойти к г-же Вердюрен, чтобы сказать ей несколько приветственных слов. Одна только королева Неаполитанская, в которой текла такая же благородная кровь, как и в ее сестрах императрице Елизавете и герцогине Алансонской, завязала

разговор с г-жой Вердюрен, словно она пришла ради удовольствия повидать ее, а не ради музыки и не ради г-на де Шарлюс; она сделала хозяйке тысячу лестных признаний, без конца говорила о своем давнишнем желании с ней познакомиться, похвалила ее обстановку и коснулась самых различных вещей, как если бы была у нее с визитом. Ей так хотелось привести свою племянницу Елизавету, говорила она (ту, что вскоре после этого вышла замуж за бельгийского принца Альберта) — племянница будет очень жалеть. Она замолчала, увидя, как музыканты рассаживаются на эстраде, и попросила показать ей Мореля.

Вряд ли у нее были какие-нибудь иллюзии насчет мотивов, побуждавших г-на де Шарлюс окружать молодого виртуоза таким блеском. Но старая ее мудрость королевы, в которой текла столь благородная кровь, столь богатая опытом, скептицизмом и надменностью, побуждала ее смотреть на неистребимые пороки людей, которых она от души любила, например, кузена своего Шарлюса (подобно ей, сына одной баварской герцогини), как на несчастья, делавшие для них более драгоценной поддержку, которую они могли найти в ней, и приводившие к тому, что она еще с большим удовольствием ее им оказывала,

королева знала, что г. де Шарлюс будет вдвойне тронут тем, что она явилась по его приглашению в настоящем случае. Однако, отличаясь добротой в такой же степени, в какой некогда она выказала себя храброй, эта доблестная женщина, эта королева-солдат, которая сама стреляла на валах Гаэты и всегда готова была рыцарски прийти на помощь слабым, увидя, что г-жа Вердюрен сидит одна, всеми оставленная (вдобавок еще не знавшая, что ей не полагается покидать королеву), постаралась сделать вид, что для нее, королевы Неаполитанской, центром этого вечера, притягательной точкой, побудившей ее сюда приехать, была г-жа Вердюрен. Она извинилась, что не может остаться до конца, так как должна, хотя она никогда не выходила, побывать еще на одном вечере, и особенно просила не тревожить ее, когда она будет уходить, освобождая таким образом г-жу Вердюрен от оказания ей почестей, которые та, впрочем, по неведению своему, и не собиралась ей оказывать.

Надо однако отдать справедливость г-ну де Шарлюс в том, что если он совершенно забыл про г-жу Вердюрен и предоставил приглашенным им господам «своего круга» проявлять к ней скандальное пренебрежение, зато понял, что нельзя

им позволить вести себя так же непристойно во время устроенного им концерта, как они вели себя по отношению к хозяйке. Морель вышел уже на эстраду, артисты рассаживались, а в зале все еще слышны были разговоры, и даже смех, замечания, вроде «кажется, надо быть посвященным, чтобы понимать». Тотчас же г. де Шарлюс, выпрямившись и откинув назад туловище с таким видом, точно он сбросил с себя ту телесную оболочку, в которой я только что видел его идущим в развалку к г-же Вердюрен, придал лицу своему выражение пророка и окинул зал строгим взглядом, означавшим, что теперь не время для смеха, взглядом, под которым вдруг покраснели лица не одной его гостьи, пойманной на месте преступления, как ученица учителем перед всем классом.

Для меня эта поза г-на де Шарлюс, несмотря на все ее благородство, заключала в себе нечто комическое; ибо он то метал на гостей своих молнии горящих взглядов, то, желая им предписать, как «Руководство хорошего тона», соблюдение благоговейной тишины, отрешение от всех светских забот, он сам, поднимая к красивому своему лбу руки в белых перчатках, являл собой образец (которому всем надо было подражать) сосредо-

точенности, почти уже экстаза, не отвечая на поклоны опоздавших невеж, которые не понимали, что теперь наступил час Высокого Искусства. Все были загипнотизированы; никто не осмеливался зашуметь, подвинуть стул; уважение к музыке — благодаря престижу Паламеда — разом внушено было этой толпе, столь же элегантной, сколь дурно воспитанной.

Видя, как на маленькой эстраде рассаживаются не только Морель и пианист, но и другие исполнители, я подумал, что начнет не с Вентейля, а с произведений других композиторов. Ибо я считал, что Вентейль оставил только сонату для рояля и скрипки.

Г-жа Вердюрен села в стороне; полушария ее белого, чуть розоватого лба великолепно круглились, волосы были откинуты, отчасти в подражание портретам XVIII века, отчасти из потребности в прохладе, свойственной лихорадочной больной, которой стыд мешает признаться в своем состоянии; обособленная, она похожа была на божество, возглавлявшее музыкальные празднества, на богиню вагнерьянства и мигрени, на почти трагическую Норну, вызванную гением среди этих скучных людей, перед которыми она гнушалась еще больше, чем перед верными, вы-

ражать свои впечатления от музыки, известной ей лучше, чем им. Концерт начался, я не знал, что играют, я находился в неведомой стране. Где ее расположить? В произведении какого автора был я? Я бы очень хотел это знать; не видя возле себя никого, к кому я мог бы обратиться с вопросом, я бы хотел быть персонажем из «Тысячи и одной ночи», которую постоянно перечитывал: ведь там в минуты неуверенности вдруг появляется джин или юная девица неописуемой красоты, не видимая ни для кого, кроме попавшего в затруднительное положение героя, которому она открывает как раз то, что он желает знать, и вот, в эту минуту я был осчастливлен именно таким волшебным явлением. Как в местности, которую мы считаем неизвестной, но в которую на самом деле мы лишь вступили с новой для нас стороны, мы вдруг оказываемся за поворотом дороги на другой дороге, малейшие уголки которой нам хорошо знакомы, только мы не привыкли выходить на нее таким путем, мы вдруг говорим себе: «да ведь это та самая дорога, что ведет к калитке сада моих друзей NN; я в двух минутах ходьбы от их дома»; действительно, мы видим дочь наших друзей, которая с нами здоровается, проходя мимо; — так посреди той новой для ме-

ня музыки я вдруг обнаружил, что нахожусь в самом сердце сонаты Вентейля; и еще более сказочная, чем та юная девица, коротенькая фраза, закутанная, убранная в серебро, вся сверкающая блестящими звуками, легкими и мягкими как шарфы, подошла ко мне, старая знакомая, которую не трудно было узнать в этом новом наряде. Радость встречи с ней повышалась той дружески знакомой интонацией, с которой она обращалась ко мне, такой убедительной, такой простой, и все же лучившейся свойственной ей переливчатой красотой. Смысл ее появления, впрочем, заключался теперь лишь в том, чтобы показать мне дорогу, которая на этот раз вела не к сонате, так как исполнялось неизданное произведение Вентейля, в котором он только забавлялся, выводя на мгновение коротенькую фразу, как поясняла в этом месте программа, которую надо было иметь одновременно перед глазами.

Только что появившись таким образом, фраза исчезла, и я снова оказался в неведомом мире, но я знал теперь, и каждый звук продолжал мне подтверждать, что мир этот был одним из тех, создание которых Вентейлем являлось для меня вещью совершенно непостижимой, ибо когда, пресытившись сонатой, этим уже исчерпанным

для меня миром, я пробовал вообразить другие миры, столь же прекрасные, но от нее отличные, то я действовал лишь как те поэты, что населяют мнимый свой рай лучами, цветами и реками, ненужно повторяющими те, что можно видеть на земле. Мир, развернувшийся передо мной, наполнял меня такой же радостью, какой наполнила бы соната, если бы я ее не знал, то есть, будучи столь же прекрасным, он был иным. Тогда как соната открывала вид на лилейный сельский рассвет, разрывая свою воздушную чистоту, чтобы повиснуть на легком и все же густом сплетении ветвей природой образованной беседки на жимолости над белыми геранями, новое произведение начиналось в грозовое утро, уже все залитое багрянцем, посреди щемящей тишины, в необъятной пустоте, над ровной и гладкой поверхностью, похожей на поверхность моря; чтобы постепенно сложиться передо мной, этот неведомый космос извлечен был из тишины и мрака в розовых красках зари. Столь новый этот багрянец, столь чуждый нежной, сельской и чистой сердцем сонате, окрашивал все небо, словно заря, какой-то таинственной надеждой.

И уже пение оглашало воздух, напев из семи нот, но совершенно незнакомый, совершенно от-

личный от всего, что я когда-нибудь воображал, от всего, что я мог бы когда-нибудь вообразить, невыразимый и кричащий, уже не голубиное воркование, как в сонате, но раздирающий воздух, столь же резкий, как алый тон, в котором потоплено было начало этой музыки, что-то похожее на мистическое пение петуха, неописуемый пронзительный зов вечного утра. Холодная, омытая дождем, электрическая атмосфера, — совсем иного качества, с совершенно другими давлениями, в мире чрезвычайно далеком от девственного и украшенного растениями мира сонаты, — менялась каждое мгновение, уничтожая, стирая пурпурное обещание Зари. Однако в полдень, когда припекло ненадолго показавшееся солнце, она как будто претворилась в некое тяжеловесное счастье, неуклюжее и почти мужицкое, в котором неистовый, оглушительный перезвон колоколов (похожий на тот, что накалял площадь перед церковью в Комбре и который Вентейль, верно часто его слышавший, нашел, может быть, в эту минуту в своей памяти, как попавшуюся под руки краску на палитре) казался материализацией самого тупого веселья. По правде сказать, этот мотив веселья эстетически мне не нравился, я находил его почти уродливым, ритм его так

тяжело волочился по земле, что почти во всем существенном его можно было бы передать лишь с помощью шумов, особенным образом ударяя палочками по столу. Мне показалось, что у Вентейля не хватило тут вдохновения, почему и у меня не хватило в этом месте силы внимания.

Я взглянул на хозяйку, суровая неподвижность которой казалась протестом против отбивания такта невежественными головами дам из Сен-Жерменского предместья. Г-жа Вердюрен не говорила: «Вы понимаете, что я кое-что смыслю в этой музыке, и даже очень! Если бы мне надо было выражать все, что я чувствую, вы бы слушать устали!» Она этого не говорила. Но за нее говорили прямая и неподвижная ее талия, глаза без выражения, выбившиеся пряди волос. Они говорили также о ее мужестве, о том, что музыканты могут продолжать, могут не щадить ее нервов, что она стойко выдержит анданте, не закричит во время аллегро.

Я взглянул на музыкантов. Наклонив голову и возвышаясь над своим инструментом, виолончелист сжимал его между колен, и в вычурных местах вульгарные черты помимо его воли придавали лицу его выражение отвращения; он нагибался над виолончелью и щупал ее так же

терпеливо и по-домашнему, как если бы чистил картошку, между тем как сидевшая возле него арфистка, совсем ребенок, в коротенькой юбке, окруженная со всех сторон лучами золотого четырехугольника, похожего на те, что, согласно традиционным формам, условно изображают эфир в волшебной комнате какой-нибудь предсказательницы, как будто выискивала там и здесь, в требуемой точке, сладостный звук, похожая на маленькую аллегорическую богиню, посаженную перед золотым трельяжем небесного свода и срывавшую с него, одну за другой, звезды. Что касается Мореля, то одна до сих пор невидимая прядь отделилась от его волос и упала красивым локоном на лоб. Я неприметно повернул голову к публике, чтобы посмотреть, что думает об этой пряди г. де Шарлюс. Но глаза мои встретили только лицо или, вернее, только руки г-жи Вердюрен, потому что запрятанного в них лица ее не было видно.

Тем временем торжествующий мотив колоколов прогнали и рассеяли другие мотивы, и скоро я вновь захвачен был музыкой; тут я отдал себе отчет в том, что если в этом септете поочередно выставлялись различные элементы, чтобы под конец сочетаться между собой, то и соната

Вентейля и, как узнал я впоследствии, другие его произведения все были по отношению к этому септету лишь робкими опытами, восхитительными и слишком зыбкими, по сравнению с торжественным и законченным произведением, которое мне в эту минуту открывалось. Равным образом я не мог не вспомнить по аналогии, что я думал о других мирах, могущих быть созданными Вентейлем, как о столь же наглухо замкнутых вселенных, какими были одна за другой каждая моя любовь; но по совести мне следовало признаться, что в недрах моей последней любви, — любви к Альбертине — первые мои поползновения ее любить (в Бальбеке в самом начале, потом после игры в веревочку, потом когда она ночевала в гостинице, потом в Париже в туманное воскресенье, потом после вечера у Германтов, потом снова в Бальбеке и наконец в Париже, где моя и ее жизнь были так тесно соединены вместе) были лишь зовами; равным образом, если бы я стал теперь рассматривать уже не любовь мою к Альбертине, но всю мою жизнь, то и другие мои любовные приключения тоже оказались бы лишь слабыми и робкими опытами, зовами, подготовлявшими эту более глубокую любовь: любовь к Альбертине.

И я перестал следить за музыкой, чтобы вновь задаться вопросом, виделась или не виделась Альбертина в последние дни с мадемуазель Вентейль, как мы вновь бередим наши внутренние раны, о которых на минуту позабыли, чем-нибудь от них отвлекшись. Ведь это во мне совершались возможные поступки Альбертины. Мы владеем двойниками всех людей, которых мы знаем, но обыкновенно они расположены на горизонте нашего воображения, нашей памяти; они остаются нам относительно чуждыми, и то, что они сделали или могли сделать, не больше для нас болезненно, чем помещенный в отдалении предмет, который возбуждает в нас лишь нейтральные зрительные ощущения. Все, что огорчает этих людей, мы воспринимаем созерцательно, мы можем выражать по этому поводу сожаление в соответствующих словах, которые внушают другим мысль о нашем добром сердце, — внутренне мы не ощущаем их горя; но со времени моей бальбекской раны двойник Альбертины помещался у меня в сердце, на большой глубине, откуда его трудно было извлечь. То, что я видел из ее действий, меня задевало, я похож был на больного, чувства которого были бы таким досадным образом перемещены, что

вид какого-нибудь цвета ощущался бы им как, скажем, глубокий порез. Счастье, что я до сих пор не поддался искушению порвать с Альбертиной; скучная перспектива вновь ее увидеть через час или два по возвращении домой была пустяком по сравнению с мучительной тревогой, которая меня бы охватила, если бы разлука произошла в настоящую минуту, когда у меня было насчет нее неразрешенное сомнение, до того как она успела бы сделаться для меня безразличной. И вот, — в то время, как я таким образом представлял ее себе поджидающей меня дома, горячо меня любящей, находящей, что время тянется томительно медленно, вздремнувшей, может быть, на минутку в своей комнате, — меня ласково коснулась мимоходом одна нежная фраза септета, семейная и домашняя. Может быть, — настолько все перекрещивается и переплетается в нашей внутренней жизни, — она внушена была Вентейлю сном его дочери, — дочери, являвшейся нынче причиной всех моих тревог, — когда в мирные вечера сон ее окутывал своей безмятежностью работу композитора, — эта фраза, так меня успокоившая тем самым бархатистым фоном тишины, что сквозит в иных мечтаниях Шумана, во время которых, даже когда «поэт говорит», вы догадываетесь, что

«дитя спит». Уснувшую, разбуженную, я вновь увижу ее сегодня вечером, когда мне захочется вернуться, Альбертину, мою деточку. А все-таки, сказал я себе, нечто более таинственное, чем любовь Альбертины, было как будто обещано в начале этого произведения, в его первых заревых криках.

Я попробовал прогнать мысль о моей подруге, чтобы думать только о композиторе. Да и без того он как будто здесь присутствовал. Было такое впечатление, будто, перевоплотившись, автор навеки остался жить в своей музыке; чувствовалась радость, с которой он выбирал краску для того или иного тембра, подгонял ее к другим. Ибо с более глубокими своими дарами Вентейль соединял и тот, которым владели немногие музыканты, и даже немногие живописцы, — дар пользоваться не только чрезвычайно устойчивыми красками, но и в высшей степени личными, так что ни время не губит их свежести, ни ученики, подражающие тому, кто их нашел, и даже мастера, его превзошедшие, не затмевают их оригинальности. Революция, которую произвело их появление, не знает анонимного усвоения последующими эпохами достигнутых ею результатов; она разражается, она снова бушует всякий раз,

как исполняются произведения новатора. Каждый тембр оттенялся краской, которую не могли бы воспроизвести никакие на свете правила, усвоенные самыми учеными музыкантами, так что Вентейль хотя и пришел в свой час и занимал свое место в истории музыки, но его покидал и рождался заново каждый раз, когда играли какое-нибудь из его произведений, которое казалось появившимся на свет после произведений более новых композиторов, — иллюзия, обусловленная его долговременной новизной, этим с виду противоречивым и действительно обманчивым свойством.

Симфоническая страница Вентейля, знакомая вам в переложении для рояля, когда вы ее слышали в оркестровом исполнении, подобна была солнечному лучу в летний день, разложенному призмой оконного стекла перед его проникновением в темную столовую, она сверкала и переливалась, как неожиданное многоцветное сокровище, всеми драгоценностями «Тысячи и одной ночи». Но можно ли сравнивать с этой неподвижной ослепительностью света то, что было жизнью, непрестанным и счастливым движением? У этого Вентейля, которого я знал таким робким и таким несчастным, появлялась

отвага, когда надо было выбрать тембр и с ним соединить другой, он блаженствовал в полном смысле этого слова, в этом не оставалось никакого сомнения, стоило только прослушать любое из его произведений. Радость, доставленная ему такими сочетаниями звуков, прилив сил, который она ему дала для открытия других сочетаний, вели слушателя от находки к находке, вернее, вел его сам творец, черпая в только что найденных им красках бурную радость, дававшую ему силы открывать новые, бросаться на те, что они как бы призывали, с восторгом, в трепете, точно под действием внутреннего разряда, когда высшие озарения рождались в нем от встречи медных, — задыхаясь, в опьянении, обезумев, испытывая головокружение, — так писал он свою большую музыкальную фреску, словно Микеланджело, привязанный к своей лестнице головой вниз и в таком положении расписывавший беспорядочными взмахами кисти потолок Сикстинской капеллы. Вентейль умер много лет тому назад; но среди этих оживленных им инструментов ему дано было продолжать в течение неограниченного времени по крайней мере часть своей жизни. Только ли своей человеческой жизни? Но если искусство было лишь продолжением жизни, то

стоило ли чем-нибудь ему жертвовать, не являлось ли оно столь же нереальным, как и сама жизнь? Внимательнее вслушиваясь в этот септет, я не мог так думать. Конечно, отливающий алыми красками зари септет сильно отличался от белой сонаты; робкий вопрос, на который отвечала коротенькая фраза, непохож был на исступленную мольбу об исполнении странного обещания, так пронзительно, так сверхъестественно, так отрывисто прозвучавшего над морем, пронизав трепетом еще недвижный румянец утреннего неба. А все-таки столь различные эти фразы составлены были из одних и тех же элементов, ибо если существовал некий космос, доступный нашему восприятию в отдельных кусках, разбросанных по таким-то частным домам, по таким-то музеям, а именно: космос Эльстира, тот, что он созерцал, тот, в котором он жил, — то и музыка Вентейля выводила, нота за нотой, клавиша за клавишей, невиданные красочные гаммы некоей бесценной, неподозреваемой вселенной, которая расчленена была пробелами, остававшимися между отдельными исполнениями его произведений; обе эти столь несхожие вопросительные фразы, определявшие столь различные темпы сонаты и септета, одна — ломавшая в короткие

призывы непрерывную и чистую линию, другая — спаивавшая в один цельный механизм разрозненные фрагменты, обе эти фразы, одна такая спокойная и робкая, отвлеченная и почти философская, другая настойчивая, озабоченная, умоляющая, — обе эти фразы были однако одной и той же молитвой, брызнувшей на разно окрашенных душевных восходах солнца и лишь преломленной через различную среду иных мыслей, исканий прогрессирующего с годами искусства, попыток Вентейля создать что-то новое. Молитва, надежда, которая была в сущности одной и той же, которую нетрудно было узнать под этой маскировкой в различных произведениях Вентейля и которую, с другой стороны, можно было найти только в произведениях Вентейля.

Музыковеды могли бы, конечно, обнаружить родственные связи этих фраз, отыскать их генеалогию в произведениях других великих композиторов, но только в отношении побочных их свойств, чисто внешнего сходства, аналогий, скорее, остроумно найденных логически, чем почувствованных в непосредственном впечатлении. А впечатление, производимое этими фразами Вентейля, отличалось от всякого другого впечатления, как если бы, вопреки выводам, к

которым, по-видимому, приходит наука, индивидуальное существовало. Как раз когда Вентейль прилагал мощные усилия к тому, чтобы быть новым, нетрудно было подметить под кажущимися различиями глубокое сходство, а сходство умышленное, которое наблюдалось в его произведениях, когда он многократно повторял одну и ту же фразу, вносил в нее разнообразие, забавлялся изменениями ее ритма, заставлял вновь появляться в первоначальной форме, — подобного рода умышленное сходство, плод рассудочных выкладок, поневоле поверхностное, никогда не достигало такой разительности, как то другое, скрытое, непроизвольное сходство, прорывавшееся под различными красками между двумя разными шедеврами; ибо тогда Вентейль, стараясь быть новым, вопрошал самого себя, со всей мощью творческого усилия достигал своей подлинной сущности на тех глубинах, где, какой бы вопрос ей ни задать, она неизменно отвечала все тем же, своим собственным, тоном. Этот тон, этот голос Вентейля отличается от голоса других композиторов гораздо существеннее, между ними проходит гораздо более значительное различие, чем то, что мы воспринимаем между голосами разных людей, даже между мычанием и ревом

животных разных видов: то различие, какое существует между мыслью этих других композиторов и неустанными изысканиями Вентейля, вопросом, который он себе ставил в стольких формах, привычными его размышлениями, но до такой степени отрешенными от аналитических форм логического рассуждения, словно они протекали в мире ангелов, так что мы хотя и можем измерить их глубину, но настолько же не в состоянии перевести на язык человеческий, как не в состоянии этого сделать бесплотные духи, когда вызвавший их медиум допытывается о тайнах смерти.

Даже если принимать в расчет ту оригинальность, вырабатываемую технической выучкой, которая так меня поразила сегодня днем, то родство, которое могли бы найти между ними музыковеды, все же тон, до которого поднимаются, к которому помимо своей воли возвращаются эти великие певцы — самобытные композиторы, — является единственным в своем роде и служит доказательством неразложимо индивидуального существования души. Как бы ни пытался Вентейль сделать более торжественным, более величественным или же более живым и более веселым, как бы ни пытался он приукрасить то, что

видел отражавшимся в сознании слушателей, он помимо своей воли все это заливал той особенной волной, что увековечивает его пение и позволяет сразу его узнать. Но где же Вентейль научился этому пению, отличному от пения других композиторов и похожему на все его песни, — где он его услышал? Каждый художник является таким образом гражданином некоей неведомой родины, позабытой им самим, отличной от той, откуда придет, взяв путь на землю, другой великий художник. Вентейль, самое большее, как будто приблизился к этой родине в последних своих произведениях. Атмосфера в них не была больше атмосферы <…>* тождественным самому себе, — доказывает постоянство составных элементов его души.

Но в таком случае, не правда ли, весь реальный отстой этих элементов, который мы принуждены хранить про себя, который в разговоре даже друг не способен передать другу, учитель ученику, любовник своей возлюбленной, этот непередаваемый субстрат, определяющий качественное различие того, что каждый почувствовал и принужден оставлять на пороге фраз, так как при их помощи мы в состоянии сноситься с другими, лишь ограничиваясь предметами общими для

всех и не представляющими никакого интереса, — не правда ли это непередаваемое нечто являет нам искусство, искусство таких художников, как Вентейль или Эльстир, объективируя в красках спектра интимный состав тех миров, которые мы называем индивидуумами и которых без искусства мы бы никогда не познали? Крылья и иначе устроенный механизм дыхания, позволив пересекать мировое пространство, не принесли бы нам никакой пользы, ибо если бы мы ступили на Марс или на Венеру, сохранив наши чувства, они бы придали облик земных предметов всему, что мы могли бы там увидеть. Единственное подлинное путешествие, единственный источник молодости — это не путешествие к новым пейзажам, а обладание другими глазами, лицезрение вселенной глазами другого человека, сотен других людей, лицезрение сотен вселенных, которые каждый из них видит, которыми каждый из них является; мы можем этого достигнуть с помощью Эльстиров, с помощью Вентейлей; с помощью им подобных мы поистине летаем с звезды на звезду.

Анданте только что закончилось фразой, полной такой нежности, что я ей весь отдался; затем, перед переходом к следующей части, был сделан

маленький перерыв, во время которого исполнители оставили свои инструменты, а слушатели обменялись несколькими впечатлениями. Один герцог, желая показать, что он понимает в музыке, объявил: «Очень трудно хорошо играть». Люди более приятные перекинулись со мной несколькими словами. Но что такое были их слова, оставлявшие меня, подобно всякому человеческому слову, глубоко равнодушным, по сравнению с небесной музыкальной фразой, с которой я только что беседовал? Я был в полном смысле слова как падший ангел, который, лишившись восторгов рая, попадает в самую ничтожную действительность. Как некоторые существа бывают последними свидетелями жизненной формы, которую природа перестала производить, я задался вопросом, не является ли музыка единственным примером того, чем могло бы быть, — если бы не был изобретен язык, если бы люди не научились образованию слов и анализу мыслей, — общение душ. Она подобна возможности, которая не получила развития; человечество пошло по другим путям, по пути разговорного и письменного языка. Но этот возврат нерасчлененной на слова речи был так упоителен, что по выходе из рая звуков соприкосновение с более

или менее разумными существами казалось мне поразительно тусклым. Во время музыки я мог их вспоминать, с нею смешивать; или, вернее, я соединял с музыкой воспоминание только об одном лице, об Альбертине.

Завершавшая анданте фраза показалась мне столь прекрасной, что я пожалел о том, что Альбертина не знала, а если бы и знала, то не поняла бы, какой было для нее честью сочетаться со столь прекрасной вещью, которая нас соединяла и от которой она как будто позаимствовала волнующий голос. Но когда музыка прервалась, существа, наполнявшие залу, показались мне удивительно пошлыми. Гостей обносили прохладительными. Г. де Шарлюс время от времени обращался с вопросами к одному лакею: «Как вы поживаете? Получили мою пневматичку? Придете?» Конечно, в вопросах этих была вольность вельможи, воображающего, что от него лестно слышать такие вещи, и более близкого народу, чем буржуа, но они заключали в себе также уловку преступника, который думает, что вещь, выставляемая напоказ, уже в силу этого почитается невинной. И он прибавлял тоном Германтов, свойственным г-же де Вильпаризи: «Это славный малый, добрая душа, я часто обращаюсь к нему

за услугами». Но уловки эти обращались против барона, потому что все находили чрезмерными его любезности столь интимного свойства и его пневматички, посылаемые лакеям. Последние же бывали не столько ими польщены, сколько поставлены в неловкое положение перед своими товарищами.

Между тем возобновившийся септет приближался к концу; неоднократно возвращалась та или иная фраза сонаты, но каждый раз измененная, в другом ритме и с другим аккомпанементом, та самая и однако другая, как возрождаются все вещи в жизни; каждый раз то была одна из тех фраз, которые, хоть и невозможно понять, какое сродство назначает им единственным и неизбежным жилищем прошлое определенного композитора, находятся только в его произведениях и появляются в них постоянно, являются их феями, дриадами, домашними божествами; в этом септете я первоначально различил их две или три, напомнившие мне сонату. Вскоре заметил я — закутанную в фиолетовый туман, поднимавшийся главным образом в последних произведениях Вентейля и так упорно, что даже когда он вставлял где-нибудь танец, и тот пребывал как бы заточенным в опале, — другую фразу

сонаты, находившуюся еще в таком отдалении, что я ее едва узнавал; вот она нерешительно приблизилась, исчезла, точно ее спугнули, потом вернулась, переплелась с другими, пришедшими, как я узнал позже, из других произведений, подозвала другие фразы, становившиеся в свою очередь привлекательными и убедительными, как только они были приручены, и вступавшие в хоровод, хоровод божественный, но невидимый для большей части слушателей, которые, ничего не различая сквозь стоявшую перед ними густую пелену, произвольно размечали восхищенными восклицаниями смертельно их томившую сплошную скуку. Потом все эти фразы удалились, за исключением одной, которая возвращалась пять или шесть раз, а я все не мог различить ее лицо, хотя от нее веяло такой лаской и была она так непохожа — как, вероятно, и коротенькая фраза из сонаты для Свана — на те желания, какие когда-либо возбуждали во мне женщины, что она, эта фраза, сулившая мне таким мелодичным голосом счастье, поистине стоившее того, чтобы его добиться, являлась, может быть, — невидимое создание, языка которого я не знал, но прекрасно его понимал, — единственной Незнакомкой, которую мне суждено было встретить в жизни.

Потом она распалась, преобразовалась, как и коротенькая фраза сонаты, и обратилась в таинственный зов, которым начинался септет. Ей противостала фраза скорбного характера, но столь глубокая, столь смутная, столь внутренняя, почти что столь органическая и утробная, что при каждом новом ее появлении вы не знали, повторяется ли это музыкальная тема или же нервная боль. Вскоре оба мотива вступили в единоборство, и тогда порой один из них исчезал совершенно, а порой слышались только обрывки другого. По правде сказать, то было лишь единоборство энергий; ибо если существа эти мерялись силой, то отрешившись от своего физического тела, от своего внешнего вида, от своего имени и находя во мне как бы внутреннего зрителя, тоже не придающего значения именам и внешним особенностям, а интересующегося только их нематериальной динамической борьбой и напряженно следящего за всеми ее звуковыми перипетиями. Наконец радостный мотив восторжествовал; то не был больше тревожный почти зов, раздавшийся где-то за пустым небом, то была неизъяснимая радость, как будто пришедшая из рая радость настолько же отличная от радости сонаты, как мог бы отличаться скажем, обла-

ченный в ярко-красную мантию и трубящий в рог архангел Мантеньи от играющего на теорбе нежного и сосредоточенного ангела Беллини. Я твердо знал, что этого нового оттенка радости, этого призыва к радости потусторонней мне не забыть никогда. Но удастся ли мне когда-нибудь ее вкусить?

Вопрос этот представлялся мне тем более важным, что преображенная фраза могла бы лучше всего характеризовать — по контрасту со всей остальной моей жизнью, с видимым миром — те впечатления, которые с большими перерывами я вновь находил в моей жизни в качестве опорных пунктов, отправных начал для построения подлинной жизни: впечатления, испытанные перед колокольнями Мартенвиля, перед группой деревьев возле Бальбека. Во всяком случае, возвращаясь к своеобразному акценту фразы септета, как удивительно было, что это предчувствие, столь далекое от всего, что предписывала будничная жизнь, это столь смелое приближение к потусторонним ликованиям воплотилось как раз в жалком корректном обывателе, которого мы встречали в Комбре в месяце служб Деве Марии; но еще более поразительно, что это откровение, самое редкостное из всех мной по-

лученных, неведомого типа радости, я получил от Вентейля: ведь, говорили он оставил, умирая, только сонату, а все прочее пребывало в форме не поддающихся расшифровке заметок. Не поддающихся расшифровке, однако в заключение все-таки расшифрованных, благодаря терпению, сообразительности и почтительным чувствам единственного лица, достаточно долго жившего с Вентейлем, для того чтобы изучить его манеру работы, разгадать его указания для оркестра: подругой мадемуазель Вентейль. Еще при жизни великого композитора она переняла от его дочери преклонение той перед своим отцом. Как раз по причине этого культа обе девушки, поступая наперекор своим истинным наклонностям, могли находить больное наслаждение в поругании памяти покойника. (Благоговение перед отцом как раз и было условием кощунственных выходок его дочери. Правда, сладострастие этого кощунства для них осталось недоступным, но сладострастием тут дело не исчерпывалось.) Выходки их повторялись, впрочем, все реже и реже, пока не прекратились вовсе, по мере того как болезненные плотские отношения, это тусклое и дымное полыхание, уступали место пламени высокой и чистой дружбы. Подругу мадемуазель

Вентейль подчас мучила докучная мысль, что она, может быть ускорила смерть Вентейля. По крайней мере, затратив годы на распутывание оставленной им тарабарщины установив правильное чтение этих непонятых иероглифов подруга мадемуазель Вентейль могла находить утешение в том, что обеспечила бессмертную искупительную славу композитору, последние годы которого были ею так омрачены.

Из не освященных законом отношений вытекают столь же многообразные и столь же сложные, но более прочные родственные связи, чем те, что порождаются браком. Даже не останавливаясь на отношениях столь своеобразного характера, разве не видим мы каждый день, что адюльтер, когда он основан на подлинной любви, не колеблет чувства семьи, родственных обязанностей, а оживляет их. Адюльтер вводит дух в букву, которую брак очень часто оставляет мертвой. Добрая дочь, которая только из приличия будет носит траур по второму мужу своей матери, изойдет слезами, оплакивая человека, выбранного матерью в любовники. Впрочем, мадемуазель Вентейль действовала только из садизма, что, конечно, ее не оправдывало, но доставляло мне некоторую отраду, когда я об этом думал. Ведь в

таком случае, говорил я себе, оскверняя со своей подругой фотографическую карточку отца, она не могла не отдавать себе отчет в том, что все это у нее только больные нервы, припадок безумия, а вовсе не та подлинная ликующая злоба, которой ей хотелось бы. Мысль, что это только симуляция злобы, портила ей удовольствие. Но если она портила ей удовольствие, то, приходя ей в голову впоследствии, не могла не облегчать ее страдание. «Я тут не причем, — должна была она говорить себе, — я была не в своем уме. Я — я и до сих пор хочу молиться за своего отца, я не хочу отчаиваться в его доброте». Возможно, однако, что эта мысль, несомненно посещавшая ее в минуты наслаждения, в минуты страдания не приходила ей на ум. Мне бы хотелось внушить ее ей. Я уверен, что сделал бы ей добро и мог бы восстановить между ней и памятью об ее отце довольно приятные отношения.

Как в неразборчивых тетрадях гениального химика, куда, не подозревая, что смерть у него за плечами, он заносит открытия, которые, может быть, навсегда останутся никому неизвестными, подруга мадемуазель Вентейль прочитала в бумагах композитора, еще более неразборчивых, чем исчерченные клинописью папирусы,

навеки истинную, всегда живительную формулу неведомой радости, мистической надежды на появление кроваво-красного ангела утра. Но если и для меня, впрочем, может быть, меньше, чем для Вентейля, эта женщина была причиной стольких страданий при отъезде из Бальбека, потом не далее, как сегодня днем, снова пробудив во мне ревность к Альбертине, а в будущем еще больше должна была меня измучить, — зато благодаря ей мог дойти до меня этот зов, который отныне будет непрестанно во мне раздаваться, как обещание и доказательство, что кроме небытия, которое я нашел во всех удовольствиях и даже в любви, существует еще нечто, достижимое очевидно средствами искусства, и что если моя жизнь казалась мне такой никчемной, то по крайней мере она не все еще свершила.

По правде говоря, женщина эта, благодаря своему неутомимому труду, впервые дала возможность узнать по-настоящему творение Вентейля. Рядом с его септетом некоторые фразы сонаты, одни только известные публике, представлялись настолько банальными, что невозможно было понять, как могли они вызвать такое восхищение. Это все равно, как мы бываем удивлены, что такие незначительные вещи, как

романс Вольфрама «Обращение к звезде» и молитва Елизаветы могли волновать на концертах фанатических любителей, которые без конца аплодировали и надрываясь кричали «бис» по окончании номеров, которые нам, знающим «Тристана», «Золото Рейна» и «Мейстерзингеров», представляются однако тусклым убожеством. Приходится предположить, что эти бесцветные мелодии содержали уже в каких-то микроскопических и потому, может быть, легче усваиваемых дозах кое-какую часть оригинальности шедевров, которые ретроспективно одни только и идут в счет для нас, между тем как самое их совершенство явилось бы, может быть, помехой для их понимания; эти банальные вещи проложили для последних дорогу в сердца. Но если они давали смутное предчувствие будущих красот, то все-таки оставляли их в полной безвестности. Точно так же дело обстояло с Вентейлем; если бы, умирая, он оставил — за исключением некоторых частей сонаты — только то, что он успел закончить, то доступные публике его вещи значили бы так же мало по сравнению с его подлинным величием, как, скажем, «Защищенный проход короля Иоанна», «Невеста литаврщика» и «Купальщица Сара» значили бы для Виктора Гюго, если бы по

опубликовании их он умер, не успев написать «Легенды веков» и «Созерцаний»: то, что является для нас его подлинным творением, оставалось бы чисто виртуальным, столь же неведомым, как не доступные нашему восприятию вселенные, о которых мы никогда ничего не узнаем.

Впрочем, резкий контраст тесного соединения гения (а также таланта и даже добродетели) с оболочкой пороков, в которой, как случилось, например, с Вентейлем, гений так часто бывает заключен и сохранен, четко проступал, как на вульгарной аллегории, и в собрании приглашенных г-ном де Шарлюс гостей, посреди которых я очутился по окончании музыки. Хотя и ограниченное в настоящем случае салоном г-жи Вердюрен, собрание это походило на множество других, образующие элементы которых остаются не известными широкой публике, а сколько-нибудь осведомленные журналисты-философы называют их парижскими, или панамистскими, или дрейфусарскими, не подозревая о том, что точно такие же собрания могут происходить в Петербурге, в Берлине, в Мадриде и во все времена; в самом деле, если на этом вечере у г-жи Вердюрен были товарищ министра изящных искусств, человек отлично воспитанный, действительно

тонкий ценитель искусств и сноб, несколько герцогинь и три посла со своими женами, то ближайший, непосредственный мотив их присутствия крылся в отношениях, существовавших между г-ном де Шарлюс и Морелем, отношениях, побуждавших барона придавать как можно больше блеска артистическим успехам своего юного идола и добиваться для него крестика Почетного легиона; причина более отдаленная, сделавшая это собрание возможным, заключалась в том, что одна молодая девушка, которая поддерживала с мадемуазель Вентейль такие же отношения, как барон с Шарли, выпустила в свет целый ряд гениальных произведений, явившихся таким откровением, что вскоре объявлена была под покровительством министра народного просвещения подписка на сооружение памятника Вентейлю. Впрочем, для произведений покойного композитора оказались столь же полезны, как и отношения мадемуазель Вентейль со своей подругой, отношения барона с Шарли, которые послужили для них чем-то вроде сокращающей дорогу тропинки, позволившей публике подойти к ним, не теряя времени на окольные пути если не непонимания, которое долго еще будет существовать, то по крайней мере полного

незнания, которое могло бы длиться годами. Каждый раз, когда совершается событие, доступное вульгарному уму журналиста-философа, то есть по большей части событие политическое, журналисты-философы убеждены бывают, что произошла какая-то перемена во Франции, что мы больше не увидим таких вечеров, не будем больше восхищаться Ибсеном, Ренаном, Достоевским, д'Аннунцио, Толстым, Вагнером, Штраусом. Ибо журналисты-философы черпают доводы из подозрительной закулисной стороны этих официальных чествований, чтобы найти нечто декадентское в прославляемом на них искусстве, между тем как чаще всего оно бывает самым что ни на есть суровым.

Однако нет ни одного имени среди наиболее почитаемых этими журналистами-философами, которое не давало бы самым естественным образом повода для подобных странных празднеств, хотя бы странность их меньше бросалась в глаза, была лучше замаскирована. Что же касается нынешнего, то нечистые элементы, в нем сочетавшиеся, поражали меня с другой точки зрения; конечно, я лучше кого-либо был в состоянии их разобщить, так как имел случай узнать их порознь, но замечательно, что одни из них, те,

что связывались с мадемуазель Вентейль и ее подругой, напоминая мне Комбре, говорили также об Альбертине, то есть о Бальбеке, ибо оттого, что я видел когда-то мадемуазель Вентейль в Монжувене и узнал об интимных отношениях ее подруги с Альбертиной, мне предстояло сейчас, по возвращении домой, найти вместо одиночества поджидавшую меня Альбертину; другие же элементы, те, что касались Мореля и г-на де Шарлюс, напоминая мне Бальбек, где я наблюдал на перроне донсьерского вокзала, как завязывалось между ними знакомство, говорили о Комбре и его двух «сторонах», ибо г. де Шарлюс был одним из тех Германтов, графов Комбрейских, что обитали в Комбре, не имея в нем пристанища, между небом и землей, как Жильбер Дурной в своем витраже; наконец Морель был сыном старого лакея, виновника моего знакомства с дамой в розовом, который через много лет дал мне возможность узнать в ней г-жу Сван.

Когда музыка кончилась и гости стали с ним прощаться, г. де Шарлюс вновь совершил ту же ошибку, которая была им допущена при их прибытии. Он их не просил подходить к хозяйке, чтобы и на нее с мужем распространилась приносимая ему благодарность. Образовалась длинная

вереница, но только перед одним бароном, и он это отлично видел, потому что через несколько минут сказал мне: «Самая форма художественного празднества приняла в заключение довольно забавный, «свадебный» характер, когда поручители выстраиваются для подписи в ризнице». Благодарностью гости не ограничивались, они заговаривали с бароном на разные темы, чтобы побыть возле него лишнюю минуту, между тем как те, что еще не поздравили его с успехом концерта, стояли, переминаясь с ноги на ногу. Кое-кто из мужей выражал желание уйти; но их жены, снобки, хотя и герцогини, протестовали: «Нет, нет, хотя бы даже нам пришлось ждать час, все равно нельзя уходить, не поблагодарив Паламеда, который взял на себя столько труда. Только он и в состоянии в настоящее время давать подобные праздники». Никто и не думал представиться г-же Вердюрен, как никто бы не подумал представиться капельдинерше театра, куда какая-нибудь великосветская дама привела на один вечер всю аристократию. «Были вы вчера у Элианы де Монморанси, дорогой кузен?» — спрашивала г-жа де Мортемар, желая продолжить разговор. «Ей-богу, не был! Я очень люблю Элиану, но не понимаю ее пригласительных билетов. Видно, я туповат, —

прибавил он, растянув губы в веселую улыбку, между тем как г-жа де Мортемар чувствовала, что вот сейчас она первая услышит новую шуточку Паламеда, как ей не раз уже доводилось слышать такие шуточки от Орианы. — Я действительно получил недели две тому назад карточку милейшей Элианы. Над спорным именем Монморанси помещалось следующее любезное приглашение: «Дорогой кузен, вы сделаете мне большое одолжение, подумав обо мне в будущую пятницу в половине десятого». Ниже приписаны были два уже не столь ласковых слова: «Чешский квартет». Они мне показались непонятными, имеющими, во всяком случае, не больше отношения к предыдущей фразе, чем те письма, на обороте которых писавший начал другое письмо словами: «Дорогой друг», на чем и оборвал, не взяв другого листа или по рассеянности или ради экономии бумаги.

Я очень люблю Элиану и не рассердился на нее, я просто не придал никакого значения странным и неуместным словам «чешский квартет», и так как я человек порядка, то поставил над камином приглашение подумать о госпоже де Монморанси в пятницу в половине десятого. Хоть меня и считают существом покорным, пунктуальным и кротким, как Бюффон говорит

про верблюда, — тут смех послышался вокруг г-на де Шарлюс, которому известно было, что его считают, напротив, человеком крайне строптивым и неуживчивым, — я опоздал на несколько минут (ровно на столько времени, сколько мне понадобилось, чтобы переодеться) и без больших угрызений совести, подумав, что половина десятого стояло на карточке вместо десяти, я под бой часов уселся у своего камина в мягком халате, обутый в теплые домашние туфли, и принялся думать об Элиане, как она меня просила, с напряжением, начавшим ослабевать только к половине одиннадцатого. Передайте ей, пожалуйста, что я в точности исполнил ее весьма бесцеремонную просьбу. Думаю, что она останется довольна». Г-жа де Мортемар помирала со смеху, и г. де Шарлюс вместе с ней. «А завтра, — продолжала она, не думая о том, что превысила, и намного, время, которое ей можно было уделить, — пойдете вы к нашим кузенам Ла Рошфуко?» — «О, нет, это невозможно, они меня пригласили, как, вижу, и вас, на вещь совершенно непостижимую и неосуществимую, которая называется, если верить пригласительному билету: «Чай с танцами». Когда я был моложе, все считали меня очень ловким, но сомневаюсь,

чтобы я мог, не нарушая приличий, напиться чаю танцуя. Между тем, я никогда не любил есть и пить нечистоплотно. Вы мне скажете, что в настоящее время мне уже можно не танцевать. Но даже усевшись поудобнее, чтобы напиться чаю, — к качеству которого я, впрочем, отношусь с недоверием, потому что он соединяется почему-то с танцами, — я бы все время опасался, как бы кавалеры помоложе меня и не обладающие, может быть, такой ловкостью, какая была у меня в их возрасте, не опрокинули своих чашек мне на фрак, ибо это испортило бы для меня удовольствие опорожнять мою собственную».

Г. де Шарлюс даже не довольствовался тем, что обходил молчанием г-жу Вердюрен и разговаривал на всевозможные темы, с видимым увлечением развивая их и меняя, ради всегда ему свойственного жестокого удовольствия заставлять своих друзей бесконечно выстаивать «в хвосте», с ангельским терпением дожидаясь своей очереди; он вдобавок подвергал критике всю ту часть вечера, за которую ответственна была г-жа Вердюрен: «Кстати, по поводу чашек, что это за странные полоскательницы, похожие на те, в которых во времена моей молодости доставляли мороженое от Пуаре Бланш. Кто-то мне

сказал сейчас, что они предназначаются для «кафе гляссе». Но что касается этого кафе гляссе, то я не видел ни кофе, ни мороженого. Какие любопытные вещицы неопределенного назначения». Говоря это, г. де Шарлюс поднес вертикально ко рту руки в белых перчатках и скромно потупил свой обличающий взгляд, словно боясь, как бы его не услышали и даже не увидели хозяева дома. Но это было лишь притворство, потому что через несколько минут он собирался высказать эти критические замечания самой хозяйке, а немного позже бесцеремонно ей предписать: «В особенности, чтоб не было больше никаких чашек для кафе гляссе! Подарите их той из ваших приятельниц, чей дом вы желаете запакостить. Только боже сохрани, пусть она не ставит их в салоне, иначе можно позабыться и подумать, что ошибся комнатой, так как это ни дать ни взять ночные горшки». — «Но, дорогой кузен, — говорила гостья, тоже понижая голос и вопросительно смотря на г-на де Шарлюс, не из боязни навлечь на себя гнев г-жи Вердюрен, а опасаясь, как бы он сам не рассердился, — она, может быть, еще не понимает всего хорошенько…» — «Ее научат». — «О! — смеялась гостья, — лучшего профессора ей не сыскать! Вот повезло ей; с вами можно

быть уверенным, что фальшивой ноты не возьмешь». — «Во всяком случае, в музыке, которую мы прослушали, их не было». — «О, это было божественно! Такие восторги незабываемы. Кстати, по поводу этого гениального скрипача, — продолжала она, воображая по своей наивности, что г. де Шарлюс интересуется скрипкой самой по себе, — я на днях слышала другого скрипача, он чудесно играл сонату Форе, вы его не знаете? Его зовут Франк...» — «Да, это ужас, — отвечал г. де Шарлюс, нимало не смущаясь грубостью своего заявления, подразумевавшего, что кузина его лишена всякого вкуса. — Что касается скрипача, то советую вам держаться моего». Тут г. де Шарлюс и его кузина вновь начали обмениваться опущенными и выслеживающими взглядами, ибо г-жа де Мортемар, сильно покраснев и пытаясь своим рвением загладить сделанный промах, собиралась предложить г-ну де Шарлюс устроить вечер с выступлением Мореля. Но для нее цель этого вечера заключалась не в том, чтобы представить в выгодном освещении талант, хотя она и готова была утверждать, будто это так, тогда как в действительности цель эту ставил г. де Шарлюс. Для нее это был только случай устроить особенно элегантный прием, и она уже обдумывала, кого

ей пригласить и кого оставить за бортом. Подобный отбор, составляя главную заботу людей, устраивающих большие приемы (даже тех, кого светские газеты имеют наглость или глупость называть «сливками» общества), разом меняет взгляд — и почерк — глубже, чем это могло бы сделать внушение гипнотизера.

Еще не успев подумать о том, что будет играть Морель (забота, почитаемая второстепенной, и вполне основательно, ибо хотя светские люди из уважения к г-ну де Шарлюс вели себя благопристойно и соблюдали тишину во время музыки, зато никому из них в голову бы не пришло ее слушать), г-жа де Мортемар решила исключить г-жу де Валькур из числа «избранных», и потому приняла вид заговорщицы, злоумышленницы, который так опошляет даже тех светских женщин, которые свободно могли бы не обращать никакого внимания на людские толки. «Нельзя ли мне будет как-нибудь устроить вечер, на котором выступил бы ваш друг?» — сказала вполголоса г-жа де Мортемар, но при этом, обращаясь только к г-ну де Шарлюс, она не в силах была не бросить, точно завороженная, взгляд на (исключенную) г-жу де Валькур с целью удостовериться, что та находится достаточно далеко и не может

ее слышать. «Нет, она не в состоянии разобрать то, что я говорю», — мысленно заключила г-жа де Мортемар, успокоенная брошенным взглядом, между тем как взгляд этот произвел на г-жу де Валькур действие прямо противоположное тому, на которое она рассчитывала: «Эге, — подумала про себя г-жа де Валькур, увидя этот взгляд, — Мария-Тереза затевает с Паламедом что-то такое, в чем я не должна участвовать». — «Вы хотите сказать: мой протеже, — поправил г. де Шарлюс, столь же безжалостный к грамматическим познаниям, как и к музыкальному вкусу своей кузины. Затем, не обращая никакого внимания на немую мольбу г-жи де Мортемар, сказал громким голосом, слышным во всем салоне: — Отчего же не устроить… хотя всегда есть опасность в такого рода экспортировании обворожительной личности в обстановку, которая неизбежно подвергает ослаблению ее трансцендентальную власть и которую надо будет, во всяком случае, соответственно приспособить». Г-жа де Мортемар решила, что после этого громового ответа меццо-вече, пьяниссимо ее вопроса пропало даром. Она ошиблась. Г-жа де Валькур ничего не услышала, по той причине что не поняла ни одного слова. Беспокойство ее пошло на убыль и скоро

вовсе бы рассеялось, если бы г-жа де Мортемар, опасаясь, что замыслы ее расстроены и что ей придется пригласить г-жу де Валькур, с которой она находилась в слишком близких отношениях для того, чтобы оставлять ее «за бортом», когда та была осведомлена «заранее», — если бы г-жа де Мортемар не подняла снова веки в направлении Эдит, словно для того, чтобы не потерять из вида грозящей опасности, но поспешно их опустила, чтобы не слишком себя связывать. В дополнение к разоблачающему взгляду она рассчитывала на другой день после приема написать г-же де Валькур одно из тех якобы ловко составленных писем, которые в действительности являются откровенным признанием, вдобавок еще и подписанным.

Например: «Дорогая Эдит, я по вас соскучилась, вчера вечером я не очень вас ждала (как она могла меня ждать, подумала бы Эдит, если она меня не пригласила?), так как знаю, что вы не слишком любите такого рода собрания, они для вас скучны. Тем не менее, мы были бы чрезвычайно польщены, увидев вас у себя (г-жа де Мортемар употребляла это слово «польщены» только лишь в письмах, когда старалась придать лжи видимость правды). Вы знаете, что вы у нас всегда как дома. Впрочем, вы хорошо сделали, потому что

вчерашний вечер совершенно не удался, как это всегда бывает с вещами, импровизированными в два часа и т. д».. Между тем этот новый взгляд, украдкой брошенный на Эдит, полностью разъяснил последней все, что скрывала вычурная речь г-на де Шарлюс. Взгляд этот вдобавок был такой силы, что, поразив г-жу де Валькур, рикошетом перескочил, с разоблаченной своей тайной и намерением скрытничать, на молодого перуанца, которого г-жа де Мортемар собиралась, напротив, пригласить. Но как человек подозрительный, воочию увидев тайны, которые откровенно предназначались не для него, он вдруг почувствовал жестокую ненависть к г-же де Мортемар и поклялся сыграть с ней тысячу злых шуток, например, распорядиться послать ей пятьдесят порций кафе-гляссе в день, когда у нее не было приема, а, напротив, в день, когда она собиралась устроить прием, поместить в газетах заметку, что прием откладывается, и опубликовать ложные отчеты о последующих приемах с перечнем имен людей, которых по разным причинам не изъявляют готовности принимать в хороших домах и с которыми даже избегают знакомиться.

Г-жа де Мортемар напрасно уделила столько внимания г-же де Валькур. Г. де Шарлюс собирал-

ся извратить характер задуманного ею праздника в гораздо большей степени, чем это могло бы сделать присутствие г-жи де Валькур. «Но, дорогой кузен, — сказала г-жа де Мортемар в ответ на фразу об «обстановке, которую надо будет приспособить», смысл которой позволило ей разгадать минутное повышение чувствительности, — мы вас избавим от всяких хлопот. Я берусь упросить Жильбера, чтобы он все это взял на себя». — «Боже вас сохрани, тем более, что он не будет даже приглашен. Все будет сделано мной. Надо прежде всего исключить лиц, которые имеют уши, чтобы не слышать».

Кузина г-на де Шарлюс, рассчитывавшая на обаяние Мореля для устройства вечера, по поводу которого она могла бы сказать, что в отличие от стольких его родственников, «ей удалось залучить Паламеда», перенесла вдруг свою мысль с престижа г-на де Шарлюс на тех многочисленных своих знакомых, с которыми он непременно ее поссорит, если вмешается в составление списка приглашенных. Мысль, что не будет приглашен принц Германтский (из-за которого отчасти она желала исключить г-жу де Валькур, так как принц ее не принимал), ее ужасала. Глаза ее приняли беспокойное выражение. «Кажется, вас

раздражает слишком яркий свет?» — спросил г-н де Шарлюс с видимой серьезностью, глубокая ирония которой не была понята. «Нет, нисколько, я подумала о затруднениях, которые могут возникнуть, не для меня понятно, но для моих, если Жильбер узнает, что я устраивала прием, не пригласив его, тогда как он никогда не собирал четырех кошек без…» — «Мы как раз с того и начнем, что исключим четырех кошек, которые способны были бы только мяукать; должно быть, шум разговоров помешал вам понять, что речь идет не о том, чтобы рассыпаться в светских любезностях по случаю устройства вечера, а о том, чтобы выполнить чин, приличествующий всякому подлинному чествованию».

Затем, не потому что следующая дама ждала, по его мнению, слишком долго, а сочтя неприличным расточать милости особе, которую списки приглашенных интересовали гораздо больше, чем Морель, г. де Шарлюс, подобно врачу, заканчивающему консультацию по истечении положенного срока, дал понять своей кузине, что ей пора уходить, не так, как это принято, то есть сказав ей до свиданья, а обратившись к стоявшей за ней даме: «Здравствуйте, мадам де Монтескью, чудесно было, не правда ли? Я

не видел Элен, — скажите ей, что всякое уклонение, даже самое благородное, в частности ее собственное, допускает исключения, если они блестящие, как был, например, сегодняшний вечер. Показываться редко — хорошо, но оттенить своим присутствием редкое, драгоценное — еще лучше. Что касается вашей сестры, систематическое *отсутствие* которой там, где ожидающие ее развлечения ее не стоят, я ценю больше, чем кто-либо, то, напротив, ее присутствие на таком памятном вечере, как нынешний, было бы почетным и окружило бы вашу сестру, и без того столь обаятельную, еще большим обаянием».

Сказав это, барон перешел к следующему по очереди, к г-ну д'Аржанкур. *Я* был очень удивлен любезностью и низкопоклонством графа перед г-ном де Шарлюс, у которого он попросил представить его Морелю и выразил надежду видеть скрипача у себя, — настолько это было непохоже на человека, который когда-то держался с бароном очень сухо и беспощадно осуждал мужчин его типа. Между тем он был теперь ими окружен. Это не значит, что он стал в этом отношении одним из подобных г-ну де Шарлюс. Но с некоторого времени г. д'Аржанкур покинул свою жену ради одной светской молодой женщины, которую он

обожал. Он привил этой женщине свой вкус к умным людям и очень желал, чтобы г. де Шарлюс у нее бывал. Но, главное, г. д'Аржанкур, очень ревнивый и немного импотент, чувствуя, что он плохо удовлетворяет свою даму, и желая в то же время вывозить ее в свет и развлекать, не мог это сделать безопасно иначе, как окружив ее мужчинами безобидными, которым поручал таким образом роль стражей сераля. Те нашли, что г. д'Аржанкур стал чрезвычайно любезен, и объявили его сверх всякого ожидания большим умницей, приведя тем в восторг и его самого и его любовницу.

Другие гостьи г-на де Шарлюс разошлись очень скоро. Многие говорили: «Мне не хочется идти в ризницу (маленький салон, в котором барон с Шарли, стоявшим возле него, принимал поздравления; название это он придумал сам), а надо все-таки, чтобы Паламед меня увидел, чтоб он знал, что я оставалась до конца». Ни одна из них не обращала никакого внимания на г-жу Вердюрен. Некоторые притворялись, что ее не узнают, и прощались по ошибке с г-жой Котар, говоря мне о жене доктора: «Это ведь г-жа Вердюрен, не правда ли?» Г-жа Арпажон спросила меня в двух шагах от хозяйки дома: «А разве существовал

когда-нибудь господин Вердюрен?» Герцогини, не находя никаких странностей, на которые они рассчитывали в этом месте, представлявшемся им совершенно не похожим на все, что они знали, отводили душу, за неимением ничего лучшего, на картинах Эльстира, заливаясь перед ними хохотом; всю прочую обстановку, мало отличавшуюся от им привычной, они ставили в заслугу г-ну де Шарлюс, говоря: «Как Паламед умеет все хорошо устроить, даже если бы он показал феерию в сарае или в туалетной, она бы не стала от этого менее восхитительной».

Самые знатные из них всего горячее поздравляли г-на де Шарлюс с успехом вечера, тайная пружина которого не была секретом для некоторых, но посвященных это ничуть не смущало, ибо все они, — памятуя, может быть, известные исторические эпохи, когда род их поднимался уже на точно такую же ступень вполне сознательного бесстыдства, — заходили в своем презрении к условностям морали почти так же далеко, как и в своем уважении к этикету. Некоторые тут же договаривались с Шарли относительно вечеров с его выступлениями в септете Вентейля, но ни одной и в голову не пришло пригласить на эти вечера г-жу де Вердюрен. Последняя задыхалась от

бешенства, когда г. де Шарлюс, неспособный это заметить в своем упоении достигнутым успехом, пожелал из вежливости предложить хозяйке разделить его радость. Может быть, просто давая волю своим литературным наклонностям, а не в припадке гордости, этот доктринер художественных празднеств сказал г-же Вердюрен: «Ну что же, вы довольны? Я думаю, что можно бы было остаться довольным и при меньшей удаче; вот видите, когда я принимаю участие в устройстве празднества, успех обеспечен полностью. Не знаю, позволяют ли вам ваши геральдические познания точно измерить важность сегодняшнего события, тяжесть, которую я поднял, объем воздуха, который я для вас переместил. Вы имели королеву Неаполитанскую, брата баварского короля, трех старейших пэров. Если Вентейль — Магомет, то мы вправе сказать, что передвинули для него самые что ни на есть неподвижные горы. Вы только подумайте: чтобы присутствовать на вашем празднике, королева Неаполитанская приехала из Нейи, что для нее было гораздо труднее, чем покинуть Обе Сицилии, — проговорил барон с издевательским намерением, несмотря на свое преклонение перед королевой. — Это историческое событие. Подумайте: она, может

быть, никогда не выходила после взятия Гаэты. Вполне возможно, что в словарях отметят как важнейшие даты из ее жизни день взятия Гаэты и посещение вечера у Вердюренов. Веер, положенный ею на кресло, чтобы лучше аплодировать Вентейлю, заслуживает большей известности, чем веер, сломанный г-жой фон Меттерних, когда освистывали Вагнера».

— «Она даже забыла этот веер», — сказала г-жа Вердюрен, мгновенно успокоившись при воспоминании о симпатии, засвидетельствованной ей королевой, и показала г-ну де Шарлюс лежавший на кресле веер. «Ах, как это трогательно! — воскликнул г. де Шарлюс, почтительно приблизившись к реликвии. — Больше всего он умиляет своим безобразием; вкус у милой Виолеты невозможный! — Спазмы волнения и иронии сменяли друг друга у барона. — Бог мой, не знаю, чувствуете ли вы эти вещи, как я. Сван бы прямо умер от волнения, если бы он это увидел. Я знаю только, что, как бы ни была вздута цена на этот веер, я его куплю на распродаже королевы. А она будет распродана, потому что у нее и одного су нет за душой», — прибавил он, ибо к самому искреннему почтению у барона все время примешивалось самое жестокое

злословие; хотя то и другое порождалось двумя противоположными натурами, но натуры эти были в нем соединены. То и другое могло даже поочередно направляться на один и тот же предмет. Ибо г. де Шарлюс, подсмеиваясь с высоты благополучия богатого человека над бедностью королевы, часто эту самую бедность превозносил и, когда его спрашивали о принцессе Мюрат, королеве Обеих Сицилий, отвечал: «Не понимаю, о ком вы говорите. Есть только одна королева Неаполитанская, возвышеннейшее существо, она не имеет даже собственного выезда. Но, сидя в омнибусе, она подавляет своим величием все экипажи, и я готов тогда опуститься перед ней на колени прямо в грязь». — «Я завещаю этот веер в музей. А тем временем надо будет ей его отослать, чтобы она не тратилась на фиакр, посылая за ним. Принимая во внимание исторический интерес подобного предмета, самое умное было бы украсть этот веер. Но это больно отозвалось бы на ее кошельке — так как другого веера у нее, вероятно, нет! — прибавил он, громко расхохотавшись. — Словом, вы видите, что ради меня она явилась. И это не единственное чудо, мною совершенное. Не думаю, чтобы кто-нибудь в настоящую минуту способен был снять с места

людей, которых я вам привел. Впрочем, надо всем отдать должное, Шарли и другие музыканты играли как боги. И вы, дорогая хозяюшка, — прибавил он снисходительно, — вы тоже сыграли свою роль в сегодняшнем празднике. В память о нем имя ваше не будет отсутствовать.

История сохранила имя пажа, вооружившего Жанну д'Арк перед ее выступлением в поход; в общем, вы послужили соединительной чертой, вы обусловили возможность сплава музыки Вентейля с ее гениальным исполнителем, у вас достало ума понять капитальную важность всего сцепления обстоятельств, которое дает возможность исполнителю извлечь выгоды из положения весьма влиятельного лица, я бы сказал даже, если бы речь шла не обо мне, лица, посланного провидением; какая удачная мысль пришла вам в голову попросить это лицо обеспечить успех сегодняшнего собрания, привезя на концерт Мореля уши, крепко связанные с языками, к которым в Париже больше всего прислушиваются; нет, нет, это не пустяки. В таком сложном предприятии пустяков нет. Всякая мелочь так или иначе ему содействует. Дюрас была восхитительна. Словом, все; потому-то, — заключил он из любви читать собеседнику нотации, — я и воспротивился ва-

шему намерению пригласить особ-делителей, которые по отношению к приглашенным мной влиятельным людям играли бы роль запятых в цифрах, свели бы их всего к десятой части настоящей их величины. У меня на этот счет очень верное чутье. Вы понимаете, надо избегать таких промахов, устраивая праздник, который должен быть достоин Вентейля, его гениального истолкователя, вас и, смею добавить, меня. Пригласи вы Моле, и все было бы испорчено. Она вроде той чужеродной нейтрализующей капельки, что лишает лекарство всей его целебной силы. Потухло бы электричество, птифуры не были бы доставлены вовремя, оранжад вызвал бы у всех колики. Нет, это особа нежелательная. При одном только ее имени, как в феерии, ни один звук не слетел бы с медных; флейта и гобой поражены были бы внезапной потерей голоса.

Сам Морель, даже если бы ему удалось извлечь несколько нот, сбился бы с такта, и вместо септета Вентейля вы бы услышали пародию на него Бекмессера, которая кончилась бы общим шиканьем. Я глубоко верю в способность некоторых лиц оказывать пагубное влияние, и потому пышное развертывание ларго, распустившегося, как цветок, во всем своем блеске, нараставшее до-

вольство финала, который был не просто аллегро, но несравненное аллегро, дали мне ясно ощутить, что отсутствие Моле вдохновляет музыкантов и наполняет радостью даже инструменты. К тому же, в день, когда принимают королев, не принято приглашать их привратниц».

Называя графиню просто Моле (как он, впрочем, называл и очень нравившуюся ему Дюрас), г. де Шарлюс воздавал ей должное. Ведь все эти дамы были актрисами театра, именуемого свет, и по правде сказать, даже становясь на эту точку зрения, графиня Моле не заслуживала созданной ей в свете громкой репутации женщины умной, — она невольно приводила на ум тех посредственных актеров или романистов, что в иные эпохи занимают положение гениев вследствие убожества либо их собратьев, в числе которых нет ни одного вдохновенного артиста, способного показать, что такое истинный талант, либо публики, которая, даже если бы существовала выдающаяся индивидуальность, была бы не способна ее понять. В отношении репутации г-жи Моле предпочтительно остановиться на первом объяснении, оно, может быть, даже совершенно правильно. Свет есть царство ничтожества, и между достоинствами светских женщин суще-

ствуют самые крохотные различия, способные быть раздутыми лишь злопамятством или фантазией г-на де Шарлюс. И если он говорил, как сейчас, языком, представлявшим драгоценную смесь художественных тем с темами светскими, то это объяснялось, конечно, тем, что его старушечий гнев и салонная культура доставляли лишь ничтожный материал для его несомненного красноречия. Если на поверхности земли не существует разнообразия между многочисленными странами, которые восприятие наше обезличивает, то тем более его не существует в «свете». Да и существует ли оно вообще где-нибудь? Септет Вентейля как будто давал мне на это утвердительный ответ. Но где же? Так как г. де Шарлюс любил также посплетничать, сея ссоры и раздор, чтобы властвовать, то он продолжал: «Не пригласив госпожу Моле, вы лишили ее случая сказать: «Не понимаю, почему эта мадам Вердюрен меня пригласила. Понятия не имею, что это за люди, я с ними не знакома». Уже в прошлом году она говорила, что вы ей надоели вашим заискиванием. Это дура, не приглашайте ее больше. В общем, она совсем не такая замечательная. Она отлично может приходить к вам без всей этой канители, вот как я хожу. В общем, — заключил

он, — мне кажется, что вы можете меня поблагодарить, ибо все у нас удалось на славу.

Герцогиня Германтская не пришла, но почем знать, так, может быть, было лучше. Не будем на нее сердиться и подумаем все же о ней в другой раз, впрочем, о ней нельзя не вспомнить, даже глаза ее как будто говорят: не забывайте меня, потому что они у нее как две незабудки. (Тут я подумал про себя, как должен был все же быть силен дух Германтов — решение пойти сюда, а туда не пойти, — чтобы одержать в герцогине верх над боязнью Паламеда.) При такой полной удаче появляется искушение, как у Бернарден де Сен-Пьера, видеть повсюду руку провидения. Герцогиня де Дюрас была в восторге. Она мне даже поручила вам это передать», — прибавил г. де Шарлюс, упирая на эти слова, словно г-жа Вердюрен должна была их рассматривать как выражение особенной милости. Особенной и даже почти невероятной, ибо для их подкрепления барон счел нужным добавить: «да, да», — пораженный безумием людей, которых Юпитер хочет погубить. «Она уже сговорилась с Морелем, он у нее повторит нашу программу, и я думаю даже, что мне удастся достать приглашение для господина Вердюрена». Эта учтивость по отношению к

одному только мужу была, о чем и не подозревал г. де Шарлюс кровным оскорблением для супруги, которая, считая себя вправе, на основании неписанного закона, действовавшего в маленьком клане, запрещать исполнителю играть на стороне, без особого ее разрешения, твердо решила не допустить участия Мореля в концерте, затеваемом г-жой де Дюрас.

Уже одним своим краснобайством г. де Шарлюс раздражал г-жу Вердюрен, не любившую, чтобы в ее маленьком клане составлялись отдельные группы. Сколько раз, еще в Распельере, слыша, как барон без умолку говорит что-то Шарли, вместо того чтобы довольствоваться исполнением своей партии в так хорошо спевшемся ансамбле клана, она восклицала, показывая на него: «Вот вертит языком! Вот вертит! Ну и балаболка, ну и балаболка!» Но в этот раз дело обстояло гораздо хуже. Г. де Шарлюс был слишком опьянен своими словами и не понимал, что, урезывая роль г-жи Вердюрен и ограничивая поле ее деятельности, он развязывает у нее злобное чувство, являвшееся не чем иным, как особенной, общественной формой ревности. Г-жа Вердюрен искренно любила верных завсегдатаев маленького клана, но хотела, чтобы они всецело принадлежали

своей хозяйке. Мирясь с их увлечениями, как те ревнивцы, что позволяют себя обманывать, но только у них же в доме и даже на их глазах, иными словами, не позволяют себя обманывать, она разрешала мужчинам иметь любовницу или любовника, но при условии, чтобы это не имело никаких общественных последствий за пределами ее дома, а завязывалось и продолжалось под покровом ее сред.

Каждый смешок украдкой Одетты, уединившейся со Сваном, терзал ей некогда сердце, а с недавнего времени каждый разговор в сторонке Мореля и барона; единственным ее утешением в этих огорчениях было разрушать счастье других. Долго выносить счастье барона она бы не могла. Вот каким образом этот безумец ускорял катастрофу, создавая впечатление, будто он ограничивает место хозяйки в ее маленьком клане. Уже она видела, как Морель ходит в свет без нее, под эгидой барона. Было только одно лекарство: предложить Морелю выбор между ней и бароном и, пользуясь своим влиянием на скрипача, которое ей доставила необыкновенная ее прозорливость, обусловленная раздобытыми о нем сведениями, а также небылицами ее собственного изобретения, — и те и другие она

ему преподносила в подкрепление того, чему он и сам склонен был верить и в чем убеждался воочию, благодаря подготовленным хозяйкой ловушкам, в которые попадались простаки, — пользуясь этим влиянием, заставить Шарли отдать ей предпочтение перед бароном. Что же касается явившихся на вечер светских дам, которые даже не сочли нужным к ней подойти, то г-жа Вердюрен, заметив их нерешительность или бесцеремонность, изрекла: «О, я вижу, что это за птицы, это старые шлюхи, которые нам не подходят, они видят этот салон в последний раз». Ибо она скорее бы умерла, чем призналась, что гости были с ней не так любезны, как она надеялась. «А, дорогой мой генерал! — воскликнул вдруг г. де Шарлюс, покидая г-жу Вердюрен: он заметил генерала Дельтура, секретаря канцелярии президента республики, от которого сильно зависело присуждение крестика Шарли; спросив у Котара какой-то совет, генерал поспешно пробирался к выходу: «Здравствуйте, дорогой и очаровательный друг. Вот вы как удираете, не попрощавшись со мной, — сказал барон с простодушной и самонадеянной улыбкой, ибо хорошо знал, что всякому приятно поговорить с ним несколько лишних минут; в своем возбуждении он стал

чрезвычайно повышенным тоном задавать генералу вопросы и сам же на них отвечать: — Ну что, довольны? Не правда ли, было прелестно? Анданте, не правда ли? Более трогательной музыки никогда не было написано. Пари держу, что нельзя без слез послушать его до конца. Я чрезвычайно тронут, что вы пришли. Представьте, я получил сегодня утром милую телеграмму от Фробервиля, который мне сообщает, что все трудности со стороны главной канцелярии ордена устранены, по слухам».

Голос г-на де Шарлюс продолжал повышаться до пронзительности, сделавшись столь же непохожим на его обыкновенный голос, как голос с пафосом выступающего в суде адвоката не похож на его повседневную речь, — явление голосовой напряженности, обусловленное нервным перевозбуждением и нервной эйфорией, вроде той, что во время званых обедов поднимала на такие высокие ноты голос и оживляла таким блеском глаза герцогини Германтской. «Я собирался послать вам завтра утром записку со сторожем, чтобы выразить вам мое восхищение, в ожидании, когда найду возможность сделать это лично, ведь вы всегда так окружены! Поддержкой Фробервиля отнюдь нельзя пренебрегать, но и

я с своей стороны заручился обещанием министра», — сказал генерал. «А, чудесно! Впрочем, вы сами видели, что этой награды вполне заслуживает подобный талант. Гойос был в восторге, я не мог видеть супруги посла, осталась она довольна? Да и кто мог бы остаться недоволен, разве только те, у кого уши существуют не для того, чтобы слышать, что, впрочем, не важно, лишь бы только языки у них были хорошо подвешены». Воспользовавшись тем, что барон отошел, чтобы поговорить с генералом, г-жа Вердюрен сделала знак Бришо. Последний, не догадываясь о том, что г-жа Вердюрен собирается ему сказать, вздумал ее позабавить и, не подозревая, какие он мне причиняет страдания, сказал хозяйке: «Барон в восторге, что не пришла мадемуазель Вентейль со своей приятельницей. Эти девицы его ужасно шокируют. Он объявил, что их образ жизни возмутителен. Вы не можете себе представить, до чего барон стыдлив и требователен по части строгости нравов».

Вопреки ожиданию Бришо г-жа Вердюрен не улыбнулась. «Барон — грязное животное, — отвечала она. — Предложите ему пойти выкурить с вами папиросу, чтобы мой муж мог незаметно от Шарлюса увести его Дульцинею и открыть маль-

чику глаза на пропасть, в которую он катится». Бришо был, по-видимому, в некоторой нерешительности. «Скажу вам прямо, — продолжала г-жа Вердюрен, чтобы рассеять последние сомнения Бришо, — я с ним не чувствую себя в безопасности у себя в доме. Мне известно, что у него были грязные истории и что за ним ведет наблюдение полиция». Вдохновляемая зложелательством, г-жа Вердюрен любила импровизировать; вот почему она на этом не остановилась: «Кажется, он побывал в тюрьме. Да, да, я об этом слышала от очень осведомленных людей. Кроме того, мне известно от человека, живущего на одной с ним улице, что он приглашает к себе бог знает каких бандитов». Когда Бришо, часто бывавший у барона, стал возражать, г-жа Вердюрен, увлекшись, воскликнула: «Ручаюсь вам! Говорю вам, что это так, — выражение, при помощи которого она старалась обыкновенно подкрепить свои слишком рискованные утверждения. — Рано или поздно он будет убит, как и все ему подобные. Впрочем, может быть, до этого дело не дойдет, потому что он находится в когтях у этого Жюпьена, которого имел дерзость ко мне прислать, этого бывшего каторжника, вы мне уж поверьте, я это знаю, да, самым достоверным образом. Он держит Шарлю-

са в своей власти при помощи писем, которые, по-видимому, представляют нечто ужасное. Я это знаю от одного человека, который их видел и сказал мне: «Вам бы худо стало, если бы вы это увидели». Вот таким-то способом этот Жюпьен заставляет его плясать под свою дудочку и выманивает у него денег сколько захочет. Я тысячу раз предпочла бы смерть, чем жить в таком ужасе, как Шарлюс. Во всяком случае, если семья Мореля вздумает подать на него жалобу, я вовсе не желаю быть обвиненной в соучастии. Захочет мальчик продолжать, пусть продолжает на собственный страх и риск, но я исполню свой долг. Что поделаешь. Не всегда это весело».

И уже приятно возбужденная ожиданием разговора, который муж ее собирался завести со скрипачом, г-жа Вердюрен сказала мне: «Спросите у Бришо, умею ли я быть мужественным другом и жертвовать собой для спасания своих товарищей». (Она намекала на обстоятельства, при которых как раз вовремя поссорила профессора сперва с его прачкой, а потом с г-жой Камбремер, — ссоры, после которых Бришо почти вовсе лишился зрения и сделался, по слухам, морфинистом.) «Друг несравненный, проницательный и неустрашимый, — прочувствованным

тоном отвечал простодушный старик. — Госпожа Вердюрен помешала мне совершить большую глупость, — сказал мне Бришо, когда хозяйка удалилась. — Она без колебаний принимает самые крутые меры. Она — интервенционистка, как выражается наш друг Котар. Признаться, однако, мысль, что бедный барон еще не знает об ударе, который сейчас на него обрушится, меня очень мучит. Он положительно без ума от этого мальчика. Если госпожа Вердюрен преуспеет, человек этот будет чрезвычайно несчастен. Впрочем, не исключена возможность, что попытка ее потерпит крушение. Боюсь, что ей удастся лишь посеять разлад между ними, который в заключение не разлучит их, а только поссорит с ней».

Такие ссоры часто происходили между г-жой Вердюрен и верными. Но было очевидно, что потребность сохранять их дружбу все больше и больше поглощалась у нее потребностью обезопасить ее от всяких угроз со стороны приятельских отношений, которые могли завязаться между верными. Гомосексуализм не был ей неприятен, покуда он не задевал ортодоксии ее клана, но, как и церковь, она предпочитала любые жертвы малейшей уступке в области догмы. Я начал опасаться, не являются ли источником ее раздра-

жения против меня дошедшие до хозяйки слухи, что я помешал Альбертине пойти к ней сегодня днем, и не приступит ли она впоследствии, если уже не приступила, к таким же маневрам для разлучения моей подруги со мной, как те, что ее муж собирался предпринять возле юного музыканта по отношению к Шарлюсу. «Что же вы стоите, ступайте к Шарлюсу, придумайте какой-нибудь предлог, пора уже, — сказала г-жа Вердюрен, — и особенно постарайтесь не дать ему вернуться, пока я за вами не пришлю. Ну, и вечер! — воскликнула г-жа Вердюрен, выдавая таким образом истинную причину своего бешенства. — Играть такие шедевры перед толпой олухов! Я не говорю о королеве Неаполитанской, это умная, приятная женщина (понимайте: она была очень любезна со мной). Но другие! Да, есть от чего прийти в бешенство. Что поделаешь, мне уже не двадцать лет. Когда я была моложе, мне говорили, что надо уметь скучать, я себя принуждала, но теперь, о, нет, это выше моих сил, я в таком возрасте, что могу делать, что хочу, жизнь слишком коротка; скучать, ходить в гости к дуракам, притворяться, делать вид, будто находишь их умными. О, нет, не могу! Ну, что же вы, Бришо, время не ждет». — «Иду, мадам, иду», — сказал, наконец, Бришо,

когда генерал Дельтур удалился.

Но сначала профессор на минутку отвел меня в сторону: «Нравственный долг, — сказал он мне, — вовсе не так безусловно императивен, как учат наши этики. Пусть теософские кафе и кантианские пивные с этим примирятся: мы пребываем в самом жалком неведении насчет природы добра. Хоть я и добросовестно комментировал моим ученикам, говорю это без всякого хвастовства, философию вышеупомянутого Иммануила Канта, однако для возникшего передо мной случая светской казуистики я не вижу никаких точных указаний в его «Критике практического разума», где этот великий расстрига протестантства подражал на немецкий лад Платону во славу спокон веку сентиментальной и дворцовой Германии в разных полезных для померанского мистицизма видах. Это все еще «Пир», но устроенный на сей раз в Кенигсберге, по тамошнему способу, неудобоваримый, приправленный кислой капустой и без мальчишек. С одной стороны, я, очевидно, не могу отказать нашей превосходной хозяйке в легкой услуге, о которой она меня просит в полном соответствии с правилами традиционной морали. Тут надо прежде всего не дать себя провести словами, ведь редко какой предмет побуждает

говорить больше глупостей.

Будем, однако, иметь решимость признаться, что если бы в голосовании участвовали матери семейств, то барон рисковал бы потерпеть самое плачевное поражение на выборах в профессора добродетели. К несчастью, свое призвание педагога он исполняет с темпераментом старого развратника; заметьте, я не говорю ничего худого о бароне; этот милый человек, умеющий, как никто, разрезать жаркое, обладает наряду с гениальным даром анафематствования целой сокровищницей доброты. Он может позабавить как вдохновенный гаер, тогда как с моими коллегами, даже, если угодно, с академиками, я скучаю, как сказал бы Ксенофонт, за сто драхм в час. Но боюсь, что барон их тратит на Мореля в немного большем количестве, чем то велит здоровая нравственность, и хотя мы не знаем, в какой степени юный исповедник показывает себя послушным или строптивым в особых упражнениях, предписываемых его духовным учителем в качестве умерщвления плоти, однако не надо быть большим ученым для того, чтобы понять, что мы погрешили бы, как кто-то сказал, чрезмерной мягкостью по отношению к этому розенкрейцеру, пришедшему к нам, кажется, от Петрония и по-

бывавшему у Сен-Симона, если бы выдали ему с закрытыми глазами и по всей форме разрешение творить сатанинские дела. Тем не менее, занимая этого человека, пока мадам Вердюрен, для блага грешника и справедливо прельщенная таким лечением, успеет, — поговорив без обиняков с юным ветреником, — отобрать от него все, что он любит, и нанести ему роковой, может быть, удар, я, мне кажется, завлекаю его, как говорится, в западню и отступаю перед в некотором роде подлостью». Сказав это, он не поколебался ее совершить и, взяв г-на де Шарлюс под руку, сказал: «А что, барон, если мы пойдем покурить, молодой человек еще не знает всех чудес этого дома».

Я извинился, сказав, что мне надо ехать домой. «Подождите минутку, — сказал Бришо. — Вы ведь обещали меня подвезти, и я не забыл вашего обещания». — «Вы в самом деле не хотите, чтобы я попросил показать вам серебро, ничего не было бы проще, — сказал мне г. де Шарлюс. — Помните обещание: ни слова Морелю об ордене. Я хочу сделать мальчику сюрприз, объявив ему об этом сам, когда гости поразъедутся, он хотя и говорит, что для артиста это неважно, да его дядя этого желает. (Я покраснел, подумав, что через моего дедушку Вердюренам известно, кто такой дядя

Мореля.) Так вы не хотите, чтобы я попросил достать для вас самые красивые предметы, — сказал мне г. де Шарлюс. — Впрочем, вы их знаете, вы их десять раз видели в Распельере». Я не решился ему сказать, что меня могло бы заинтересовать не среднего достоинства буржуазное серебро, даже самое дорогое, а что-нибудь из серебряной посуды г-жи Дю Барри, пусть даже только на хорошей гравюре. В свете я всегда бывал слишком озабочен, — не говоря уже о сделанном мной открытии относительно приезда мадемуазель Вентейль, — слишком рассеян и возбужден, чтобы останавливать свое внимание на более или менее красивых вещах. Оно могло бы быть приковано лишь зовом какой-либо реальности, обратившейся к моему воображению, как мог бы это сделать в тот вечер какой-нибудь вид Венеции, о которой я столько думал днем, или какой-нибудь общий нескольким видимостям элемент, более истинный, чем они, который сам по себе всегда пробуждал во мне особенное умонастроение, обычно погруженное в сон, но при выходе на поверхность моего сознания наполнявшее меня большой радостью.

И вот, когда я покинул салон, называемый театральным залом, и проходил с Бришо и г-ном

де Шарлюс по другим салонам, обнаруживая в другом окружении некоторые предметы, виденные мной в Распельере, где я не обращал на них никакого внимания, я вдруг схватил между обстановкой этого дома и обстановкой замка Распельер некоторое фамильное сходство, тождественные черты, и мне стали понятны слова Бришо, сказавшего мне с улыбкой: «Взгляните-ка на этот уголок салона, он вам может дать на худой конец представление о том, что было на улице Монталиве двадцать пять лет тому назад». По его улыбке, посвященной покойному салону, возникшему перед его мысленным взором, я понял, что Бришо, быть может, не отдавая себе в этом отчета, предпочитал в прежнем салоне большим окнам, веселой молодости хозяев и их верных гостей ту его нереальную часть (и я ее улавливал по некоторому сходству между Распельером и набережной Конти), внешняя сторона которой, нынешняя, доступная восприятию каждого, является в салоне, как и во всех вещах, лишь ее продолжением, — ту его оставшуюся чисто духовной часть, окрашенную в цвета, существовавшие теперь только для моего старого собеседника, которые он бы не мог сделать доступными для меня, — ту часть, что оторвалась от внешнего

мира, чтобы укрыться в нашей душе, которой она придает добавочную ценность и в которой слилась с обычным ее веществом, претворившись там — сломанные дома, люди прежнего времени, вазы с фруктами на ужинах, которые мы припоминаем, — в тот полупрозрачный алебастр наших воспоминаний, краски которого, видимые только нами, мы никому не способны показать; вот почему мы не погрешим против истины, если скажем по поводу этих канувших в прошлое вещей, что другие не могут их себе представить, что вещи эти не похожи на то, что они видели, — вот почему, сознавая, что если жизнь их сохраняется на некоторое время, то это зависит от существования нашей мысли, мы не можем без волнения созерцать в себе отблеск потухших ламп и запах белых буков, которые больше не зацветут. По этой самой причине салон на улице Монталиве без сомнения ронял в глазах Бришо нынешнее жилище Вердюренов. Но, с другой стороны, он придавал последнему в глазах профессора красоту, которой жилище это не могло иметь для человека, впервые его увидевшего. Та прежняя мебель, что была сюда перенесена, иногда с сохранением прежней расстановки, знакомой мне по Распельеру, включала

в теперешний салон части прежнего, которые по временам напоминали его до галлюцинации, а потом казались почти нереальными от этой их способности вызывать посреди окружающей действительности клочки разрушенного мира, как будто где-то нами виденного.

Диван, всплывший из грезы между двумя новыми и вполне реальными креслами, низенькие стулья, обитые розовым шелком, тканая золотом скатерть ломберного стола, сделавшаяся почти что живым лицом с тех пор как, подобно живому лицу, она стала обладать прошлым, памятью, сохраняя в прохладной тени салона на набережной Конти загар от яркого солнца, проникавшего через большие окна на улице Монталиве (час появления которого она знала не хуже самой г-жи Вердюрен) и через застекленные двери Довиля, куда ее привозили и где она глядела целый день на глубокую долину за цветущим садом, в ожидании часа, когда Котар и флейтист сядут за свою партию в карты; написанный пастелью букет фиалок и анютиных глазок, подарок одного большого художника, друга дома, ныне покойного, единственный уцелевший клочок бесследно исчезнувшей жизни, сгусток большого таланта и долгой дружбы, приводивший на память его вни-

мательный, мягкий взгляд и его красивую руку, полную и печальную, когда он писал; беспорядочный и живописный набор подарков верных, которые следовали повсюду за хозяйкой дома и в заключение приобрели четкость и устойчивость черты характера, линии судьбы; изобилие букетов цветов, коробок шоколадных конфет, которые здесь, как и там, складывались в хаотический порядок некоторым тождественным образом; любопытное нагромождение диковинных и ненужных предметов, имеющих такой вид, что они только что вышли из коробки, в которой были поднесены, и остающихся всю жизнь тем, чем они были сначала — новогодними подарками; словом, все те предметы, которые невозможно обособить от прочих, но которые для Бришо, старого завсегдатая салона Вердюренов, покрыты были той патиной, той бархатистостью, какая ложится на вещи, когда с ними сочетается их душевный двойник, придающий им своего рода глубину; все это рассыпало, заставляло петь перед стариком, — словно звонкие клавиши, будившие в его сердце любимые картины, — смутные воспоминания, которые даже в теперешнем салоне, кое-где ими инкрустированном, вырезывали, выделяли, как это делает в погожий день рассе-

кающий воздух солнечный четырехугольник, там мебель, здесь ковер, и, скользя от диванной подушки к вазочке для букетов, от табурета к остаткам какого-нибудь запаха, от определенного освещения к определенному сочетанию красок, ваяли, вызывали, одухотворяли, оживляли некую форму, являвшуюся как бы идеальным обликом, внутренне присущим последовательным их жилищам, салона Вердюренов. «Мы постараемся, — на ухо сказал мне Бришо, — навести барона на его излюбленную тему. Тут он изумителен». С одной стороны, я желал сделать попытку раздобыть от г-на де Шарлюс сведения относительно приезда мадемуазель Вентейль и ее приятельницы. Но, с другой стороны, мне не хотелось слишком долго оставлять Альбертину одну, не потому что она могла (не зная, когда я вернусь, и притом в такие поздние часы, когда всякий визит к ней и тем более ее отлучка обратили бы на себя слишком много внимания) злоупотребить моим отсутствием, а затем, чтобы она не нашла его слишком продолжительным. Вот почему я сказал Бришо и г-ну де Шарлюс, что не могу с ними долго оставаться. «Пойдемте все-таки», сказал мне барон; светское его возбуждение хотя и начинало падать, но он испытывал ту потребность продол-

жать и поддерживать разговор, которую я давно уже заметил не только у него, но и у герцогини Германтской; являясь особенностью Германтов, потребность эта свойственна всякому, кто, не давая уму своему иного применения, кроме разговоров, иными словами, применения весьма несовершенного остается неудовлетворенным, даже проведя таким образом несколько часов, и все с большей жадностью льнет к исчерпавшему все свои ресурсы собеседнику, требуя от него по ошибке насыщения, которое бессильны дать светские удовольствия.

«Пойдемте, — повторил барон, — сейчас, не правда ли, наступил самый приятный момент всякого праздника, момент, когда все гости разъехались, час доньи Соль; будем надеяться, что он кончится не так печально. К несчастью, вы торопитесь, торопитесь, вероятно, делать вещи, которые вам лучше было бы не делать. Все всегда торопятся, и разъезжаются в ту пору, когда следовало бы съезжаться. Мы подобны теперь философам Кутюра, было бы как раз время вкратце обозреть вечер, произвести то, что военные называют критикой операций. Мы бы попросили г-жу Вердюрен распорядиться принести нам маленький ужин, к которому постарались бы ее не

приглашать, и мы попросили бы Шарли — снова «Эрнани» — сыграть нам одним божественное адажио. Ну, разве не прелесть это адажио? Где же, однако, наш юный скрипач, мне все же хотелось бы его поздравить, настал час умилений и объятий. Согласитесь, Бришо, что они играли как боги. Особенно Морель. Заметили вы, как у него упала на лоб прядь волос? Ну, милый мой, в таком случае вы ничего не видели. Ведь взято было фа диез, которое способно заставить умереть от зависти Эноско, Капе и Тибо; как я ни старался сохранить спокойствие, признаюсь, при дивных этих звуках у меня так защемило сердце, что к горлу подступили рыдания. Зала едва переводила дух; Бришо, дорогой мой, — воскликнул барон, с силой потрясая профессора за плечо, — это было божественно! Один только юный Шарли хранил неподвижность камня, не видно было даже, что он дышит, он похож был на те предметы неодушевленной природы, о которых Теодор Руссо говорит, что, не мысля сами, они заставляют нас мыслить. И вдруг тогда, — приподнятым тоном воскликнул г. де Шарлюс, разыгрывая как бы театральный эффект, — тогда… прядь! И в это же самое время маленький грациозный танец в аллегро виваче. Вы знаете, эта прядь была знаком

откровения, даже для самых тупых. Принцесса Таорминская, до тех пор глухая, ибо нет худших глухих, чем те, что имеют уши, чтобы не слышать, принцесса Таорминская, сраженная фактом чудодейственной пряди, поняла, что это музыка, а не игра в покер. О, то была поистине торжественная минута!» — «Извините, мосье, что я вас перебиваю, — сказал я г-ну де Шарлюс, желая навести его на интересовавший меня предмет, — вы мне говорили, что должна приехать дочь автора. Вы точно уверены, что на нее рассчитывали?» — «Ах, я не знаю!»

Г. де Шарлюс повиновался таким образом, может быть, помимо своей воли, всеобщему уговору не давать никаких сведений ревнивцам, вследствие ли нелепого желания показать себя «хорошим товарищем», быть безупречным по отношению к той, которая возбуждает ревность, хотя бы мы ее ненавидели, или, напротив, из злобы против нее, догадываясь, что ревность лишь пуще распалит любовь, или, наконец, из потребности делать неприятное другим, которая заключается в том, чтобы говорить правду большинству людей, но от ревнивцев ее скрывать, поскольку неведение увеличивает их муки, как это по крайней мере нам кажется: ведь, делая

другим больно, мы руководимся тем, что сами считаем, может быть, ошибочно, наиболее мучительным. «Вы знаете, — продолжал барон, — в этом доме слишком любят преувеличивать, хозяева прелестные люди, но они слишком любят заманивать знаменитостей того или иного рода. Однако вид у вас неважный, и вы простудитесь в этой сырой комнате, — сказал он, пододвигая мне стул. — Если вы больны, надо беречься, сейчас я принесу вам вашу одёжу. Нет, сами не ходите, вы заблудитесь и простудитесь. Вот так и делают глупости, между тем, вам ведь не четыре года, вам надо бы иметь старую няньку вроде меня, которая бы за вами смотрела». — «Не беспокойтесь, барон, я схожу», — сказал Бришо и тотчас же удалился: плохо представляя себе, быть может, живые дружеские чувства г-на де Шарлюс ко мне и восхитительные порывы простоты и самоотверженности, которыми сменялись у него бредовые припадки мании величия и преследования, он испугался, как бы г. де Шарлюс, которого г-жа Вердюрен доверила, как арестанта, его надзору, не вздумал попросту, под предлогом заботы о моем здоровье, сойтись с Морелем и не разрушил таким образом плана хозяйки.

Тем временем Ски уселся за рояль, о чем никто

его не просил, и, напустив на себя — с помощью шутливо нахмуренных бровей, устремленного куда-то вдаль взгляда и легкой гримасы на губах — то, что он считал артистическим видом, принялся настойчиво упрашивать Мореля сыграть что-нибудь из Бизе. «Как, вы этого не любите, этой шуточной стихии в музыке Бизе? Но ведь, дорогой мой, — проговорил он с особенным, ему свойственным, раскатом звука «р», — это очаровательно». Морель, не любивший Бизе, объявил об этом в преувеличенно резких выражениях, и тогда Ски (ибо, как это ни невероятно, за скрипачом укрепилась в маленьком клане репутация человека остроумного), притворяясь, что принимает желчную критику Мореля за парадоксы, расхохотался. Смех его не был, как смех г-на Вердюрена, клохтаньем захлебнувшегося от дыма курильщика. Ски придавал себе сначала хитрое выражение, затем давал вырваться, как бы против своей воли, краткому взрыву смеха, словно первому удару колокола, сменявшемуся молчанием, во время которого лукавый взгляд как будто тщательно взвешивал, насколько сказанное смешно, затем раздавался второй удар колокола смеха, сразу же переходивший в веселый перезвон ангелюса.

Я выразил г-ну де Шарлюс сожаление по поводу доставленного г-ну Бришо беспокойства. «Что вы, он очень доволен, он вас очень любит, все вас очень любят. На днях о вас говорили: что это его не видно, он избегает общества! К тому же, он такой славный, этот Бришо, — продолжал г. де Шарлюс, который не подозревал очевидно, что этот профессор морали, с такой сердечностью и прямотой к нему обращавшийся, не церемонится за спиной поднимать его на смех. — Это человек выдающихся достоинств, огромных знаний, но они его не засушили, не превратили его в библиотечную крысу, как многих других, от которых пахнет чернилами. Он сохранил широту взглядов, терпимость, — качества редкие у ему подобных. Видя, как он понимает жизнь, с каким тактом умеет каждому воздать должное, вы порой недоумеваете, где мог всему этому научиться скромный профессор Сорбонны, бывший преподаватель средней школы. Я сам этому дивлюсь». Я же дивился еще больше тому, что разговор этого Бришо, которого самый невзыскательный из сотрапезников герцогини Германтской нашел бы тупым и тяжеловесным, мог нравиться такому привереднику, как г. де Шарлюс.

Этому однако способствовало, наряду с другими

влияниями, иного, впрочем, характера, то обстоятельство, в силу которого Сван, с одной стороны, так долго находил удовольствие в маленьком клане, когда был влюблен в Одетту, а, с другой стороны, когда уже был женат, находил приятной г-жу Бонтан, которая, притворяясь, будто она в восторге от дома Сванов, чуть не ежедневно навещала жену и наслаждалась рассказами мужа. Как писатель выдает пальму первенства не самому умному человеку, но прожигателю жизни, высказавшему смелое и снисходительное суждение о любви такого-то мужчины к такой-то женщине, суждение, вследствие которого любовница писателя, синий чулок, в согласии с ним находит, что из всех, кто у нее бывает, наименее глуп, пожалуй, этот старый волокита, имеющий опыт в делах любви, так и г. де Шарлюс находил самым умным из своих друзей Бришо, который не только был любезен с Морелем, но еще и подбирал из греческих философов, латинских поэтов и восточных рассказчиков подходящие тексты, украшавшие вкус барона причудливыми и изысканными изречениями. Г. де Шарлюс достиг того возраста, в котором Виктор Гюго, скажем, любил окружать себя преимущественно Вакри и Мерисами. Он всем предпочитал тех, кто допус-

кал его точку зрения на жизнь. «Я часто с ним вижусь, — продолжал он визгливым и размеренным голосом, причем ни одно движение его губ не распространялось на важную и напудренную маску его лица с намеренно опущенными на нем веками церковнослужителя. — Я хожу на его лекции, эта атмосфера Латинского квартала меня перерождает, там такая работящая, мыслящая молодежь, юные буржуа, которые умнее и образованнее, чем были в другой обстановке мои товарищи. Это нечто иное, вы их знаете, должно быть, лучше меня, этих юных *бббуржуа»,* — сказал он, отчеканивая слово «буржуа» (которое он предварил несколькими «б») и подчеркивая его некоторой привычной манерой произношения, выработанной пристрастием к оттенкам, которая ему свойственна была в прошлом, но, может быть, также не будучи в силах удержаться от удовольствия сказать мне какую-нибудь дерзость. Последняя однако нисколько не уменьшила глубокой и сердечной жалости, которую мне внушал г. де Шарлюс (после того как г-жа Вердюрен разоблачила передо мной свое намерение), а только меня позабавила, да, впрочем, не оскорбила бы меня и в том случае, если бы я не чувствовал к нему столько симпатии.

Подобно покойной бабушке, я был от природы настолько лишен самолюбия, что легко мог бы потерять чувство собственного достоинства. Вероятно, я почти не отдавал себе в этом отчета и, слыша еще в колледже, что самые уважаемые мои товарищи не сносят пренебрежительного обращения, не прощают неучтивостей, я в заключение стал проявлять в словах и поведении вторую свою природу, в достаточной степени гордую. Меня считали даже чрезмерно гордым, потому что, не будучи нисколько трусливым, я легко затевал дуэли, моральный престиж которых однако я ронял насмешливым отношением к ним, что легко убеждало в их нелепости, но подавляемая нами природа все-таки в нас существует. Вот почему, читая новый шедевр выдающегося писателя, мы иногда с удовольствием находим там прежние наши размышления, которые мы стали презирать, радости и горести, которые мы теперь сдерживаем, целый мир отвергнутых чувств, вдруг вернувший для нас все свое значение благодаря этой книге, в которой мы его узнали. Жизненный опыт научил меня в конце концов, что нехорошо улыбаться с участием человеку, который надо мной смеется, а надо на него рассердиться.

Но если я перестал выражать это отсутствие самолюбия и злопамятства и даже почти перестал сознавать, насколько оно мне присуще, оно тем не менее осталось основной жизненной стихией, меня омывавшей. Гнев и злоба подступали ко мне совсем иным путем, в припадке бешенства. Больше того: чувство справедливости мне было совершенно неизвестно, я был вовсе лишен нравственного чувства. В глубине сердца я был всецело на стороне самых слабых и самых несчастных. Я ничего не знал о том, в какой степени добро и зло могут быть замешаны в отношениях между Морелем и г-ном де Шарлюс, но мысль о страданиях, уготовляемых г-ну де Шарлюс, мне была невыносима. Мне хотелось его предупредить, я не знал, как это сделать. «Вид всего этого прилежно работающего мирка очень приятен для старой потаскухи вроде меня. Я с ним не знаком, — прибавил он, поднимая руку сдержанным жестом, чтобы не создавать впечатления хвастовства, засвидетельствовать чистоту своих намерений и не заронить никакого подозрения насчет чистоты студентов, — но они очень благовоспитанны и часто предупредительность свою доводят до того, что оставляют мне место, я ведь очень старый человек. Ну да, дорогой мой, не возражайте, мне

больше сорока лет, — сказал барон, которому перевалило уже за шестьдесят. — Бывает иногда немного жарко в аудитории, где читает Бришо, но это всегда интересно». Хотя барон предпочитал бы замешаться в толпу школьной молодежи, и даже потолкаться среди нее, Бришо иногда избавлял его от долгих ожиданий и водил с собой. В Сорбонне Бришо был у себя дома, но когда этот любимый молодежью профессор направлялся в аудиторию, предшествуемый педелем с цепью, он не в силах был подавить в себе некоторую робость, и желание оказать барону любезность, воспользовавшись минутой, когда он чувствовал себя таким значительным, все-таки выражалось им немного неловко; чтобы педель пропустил г-на де Шарлюс, он говорил ему деланным тоном человека очень занятого: «Идите за мной, барон, место вам будет приготовлено», после чего, больше уже им не занимаясь, бойко шагал один по коридору. Выстроившиеся в два ряда младшие преподаватели кланялись ему с обеих сторон; желая избежать впечатления, будто он позирует для этих молодых людей, в глазах которых он сознавал себя верховным жрецом, Бришо то и дело им подмигивал, посылал им кивки соумышленника, и его старание хранить воинственный

вид добродушного француза придавало всем этим знакам характер ободрения, с которым обращается к солдатам старый вояка, говоря: «Черт возьми, мы умеем драться!» Потом раздавались аплодисменты учеников. Иногда Бришо пользовался этим присутствием на своих лекциях г-на де Шарлюс, чтобы доставить удовольствие, почти что засвидетельствовать свое почтение.

Он говорил какому-нибудь своему родственнику или приятелю-буржуа: «Если это может развлечь вашу жену или вашу дочь, могу вам сообщить, что на моих лекциях будет присутствовать барон де Шарлюс, принц Агригентский, потомок Конде. Ведь стоит посмотреть одного из последних породистых представителей нашей аристократии: на всю жизнь останется воспоминание. — Они его сразу узнают: барон будет сидеть возле моего стула. Впрочем, он и так бросится в глаза: дородный мужчина, с седыми волосами, черные усы и военная медаль». — «А, благодарю вас», — говорил отец. И хотя у жены его были дела, он, не желая обижать Бришо, заставлял ее ходить на эти лекции, между тем как его дочь, чувствовавшая себя нехорошо в переполненной душной аудитории, с любопытством пожирала глазами потомка Конде, очень удив-

ленная тем, что он не носит брыжей и похож на людей нашего времени. Барон однако не обращал на нее никакого внимания, но многие студенты, не знавшие, кто он, удивлялись его любезности, делались важными и сухими, и барон уходил задумчивый, погруженный в мечты.

«Извините, что я возвращаюсь все к тому же, — поспешно сказал я г-ну де Шарлюс, услышав шаги Бришо, — не могли бы вы предупредить меня пневматичкой, если бы узнали, что мадемуазель Вентейль или ее приятельница приезжают в Париж, точно мне сообщив, на какой срок они приезжают, только, пожалуйста, никому не говорите о моей просьбе». Я не верил больше в их приезд и хотел таким образом обезопасить себя на будущее время. «Да, я сделаю это для вас, прежде всего потому, что я вам обязан большой признательностью. Не приняв того, что я вам предлагал когда-то, вы мне оказали, в ущерб себе, громадную услугу: оставили мне мою свободу. Правда, я с ней расстался другим способом, — добавил он меланхолическим тоном, в котором сквозило желание поделиться секретами; — тут есть то, что я всегда рассматриваю как непреодолимую силу, сочетание обстоятельств, которое вы не пожелали обратить в свою пользу, быть

может, потому что судьба подала вам как раз в эту минуту знак не становиться на моем пути. Ибо всегда человек мечется, а Бог ведет его. Кто знает, если бы в тот день, когда мы вышли вместе от г-жи де Вильпаризи, вы приняли мое предложение, может быть, никогда бы не случилось многое из того, что потом произошло». Смущенный этим оборотом разговора, я попробовал воспользоваться именем г-жи де Вильпаризи и придать ему другое направление, узнать от г-на де Шарлюс, так хорошо осведомленного в этом отношении, по какой причине г-жа де Вильпаризи как будто держалась в стороне от аристократического мира. Но барон не только не дал мне решения этой маленькой светской задачи, но по-видимому, даже ее не понимал. Тогда мне стало ясно, что если положение г-жи де Вильпаризи будет впоследствии представляться значительным грядущим поколениям, и даже при жизни маркизы представляется таким невежественным обывателям, то оно было ничуть не меньшим в глазах людей, принадлежавших к самым противоположным кругам общества и соприкасавшихся с г-жой де Вильпаризи, — в глазах Германтов. Она была их тетка, они видели прежде всего ее происхождение, ее свойственни-

ков, ее значение в их роде благодаря влиянию на ту или другую племянницу. На все это они смотрели не с светской стороны, а со стороны родства. Между тем происхождение г-жи де Вильпаризи было более блестящим, чем я считал. Меня очень поразило, когда я узнал, что имя «Вильпаризи» не настоящее. Но есть немало знатных дам, вступивших в неравный брак и сохранивших видное положение в свете. Г. де Шарлюс прежде всего сообщил мне, что г-жа де Вильпаризи — племянница знаменитой герцогини де ***, самой известной представительницы высшей аристократии в эпоху Июльской монархии, которая однако не пожелала посещать короля-гражданина и его семью. Я так желал послушать рассказы об этой герцогине! И вот оказывалось, что г-жа де Вильпаризи, добрейшая г-жа де Вильпаризи, щеки которой представлялись мне такими буржуазными, г-жа де Вильпаризи, присылавшая мне столько подарков и которую я так легко мог бы видеть каждый день, г-жа де Вильпаризи была ее племянницей, выросла и воспитывалась у нее в доме, в особняке ***! «Она спросила герцога де Дудовиль, — сказал мне г. де Шарлюс, — когда речь зашла о трех сестрах: «Которой из трех вы отдаете предпочтение?» И когда Дудовиль ска-

зал: «Госпоже де Вильпаризи», — герцогиня де *** ему ответила: «Свинья!» Ибо герцогиня была чрезвычайно остроумна», — сказал г. де Шарлюс, придавая этому слову значительность и произнося его так, как это было принято у Германтов. Я, впрочем, не удивился тому, что он находит его таким «остроумным», так как уже не раз замечал некоторую центробежную, объективную тенденцию, побуждающую людей, когда они смакуют чужие остроты, отказываться от строгих требований, предъявляемых ими к собственному остроумию, и тщательно наблюдать и отмечать то, что сами они постеснялись бы сочинить.

«Что это у него: он несет мое пальто, — сказал г. де Шарлюс, увидя Бришо, который так долго пропадал и так плохо справился со своей задачей. — Лучше бы я пошел сам. Сейчас мы его накинем вам на плечи. А вы знаете, что это очень опасно, дорогой мой, это все равно, что напиться из одного стакана, я узнаю ваши мысли. Нет, нет, не так, постойте, дайте я вам сделаю, — и накидывая на меня свое пальто, он плотно прижал его к плечам, закутал мне шею, поднял воротник, задев при этом меня за подбородок и извинившись. — В его возрасте не умеют себя укутывать, его надо приласкать, я не по своей дороге пошел,

Бришо, я рожден быть няней». Я хотел уходить, но так как и г. де Шарлюс выразил намерение пойти поискать Мореля, то Бришо удержал нас обоих. Впрочем, уверенность, что дома я найду Альбертину, уверенность, равнявшаяся той, которой я исполнен был днем, ожидая возвращения Альбертины из Трокадеро, внушала мне в настоящую минуту так же мало желания ее видеть, как и несколько часов тому назад, когда я сел за рояль после телефонного разговора с Франсуазой.

Именно это спокойствие позволяло мне каждый раз, когда в течение этого разговора я порывался встать, повиноваться настойчивым просьбам Бришо, боявшегося, что мой уход помешает Шарлюсу просидеть с ним до той минуты, когда за ними пришлет г-жа Вердюрен. «Да ну же, — сказал он барону, — посидите немного с нами, скоро вы с ним облобызаетесь», — прибавил Бришо, устремив на меня свой почти умерший взгляд; многочисленные операции, которым поверглось его зрение, хотя и вернули глазам профессора крошечку жизни, однако у них не было больше подвижности, необходимой для скошенного выражения лукавства. «Облобызаетесь, вот бестия! — воскликнул барон восхищенным фальцетом. — Дорогой мой, говорю вам, что он

всегда воображает себя на раздаче наград, он мечтает о своих маленьких учениках. Чего доброго, он и ночует с ними». — «Вы желаете видеть мадемуазель Вентейль, — сказал мне Бришо, слышавший конец нашего разговора. — Обещаю вас известить, если она приедет, я об этом узнаю от мадам Вердюрен», — ибо он вероятно предвидел, что барону угрожает опасность быть в самом близком будущем исключенным из маленького клана. «Эге, да вы, значит, считаете, — сказал г-н де Шарлюс, — что мадам Вердюрен со мной не в таких хороших отношениях, как с вами, и не сообщит мне о приезде этих особ с ужасной репутацией. О ней ведь известно всем и каждому. Мадам Вердюрен делает ошибку, позволяя им приехать, они вращаются в сомнительных кругах. Таких, как они, целая банда. Наверно, все они собираются в отвратительных местах».

Каждое слово барона осложняло мое страдание новым страданием; меняя его форму. «Что вы, помилуйте, я вовсе не считаю, что я в лучших отношениях с мадам Вердюрен, чем вы», — объявил Бришо, подчеркивая слова, ибо боялся возбудить у барона подозрения. Видя, что я хочу прощаться, он решил меня удержать, поманив обещанным развлечением: «Есть одна вещь, о

которой барон, по-видимому, не подумал, говоря о репутации этих двух дам: такая репутация может быть в одно и то же время ужасающей и незаслуженной. Так, например, несомненно, что в ряду более известных фактов, который я бы назвал параллельным, совершено множество судебных ошибок и что история зарегистрировала случаи обвинительных приговоров за содомию, клеймящих знаменитых людей, которые были в ней совершенно неповинны. Недавнее открытие большой любви Микеланджело к одной женщине является новым данным, которое дало бы другу Льва X право на помилование в посмертном суде второй инстанции. Дело Микеланджело, мне кажется, прямо создано, чтобы вызвать живой интерес у снобов и мобилизовать подонков, когда покончено будет с другим делом, в котором анархия, разгулявшись вовсю, стала модным грехом наших милых дилетантов, но, во избежание ссор, лучше этого дела не называть».

Когда Бришо заговорил о мужских репутациях, на лице у г. де Шарлюс появился тот особенный род нетерпения, который можно наблюдать у врача-специалиста или военного, когда светские люди, ничего не смыслящие в терапевтике и в стратегии, начинают говорить вздор по тому и

другому предмету. «Вы ни аза не понимаете в вещах, о которых говорите, — сказал он наконец Бришо. — Укажите мне хотя бы одну незаслуженную репутацию. Назовите имена. Знаю, знаю, — резко возразил г. де Шарлюс на робкую попытку Бришо сделать какое-то замечание: — люди, которые делали это когда-то из любопытства или из привязанности к покойному другу, и те, кто, опасаясь зайти слишком далеко, когда вы им говорите о красоте мужчины, вам отвечают, что это для них китайская грамота, что они так же не способны отличить красавца от урода, как один автомобильный мотор от другого, ибо механика не их специальность. Все это враки. Боже мой, я вовсе не хочу сказать, что необоснованная дурная репутация (или то, что принято так называть) — вещь совершенно невозможная. Но она такое исключение, такая редкость, что практически, можно сказать, не существует. Однако я, человек любознательный, любящий до всего докапываться, подобные вещи знавал, их нельзя назвать чистым мифом. Да, в течение моей жизни я констатировал (я разумею: научно констатировал, словами я не удовлетворяюсь) две необоснованные репутации. Они обыкновенно устанавливаются благодаря

сходству имен, или в силу некоторых внешних признаков, обилию колец, например, и люди некомпетентные полагают, будто этого вполне достаточно, вроде того как, по их мнению, крестьянин двух слов не может сказать, не вставив: тьфу, пропасть, или англичанин: goddam. Это годится только для бульварных театров. Больше всего вы будете, пожалуй, удивлены тем, что необоснованные репутации являются в глазах публики самыми прочными. Взять хотя бы вас, Бришо, вы бы положили руку в огонь за добродетель посетителя этого дома, которого отлично знают люди осведомленные, и в то же время должно быть верите, как и все, в то, что говорят про другого, являющегося воплощением этих вкусов для толпы, между тем как он на это не польстился бы за два су. Говорю за два су, потому что если бы мы поставили двадцать пять луи, то увидели бы, что число маленьких святых уменьшилось бы до нуля. А вообще говоря, святых, если вы видите в этом святость, приходится, в среднем, три-четыре на десять человек». Если Бришо переместил вопрос о дурных репутациях на мужчин, то я, наоборот, отнес слова г-на де Шарлюс к женщинам, думая все время об Альбертине. Меня привела в ужас эта статистика, даже

принимая во внимание то, что барон наверно раздувал цифры в угоду своим желаниям, а также согласно сообщениям сплетников, может быть, лжецов, во всяком случае, обманутых собственными вкусами, которые, в соединении с вкусами г-на де Шарлюс, исказили вероятно его выкладки. «Три из десяти! — воскликнул Бришо. — После перестановки членов этой пропорции мне бы пришлось еще умножить на сто число виновных. Если оно такое, как вы говорите, барон, и если вы не ошибаетесь, тогда надо признать, что вы один из тех редких провидцев истины, о которой не подозревал никто из окружающих. Таким именно образом произвел Баррес свои открытия о продажности парламентариев, и впоследствии они подтвердились, как существование планеты Леверье. Мадам Вердюрен указала бы, вероятно, людей, которых я предпочитаю не называть: тех, что разгадали в разведывательном бюро генерального штаба махинации, внушенные, я убежден, патриотическим рвением, но о которых я совершенно не подозревал. О масонстве, о немецком шпионаже, о морфиномании Леон Доде изо дня в день рассказывает изумительную волшебную сказку, которая оказывается самой действительностью. Три из десяти!» — повторил

ошеломленный Бришо.

Надо, впрочем, оговориться, что г. де Шарлюс, обвиняя в извращенности огромное большинство своих современников, делал исключение для людей, с которыми был близок, ибо, стоило только примешаться сюда романтике, как случай представлялся ему более сложным. То же самое бывает с прожигателями жизни: не веря вообще в честность женщин, они согласны признать относительно честной только свою бывшую любовницу, о которой они искренно и с таинственным видом говорят: «Нет, нет, вы ошибаетесь, она не девка». Это неожиданное уважение им диктуется отчасти самолюбием, которому более лестно, чтобы такого рода благосклонность приберегалась только для них, отчасти наивностью, которая легко верит всему, в чем любовница пожелала их убедить, отчасти тем чувством жизни, в силу которого, когда мы соприкасаемся с живыми людьми, все приготовленные заранее этикетки и подразделения оказываются слишком простыми.

«Три из десяти! Смотрите, барон, берегитесь, вы не находитесь в счастливом положении тех историков, которых подтверждает будущее, и если вы вздумаете представить потомству нари-

сованную нам картину, оно, пожалуй, признает ее слишком мрачной. Оно ведь судит только на основании документов и пожелает ознакомиться с вашим «делом». А так как люди, причастные коллективным действиям этого рода, весьма склонны оставлять их в тени, не запечатлевая ни в каких документах, то в лагере прекраснодушных возникнет большое негодование, и вы будете объявлены попросту клеветником или сумасшедшим. Добившись на конкурсе элегантности высшей награды и княжеского положения в этой жизни, вы познаете за фобом горькую участь человека, потерпевшего провал. Не стоило столько трудиться, как говорит, прости меня Боже, наш Боссюэ». — «Я работаю не для истории, — отвечал г. де Шарлюс, — с меня довольно жизни, она чрезвычайно интересна, как говорил бедный Сван». — «Как! Вы были знакомы со Сваном, барон, я этого не знал. Неужели и у него были такие вкусы?» — с беспокойством спросил Бришо. «Вот нахал! Вы, значит, думаете, что я вожу знакомство только с такими людьми. Нет, не думаю», — сказал Шарлюс, опустив глаза с таким видом, точно он взвешивал все «за» и «против». И, считая, что, поскольку речь шла о Сване, совершенно противоположные наклонности которого

всегда были известны, полупризнание не может повредить памяти покойного и в то же время будет лестным для того, кто давал ему прорваться в виде намека: «Я не говорю, что когда-то в колледже, один раз, случайно, — проговорил барон, как бы невзначай, точно он думал вслух, после чего, спохватившись, закончил со смехом: Но ведь прошло уже двести лет, как могу я помнить, что вы ко мне пристали». — «Во всяком случае, он не был красавцем!» — сказал Бришо, который, отличаясь крайней уродливостью, считал себя благообразным и легко находил недостатки в других. «Замолчите, — оборвал его барон, — вы не понимаете, что вы говорите, в те времена цветом лица Сван напоминал персик, и, — прибавил он, произнося каждый слог в разном тоне, — был красив как херувим. Впрочем, он и остался очарователен. Его безумно любили женщины». — «А вы были знакомы с его женой?» — «Помилуйте, я сам его с ней познакомил. Мне она показалась прелестной в полумаскарадном костюме на одном вечере, когда играла мисс Сакрипант; я был с товарищами по клубу, мы все провожали одну женщину, и хотя я чувствовал одно только желание — спать, злые языки пустили слух, — ужасно, что свет так зол, — будто я ночевал с Одеттой. Она

этим однако воспользовалась и стала приходить мне надоедать, тогда я, чтобы от нее отделаться, познакомил ее со Сваном. С того дня она все время ко мне приставала, она ни аза не смыслила в орфографии, я сочинял ее письма. А впоследствии мне было поручено с ней гулять. Вот видите, дитя мое, что значит иметь хорошую репутацию. Впрочем, я ее заслуживал только отчасти. Она от меня требовала, чтобы я уговаривал Свана устраивать ужасные увеселительные прогулки впятером, вшестером».

А последовательных любовников Одетты (она была с таким-то, потом с беднягой Сваном, до такой степени ослепленным ревностью и любовью, что ни одного из этих мужчин, являвшихся по очереди, он не отгадал, исчисляя вероятности и полагаясь на клятвы, более внушительные, чем какое-нибудь противоречие, прорвавшееся у виноватой, противоречие гораздо более неуловимое, и однако гораздо более знаменательное, из которого ревнивец мог бы более логично извлечь для себя выгоду, чтобы тревожить свою любовницу, чем из собираемых им сведений сомнительного происхождения), любовников Одетты г. де Шарлюс принялся перечислять с такой уверенностью, точно он произносил наизусть список

французских королей. В самом деле, ревнивец, подобно современникам, находится слишком близко, он ничего не знает, комизм адюльтеров приобретает историческую точность только для посторонних, равнодушных, впрочем, к этим спискам, которые зато воспринимаются трагически другим ревнивцем, вроде меня, невольно сравнивающим свое положение с положением товарища по несчастью и задающим себе вопрос, нет ли и у женщины, в которой он сомневается, такого же блестящего списка. Но узнать это он не может, существует как бы всеобщий заговор, своего рода поддразниванье, состоящее в том, что пока его приятельница переходит из одних объятий в другие, все безжалостно держат на глазах у него повязку, которую он постоянно силится сорвать, но безуспешно, потому что все оставляют в ослеплении несчастного, добрые по доброте, злые из злобы, грубые из любви к скверным шуткам, благовоспитанные из учтивости и благовоспитанности, а все вообще в силу одной из тех условностей, которую принято называть принципом. «А узнал ли когда-нибудь Сван, что вы пользовались ее благосклонностью?» — «Что вы, какой ужас! Рассказывать об этом Шарлю! При одной мысли об этом волосы дыбом вста-

ют. Да он бы меня попросту убил, дорогой мой, он был ревнив как тигр. Точно так же, как я не признался Одетте, которой это было бы, впрочем, совершенно безразлично, в том, что… полно, не заставляйте меня говорить глупости.

Замечательнее всего, что она стреляла в него из револьвера, чуть не угодив в меня. Да, не мало было у меня хлопот с этой парочкой, и, понятно, мне пришлось быть его секундантом против д'Осмона, который никогда мне этого не простил. Д'Осмон отбил Одетту, и Сван, чтобы утешиться, взял себе в любовницы, или псевдо-любовницы, сестру Одетты. Словом, не вздумайте меня просить, чтобы я вам рассказал историю Свана, мы застряли бы на ней десяток лет, ведь я ее знаю как никто. Это я выезжал с Одеттой, когда она не хотела видеть Шарля. Меня это тем более злило, что мои выезды с ней были не очень по душе одному очень близкому моему родственнику, который носит имя де Креси, не имея на то, понятно, ни малейшего права. Ведь она называла себя Одеттой де Креси и могла это делать вполне законно, потому что была разлученной, но не разведенной женой некоего Креси, совершенно подлинного, очень приличного человека, которого она обобрала до нитки. Но что ж это я, мне незачем вам

рассказывать об этом Креси, я вас видел с ним в вагоне узкоколейки, вы его угощали обедами в Бальбеке. Бедняга верно в них нуждался, ведь он жил на крохотную пенсию, которую ему назначил Сван; я сильно подозреваю, что после смерти моего друга эта рента вовсе перестала выплачиваться. Не понимаю только, — сказал мне г. де Шарлюс, — почему вы, постоянный гость Шарля, не пожелали, чтобы я вас представил королеве Неаполитанской. Словом, я вижу, что вы не интересуетесь людьми как достопримечательностями, и это меня всегда удивляет у всякого, кто был знаком со Сваном, у которого этого рода любознательность развита была в такой степени, что невозможно решить, я ли был его руководителем в этом отношении или же он моим. Это все равно, как если бы я увидел человека, хорошо знакомого с Вистлером, и не знающего, что такое хороший вкус. Боже мой, кому было бы особенно важно с ней познакомиться, так это Морелю, вдобавок он этого страстно желал, так как он очень, очень большой умница. Досадно, что она уехала. Но я все-таки на днях устрою ему с ней свидание. Он с ней обязательно познакомится. Единственным возможным препятствием может быть только ее смерть, если она скончается завтра. Но надо

надеяться, что этого не случится».

Вдруг Бришо, все еще оглушенный пропорцией «три к десяти», которая была ему открыта г-ном де Шарлюс, Бришо, продолжавший все время размышлять на эту тему, с неожиданностью судебного следователя, желающего вызвать у обвиняемого признание, а на самом деле обусловленной желанием профессора казаться проницательным и смущением, которое он испытывал, бросая такое тяжкое обвинение, встревоженно спросил г-на де Шарлюс: «А что, Ски не такой?» Чтобы поразить собеседников своей мнимой интуицией, он избрал Ски, рассуждая, что раз на десять человек приходится только три праведника, он почти не рискует ошибиться, назвав Ски, который представлялся ему немного чудаковатым, страдал бессонницами, душился, словом, не мог быть причислен к людям нормальным. «*Ни в малейшей степени,* — воскликнул барон с горькой иронией, догматически и раздраженно. — Вы говорите ложь, вздор, невпопад. Ски как раз то, что вы думаете, для людей, которые ничего в этом не смыслят; будь он таким, он бы им не казался в такой степени, я говорю это без всякого намерения критиковать, так как он не лишен известной прелести, и я даже нахожу в нем кое-

что весьма привлекательное». — «Но назовите же нам какие-нибудь имена», настойчиво продолжал допрашивать Бришо. Г. де Шарлюс гордо приосанился: «Ах, дорогой мой, вы знаете, я живу абстракциями, все это интересует меня только с трансцендентальной точки зрения», — отвечал он с обидчивостью, свойственной ему подобным, в характерной для него манере вычурного велеречия. «Вы понимаете, меня интересуют только обобщения, я говорю вам об этом, как о законе тяготения». Но подобные минуты раздраженного отрицания, когда барон пытался скрыть истинную свою жизнь, продолжались очень недолго по сравнению с часами непрерывного поступательного движения, когда он давал ее угадывать, выкладывал с вызывающей готовностью, ибо потребность в признаниях брала у него верх над боязнью огласки. «Я хотел сказать, — продолжал он, — только то, что на одну необоснованную дурную репутацию приходятся сотни хороших, которые столь же необоснованы. Очевидно, число тех, кто их не заслуживает, меняется, смотря по тому, опираетесь ли вы на показания им подобных или на свидетельство остальных. Ведь если недоброжелательство последних ограничивается, поверить, что люди, известные им своей

деликатностью и благородством, способны предаваться пороку, столь же ужасному с их точки зрения, как воровство или убийство, то недоброжелательство первых чрезмерно подстрекается желанием считать, так сказать, доступными людей, которые им нравятся, затем сведениями, полученными от людей, обманутых сходным желанием, наконец самым тем фактом, что они обыкновенно держатся в стороне.

Я встречал человека, довольно дурно принятого благодаря этим его вкусам, который утверждал, что, по его мнению, такой-то имеет такие же вкусы. И единственным его основанием так думать было то, что человек, о котором идет речь, был с ним любезен! Столько же оснований для *оптимизма,* — простодушно сказал барон, — и при выкладках упомянутого числа. Но истинная причина огромного расхождения между числом, высчитанным профанами, и числом, определяемым посвященными, коренится в таинственности, которой последние окружают свои махинации, чтобы скрыть их от непосвященных, так что те не имеют никаких средств осведомления и были бы буквально ошарашены, если бы узнали только четверть истины». — «Значит, в наше время дело обстоит так же, как у древних

греков», сказал Бришо. «Почему же как у греков? Вы воображаете, будто это потом не продолжалось. Но взгляните на эпоху Людовика XIV: юный Вермандуа, Мольер, принц Людвиг Баденский, Брауншвейг, Шароле, Буфлер, великий Конде, герцог де Бриссак». — «Я вас перебью, я знал о Мосье, знал о Бриссаке из Сен-Симона, понятно, о Вандоме и о многих других, но эта старая язва Сен-Симон, который часто упоминает о великом Конде и о принце Людвиге Баденском, никогда о них этого не говорит». — «Прискорбно, однако, что мне приходится учить истории профессора Сорбонны. Вы, дорогой мэтр, невежественны, как карп», — «Вы суровы, барон, но справедливы. Постойте, сейчас я вам доставлю удовольствие, я вспомнил одну песенку той поры, сочиненную на макаронической латыни, по поводу грозы, застигшей великого Конде, когда он спускался по Роне в обществе своего друга, маркиза де ла Муссе. Конде говорит:

Cams amicus Mussaeus,
Ah! Deus bonus quod tempus
Landerirette
Imbre sumus perituri.

А ла Муссе его успокаивает, говоря:

Securae sunt nostrae vitae
Sumus enim Sodomitae
Igne tantum perituri Landeriri».

«Я беру свои слова обратно, — сказал Шарлюс тоненьким и жеманным голосом, — вы кладезь науки, вы мне запишете эту песенку, не правда ли, я хочу ее сохранить в моих семейных архивах, потому что моя прабабка в третьем колене была сестрой господина принца». — «Да, барон, но относительно принца Людвига Баденского я ничего не знаю. Впрочем, в ту эпоху, я полагаю, вообще военная профессия…» — «Какие глупости, Вандом, Виллар, принц Евгений, принц де Конти, а если бы я завел речь обо всех героях Тонкина, Марокко, я имею в виду действительно выдающихся, набожных, людей «нового поколения», я бы вас сильно удивил. Да, у меня было бы что порассказать людям, которые собирают сведения о новом поколении, отбросившем ненужные сложности своих отцов, как говорит господин Бурже! У меня есть там маленький друг, о котором много говорят, который совершил изумительные вещи, но я вовсе не хочу быть злым, вернемся к XVII веку, вы знаете, что Сен-Симон говорит о маршале Д'Юксель — среди многих других: «Лентяй и

сладострастник, любитель греческих оргий, не дававший себе труда их скрывать, он привлекал молодых офицеров, которых брал себе на службу, помимо молодых, отлично сложенных лакеев, и все это на виду, в армии и в Страсбурге». Вы, вероятно, читали письма Мадам, люди его называли не иначе, как «шлюха». Она говорит об этом достаточно ясно». — «И у нее был превосходный источник, чтобы все это знать, в лице ее мужа». — «Какая это интересная личность Мадам, — сказал г. де Шарлюс. — Из дошедших от нее материалов можно было бы сделать лирический синтез «теткиной жены». Прежде всего мужеподобна; обыкновенно женой подобной тетки бывает мужчина, это ей облегчает иметь от него детей. Далее, Мадам не говорит о пороках Мосье, но она непрестанно говорит об этом самом пороке у других в качестве женщины осведомленной и оттого, что мы любим находить в чужих семьях те самые изъяны, от которых страдаем у себя дома, чтобы доказать себе, что они не представляют ничего исключительного и позорящего. Я вам говорил, что так было во все времена. Однако наше время особенно выделяется с этой точки зрения. Несмотря на примеры, заимствованные мной из семнадцатого века, если бы мой великий прапра-

дед Франсуа де Ларошфуко жил в наше время, он мог бы сказать о нем еще с большим правом, чем о своей эпохе, ну-ка, Бришо, помогите мне: «Пороки есть во все времена; но если бы лица, которых все знают, появились в первые века, разве говорил бы теперь кто-нибудь об оргиях Гелиогабала?» *Которых все знают* мне страшно нравится. Я вижу, что моему проницательному родичу известно было бахвальство его знаменитых современников не хуже, чем мне известно это качество наших современников. Но людей этого типа не только стало больше в настоящее время. В них появилось также некоторое своеобразие».

Я понял, что г. де Шарлюс собирается нам рассказать, каким образом эволюционировали этого рода нравы. Настойчивость, с которой г. де Шарлюс всегда возвращался к этой теме, — надо, впрочем, признать, что ум его, всегда работавший в одном и том же направлении, отличался здесь большой проницательностью, — производила довольно-таки тяжелое впечатление. Он наводил скуку, как ученый, ничего не видящий за пределами своей специальности, он раздражал, как человек осведомленный, который кичится известными ему тайнами и сгорает желанием их

разгласить, он был антипатичен, как люди, которые, едва только заходит речь об их недостатках, расцветают, не замечая, что это никому не нравится, он был порабощен, как маньяк, и фатально неосторожен, как виноватый. Все эти черты, по временам столь же сильно действовавшие на чувства, как характерные особенности умалишенного или преступника, доставляли мне, впрочем, некоторое успокоение. Ибо, подвергнув их необходимому перемещению, так чтобы из них можно было сделать выводы относительно Альбертины, и припоминая ее поведение с Сен-Лу и со мной, я говорил себе, как ни мучительно было для меня первое из этих воспоминаний и как ни грустно было второе, — я говорил себе, что они по-видимому исключают тот столь отчетливо выраженный сдвиг, ту чрезвычайную однобокость, которые с такой силой выпирали из разговора и из всех повадок г-на де Шарлюс. Но барон, к несчастью, поспешил опровергнуть все эти обнадеживающие соображения таким же способом, как и внушил их, то есть так же неумышленно. «Да, — сказал он, — мне уж не двадцать пять лет, все кругом меня переменилось, я не узнаю больше ни общества, в котором сломаны все перегородки, в котором шумная толпа,

лишенная элегантности и забывшая приличия, пляшет танго даже в домах моих ближайших родственников, — я не узнаю ни мод, ни политики, ни искусств, ни религии, ничего. Но что, признаться, еще больше изменилось, так это то, что немцы называют гомосексуализмом. Боже мой, в мое время, если оставить в стороне мужчин, питавших отвращение к женщинам, и тех, которые, увлекаясь только ими, делали другое только из корысти, гомосексуалисты были превосходными отцами семейств и заводили любовниц только для отвода глаз. Будь у меня дочка на выданьи, я бы среди них искал себе зятя, если бы хотел быть уверенным, что она не будет несчастной. Увы! все переменилось. Теперь они вербуются также среди мужчин, которые наиболее страстно увлекаются женщинами. Я считал, что у меня есть некоторый нюх, и что когда я говорил себе: разумеется, нет, — то не могло быть ошибки. Теперь же я отказываюсь что-нибудь отгадать. У одного моего приятеля, очень известного этими своими вкусами, был кучер, которого ему нашла моя невестка Ориана, парень из Комбре, всем понемногу промышлявший, но больше всего мастак по части задирания подолов у женщин, — я бы готов был побожиться, что он относится к

этим вещам самым неприязненным образом. Он доставлял большое огорчение своей любовнице, обманывая ее с двумя женщинами, от которых был без ума: с актрисой и с кельнершей, не считая других. Мой кузен принц Германтский, который как раз обладает неприятным умом людей, слишком легко всему верящих, говорит мне однажды: «Отчего это Х… не ночует со своим кучером? Кто знает, это, может быть, доставило бы удовольствие Теодору (имя кучера), и он, может быть, в большой обиде на своего хозяина за то, что тот проявляет к нему такое равнодушие».

Я не удержался и попросил Жильбера замолчать; меня раздражали и эта мнимая проницательность, которая, проявляясь так неразборчиво, равносильна отсутствию проницательности, и белыми нитками шитая хитрость моего кузена, желавшего, чтобы наш приятель Х… первый рискнул пройти по доске и, если она выдержит, отважиться в свою очередь». — «Так у принца Германтского тоже такие вкусы?» — спросил Бришо со смешанным чувством удивления и тревоги. «Боже мой, — пришел в восхищение г. де Шарлюс, — это настолько всем известно, что, думаю, с моей стороны не будет нескромностью, если я отвечу утвердительно. И вот, в следующем

году я поехал в Бальбек и там узнал от одного матроса, отвозившего меня иногда на рыбную ловлю, что мой Теодор (у которого, замечу в скобках, есть сестра, горничная приятельницы мадам Вердюрен, баронессы Пютбюс) является в порт и с дьявольской наглостью сманивает то одного матроса, то другого, чтобы покататься в лодке «и так далее». — Теперь пришел мой черед спросить, не был ли вроде принца Германтского и хозяин Теодора, в котором я узнал того бальбекского господина, что играл весь день в карты со своей любовницей и был главой маленького кружка из четырех человек. «Помилуйте, ведь это всем известно, он даже этого не скрывает». — «Но ведь с ним была любовница». — «Ну и что же с того, как они наивны, эти дети, — сказал мне барон отеческим тоном, не подозревая, какое страдание причиняли мне эти слова, когда я их мысленно связывал с Альбертиной. — Его любовница очаровательна». — «В таком случае, и его друзья такие же, как он». — «Нисколько, — воскликнул он, затыкая уши, как если бы, играя на каком-нибудь инструменте, я взял фальшивую ноту. — Вот теперь он впадает в другую крайность. По вашему, выходит, что мы не вправе иметь друзей? Ах, эта молодежь, она все путает! Вам надо переучиться,

дитя мое. Признаюсь, впрочем, — продолжал он, — что этот случай, а я знаю немало других в таком же роде, как ни стараюсь я относиться непредубежденно ко всякого рода вольностям, меня сбивает с толку. Верно я устарел со своими взглядами и ничего не понимаю, — сказал он тоном старого галликанского церковника, говорящего о некоторых формах ультрамонтанства, тоном либерального роялиста, говорящего об «Action francaise», или ученика Клода Моне, говорящего о кубистах. — Я не хулю этих новаторов, я им скорее завидую, я стараюсь их понять, но мне это не удается. Если они так любят женщин, тогда откуда эта их потребность в том, что они называют мальчуганами, особенно в рабочей среде, где на это косо смотрят, где им из самолюбия приходится прятаться? Для них это представляет нечто другое? Что же?» — «Что другое может представить женщина для Альбертины?» — думал я, и в этом заключалась истинная причина моего страдания.

«Честное слово, барон, — сказал Бришо, — если совет факультетов предложит когда-нибудь открыть кафедру гомосексуализма, я выставлю вашу кандидатуру в первую очередь. Нет, вам, пожалуй, больше подойдет институт специальной

психофизиологии. С особенным удовольствием я бы видел вас на кафедре в Коллеж де Франс, она дала бы вам возможность посвятить себя занятиям по вашему вкусу, и вы бы делились полученными результатами, как это делает профессор тамильского языка или санскрита перед очень ограниченным числом слушателей, которых это интересует. Вы бы имели двух слушателей и педеля, говорю это без всякого намерения бросить малейшую тень на штат наших служителей, который я считаю безупречным». — «Вы ничего об этом не знаете, — возразил барон строгим и резким тоном. — К тому же, вы ошибаетесь, считая, будто это интересует лишь очень немногих. Как раз наоборот». И, не отдавая себе отчета в противоречии между направлением, которое неизменно избирал его разговор, и упреком, с которым он собирался обратиться к другим: «Наоборот, это ужасно, — сказал он Бришо с возмущенным и сокрушающимся видом, — только об этом теперь и говорят. Это срам, но это так, дорогой мой! Позавчера у герцогини д'Ажен ни о чем другом, кажется, не говорили в продолжение двух часов; подумайте, если теперь женщины начинают об этом говорить, так это уж подлинный скандал!

Самое гнусное то, что они обо всем осведомлены, — прибавил он с необыкновенным жаром и энергией, — язвами, предателями в полном смысле слова, вроде маленького Шательро, о котором можно больше сказать, чем о ком-либо, — вот эти мерзавцы им и рассказывают сказки про других. Мне передавали, что он говорит обо мне ужасные гадости, но мне на это наплевать, я думаю, что грязь и мерзости, бросаемые субъектом, которого чуть не выкинули из Жокей-Клуба за то, что он играл нечисто, могут упасть только на него. Знаю, что если бы я был Жаной д'Ажен, я бы заставил уважать мой салон, я бы не позволил обсуждать в нем подобные темы, а также волочить в грязи имя моих родственников. Но в настоящее время нет больше общества, нет больше правил, нет больше приличий ни в отношении разговора, ни в отношении туалетов. Ах, дорогой мой, наступил конец света! Всяк нынче стал зол. Из кожи лезут, чтобы наговорить побольше гадостей о других. Ужас!»

Охваченный малодушием, как это уже со мной бывало в детстве, в Комбре когда я убегал, чтобы не видеть, как дедушке предлагают коньяк, а бабушка тщетно его упрашивает не пить, я думал теперь только о том, чтобы уехать от Вердюренов

прежде, чем совершится казнь Шарлюса. «Мне непременно нужно уезжать», — сказал я Бришо. «Я с вами, — отвечал он, — но мы не можем уйти по-английски. Пойдемте попрощаться с мадам Вердюрен», заключил профессор, направляясь в салон с видом участника какой-нибудь комнатной игры, который идет взглянуть, можно ли уже вернуться.

Пока мы разговаривали, г. Вердюрен по знаку жены увел Мореля. Впрочем, г-жа Вердюрен, даже если бы, по зрелом размышлении, она нашла, что благоразумнее отложить объяснение с Морелем, не могла бы уже это сделать. Иные желания, иногда даже невысказанные, стоит только дать им волю, требуют удовлетворения, во что бы то ни стало, каковы бы ни были последствия; так, мы не можем удержаться, чтобы не поцеловать декольтированное плечо, к которому слишком долго прикован был наш взгляд и на которое губы наши падают, как змея на птичку, не можем не съесть пирожок, когда нас к нему манит слишком разыгравшийся аппетит, не можем подавить удивление, тревогу, боль или веселость, вызванные неожиданно услышанными словами. В таком состоянии, опьяненная мелодрамой, г-жа Вердюрен наказала мужу увести Мореля и во что

бы то ни стало с ним поговорить.

Скрипач прежде всего начал плакаться, что королева Неаполитанская ушла, а ему так и не удалось ей представиться. Г. де Шарлюс много раз ему повторял, что она сестра императрицы Елизаветы и герцогини Алансонской, и дама эта приобрела в глазах Мореля необыкновенную важность. Но хозяин дал ему понять, что они здесь не для того, чтобы говорить о королеве Неаполитанской, и сразу приступил к делу: «Вот что, — заключил он свою речь после минутного молчания: — Вот что, если угодно, пойдем спросим совета у моей жены. Честное слово, я ничего ей не говорил. Пойдем узнаем, как она смотрит на это дело. Мое мнение, может быть, не выдерживает критики, но вы знаете, какой у нее верный взгляд, и кроме того, она питает к вам такие теплые дружеские чувства, пойдем представим дело на ее суд». И в то время как г-жа Вердюрен с нетерпением ждала эмоций, которыми собиралась насладиться при разговоре с виртуозом, а после его ухода — заставив мужа подробно пересказать свой диалог с ним, и непрестанно повторяла: «Что они там могут делать; надеюсь, по крайней мере, что, продержав его столько времени, Огюст сумеет его как следует вышколить», — г. Вердю-

рен появился в дверях с Морелем, по-видимому, очень взволнованным: «Он хотел бы спросить у тебя совета», — сказал г. Вердюрен жене с видом человека, не знающего, будет ли уважена его просьба. Вместо того, чтобы ответить г-ну Вердюрену, г-жа Вердюрен, в пылу страсти, обратилась прямо к Морелю: «Я вполне разделяю мнение моего мужа, я нахожу, что вам нельзя это дольше терпеть», с жаром воскликнула она, позабыв как пустую фикцию свой сговор с мужем, будто она ничего не знает о том, что он сказал скрипачу. «Как? Что терпеть?» — пробормотал г. Вердюрен, пытаясь притвориться изумленным и в сильном смущении пробуя неловко отстоять свою ложь. «Я догадалась, что ты ему говорил», отвечала г-жа Вердюрен, вовсе и не думая придать правдоподобность своему объяснению и мало заботясь о том, какое мнение может составиться у скрипача о правдивости хозяйки, когда он станет вспоминать эту сцену. «Нет, — продолжала г-жа Вердюрен, — по-моему, вам надо положить конец этой постыдной близости с опозоренным субъектом, которого нигде не принимают, — прибавила она, нисколько не считаясь с тем, что это неправда, и забывая, что сама она принимала его почти каждый день. — Вы стали притчей во

языцех в консерватории, — продолжала она, чувствуя, что этот довод является наиболее веским в глазах скрипача: — еще месяц такой жизни, и ваше артистическое будущее разбито, тогда как без Шарлюса вы могли бы зарабатывать больше ста тысяч франков в год». — «Но я, право, никогда ничего такого не слышал, я ошеломлен, я вам очень признателен», — бормотал Морель со слезами на глазах. Принужденный одновременно притворяться изумленным и подавлять стыд, он сильнее покраснел и вспотел, чем в том случае, если бы ему пришлось сыграть подряд все сонаты Бетховена; в глазах его даже выступили слезы, которых наверно не исторг бы у него боннский маэстро.

«Если вы ничего не слышали, то только вы один такой. У этого господина грязная репутация, с ним случались скверные истории. Я знаю, что он под наблюдением полиции, и попасть в ее руки еще самый лучший для него исход, иначе он кончит как все ему подобные: будет убит апашами», прибавила г-жа Вердюрен, так как мысль о Шарлюсе привела ей на память г-жу де Дюрас, и в припадке бешенства она пыталась сделать еще более мучительными раны, наносимые ею несчастному Шарли, и отомстить тем, что сама

она получила сегодня вечером. «К тому же, даже материально он ничем не может вам помочь, он совершенно разорился, с тех пор как попал в лапы людей, которые его шантажируют, но не в состоянии будут выудить от него даже на покрытие своих издержек, и уже тем более вы от него ничего не получите на расходы по вашей музыке, потому что все заложено: дом в Париже, замок и т. д». Морель тем легче поверил всем этим небылицам, что г. де Шарлюс любил сообщать ему по секрету о своих отношениях с апашами, — породой людей, к которой сын камердинера, при всей своей распущенности, испытывает чувство отвращения, равное его преданности бонапартистским идеям.

В хитром уме Мореля зрела уже комбинация, аналогичная тому, что в XVIII веке называли ниспровержением союзов. Решив никогда больше не заговаривать с г-ном де Шарлюс, он вернется завтра вечером к племяннице Жюпьена, взяв на себя заботу все уладить. К несчастью для скрипача, план его обречен был на провал, ибо г. де Шарлюс в этот самый вечер имел свидание с Жюпьеном, на которое бывший жилетник не посмел не явиться, несмотря на разыгравшиеся события. За ними последовали из-за Мореля еще и другие,

как мы сейчас увидим, так что когда Жюпьен в слезах рассказал о своих несчастиях барону, последний, не менее несчастный, ему объявил, что он усыновляет брошенную девушку, передав ей один из титулов, находящихся в его распоряжении, вероятно, титул мадемуазель д'Олерон, который даст ей возможность пополнить свое образование и поможет ей выйти замуж за богатого человека. Обещания эти чрезвычайно обрадовали Жюпьена и оставили равнодушной его племянницу, ибо она по-прежнему любила Мореля, который, по глупости или из цинизма, вошел с шуточками в лавку, когда Жюпьена там не было. «Что с вами, — сказал он, смеясь, — почему у вас эти круги под глазами? Любовные огорчения? Что ж, годы проходят, не похожие друг на друга, добро и зло в жизни перемешано. В конце концов, мы вольны примерять обувь, а тем более женщину, и если она нам не по ноге…» Он рассердился, только когда она заплакала, найдя ее слезы низостью, недостойным поведением. Не всегда мы переносим слезы, которые сами же мы вызвали.

Но мы слишком забежали вперед, ибо все это произошло уже после вечера у Вердюренов, от которого мы отвлеклись и на который надо

теперь вернуться. «Никогда бы я этого не подумал», — вздохнул Морель в ответ г-же Вердюрен. «Понятно, вам не говорят этого в лицо, но это не мешает тому, что вы стали притчей во языцех в консерватории, — злобно продолжала г-жа Вердюрен, желая показать Морелю, что речь идет не только о г-не де Шарлюс, но и о нем также. — Я охотно вам верю, что вы ничего не знаете, тем не менее, все говорят об этом без всякого стеснения. Вот спросите у Ски, что говорили третьего дня у Шевильяров в двух шагах от нас, когда вы вошли в мою ложу. Иными словами, на вас показывают пальцем. Сама я, скажу вам откровенно, не обращаю на это большого внимания, я нахожу только, что это делает человека чрезвычайно смешным, на всю свою жизнь он обращается в общее посмешище». — «Не знаю, как вас поблагодарить», отвечал Шарли тоном, каким мы говорим это дантисту, только что причинившему нам зверскую боль, которой нам не хочется показывать, или слишком кровожадному секунданту, заставившему нас драться из-за какого-то незначительного слова, о котором он вам сказал: «Вы не можете это так оставить». «Я думаю, что у вас есть характер, что вы мужчина, — продолжала г-жа Вердюрен, — и что вы найдете в себе муже-

ство объявить об этом громко и ясно, хотя он и говорит всем и каждому, что вы не посмеете, что вы у него в руках».

Отыскивая какое-нибудь заимствованное достоинство, чтобы прикрыть им лохмотья собственного, Шарли нашел у себя в памяти где-то им вычитанные или услышанные слова и тотчас же объявил: «Я не был воспитан для того, чтобы есть этот хлеб. С сегодняшнего же вечера я порываю с господином де Шарлюс. Королева Неаполитанская ушла, не правда ли?... Не то, прежде чем с ним порвать, я бы его попросил...» — «Нет необходимости порывать с ним начисто, — сказала г-жа Вердюрен, не желавшая вносить расстройство в маленький клан. — Ничего нет неудобного, если вы будете встречаться с ним здесь, в нашем маленьком кружке, где вас так ценят, где про вас не скажут ничего худого. Но потребуйте себе свободы и не позволяйте ему таскать вас ко всем этим дурам, которые в глаза вам говорят любезности, а хотела бы я, чтобы вы послушали, что они говорят у вас за спиной. Да вы об этом не жалейте, вы не только снимаете с себя пятно, которое оставалось бы на вас всю жизнь, но и с артистической точки зрения, даже если бы вы туда проникли без этого позорного знакомства с Шарлюсом, уверяю вас,

что, обесславив себя в этих псевдосветских кругах, вы приобретете несерьезный вид, создадите себе репутацию любителя, салонного музыканта, а это ужасно в вашем возрасте. Я понимаю, что всем этим милым дамам очень удобно потчевать своих приятельниц, приглашая вас поиграть на даровщину, но вам придется расплачиваться за это вашей артистической будущностью. Есть, правда, одно или два исключения. Вы упомянули о королеве Неаполитанской, — которая ушла, потому что у нее еще один вечер, — это славная женщина, и я вам скажу, что она мало считается с Шарлюсом, а пришла сюда главным образом ради меня.

Да, да, я знаю, что она имела большое желание с нами познакомиться, с господином Вердюреном и со мной. Вот это место, где вы можете играть. А затем я вам скажу, когда вас привожу я, которую артисты знают, вы понимаете, которой они всегда рады услужить, на которую они смотрят как на свою, как на покровительницу искусств, так это совсем другое дело. В особенности же как огня остерегайтесь ходить к мадам де Дюрас! Не вздумайте совершить подобную оплошность! Я могу вам назвать артистов, являвшихся ко мне с откровенными жалобами на нее. Они знают, что

мне можно довериться, — сказала она мягким и простым тоном, который умела вдруг брать, придавая лицу выражение скромности, а глазам соответственное обаяние, — они приходят ко мне запросто рассказывать свои маленькие истории; люди, пользующиеся репутацией чрезвычайно молчаливых, болтают со мной по нескольку часов, и я не могу вам выразить, до чего они интересны. Бедный Шабрие говорил постоянно: «Только мадам Вердюрен умеет заставить говорить». Да будет же вам известно, что все они, то есть без единого исключения, плакали на моих глазах, после того как им случалось играть у мадам де Дюрас. Они не только подвергались в доме у нее оскорблениям со стороны подученной прислуги, но больше нигде не могли получить ангажемента. Директора говорили: «Ах, да, это тот, что играет у мадам де Дюрас». Все было конечно. Нет ничего губительнее для вашей будущности. Вы знаете: светские люди — это не дает серьезного вида, у вас может быть какой угодно талант, но, с прискорбием надо сказать, довольно одной какой-нибудь мадам де Дюрас, чтобы за вами укрепилась репутация любителя. Что же касается артистов, — а вы понимаете, я их знаю, уже сорок лет, как я среди них вращаюсь,

ввожу их в моду, ими интересуюсь, — так вот, что касается артистов, когда они сказали: любитель, этим они все сказали.

А ведь в сущности о вас уже начались такие разговоры. Сколько раз уже приходилось мне горячо протестовать, уверять, что вы не стали бы играть в нелепом салоне мадам такой-то! Знаете, что мне отвечали? «Так ведь его заставят, Шарлюс и спрашивать его не будет, он не считается с его мнением». Один мой знакомый хотел доставить ему удовольствие, сказав: «Мы в большом восхищении от вашего друга Мореля». Знаете, что он ответил со свойственной ему наглостью: «Откуда вы взяли, что он мой друг, мы люди разного положения, скажите лучше: моя креатура, мой протеже»». — В эту минуту под выпуклым лбом богини-музыкантши зашевелилась одна вещь, которую иные лица не в силах удержать про себя, слово, не только крайне пошлое, но и крайне неосторожное. Однако потребность его высказать сильнее чувства чести, сильнее благоразумия. Этой именно потребности уступила хозяйка, когда, после несколько конвульсивных движений сферического и измученного мигренями лба, проговорила: «Моему мужу передавали даже, будто он сказал: мой лакей, но я не могу

за это поручиться». Эта самая потребность понудила г-на де Шарлюс вскоре после того, как он поклялся Морелю, что никто никогда не узнает о его происхождении, сказать г-же Вердюрен: «Это сын камердинера». И эта же самая потребность, когда слово пущено, заставляет его переходить от одних людей к другим, которые передают его под большим секретом, немедленно нарушаемым, как нарушили его те, от кого оно до них дошло.

Как при игре в веревочку, слова г-жи Вердюрен в заключение к ней вернулись бы, поссорив ее с заинтересованным лицом, которое рано или поздно о них проведало бы. Она это знала, но не могла не высказать слово, которое жгло ей язык. Слово «лакей» не могло, к тому же, не задеть Мореля. Тем не менее, она сказала «лакей», и если прибавила, что не может за это поручиться, то лишь для того чтобы при помощи этого оттенка создать впечатление полной своей уверенности в остальном, а также чтобы показать свое беспристрастие. Это проявленное ею беспристрастие настолько ее тронуло, что она начала с нежностью говорить Шарли: «Я, видите ли, не делаю ему упреков, он вас увлекает за собой в пропасть, это верно, но он не виноват, потому что сам в нее катится, сам в нее катится, — энергично повто-

рила она, восхищенная верностью образа, так быстро сорвавшегося у нее с языка, что она уловила его только теперь и постаралась должным образом подчеркнуть. — Нет, что я ему ставлю в упрек, — проговорила она разнеженным тоном, как женщина, опьяненная своим успехом, — так это недостаток деликатности по отношению к вам. Есть вещи, о которых не говорят всем и каждому. Между тем, он только что пари держал, что заставит вас покраснеть от удовольствия, сообщив вам (смеха ради, понятно, потому что одна рекомендация барона послужила бы для этого непреодолимым препятствием), что вы получите крестик Почетного легиона. Это бы еще куда ни шло, хотя, — продолжала она с видом достойной и щепетильной женщины, — мне никогда особенно не нравились люди, которые обманывают своих друзей, но вы знаете, бывают пустяки, делающие нам больно. Ну, например, когда он нам рассказывает, покатываясь со смеху, что если вы желаете крестика, то ради вашего дяди, и что ваш дядя был лакеем». — «Он вам это сказал!» — воскликнул Шарли, поверив после этих ловко поднесенных слов в истинность всего сказанного г-жой Вердюрен.

Г-жу Вердюрен обуяла радость старой любов-

ницы, которой удается расстроить женитьбу своего юного возлюбленного, когда он вот-вот готов ее бросить. Ложь ее, может быть, даже не была рассчитанной, и она солгала неумышленно. Может быть, род еще более элементарной эмоциональной логики, род нервного рефлекса, побуждавший ее, для увеселения своей жизни и сохранения счастья, «смешивать карты» в маленьком клане, импульсивно заставлял ее высказывать, прежде чем она успевала проверить их истинность, эти хоть и не безукоризненно правильные, зато дьявольски полезные утверждения. «Добро бы еще он сказал это нам одним, тогда это пустяки, — продолжала хозяйка, — мы знаем, что надо одним ухом слушать, а через другое выпускать то, что он говорит, да к тому же нет низких профессий, мы знаем вашу цену, вы то, чего вы стоите, но когда он собирается тешить этим мадам де Портфен (г-жа Вердюрен нарочно назвала эту даму, зная, что Шарли ее любит), нам это очень неприятно: мой муж сказал мне, когда это услышал: «Я бы предпочел получить пощечину». Ведь Огюст (мы узнаем таким образом, что г. Вердюрен назывался Огюстом) любит вас не меньше, чем я. В глубине души он человек чувствительный». — «Но ведь я тебе никогда

не говорил, что я его люблю, — пробормотал г. Вердюрен, корча добродушного ворчуна. — Это Шарлюс его любит». — «О, нет, теперь я понимаю разницу, — я был предан негодяем, а вы — вы действительно добрый», — в искреннем порыве воскликнул Шарли. — «Нет, нет, — пролепетала г-жа Вердюрен, чтобы сохранить свою победу (а она чувствовала, что среды ее спасены), не злоупотребляя ею, — негодяй это слишком сильно сказано; он делает зло, много зла, бессознательно; знаете, эта история с орденом Почетного легиона продолжалась не очень долго. И мне было бы неприятно передавать вам все, что он говорил о вашей семье», сказала г-жа Вердюрен, которой в самом деле было бы очень затруднительно это сделать. «Ах, пусть это продолжалось только одно мгновение, все равно это доказывает, что он предатель!» — воскликнул Морель.

Как раз в это время мы вернулись в салон. «А! — воскликнул г. де Шарлюс, увидя Мореля и подходя к скрипачу с ликующим видом человека, искусно организовавшего вечеринку в расчете на свидание с какой-нибудь женщиной и в опьянении удачей не подозревающего, что он сам себе устроил ловушку, где его схватят и публично поколотят люди, подосланные мужем

этой женщины. — Наконец-то это не будет преждевременно! Довольны вы, юная знаменитость и вскоре юный кавалер ордена Почетного легиона? Ведь очень скоро вы можете нацепить себе крестик», — сказал г. де Шарлюс Морелю с нежным и торжествующим видом, но этими самыми словами об ордене как бы подтверждая лживые россказни г-жи Вердюрен, показавшиеся теперь Морелю неоспоримой истиной. «Оставьте меня, я вам запрещаю ко мне подходить, — крикнул Морель барону. — Это не первая ваша попытка, я не первый, кого вы пытаетесь развратить!» Единственным моим утешением было думать, что сейчас я увижу, как Морель и Вердюрены будут стерты в порошок г-ном де Шарлюс. За проступки куда более незначительные он на меня обрушивал громы своего яростного гнева, никто не был от них огражден, сам король его бы не устрашил. Между тем случилась вещь невероятная. Г. де Шарлюс стоял безгласный, ошеломленный, не понимая, откуда на него свалилась эта беда, потеряв способность речи и только обводя глазами всех присутствующих с недоумевающим, возмущенным и умоляющим видом, который как будто спрашивал не столько о том, что произошло, сколько о том, что ему надо отвечать. Между тем

г. де Шарлюс обладал огромными запасами не только красноречия, но и смелости, когда в припадке давно уже кипевшего против кого-нибудь бешенства он самыми оскорбительными словами шельмовал своего противника в присутствии шокированных светских людей, никогда не предполагавших, что можно зайти так далеко. Г. де Шарлюс в таких случаях весь пылал, бесновался, с ним бывали настоящие нервные припадки, всех повергавшие в трепет. Но надо сказать, что в таких случаях ему принадлежала инициатива, он нападал, он говорил то, что хотел (как Блок умел подшучивать над евреями и в то же время краснел, когда кто-нибудь заговаривал о них в его присутствии).

Может быть, сделало его безгласным, — когда он увидел, что оба супруга Вердюрен от него отворачиваются и что никто не пришел бы к нему на помощь, — страдание, которое он в ту минуту почувствовал, и особенно страх перед будущими страданиями; или же, не взвинтив себя предварительно и не зарядившись гневом, не имея под руками готового бешенства, он был захвачен врасплох и поражен в ту минуту, когда был безоружен (ибо, обладая повышенной чувствительностью, нервный, истерический, он действовал импуль-

сивно, но не был по-настоящему храбрым; он не был даже, как я и всегда считал, и это сильно располагало меня к нему, по-настоящему злым: ненавистных ему людей он ненавидел, будучи убежден, что они его презирают; если бы они были с ним милы, он бы не только не пылал против них гневом, но расцеловал бы их, и вообще ему не свойственны были нормальные реакции на оскорбления человека с высоко развитым чувством чести); а, может быть, в этой чуждой ему среде он не чувствовал себя так непринужденно и держался не так смело, как в Сен-Жерменском предместьи. Как бы там ни было, а только в этом салоне, к которому он относился с таким презрением, г. де Шарлюс, знатный барин (которому в сущности не в большей степени присуще было превосходство над разночинцами, чем какому-либо из его предков, в страхе стоявшему перед революционным трибуналом), способен был лишь, парализованный во всех своих движениях и лишившийся дара слова, бросать во все стороны испуганные взгляды, возмущенные творимым над ним насилием, в которых мольба о пощаде сочеталась с недоумением. В обстановке столь жестокой неожиданности этот великий краснобай мог только пролепетать: «Что это все

значит, что это такое?» Его даже не слушали. И вековечная пантомима панического страха так мало изменилась, что этот пожилой господин, с которым случилось неприятное приключение в парижском салоне, инстинктивно повторял те несколько схематических поз, в которых архаическая греческая скульптура стилизовала ужас нимф, преследуемых богом Паном.

Отозванный посол, внезапно уволенный в отставку директор канцелярии, холодно принятый светский человек, получивший отказ влюбленной иногда по целым месяцам мысленно обсуждают событие, разбившее их надежды; они его поворачивают и так и этак, точно снаряд, пущенный неизвестно кем и неизвестно откуда, чуть ли не аэролит. Им бы очень хотелось ознакомиться с составными элементами странной штуки, которая на них обрушилась, выяснить, чья злая воля над ней работала. Химики — те, по крайней мере, располагают анализом; больные, почувствовав непонятное им недомогание, могут пригласить врача; уголовные дела в большей или меньшей степени распутываются следователями. Но что касается озадачивающих поступков наших ближних, то нам редко удается открыть их причины. Так, забегая несколько вперед, мы

можем сказать, что для г-на де Шарлюс после этого вечера, на который мы сейчас вер. немся, в поступке Шарли было ясно только одно. Шарли, часто угрожавший барону рассказать, какую он, Морель, внушает ему страсть, воспользовался, должно быть, для осуществления своего намерения тем, что он считал себя теперь достаточно окрепшим и способным летать на собственных крыльях.

По всей вероятности, он все и рассказал, неблагодарный, г-же Вердюрен. Но каким образом эта последняя дала себя обмануть (ибо решивший отпираться барон был сам уже убежден, что чувства, в которых его бы стали упрекать, — выдуманные)? Кто-нибудь из приятелей г-жи Вердюрен, сам, может быть, влюбленный в Шарли, подготовил для этого почву. В результате своих домыслов г. де Шарлюс в следующие дни написал грозные письма некоторым ни в чем неповинным «верным», и те сочли его сумасшедшим; потом он отправился к г-же Вердюрен и рассказал ей длинную трогательную повесть, которая, однако, совсем не оказала желательного ему действия. Ибо, с одной стороны, г-жа Вердюрен твердила барону: «Перестаньте им заниматься, не обращайте на него внимания, это ребенок». Между

тем, барон только и желал, что примирения. С другой стороны, добиваясь этого примирения путем запрета Шарли всего, в чем тот считал себя совершенно уверенным, он просил г-жу Вердюрен больше не принимать скрипача; на это она ответила отказом, за который поплатилась кучей раздраженных и саркастических писем г-на де Шарлюс. Переходя от одного предположения к другому, барон так и не добрался до истины, не узнал, что удар исходил вовсе не от Мореля. Он мог бы, правда, это узнать, попросив у скрипача уделить ему несколько минут на откровенный разговор.

Но барон считал это несовместимым со своим достоинством и с интересами своей любви. Он был оскорблен, он ждал объяснений. Впрочем, почти всегда с мыслью о разговоре, который мог бы рассеять недоразумение, связана бывает другая мысль, под тем или иным предлогом мешающая нам согласиться на этот разговор. Человек, опустившийся и выказавший слабость в двадцати случаях в двадцать первый раз проявит гордость, единственный раз, когда было бы полезно не упорствовать в своем высокомерии и рассеять ошибку, которая, не встречая опровержения, пускает у противника все более глубокие

корни. Что же касается светской стороны этого происшествия, то распространился слух, что г. де Шарлюс был вытолкан вон из дома Вердюренов в то время, как делал попытку изнасиловать юного скрипача. Вследствие этого слуха никто не удивлялся тому, что г. де Шарлюс перестал показываться у Вердюренов, и когда он случайно встречал где-нибудь одного из заподозренных и оскорбленных им верных, то последний, храня на барона злобу, от него отворачивался, да и сам он с ним не здоровался, но это не вызывало удивления, ибо понятно было, что никто из маленького клана не желает больше знаться с бароном.

В то время, как г. де Шарлюс, сраженный ударом, который нанесен был ему только что приведенными словами Мореля и поведением хозяйки, принял позу нимфы, охваченной паническим страхом, господин и госпожа Вердюрен направились в первый салон, как бы в знак разрыва дипломатических отношений оставляя г-на де Шарлюс одного, между тем как на эстраде Морель укладывал свою скрипку. «Ты нам расскажешь, как это произошло», — жадно сказала г-жа Вердюрен мужу. «Не знаю, что такое вы ему сказали, но у него был очень взволнованный вид, — заметил Ски, — у него выступили слезы на глазах». Г-жа

Вердюрен притворилась непонимающей. «Мне кажется, что сказанное мной было для него совершенно безразлично», — проговорила она, пустив в ход одну из тех уловок, которые, впрочем, не всякого обманывают, с целью заставить скульптора повторить, что Шарли плакал, — слезы эти наполняли хозяйку слишком большой гордостью, чтобы она решилась оставить в неведении относительно их кого-нибудь из верных, может быть, плохо расслышавшего слова Ски. «Ну нет, это не было для него безразлично: я видел крупные слезы, блестевшие у него на глазах», вполголоса сказал скульптор, улыбаясь и все время кося глазами, чтобы удостовериться, что Морель еще на эстраде и не может слышать их разговора. Но в зале была особа, которая его слышала и присутствие которой, будь оно замечено, вернуло бы Морелю потерянную им надежду. То была королева Неаполитанская, которая, вспомнив об оставленном ею веере, решила, что любезнее будет самой приехать за ним с другого вечера, на который она отправилась от Вердюренов. Она вошла совсем тихо, как бы сконфуженная, приготовившись извиниться и сделать короткий визит теперь, когда уже все разъехались. Но появление ее осталось незамеченным, настолько все

возбуждены были происшествием, которое она сразу поняла и вся вспыхнула от негодования.

«Ски говорит, что у него были слезы на глазах, заметил ты их? Слез я не видела. Ах, нет, видела, теперь я припоминаю, — поправилась хозяйка из боязни, чтобы ее отрицанию не поверили. — Что касается Шарлюса, то он здорово поджал хвост, ему бы надо подать стул, у него ноги трясутся, сейчас он шлепнется», проговорила она, зло хихикая. В эту минуту к ней подбежал Морель: «Ведь эта дама королева Неаполитанская? — спросил он (хотя хорошо знал, что это она), показывая на королеву, направившуюся к Шарлюсу. — После того, что произошло, я не могу больше, увы, попросить барона представить меня». — «Подождите, я это сделаю», сказала г-жа Вердюрен и в сопровождении нескольких верных, за исключением меня и Бришо (мы поспешили в это время спуститься за нашими пальто и уехать), двинулась к королеве, которая разговаривала с г-ном де Шарлюс. Последний полагал, что осуществлению его большого желания представить Мореля королеве Неаполитанской может помешать только невероятная смерть этой дамы. Но мы представляем себе будущее отражением настоящего где-то там, в пустом пространстве, тогда

как на самом деле оно является результатом, и часто совсем близким, действия причин, по большей части нам недоступных. Не прошло еще и часа, а г. де Шарлюс все бы отдал, чтобы Морель не был представлен королеве. Г-жа Вердюрен сделала королеве реверанс. Видя, что та как будто ее не узнает, она сказала: «Я мадам Вердюрен. Вы не узнаете меня, ваше величество». — «Очень хорошо», проговорила королева, продолжая с такой непринужденностью и с таким совершенно отсутствующим видом свой разговор с г-ном де Шарлюс, что г-жа Вердюрен усомнилась, точно ли к ней обращено было это «очень хорошо», произнесенное изумительно рассеянным тоном, который невольно вызвал у г-на де Шарлюс, несмотря на постигшее его горе, признательную улыбку знатока и гурмана по части уменья быть наглым.

Увидя издали подготовительные шаги к представлению, Морель подошел ближе. Королева подала руку г-ну де Шарлюс. На него тоже она была сердита, но только за то, что он не дал более энергичного отпора гнусным обидчикам. Она покраснела от стыда за этого человека, с которым Вердюрены посмели так обращаться. Полная простоты симпатия, которую она к ним проявила

несколько часов тому назад, и заносчиво надменная поза, в которой она теперь стояла перед ними, брали начало в одном и том же участке ее сердца. Будучи женщиной очень доброй, королева понимала доброту прежде всего в форме несокрушимой привязанности к людям, которых она любила, ко всем своим родственникам, в числе которых находился и г. де Шарлюс, далее ко всем представителям буржуазии или простонародья, умевшим уважать тех, кого она любила, и питать к ним добрые чувства. И к г-же Вердюрен проявила она симпатию тоже как к женщине, одаренной этими добрыми инстинктами. Разумеется, это узкая, немного торийская и весьма старомодная концепция доброты. Но отсюда не следует, чтобы доброта ее была менее искренной и менее пылкой. Древние любили общину, которой они себя посвящали, хоть она и не превышала пределов города, как и наши современники любят свою родину не меньше тех людей, что будут любить соединенные штаты всего земного шара. Совсем рядом я имел пример моей матери, которую г-же де Камбремер и герцогине Германтской никогда не удавалось склонить к участию ни в каком филантропическом предприятии, ни в каком патриотическом доме трудолюбия для женщин,

никогда не удавалось уговорить быть продавщицей или патронессой. Я вовсе не хочу этим сказать, чтобы она была права, подчиняя свои поступки лишь голосу сердца и сохраняя сокровища своей любви и щедрости для семьи, для слуг, для тех несчастных, что волею случая оказались на ее пути, но я хорошо знаю, что сокровища эти у нее, как и у моей бабушки, были неисчерпаемы и намного превосходили все, что в этом отношении могли сделать и когда-нибудь сделали герцогини Германтские и госпожи Камбремер.

Поведение королевы Неаполитанской было совершенно иное, и надо признать, что симпатичные люди рисовались ей совсем не так, как они представлены в романах Достоевского, которыми завладела Альбертина, взяв их из моей библиотеки, то есть в образе тунеядцев, подхалимов, воров, пьяниц, то плоских, то наглых, развратников и при случае убийц. Впрочем, крайности сходятся, ибо знатный и близкий человек, оскорбленный родственник, за которого королева хотела заступиться, был г. де Шарлюс, то есть, несмотря на свое происхождение и близкое родство с королевой, субъект, добродетели которого окружены были множеством пороков. «У вас нехороший вид, дорогой кузен, — сказала

она г-ну де Шарлюс. — Обопритесь на мою руку. Будьте уверены, что она вас всегда поддержит. Она для этого достаточно сильная. — Затем, гордо устремив глаза вперед (перед ней, как мне рассказывал Ски, находились тогда г-жа Вердюрен и Морель), продолжала: — Вы знаете, что некогда в Гаэте ей уже удалось сдержать разбушевавшуюся толпу. Она сумеет послужить вам оплотом». Так, уводя под руку барона и не позволив представить себе Мореля, удалилась пресловутая сестра императрицы Елизаветы. Принимая во внимание крайне несдержанный характер г-на де Шарлюс, преследования, которыми он терроризировал даже своих родных, можно было подумать, что после этого вечера он даст волю своей ярости и предпримет репрессивные меры против Вердюренов. Мы уже видели, почему он сначала вовсе и не подумал об этом.

А спустя некоторое время барон простудился и схватил инфекционное воспаление легких, — болезнь, тогда свирепствовавшую в Париже, — вследствие чего врачи долгое время считали его (и он разделял это мнение) находящимся на волосок от смерти; в таком состоянии, между жизнью и смертью, оставался он несколько месяцев. Был ли то лишь перенос болезненного явления

на другую область, известный в медицине под названием метастаза, — замена воспалением легких невроза, который до сих пор доводил его до самозабвения в настоящих оргиях гнева? Ведь слишком просто предположить, что, никогда не принимая всерьез Вердюренов со светской точки зрения, барон хотя и понял в заключение сыгранную ими роль, однако не мог на них рассердиться, как на равных себе; слишком просто также напомнить, что нервные люди, раздражаясь по всякому поводу против воображаемых и безобидных врагов, сами, напротив, становятся безобидными, когда кто-нибудь переходит в наступление против них, и что их легче успокоить, плеснув им в лицо холодной воды, чем стараясь им доказать несостоятельность их жалоб. Вероятно, не в метастазе надо искать объяснения этой беззлобности, а скорее в самой болезни. Она до такой степени изнуряла барона, что у него оставалось мало досуга для того, чтобы думать о Вердюренах. Он был полумертв.

Мы говорили о переходе в наступление; но даже те наступательные действия, результаты которых скажутся в отдаленном будущем, требуют, если мы хотим их должным образом подготовить, пожертвования некоторой части наших сил. А у

г-на де Шарлюс сил оставалось слишком мало для того, чтобы заниматься какой-либо подготовкой. Часто говорят о смертельных врагах, которые в предсмертную минуту открывают глаза, чтобы увидеть друг друга в последний раз, и закрывают их счастливые. Такие случаи очень редки, они возможны лишь тогда, когда смерть застигает нас в расцвете сил. А, напротив, в минуту, когда больше нечего терять, мы совсем не склонны подвергать себя опасностям, которыми легко бы пренебрегли, будучи полными сил. Дух мщения составляет часть жизни, на пороге смерти он чаще всего нас покидает, — несмотря на исключения, показывающие, что и в пределах одного характера человеку свойственны бывают противоречия. Подумав минуточку о Вердюренах, г. де Шарлюс чувствовал себя слишком утомленным, он поворачивался лицом к стене и не думал больше ни о чем. Если он часто молчал таким образом, это не значит, что он утратил свое красноречие. Оно еще лилось у него свободно, но изменило характер. Оторванное от буйных выходок, которые оно так часто разукрашивало, теперь оно стало почти что мистическим, уснащенным словами нежности, словами Евангелия, приняло вид полной покорности смерти. Особенно много барон

говорил в дни, когда считал себя спасенным. Обострение болезни приводило его к молчанию. Эта христианская кротость, в которую претворилась великолепная буйность барона (как претворился в «Эсфири» столь отличный гений «Андромахи»), вызывала восхищение у всех его окружающих. Она бы вызвала восхищение даже у Вердюренов, которые не могли бы удержаться от преклонения перед человеком, пороки которого пробудили в них ненависть к нему.

Правда, всплывали у барона мысли, которые только видимость имели христианскую. Он молил архангела Гавриила возвестить ему как пророку, через сколько времени придет к нему Мессия. Прерывая себя кроткой скорбной улыбкой, он добавлял: «Но только не надо, чтобы архангел попросил меня, как Даниила, потерпеть «семь недель и шестьдесят две недели», потому что я раньше умру». Тот, кого он ждал таким образом, был Морель. Вот почему просил он архангела Рафаила привести его к нему, как юного Товию. Но, прибегая также к более земным средствам (как папы, которые, захворав, заказывают, конечно, мессы, но не пренебрегают также помощью своего врача), он намекал лицам, приходившим его проведать, что если бы Бришо привел ему

поскорее его юного Товию, то архангел Рафаил, может быть, согласился бы вернуть профессору зрение, как отцу Товии или как в Овчей купели в Вифсаиде. Но несмотря на эти рецидивы плотских желаний, нравственная чистота речей г-на де Шарлюс стала прямо восхитительной. Тщеславие, злословие, безумная злоба и гордость — все это исчезло. Нравственно г. де Шарлюс сильно возвысился над уровнем своей недавней жизни. Но это нравственное совершенствование, насчет подлинности которого ораторское искусство барона способно было, впрочем, ввести в некоторое заблуждение умиленных его слушателей, — это нравственное совершенствование исчезло вместе с болезнью, которая на него работала. Г. де Шарлюс вновь покатился по наклонной плоскости со все возрастающей, как мы увидим, скоростью. Но поступок с ним Вердюренов обратился тем временем в довольно далекое уже воспоминание, которому мешали оживиться более свежие вспышки гнева.

Но вернемся снова к вечеру Вердюренов. Когда хозяева дома остались одни, г. Вердюрен сказал жене: «Знаешь, куда пошел Котар? К Саньету, который хотел поправить свои дела игрой на бирже, но потерпел неудачу. Вернувшись сейчас

от нас домой и узнав, что он потерял все до последнего франка и имеет около миллиона долгов, Саньет обомлел, с ним случился удар». — «Так зачем же он играл, как это глупо, он меньше всего годится для таких вещей. Люди куда более ловкие проигрывались в пух, а он самой судьбой обречен на то, чтобы все его обирали». — «Разумеется, мы давно уже знаем, что он идиот, — сказал г. Вердюрен. — Однако результат налицо. Человек этот завтра же будет вышвырнут на улицу домовладельцем и окажется на самой последней ступени нищеты; родственники его не любят, уж конечно не Форшвиль сделает для него что-нибудь. И вот, я подумал, — я не хочу делать ничего неприятного тебе, но мы могли бы, пожалуй, устроить ему маленькую ренту, чтоб для него не было так заметно разорение и он мог бы лечиться у себя дома». — «Я вполне разделяю твое мнение, очень хорошо с твоей стороны, что ты об этом подумал. Но ты говоришь «у себя дома»; этот болван снимает слишком дорогую квартиру, сохранить ее невозможно, надо бы ему подыскать квартирку в две комнаты. Мне кажется, что его теперешняя квартира стоит от шести до семи тысяч». — «Шесть тысяч пятьсот. Но он очень дорожит своим углом. В общем, с

ним случился первый удар, дольше двух-трех лет он не протянет. Допустим, что мы бы тратили на него по десять тысяч франков в течение трех лет. Мне кажется, что мы бы могли это сделать. Мы могли бы, например, в этом году снять на лето не Распельер, а что-нибудь поскромнее. При наших доходах, мне кажется, жертвовать ежегодно десять тысяч франков в течение трех лет вещь не невозможная». — «Пусть будет по-твоему, досадно только, что об этом проведают, пойдут разговоры, нам придется делать то же самое для других». — «Можешь быть уверена, что я об этом подумал. Я согласен оказать помощь лишь при том непременном условии, что о моем поступке никто не узнает. Спасибо, у меня нет никакой охоты обращать нас в благодетелей рода человеческого. Никакой филантропии! Можно будет сказать бедняге, что рента ему оставлена княгиней Щербатовой». — «А он поверит? Она ведь советовалась с Котаром, составляя свое завещание». — «В крайнем случае, можно посвятить в это дело Котара, он ведь привык хранить профессиональные тайны, он зарабатывает кучу денег, никогда он не уподобится тем людям, за услуги которых приходится платить. Он даже, может быть, возьмется сказать, что княгиня

назначила его посредником. В таком случае, мы даже вовсе не будем фигурировать. Это нас избавит от неприятных сцен благодарности, от чествований, от фраз».

Тут г. Вердюрен прибавил словечко, очевидно, обозначавшее этого рода трогательные сцены и фразы, которых супруги желали избежать. Но оно не могло мне быть передано в точности, потому что было не французским словом, а одним из тех, какие употребляются в иных семьях для обозначения преимущественно чего-нибудь раздражающего, вероятно, потому, что иногда хочется указать на такие вещи членам семьи, не будучи понятым посторонними. Подобного рода выражения являются обыкновенно чем-то вроде обломков прежнего семейного уклада. В еврейской семье, например, таким будет ритуальный термин с извращенным смыслом, может быть, единственное еврейское слово, которое еще знает офранцуженная в настоящее время семья. В семье сильно провинциальной это будет какое-нибудь выражение на местном наречии, несмотря на то, что семья не говорит больше на этом наречии и даже его не понимает. В семье, прибывшей из Южной Америки и говорящей только по-французски, таким будет какое-ни-

будь испанское слово. В следующем поколении слово это уцелеет лишь в качестве детского воспоминания. Молодые члены семьи хотя и будут припоминать, что их родители, намекая за столом на подававших кушанье слуг, произносили непонятное для последних слово, но точного смысла этого слова молодежь не знает, она не знает даже, было ли оно испанское, еврейское, немецкое или областное, и принадлежало ли оно вообще к какому-нибудь языку, а не было именем собственным или чистой выдумкой.

Сомнение может быть разрешено только в том случае, если остался еще в живых какой-нибудь старик дядя, который наверно употреблял это выражение. Так как я не был знаком ни с одним родственником Вердюренов, то и не мог в точности восстановить словечко г-на Вердюрена. Как бы то ни было, оно наверно вызвало улыбку у г-жи Вердюрен, ибо обращение к этому семейному наречию, более интимному и более секретному, чем обычный язык, внушает тем, кто им пользуется в разговоре, эгоистическое чувство, в котором всегда содержится известная доза удовольствия. Когда мгновение веселости миновало, г-жа Вердюрен заметила: «А что, если Котар проболтается?» — «Нет, он не проболтает-

ся». — Он, однако, проболтался, мне, по крайней мере, так как от него я и узнал об этом факте через несколько лет, на похоронах Саньета. Я пожалел, что ничего не знал о нем раньше. Во-первых, я бы скорее пришел к мысли, что никогда не следует питать неприязнь к людям, никогда не следует их осуждать, руководясь воспоминанием о какой-нибудь злобной их выходке, ибо нам неизвестно все то добро, какое душа их могла искренно пожелать и осуществить в другие минуты; конечно, дурной поступок, который мы однажды наблюдали, повторится в той или иной форме, но душа человеческая гораздо богаче, она способна на множество других проявлений, которые тоже будут повторяться у этих людей и которым мы отказываем в привлекательности только по той причине, что люди эти однажды поступили дурно.

Кроме того, и с некоторой более личной точки зрения это откровение Котара не осталось бы на меня без влияния, потому что, изменив мое мнение о Вердюренах, откровение это, будь оно мне сделано раньше, рассеяло бы мои подозрения относительно роли, какую Вердюрены могли играть в отношениях между Альбертиной и мной, — впрочем, может быть, рассеяло бы

напрасно, ибо если у г-на Вердюрена, — которого я все больше и больше ненавидел, считая самым злым человеком в мире, — были некоторые достоинства, он, тем не менее, являлся задирой, способным на самое жестокое преследование, и в своих заботах о сохранении хозяйского господства в маленьком клане не остановился бы перед самой гнусной ложью, перед разжиганием самой неоправданной вражды, лишь бы порвать между верными всякие связи, которые не были направлены исключительно на укрепление маленького кружка. Человек этот способен был на бескорыстный поступок, на щедрость, в которой не было ничего показного, но отсюда не следует непременно, чтобы он отличался также мягкосердечием и располагал к себе, чтобы он был совестлив, правдив и всегда отзывчив. Доброта частичная, в которой пребывало, может быть, кое-что от семьи, находившейся в дружеских отношениях с моей двоюродной бабушкой, вероятно, существовала у него в силу этого факта еще и до того, как я о ней что-нибудь узнал, как Америка или северный полюс существовали до Колумба или Пири. Тем не менее, в момент моего открытия г. Вердюрен явил мне некоторую новую, неожиданную сторону своего существа; отсюда

я заключил о трудности составить точно определенное представление как об индивидуальном характере, так и о человеческих обществах и страстях. Ибо он меняется ничуть не меньше, чем последние, и когда мы желаем запечатлеть относительно устойчивое в нем, то видим лишь различные его стороны (откуда вытекает, что он не умеет хранить неподвижность, а проникнут движением), последовательно возникающие перед озадаченным объективом.

Глава третья
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АЛЬБЕРТИНЫ

Ввиду позднего часа и боясь, чтобы Альбертина не соскучилась, я попросил Бришо, когда мы вышли от Вердюренов, разрешить кучеру сначала завезти меня. После этого мой экипаж будет в его распоряжении. Он поздравил меня с тем, что я возвращаюсь прямо домой (не зная, что дома ждет меня девушка) и так рано и скромно кончаю вечер, между тем как в действительности я, напротив, только отсрочил его настоящее начало. Потом он заговорил со мной о г-не де Шарлюс. Последний был бы, по всей вероятности, чрезвычайно поражен, услышав, как столь любезный с ним профессор, который всегда ему повторял: «Я никогда ничего не разглашаю», без малейшего стеснения говорит о нем и о его жизни. Не менее искренним было бы, пожалуй, и возмущенное изумление Бришо, если бы г. де Шарлюс ему сказал: «Меня уверяли, что вы дурно говорите обо мне». Бришо чувствовал неподдельное влечение к г-ну де Шарлюс, и если бы ему пришлось сослаться на какой-нибудь касавшийся барона

разговор, он бы, наверно, скорее, припомнил чувства симпатии, которые испытывал к барону, говоря о нем те же вещи, что и все говорили, чем самые эти вещи. Профессор вовсе не считал бы, что он лжет, говоря: «Я всегда говорю о вас дружественно», — так как он действительно ощущал некоторое дружественное чувство, когда разговаривал о г-не де Шарлюс. Последний привлекал Бришо в особенности тем, чего профессор прежде всего искал в светском обществе: он являл ему в живом виде качества, которые долгое время могли казаться профессору измышлением поэтов.

Бришо часто объяснял вторую эклогу Вергилия, не зная хорошенько, есть ли у этой выдумки какая-либо реальная основа, и вот, под старость, он находил в разговорах с Шарлюсом приблизительно то удовольствие, какое, он знал, испытали его учителя, г. Мериме и г. Ренан, и его коллега, г. Масперо, путешествуя в Испании, в Палестине и в Египте, — удовольствие узнавать в пейзажах и в нынешнем населении Испании, Палестины и Египта обстановку и неизменяющихся актеров античных сцен, когда-то изучавшихся ими по книгам. «Не в обиду будь сказано этому высокородному герою, — объявил мне Бришо в экипаже, отвозившем нас домой, — он прямо изумителен,

когда комментирует свой сатанинский катехизис с воодушевлением, чуточку отдающим сумасшедшим домом, и упорством, я чуть было не сказал: с наивным чистосердечием испанского легитимиста и эмигранта. Уверяю вас, что, если позволительно воспользоваться выражением монсеньера д'Юльст, я не пропадаю от скуки в дни визитов этого феодала, который, вняв голосу своих родовых инстинктов, во всей содомской простоте ополчился на защиту Адониса, выступил в крестовый поход против нашего века неверия». Слушая Бришо, я был не один с ним. Я чувствовал себя, — чувство это, впрочем, не покидало меня с той минуты, как я вышел из дому, — я чувствовал себя как-то глухо связанным с девушкой, находившейся в эту минуту в своей комнате. Даже когда я разговаривал с кем-нибудь у Вердюренов, я ее смутно ощущал возле себя, у меня было о ней то неясное представление, какое бывает у нас о частях нашего тела, и если мне случалось о ней подумать, я думал так, как мы думаем о собственном теле, досадуя на свою рабскую связь с ним.

«А какая кухня сплетен, — продолжал Бришо, — способная дать пищу всем приложениям к «Понедельничным беседам», разговоры это-

го апостола. Представьте, я узнал от него, что трактат по этике, в котором я всегда чтил самое роскошное морально-философское построение нашей эпохи, внушен был нашему почтенному коллеге NN одним юным разносчиком телеграмм. Приходится признать, что мой выдающийся друг не счел нужным открыть нам имя этого эфеба на страницах своих лекций. Он проявил таким образом больше боязни людского суда или, если вам угодно, меньше благодарности, чем Фидий, начертавший имя атлета, которого он любил, на перстне изваянного им Зевса Олимпийского.

История эта не была известна барону. Нечего и говорить, что она пришлась очень по вкусу его ортодоксальным убеждениям. Вы легко себе представите, что каждый раз, как мне случится обсуждать с моим коллегой чью-нибудь докторскую диссертацию, я буду находить в его диалектике, всегда очень тонкой, еще и тот пряный привкус, какой некоторые пикантные разоблачения прибавили для Сент-Бёва к недостаточно конфиденциальным произведениям Шатобриана. От нашего коллеги, мудрость которого золото, но который деньгами не богат, телеграфист перешел в руки барона «с самыми честными намерениями» (надо было слышать, каким тоном

это было сказано). И так как этот сатана услужливейший человек, то он выхлопотал для своего протеже место в колониях, откуда телеграфист, отличающийся признательным сердцем, время от времени присылает барону превосходные фрукты. Барон их подносит своим добрым знакомым; ананасы молодого человека красовались совсем недавно на столе особняка на набережной Конти, и при виде их мадам Вердюрен, на этот раз без всякой злой мысли, сказала: «Значит, у вас, мосье де Шарлюс, есть американский дядюшка или племянник, от которого вы получаете эти великолепные ананасы!» Признаться, если бы я знал тогда истину, я бы их ел с особенным удовольствием, декламируя про себя начало той оды Горация, которую так любил приводить Дидро. В общем, подобно моему коллеге Буассье, разгуливавшему от Палатинского холма до Тибура, я получаю из разговоров с бароном замечательно живое и красочное представление о писателях века Августа. Не будем даже упоминать о писателях эпохи упадка и восходить к грекам, хоть я раз и сказал этому превосходному господину де Шарлюс, что рядом с ним я произвожу впечатление Платона у Аспазии. По правде говоря, я сильно преувеличил масштаб моих персонажей, и, как

сказал Лафонтен, пример мой взят был из царства «животных помельче». Как бы то ни было, вы, я полагаю, не подумаете, что барон был обижен моим сравнением.

Никогда я его не видел столь простодушно счастливым. В детском восторге он даже отступил от своей аристократической флегмы. «Какие, однако, льстецы все эти сорбоннары! — воскликнул он в упоении. — Подумать только! мне понадобилось дожить до моих лет, чтобы удостоиться сравнения с Аспазией! Этакая старая развалина, как я! О, моя молодость!» Хотел бы я, чтобы вы его видели, когда он это говорил, по обыкновению кричаще напудренный и, в его годы, нарумяненный, как молоденький хлыщ. А впрочем, несмотря на свой вывих по части родословных, милейший человек. По всем этим причинам я был бы глубоко огорчен, если бы сегодняшняя размолвка оказалась окончательной. Удивительно, что этот юноша так взъерепенился. Ведь с некоторых пор он усвоил по отношению к барону манеры сеида, преданного вассала, совсем не предвещавшие такого мятежа. Надеюсь, что во всяком случае, даже если барону (Dei amen avertant) не суждено будет вернуться на набережную Конти, раскол этот на меня не

распространится. Ведь для нас обоих так выгоден обмен моих слабых познаний на его опыт. (Мы увидим, что хотя г. де Шарлюс после тщетных пожеланий, чтобы Бришо привел ему Мореля, не выражал профессору в бурных формах своего негодования, то во всяком случае его симпатия к последнему достаточно остыла, для того чтобы он мог высказываться о нем без всякой снисходительности.) И, смею вас уверить, обмен этот настолько неравный, что когда барон мне выкладывает то, чему его научила жизнь, я никак не могу согласиться с Сильвестром Бонаром, что наилучшие сны о жизни снятся нам в библиотеках».

Мы подъехали к воротам моего дома. Я вышел из экипажа, чтобы дать кучеру адрес Бришо. С тротуара я видел окно комнаты Альбертины, — окно это, раньше всегда черное по вечерам, когда она не жила в нашем доме, электрический свет изнутри, разделенный на сегменты поперечинами ставней, бороздил сверху до низу параллельными золотыми полосами. Эти волшебные письмена, такие ясные для меня и рисовавшие моему спокойному уму четкие образы, совсем близкие, во владение которыми я собирался сейчас вступить, были невидимы сидевшему в экипаже полу-

слепому Бришо, да, впрочем, остались бы ему непонятны, даже если бы он был зрячим, так как, подобно приятелям, приходившим ко мне в гости до обеда, когда Альбертина уже возвращалась с прогулки, профессор не знал, что в соседней комнате меня ждет девушка, находящаяся в полном моем распоряжении.

Экипаж уехал. Я на мгновение остался один на тротуаре. Да, этим световым полосам, на которые я смотрел снизу и которые другому показались бы чисто поверхностными, я придавал предельную плотность, полноту и прочность по причине всего значения, которое я вкладывал за ними в не подозреваемое другими сокровище, там мною спрятанное, от которого исходили эти горизонтальные лучи, — сокровище, если угодно, но в обмен на него мне пришлось поступиться свободой, одиночеством, способностью мыслить. Если бы Альбертины не было там, за окном, и даже если бы я хотел получить только удовольствие, я бы отправился за ним к незнакомым женщинам, пытался проникнуть в их жизнь, отправился, может быть, в Венецию, самое меньшее в какой-нибудь уголок ночного Парижа. Но теперь, когда приходил для меня час наслаждений, мне не надо было отправляться в путешествие, мне не надо

было даже выходить, мне надо было, напротив, вернуться домой. И не с тем, чтобы оказаться в одиночестве и, покинув общество других людей, доставлявших извне пищу моей мысли, искать ее, по крайней мере, в себе самом, но, напротив, оказаться в меньшем одиночестве, чем я был у Вердюренов, оказаться в гостях у особы, в которую я слагал, в которую вкладывал полностью всю свою личность, так что у меня не оставалось бы ни минуты свободной, чтобы подумать о себе, и незачем даже было бы думать о ней, потому что она находилась бы возле меня. Вот почему, когда я взглянул в последний раз снаружи на окно комнаты, в которую я сейчас войду, мне показалось, что я вижу светящуюся решетку, которая сомкнется за мной, и что я сам себе выковал, для вечного заточения, несокрушимые ее золотые прутья.

Помолвка наша приняла характер судебного процесса и сообщила Альбертине робость виноватой. Теперь она меняла разговор, когда речь заходила о лицах мужеского и женского пола, еще не достигших преклонного возраста. Мне бы следовало расспросить ее о том, что я хотел знать, в ту пору, когда она еще не подозревала, что я ее ревную. Надо пользоваться этим време-

нем. Тогда подружка наша говорит нам о своих удовольствиях и даже о том, при помощи каких ухищрений она их маскирует от других. Теперь бы она уже не призналась мне, как в Бальбеке (отчасти потому, что это была правда, отчасти, чтобы извиниться в недостаточно нежном обращении со мной, ибо я уже тогда ее утомлял и она видела по моей предупредительности, что ей незачем быть со мной столько же ласковой, как с другими, чтобы добиться от меня больше, чем от других), она бы уже мне не призналась как тогда: «По-моему, ужасно глупо показывать, что любишь, я, наоборот, когда мне кто нравится, делаю вид, что не обращаю на него внимания. Тогда никто ничего не знает».

Неужели вот эта самая сегодняшняя Альбертина с ее претензиями на откровенность и на равнодушие ко всем, сказала мне это? Нет, этого правила теперь бы она мне не открыла! Разговаривая со мной о той или иной особе, могущей возбудить во мне беспокойство, она ограничивалась его приложением в такой форме: «Ах, я не знаю, я на нее не смотрела, она слишком незначительна». И время от времени, чтобы высказаться наперед о вещах, которые я мог бы узнать, она делала одно из тех признаний, самый тон которых,

прежде чем нам стало известно действительное положение вещей, которое они должны извратить, сделать невинным, выдает их лживость.

Альбертина никогда мне не говорила о своих подозрениях насчет моей ревности, моей озабоченности всем, что она делает. Единственные фразы о ревности, которыми мы обменялись, правда, уже довольно давно, как будто доказывали обратное. Помню, в один прекрасный лунный вечер, еще в начале нашего знакомства, чуть ли не в первый раз, как я ее провожал домой без большой охоты, готовый ее покинуть, чтобы побежать за другими, я ей сказал: «Вы знаете, я предлагаю вас проводить вовсе не из ревности; если у вас есть какие-нибудь свои планы, я скромно удалюсь». На это она мне ответила: «О, я прекрасно знаю, что вы не ревнивы и что вам это совершенно безразлично; но все мои планы заключаются в том, чтобы быть с вами». Другой раз, это было в Распельере, когда г. де Шарлюс, все время поглядывая украдкой на Мореля, изо всех сил старался делать вид, будто он ухаживает за Альбертиной, я ей сказал: «Эге, я вижу, он не на шутку за вами приволокнулся!» А когда я прибавил полуиронически: «Меня терзали все муки ревности», Альбертина, прибегнув к языку,

свойственному вульгарным кругам, из которых она вышла, или еще более вульгарным, которые она посещала, воскликнула: «Ну, и язва же вы! Я отлично знаю, что вы не ревнивы. Во-первых, вы мне это сказали, а во-вторых, это и так видно, подите вы!» С тех пор она мне никогда не говорила о перемене своего мнения; но надо думать, у нее сложились на этот счет совершенно новые взгляды, которые, хоть она их от меня скрывала, могли все же невзначай прорываться у нее помимо ее воли, ибо в тот самый вечер, когда, по возвращении домой я пошел за ней в ее комнату, привел к себе и сказал (с некоторым мне самому непонятным замешательством, так как я ведь объявил Альбертине, что пойду в гости, сказав ей при этом, что еще не знаю куда, может быть, к г-же де Вильпаризи, может быть, к герцогине Германтской, может быть, к г-же де Камбремер; правда, я не назвал как раз Вердюренов): «Угадайте, откуда я: от Вердюренов», — Альбертина, не успел я произнести эти слова, вся изменившись в лице, ответила мне словами, вырвавшимися как будто помимо ее воли с неудержимой силой: «Я так и знала». — «Я не думал, что вам будет так неприятно, если я пойду к Вердюренам». Она, правда, не говорила, что это ей неприятно, но

это было очевидно; правда также и то, что я не признался себе, что это ей будет неприятно. И однако вспышка ее гнева, подобно тем событиям, которым род двойного ретроспективного зрения придает характер уже знакомых нам в прошлом, создала такое впечатление, что другого я никогда и ожидать не мог. «Неприятно? Да какое мне, скажите на милость, дело до этого? Вот уж можно сказать абсолютно безразлично. У них как будто должна была быть мадемуазель Вентейль?» Выведенный из себя этими словами, я выпалил: «Вы мне не сказали, что вы с ней встречались третьего дня», чтобы показать Альбертине, что я лучше осведомлен, чем она думает.

Вообразив, что я ставлю ей в вину сокрытие от меня встречи с г-жой Вердюрен, а не с мадемуазель Вентейль, которую я имел в виду: «Разве я с ней встречалась?» — спросила с мечтательным видом моя подруга себя самое, словно пытаясь привести в порядок свои воспоминания, и в то же время меня, словно разрешить ее сомнения должен был я, — а также, вероятно, с той целью, чтобы я ей сказал все, что мне известно, и, может быть, чтобы выиграть время на обдумывание нелегкого ответа. Но если я был озабочен мадемуазель Вентейль, то в еще большей степени охва-

чен был страхом, который ко мне уже подступал, но теперь совершенно завладел мной, — страхом, что Альбертина хочет получить свободу. Возвращаясь домой, я думал, что приезд мадемуазель Вентейль со своей приятельницей был попросту выдуман г-жой Вердюрен из мелкого тщеславия, и это меня успокоило. Однако Альбертина своим вопросом: «У них как будто должна была быть мадемуазель Вентейль?» — показала мне, что я не обманывался в моем первом подозрении; но, так или иначе, я успокоился в этом отношении на будущее время, потому что, отказавшись пойти к Вердюренам и отправившись в Трокадеро, Альбертина принесла в жертву мадемуазель Вентейль. Но что касается Трокадеро, который она, впрочем, покинула ради прогулки со мной, то причиной, побудившей меня вызвать ее оттуда, было присутствие там Лии. Размышляя об этом, я произнес имя Лии, и Альбертина, вся настороженная, вообразив, что мне наговорили чего-нибудь лишнего, воскликнула, забегая вперед, какой-то скороговоркой, прикрывая лицо рукой: «Я ее очень хорошо знаю; я ходила в прошлом году с приятельницами посмотреть, как она играет; после спектакля мы поднялись в ее уборную, она одевалась в нашем присутствии. Это было очень

интересно». Тогда мысль моя принуждена была покинуть мадемуазель Вентейль и в отчаянном усилии, в этом беге над пропастью невозможных догадок, прилепилась к актрисе, к тому вечеру, когда Альбертина поднималась в ее уборную. С другой стороны, после всех клятв, принесенных ею мне таким правдивым тоном, после такого полного пожертвования своей свободой, как было предположить, что во всем этом заключалось зло? И все же мои подозрения не были разве щупальцами, направленными к истине, ибо если она мне пожертвовала Вердюренами, чтобы пойти в Трокадеро, все-таки у Вердюренов должна была быть мадемуазель Вентейль, а в Трокадеро была Лия, которая мне казалась не стоящей беспокойства, но с которой, как мне стало ясно вот из этой фразы, сказанной Альбертиной без всякой моей просьбы, подруга моя знакома была гораздо короче, чем я когда-либо опасался, завязав это знакомство в обстановке весьма подозрительной? Ибо кто мог ее побудить подняться таким образом в эту уборную?

Если страдания мои, причиненные мадемуазель Вентейль, прекращались, когда я начинал страдать из-за Лии, если эти два моих сегодняшних палача выступали попеременно, то объясня-

лось это либо слабостью моего ума, неспособного представить себе сразу слишком много сцен, — либо чередованием моих нервных эмоций, лишь отголоском которых была моя ревность. Отсюда можно было заключить, что я ревновал к Лии не больше, чем к мадемуазель Вентейль, и что я верил в Лию только потому, что еще страдал от нее. Но из того, что мои вспышки ревности потухали, — чтобы иногда вновь пробудиться одна после другой, — не следовало однако, что они не относились, напротив, каждая к какой-то смутно почувствованной истине, не следовало, что мне надо было отвергнуть всех этих женщин, вместо того, чтобы всех их принять. Я сказал: смутно почувствованной, ибо я не мог занимать всех тех точек пространства и времени, какие надо было, да и какой инстинкт помог бы мне согласовать их друг с другом, чтобы получит возможность накрыть здесь Альбертину в такой-то час с Лией, или с бальбекскими молодыми девушками, или с приятельницей г-жи Бонтан, которую она задела, проходя мимо, или с молоденькой теннисисткой, толкнувшей ее локтем, или с мадемуазель Вентейль?

Должен признаться, что мне показалось самым важным и больше всего меня поразило в каче-

стве симптома то, что она забежала вперед, не дождавшись моего обвинения, то, что она мне сказала: «Кажется, сегодня вечером у них должна была быть мадемуазель Вентейль», — почему я и ответил со всей возможной жестокостью: «Вы мне не сказали, что вы с ней встречались». Таким образом, когда я находил Альбертину нелюбезной, я, вместо того, чтобы сказать ей, как это меня печалит, делался злым. Было такое мгновение, когда я почувствовал к ней настоящую ненависть, которая, впрочем, только оживила мою потребность ее удержать. — «Впрочем, — с гневом сказал я ей, — вы еще многое другое от меня скрываете, даже такие, например, пустяки, как вашу поездку на три дня в Бальбек, говорю это так, между прочим». Я прибавил слова: «Говорю это между прочим», как дополнение к «даже такие пустяки», с тем, чтобы на возможное замечание Альбертины: «Что же было некорректного в моей поездке в Бальбек?» — я мог ответить: «Право, я теперь даже не помню. То, что мне говорили, перемешалось у меня в голове, я этому придаю так мало значения». И действительно, если я заговорил об этой трехдневной прогулке, совершенной ею с шофером в Бальбек, откуда ее открытки дошли до меня с таким запозданием,

то я это сделал совершенно случайно и пожалел, что так плохо выбрал пример; в самом деле, так как трех дней едва могло хватить на поездку в Бальбек и обратно, то эта их прогулка, по всей вероятности, почти вовсе исключала возможность сколько-нибудь продолжительной встречи с кем бы то ни было. Но на основании только что мной сказанного Альбертина решила, что мне известна настоящая правда, и я только от нее скрывал, что она мне известна; она таким образом осталась в убеждении, что с некоторого времени я тем или иным способом за нею слежу, словом, что я каким-то образом, как она сказала на прошлой неделе Андре, «более осведомлен о ее жизни, чем сама она». Вот почему она прервала меня довольно-таки ненужным признанием, ибо мне в голову никогда не приходило то, что она мне сказала и чем я был совершенно подавлен, — так велико бывает расстояние между истиной, извращенной какой-нибудь лгуньей, и представлением об этой истине, составившимся на основании ее выдумок, у того, кто эту лгунью любит.

Едва только произнес я слова: «Вашу поездку на три дня в Бальбек, говорю это так, между прочим», — как Альбертина, прервав меня на полуслове, объявила мне как нечто совершенно

естественное: «Вы хотите сказать, что этой поездки в Бальбек никогда не было? Понятно, не было! И я всегда недоумевала, зачем вы делали такой вид, будто ей верите. Однако это была вещь совершенно невинная. Шоферу надо было отлучиться по своим делам на три дня. Он не решался вам это сказать. Тогда из участия к нему (тут я во всем виновата, во всех таких историях ответственность всегда падает на меня) я придумала эту воображаемую поездку в Бальбек. Он меня попросту высадил в Отейле, на улице Асомпсьон, у моей приятельницы, где я провела три дня, проскучав до сумасшествия. Вы видите, что тут нет ничего серьезного, ничего не разбилось. Я уже начала думать, что вы все знаете, когда увидела, как вы расхохотались, получив с опозданием на неделю мои открытки. Я согласна, что это было смешно и что лучше бы было обойтись без всяких открыток. Но это не моя вина. Я их купила заранее и дала шоферу перед тем, как он меня высадил в Отейле, а потом этот увалень забыл их у себя в кармане, вместо того чтобы отослать в конверте одному своему приятелю, живущему под Бальбеком, который должен был переправить их вам. Я-то думала, что они сейчас же прибудут. А он о них вспомнил только через пять дней и, вместо

того чтобы сказать мне, простофиля, послал их в Бальбек. Когда он мне это сказал, я его в лицо обозвала идиотом, и поделом! Встревожить вас понапрасну по вине этого дурня в награду за трехдневное заточение, на которое я согласилась, чтобы дать ему возможность устроить свои маленькие семейные дела. Я не решалась даже показаться на улице в Отейле, из боязни быть замеченной. Один только раз рискнула выйти, переодевшись мужчиной, вот было смешно! И судьбе, которая меня везде преследует, угодно было, чтобы первым, на кого я наткнулась, оказался ваш приятель-еврей Блок. Но я не думаю, чтобы через него вам стало известно, что поездка в Бальбек существовала только в моем воображении, ибо, судя по его выражению, он меня не узнал».

Я не знал, что сказать, не желая показаться удивленным и раздавленным такой бессовестной ложью. С чувством отвращения, которое, однако, не заставило меня выгнать Альбертину вон, соединялось, напротив, неудержимое желание плакать. Оно вызывалось не ложью самой по себе и не крушением всего, в истинности чего я был настолько уверен, что почувствовал себя словно в стертом с лица земли городе, где не уцелело ни одного дома, где голая земля всхолмлена

только мусором, — но грустным сожалением, что за эти три дня, так скучно проведенные Альбертиной у своей приятельницы, она ни разу не возымела желания (может быть, даже об этом и не подумала) тайком провести денек со мной или попросить меня пневматичкой навестить ее в Отейле. Но мне некогда было предаваться этим мыслям. В особенности не хотел я казаться удивленным.

Я улыбнулся с видом человека, знающего больше, чем он говорит. «Это только один пример из тысячи. Послушайте, ведь вы знали, что мадемуазель Вентейль ожидалась сегодня днем у мадам Вердюрен, когда вы пошли в Трокадеро». Она покраснела: «Да, я знала». — «Можете вы мне поклясться, что вы хотели пойти к Вердюренам не для того, чтобы возобновить с ней отношения?» — «Ну, разумеется, могу поклясться. Зачем возобновлять, у меня никогда не было с ней никаких отношений, клянусь вам». Я был глубоко опечален, слыша эту ложь Альбертины, это отрицание такого очевидного свидетельства, как краска, появившаяся на ее лице. Лживость Альбертины меня глубоко огорчала. Но все-таки, поскольку лживость эта заключала в себе утверждение невинности, которому я безотчетно готов был

верить, она причинила мне меньше боли, чем ее искренность, когда на мой вопрос: «Можете вы, по крайней мере, мне поклясться, что ваше желание пойти на этот утренник Вердюренов не было вызвано удовольствием повидаться с мадемуазель Вентейль?» — она ответила: «Нет, в этом я не могу поклясться. Я бы с большим удовольствием увиделась с мадемуазель Вентейль». Секундой раньше я на нее сердился за то, что она скрывает свои отношения с мадемуазель Вентейль, теперь же открытое признание Альбертиной удовольствия, которое она получила бы, увидевшись с ней, меня совсем обескуражило. Впрочем, уже одна таинственность, которой окружено было ее желание пойти к Вердюренам, не могла не являться для меня достаточным доказательством. Но я уже перестал в это вдумываться. Почему она, говоря мне теперь правду, ограничивалась полупризнанием?

Это было даже не столько дурно и прискорбно, сколько попросту глупо. Я был настолько уничтожен, что не имел мужества настаивать, очутившись вдобавок в незавидной роли человека, неспособного предъявить никакого документального доказательства, и, чтобы снова занять более выгодное положение, поспешил пе-

рейти к предмету, позволявшему мне взять верх над Альбертиной: «Послушайте, не далее, как сегодня вечером у Вердюренов, я узнал, что все, что вы мне говорили о мадемуазель Вентейль»... Альбертина пристально на меня посмотрела с встревоженным видом, стараясь прочитать в моих глазах, что такое я мог узнать. Правда, то, что мне было известно и что я собирался сказать ей относительно мадемуазель Вентейль, я узнал не у Вердюренов, а много лет тому назад в Монжувене. А так как мне никогда не приходилось рассказывать об этом Альбертине, то я мог сделать вид, будто узнал все только сегодня вечером. Столько перестрадав в вагоне узкоколейки, я теперь почти радовался тому, что сохранил воспоминание о Монжувене; правда, я его отнесу к позднейшему времени, но оно от этого не утратит своей доказательности и будет ударом дубиной для Альбертины. По крайней мере, мне на этот раз не нужно было «делать вид, будто я знаю» и «заставлять Альбертину проговориться»: я знал, я видел через освещенное окно в Монжувене. Что бы там ни говорила Альбертина о совершенной чистоте своих отношений с мадемуазель Вентейль и ее приятельницей, — каким образом решится она, когда я ей поклянусь (и поклянусь, нисколько

не кривя душой), что мне известны нравы двух этих женщин, — каким образом решится она утверждать, что, прожив с ними в самой тесной близости, называя их «своими старшими сестрами», она убереглась от их предложений, которые привели бы ее к разрыву, если бы она, напротив, их не приняла?

Но я не успел высказать то, что я знал. Альбертина, вообразив, что, как это было с мнимой поездкой в Бальбек, я узнал правду либо от мадемуазель Вентейль, если она была у Вердюренов, либо просто от г-жи Вердюрен, которая могла заговорить о ней с мадемуазель Вентейль, не дала мне раскрыть рот, сделав признание, диаметрально противоположное тому, которого я ожидал, но причинившее мне, пожалуй, такую же боль, как лишнее доказательство того, что она никогда не переставала мне лгать (особенно потому, что я, как это только что было сказано, не ревновал больше к мадемуазель Вентейль); итак, забегая вперед, Альбертина сказала: «Вы должно быть узнали сегодня вечером, что я вам солгала, сказав, будто я была почти воспитана подругой мадемуазель Вентейль. Да, это верно, я вам немного солгала. Но я чувствовала такое пренебрежение с вашей стороны и видела в то

же время, что вы так увлечены музыкой этого Вентейля, что, вспомнив об одной из своих товарок, — это-то уж правда, клянусь вам, — которая была приятельницей приятельницы мадемуазель Вентейль, я возымела глупую мысль сделать себя интересной в ваших глазах, выдумав, будто я была хорошо знакома с этими девушками. Я чувствовала, что вам со мной скучно, что вы меня находите глупенькой, и вот я вообразила, будто, сказав вам о близости этих людей со мной и о том, что я могла бы сообщить вам всякие подробности относительно произведений Вентейля, я приобрету кое-какой престиж в ваших глазах, вообразила, будто это нас сблизит. Когда я вам лгу, я всегда это делаю из дружбы к вам. И надо же было случиться этому роковому вечеру у Вердюренов, чтобы вы узнали правду, которую вам, может быть, еще и преувеличили. Пари держу, что подруга мадемуазель Вентейль вам, наверно, сказала, что она со мной знакома. Она меня видела, по крайней мере, два раза у моей товарки. Но, понятно, я не достаточно шикарна для людей, ставших такими знаменитыми. Они предпочитают говорить, что они меня никогда не видели». Бедная Альбертина! Вообразив, будто рассказав о своих близких отношениях с подругой мадемуа-

зель Вентейль она отдалит срок моего «охлаждения» к ней, примирит нас, подруга моя, как это часто случается, достигла истины не тем путем, по которому она собиралась пойти. Показав себя более сведущей в музыке, чем я предполагал, она бы нисколько не помешала мне порвать с ней в тот вечер в вагоне узкоколейки; а все-таки именно фраза, сказанная ею с этой целью, сразу исключила всякую возможность разрыва. Лишь в толковании ее она допускала ошибку, не относительно действия, которое должна была возыметь эта фраза, но относительно причины, в силу которой она должна была произвести свое действие, причины, заключавшейся в том, что мне открылась не музыкальная ее культура, а ее порочные наклонности. Меня внезапно с ней сблизило, больше, чем сблизило, — растворило в ней, не ожидание наслаждения — какое там наслаждения, просто легкого удовольствия! — а подступившее к сердцу мучительное страдание. И на этот раз у меня не было времени помолчать, ибо мое слишком продолжительное молчание могло внушить Альбертине мысль, что слова ее меня поразили. Вот почему, тронутый ее скромностью, ее убеждением, что Вердюрены относятся к ней свысока, я ласково сказал: «Что вы, милочка!

Я с большим удовольствием подарю вам несколько сот франков, чтобы вы могли появляться где вам угодно в качестве шикарной дамы и пригласить на великолепный обед мосье и мадам Вердюрен». Увы, Альбертина совмещала в себе несколько личностей. Самая загадочная, самая несложная, самая жестокая из этих личностей нашла выражение в ее ответной фразе, которую она проговорила, скривив губы, и слов которой я, сказать по правде, хорошенько не разобрал (даже начальных слов, потому что она не договорила). Я их восстановил лишь немного позже, когда угадал ее мысль. Мы слышим ретроспективно, когда мы поняли услышанное. «Благодарю покорно! тратить деньги на этих стариков, нет, я бы предпочла, чтобы вы хоть раз предоставили мне свободно дать разбить…» Едва это сказав, она вся покраснела, на лице ее выразилось болезненное смущение, она приложила руку ко рту, как бы желая загнать обратно вырвавшиеся у нее слова, которых я совершенно не помял. «Что вы говорите, Альбертина?» — «Нет, ничего, я совсем задремала». — «Ничуть вы не дремали, совсем напротив». — «Я думала об обеде для Вердюренов, это очень мило с вашей стороны». — «Нет, нет, я спрашиваю вас о том, что вы сказали». Она мне

представила тысячу версий, которые совершенно не вязались не только что с ее словами, — будучи прерваны, они оставались неясными, — но и с тем что она их прервала, а также с краской, внезапно покрывшей ее лицо. «Полноте милочка, вы совсем не это хотели сказать, иначе почему бы вы вдруг остановились». — «Потому что я нашла мою просьбу нескромной». — «Какую просьбу?» — «Дать обед». — «Нет, нет, совсем не это, ни о какой скромности не может быть и речи при наших отношениях». — «Отчего же, напротив, не надо злоупотреблять чувствами людей, которых мы любим. Во всяком случае, клянусь вам, что именно это». С одной стороны, мне всегда было очень трудно сомневаться в клятвах Альбертины, а с другой стороны, ее объяснения не удовлетворяли моего разума. Я продолжал настаивать. «Имейте, по крайней мере, мужество закончить вашу фразу, вы остановились на слове разбить». — «О, нет, оставьте меня!» — «Почему же?» — «Потому что это ужасно вульгарно, мне было бы очень стыдно сказать это вам. Не знаю, о чем я думала, я даже не понимаю, что значат эти слова, я их услышала однажды на улице, они были сказаны какими-то очень грязными людьми и сорвались у меня с языка ни к селу ни к городу. Они не имеют

никакого отношения ни ко мне и ни к кому, я грезила вслух».

Я почувствовал, что больше ничего не добьюсь от Альбертины. Она мне солгала, поклявшись только что, будто ее остановил страх показаться нескромной, обратившийся теперь в стыд — ей стыдно было произносить передо мной слишком вульгарные слова. Но конечно это снова была ложь. Ибо когда мы оставались одни с Альбертиной, не было таких непристойностей, не было таких циничных слов, которых мы бы не произносили, лаская друг друга. Во всяком случае, в настоящую минуту настаивать было бесполезно. Но из памяти моей все не выходило слово «разбить». Альбертина часто говорила «разбить башку», «разбить рожу» и т. д. Однако она постоянно употребляла эти выражения в моем присутствии, и если теперь хотела сказать что-нибудь в таком роде, то почему она внезапно замолчала, почему так сильно покраснела, закрыла рукой рот, совершенно переиначила свою фразу и, увидев, что я отчетливо расслышал слово «разбить», постаралась дать ему ложное толкование? Но раз уж я отказался продолжать допрос, не давший никаких удовлетворительных результатов, то самое лучшее было сделать вид, будто больше об этом

не думаешь; вот почему, мысленно вернувшись к упрекам, сделанным мне Альбертиной за то, что я пошел к г-же Вердюрен, я очень неуклюже сказал ей в качестве глупого оправдания: «А я как раз хотел вас просить пойти сегодня вечером к Вердюренам», — фраза вдвойне неловкая, ибо если я этого хотел, то отчего же не предложил ей, будучи все время вместе с ней? Ложь эта разозлила Альбертину, а мой робкий вид придал ей смелости. «Если бы даже вы меня упрашивали тысячу лет, — сказала она, — все равно я бы не согласилась. Люди эти всегда были против меня, они приложили все усилия, чтобы делать мне неприятное. Нет такого одолжения, которого я бы не сделала для мадам Вердюрен в Бальбеке, и славно же она меня отблагодарила. Пошли она за мной, когда будет лежать при смерти, и то я не пойду. Есть вещи, которые не прощаются. А что касается вас, то это ваша первая неделикатность по отношению ко мне. Когда Франсуаза сказала мне, что вы ушли (сказала, разумеется, с большим удовольствием), я бы, кажется, предпочла, чтобы мне рассекли голову пополам. Я постаралась это скрыть, но никогда в жизни не получала я подобного оскорбления».

Пока она говорила, у меня в области бессо-

знательного, погруженного в очень живой и творческий сон (в котором четко отпечатываются веши, лишь слегка нас коснувшиеся, в котором онемевшие руки схватывают, наконец, ключ, до тех пор безнадежно затерянный) продолжались поиски того, что она хотела сказать прерванной фразой, чем должна была ее закончить. И вдруг на меня упали два жестоких слова, о которых я совсем не думал: «мою посудину». Я не могу сказать, чтобы они пришли мне в голову сразу, как это бывает, когда мы в продолжительной пассивной покорности приладились, прильнули к какому-нибудь скомканному воспоминанию, все время стараясь тихонечко, осторожненько его расправить. Нет, в противность обычной моей манере припоминать, поиски мои, мне кажется, направились по двум параллельным путям; я принимал во внимание не только фразу Альбертины, но также ее рассерженный взгляд, когда я ей предложил в подарок деньги, чтобы дать роскошный обед, взгляд, как будто говоривший: «Благодарю покорно, тратить деньги на обед, который не даст мне ничего, кроме скуки, тогда как и без денег я могла бы делать веши, доставляющие мне удовольствие!» Может быть, как раз воспоминание об этом ее взгляде заставило

меня переменить метод нахождения конца того, что она хотела сказать. До сих пор я был загипнотизирован последним словом: «разбить», — она хотела разбить что? Разбить башку? Нет. Рожу? Нет. Разбить, разбить, разбить… И вдруг взгляд, появившийся у нее в ту минуту, как я ей предлагал дать обед, заставил меня вернуться к словам ее фразы. Тотчас же я увидел, что она сказала не «разбить», а «дать разбить». Ужас! Так вот что она предпочитала! Ужас, ужас! Ведь даже последняя из потаскух, которая на это соглашается или этого желает, и та не употребляет такого отвратительного выражения в разговоре с готовым пойти ей навстречу мужчиной. Она бы почувствовала себя слишком приниженной. Она способна это сказать разве только женщине, если она любит женщин, в качестве извинения за то, что она отдавалась только что мужчине. Альбертина не солгала, когда сказала мне, что она почти задремала. Рассеянная, импульсивная, забывшая, что она находится со мной, она пожала плечами, она начала говорить так, как заговорила бы с одной из таких женщин, может быть, с одной из моих девушек в цвету. Тогда, сообразив вдруг, где она находится, покраснев от стыда, загнав обратно в рот то, что она хотела сказать, почувствовав

крайнее сожаление, она не пожелала больше вымолвить ни слова.

Мне нельзя было терять ни секунды, если я не хотел, чтобы она заметила мое отчаяние. Но уже, после приступа бешенства, слезы выступали у меня на глазах. Как в Бальбеке, в ночь после того, как Альбертина призналась в своих дружеских отношениях с Вентейлями, мне необходимо было немедленно придумать правдоподобную причину моего горя, способную в то же время произвести настолько глубокое впечатление на Альбертину, чтобы я получил передышку на несколько дней перед тем, как принять окончательное решение. Но в то время, как она мне говорила, что никогда еще не получала оскорбления, подобного тому, которое я ей нанес, уйдя к Вердюренам, что она предпочла бы умереть, только бы не слышать об этом от Франсуазы, и я, раздраженный ее смешной обидчивостью, собирался уже сказать, что на поступок мой не стоит обращать внимания, что для нее нет в нем ничего оскорбительного, — в это самое время параллельно совершавшаяся во мне работа бессознательного, занятого выяснением того, что она хотела сказать после слова «разбить», успешно закончилась, и мое открытие повергло меня в та-

кое отчаяние, скрыть которое было невозможно; вот почему, вместо того чтобы защищаться, я стал винить себя. «Бедная моя Альбертина, — сказал я ласковым тоном, который обязан был навернувшимся слезам, — я мог бы вам сказать, что вы неправы, что поступок мой не имеет никакого значения, но я бы солгал; в действительности вы совершенно правы, вы почуяли правду, бедненькая; всего шесть месяцев, всего три месяца назад, когда я был еще так дружески к вам расположен, ни за что бы я этого не сделал. Это пустяк и в то же время это имеет огромное значение, потому что свидетельствует о громадной перемене в моем сердце. И раз уж вы догадались об этой перемене, которую я надеялся от вас скрыть, то я решил вам сказать следующее: Милая моя Альбертина (я произнес эти слова необычайно ласковым и печальным тоном), видите ли, жизнь, которую вы здесь ведете, вас тяготит, нам лучше расстаться, и так как разлука тем безболезненней, чем она происходит скорее, то, чтобы сократить горе, в которое она меня повергнет, я прошу вас попрощаться со мной сегодня же вечером и уехать завтра утром, не повидавшись со мной, когда я буду спать». Альбертина, по-видимому, опешила, она еще не верила и была уже опечалена. «Как

завтра? Вы этого хотите?» И несмотря на то, что мне было очень мучительно говорить о нашей разлуке, как об уже отошедшей в прошлое, — отчасти, может быть, именно вследствие этой мучительности, — я стал давать Альбертине самые точные указания насчет некоторых вещей, которые ей надо будет сделать после отъезда.

Переходя таким образом от одного совета к другому, я скоро углубился в самые мелочные подробности. «Будьте настолько любезны, — сказал я ей с чрезвычайным опечаленным видом, — вернуть мне книгу Бергота, которая находится у вашей тетки. Это дело не спешное, — скажем, через три дня, через неделю, как вам будет угодно, только, пожалуйста, не забудьте, чтобы мне не пришлось вам напоминать, мне это будет очень больно. Мы были счастливы, теперь мы чувствуем, что будем несчастны». — «Не говорите, что мы это чувствуем, — перебила меня Альбертина, — не говорите мы, вы один это находите». — «Да, мы или я, как вам угодно, по той или другой причине. Но уже страшно поздно, вам надо ложиться, — ведь мы решили расстаться сегодня вечером». — «Простите, решили это *вы*, и я вам повинуюсь, потому что не хочу вам прекословить». — «Ну, пусть решил это я, но от этого

мне не легче. Я не говорю, что буду мучиться долго, вы знаете, что память у меня короткая, но в первые дни я буду так скучать по вас! Поэтому я считаю лишним оживлять прошлое письмами, надо кончить разом». — «Да, вы правы, — сказала Альбертина с глубоко опечаленным видом, еще более подчеркнутым ее осунувшимися от утомления и позднего часа чертами, — чем давать отрубить один палец за другим, уж лучше сразу подставить под топор голову». — «Боже мой, я прямо в ужасе, что заставляю вас ложиться в такой поздний час, это безумие. Ну, ради последнего вечера! У вас будет время выспаться после разлуки со мной». Так, говоря ей, что пора нам пожелать друг другу покойной ночи, я пытался оттянуть минуту, когда она меня покинет. «Хотите, чтобы скрасить вам первые дни, я попрошу Блока прислать вам свою кузину Эсфирь туда, где вы будете, он это сделает для меня». — «Не понимаю, для чего вы это говорите (я это говорил для того, чтобы вырвать у Альбертины признание); я дорожу только одним человеком на свете — вами», сказала Альбертина, и слова ее наполнили меня умилением. Но сейчас же после этого какую боль она мне причинила! «Я очень хорошо помню, что подарила Эсфири свою карточку, по-

тому что она меня очень упрашивала и я видела, какое ей это доставит удовольствие, но что касается дружбы с ней или желания когда-нибудь ее увидеть...» Однако Альбертина была настолько легкомысленна, что тут же прибавила: «Если она хочет меня видеть, мне это все равно, она очень мила, но я совершенно к этому не стремлюсь».

Значит, когда я ей говорил о присланной мне Блоком карточке Эсфири (которой я даже еще не получил, когда завел о ней речь с Альбертиной), Альбертина подумала, что Блок мне показывал ее карточку, которую она подарила Эсфири. В самых худших своих предположениях я никогда не думал, что между Альбертиной и Эсфирью могла существовать подобная близость. Альбертина не нашлась мне ответить, когда я заговорил о фотографической карточке. И вот теперь, вообразив, будто мне все это известно, она решила, что лучше сознаться. Я был подавлен. «А затем, Альбертина, я прошу вас в виде милости об одной вещи — никогда не делайте попыток со мной увидеться. Если когда-нибудь, может быть, через год, через два, через три нам случится быть в одном городе, избегайте меня». И, видя, что она не дает мне утвердительного ответа на мою просьбу, я продолжал: «Милая Альбертина, никогда не

ищите увидеться со мной в этой жизни. Мне это будет слишком мучительно. Ведь я действительно был к вам дружески расположен, вы знаете. Я знаю, что когда я вам рассказал на днях, что хочу вновь увидеть ту мою приятельницу, о которой мы говорили в Бальбеке, вы подумали, что это было заранее условлено. Нет, уверяю вас, мне это было совершенно все равно. Вы убеждены, что я давно уже решил вас покинуть, что моя нежность — комедия». — «Нет, нет, вы с ума сошли, я никогда этого не думала», сказала она печально. «Вы правы, не надо так думать, я вас искренно любил, я не был, может быть, в вас влюблен, но зато был очень, очень дружески к вам расположен, больше, чем вы думаете». — «Помилуйте, я в этом не сомневаюсь. И если вы воображаете, что я, я вас не люблю!» — «Мне ужасно больно с вами расставаться». — «А мне еще в тысячу раз больнее», отвечала Альбертина. Уже несколько мгновений я чувствовал, что не могу больше сдерживать слезы, подступавшие к моим глазам. Слезы эти, однако, проистекали отнюдь не из той печали, которую я когда-то испытывал, говоря Жильберте: «Лучше нам больше не видеться, жизнь нас разлучает». Должно быть, говоря это Жильберте, я думал, что когда полюблю уже не ее, а другую,

избыток моей любви уменьшит любовь, которую сам я мог бы внушить, как если бы судьба всегда отпускала двум любящим определенный запас любви: когда один берет оттуда лишнее, другой недополучает, и что я обречен буду на разлуку с другой женщиной, так же, как и с Жильбертой. Но положение дела было теперь совсем иное по многим причинам, прежде всего потому (эта причина обусловила, в свою очередь, все прочие), что свойственный мне недостаток воли, которого так страшились в Комбре мои бабушка и мать и перед которым и та и другая последовательно спасовали, — с такой энергией больной утверждает свою слабость, — этот недостаток воли с годами у меня все больше и больше прогрессировал. Почувствовав, что мое присутствие утомляет Жильберту, я имел еще достаточно сил, чтобы отказаться от нее; их у меня больше не было, когда я сделал то же наблюдение по отношению к Альбертине, я думал теперь только о том, чтобы удержать ее какой угодно ценой. Таким образом, если я писал Жильберте, что не увижу ее больше, с намерением действительно с ней больше не видеться, то по отношению к Альбертине слова эти были чистым притворством, при их помощи я хотел добиться примирения с ней.

Так разыгрывали мы друг перед другом роли, не имевшие ничего общего с действительностью. По всей вероятности, так всегда бывает в тех случаях, когда два существа оказываются лицом к лицу, потому что каждому из них остается неизвестной часть того, что происходит в другом (и даже то, что им известно, остается частично непонятным), и оба они выказывают то, что в них наименее характерно, оттого ли, что они сами в себе не разобрались и считают не заслуживающим внимания самые интимные свои качества, или же оттого, что ничтожные и не зависящие от них преимущества им кажутся более важными и более лестными. В любви это взаимное непонимание достигает высшей степени, так как, за исключением, может быть, поры детства, мы заботимся не о том, чтобы наше поведение в точности отражало наши мысли, а о том, чтобы оно наилучше обеспечивало, на наш взгляд, достижение того, что мы желаем, а я, возвратившись домой, желал больше всего, чтобы Альбертина оставалась такой же послушной, как и прежде, чтобы в состоянии раздражения она не попросила у меня большей свободы, чем та, что я желал ей предоставить со временем, но не сейчас, потому что в настоящую минуту, когда я страшился ее

поползновений к независимости, такая свобода возбудила бы у меня слишком сильную ревность. Начиная с известного возраста, мы из самолюбия и предусмотрительности делаем вид, будто не дорожим вещами, которых больше всего желаем.

Но в любви простая предусмотрительность, — которая, впрочем, едва ли равнозначна истинной мудрости, — довольно рано заставляет нас прибегать к такого рода двуличности. Ребенком я мечтал, что самое сладкое в любви и даже самая сущность ее состоит в том, чтобы свободно изливать перед любимой свою нежность, свою признательность за ее доброту, свое желание постоянно жить с ней вместе. Но на основании собственного опыта и опыта моих друзей я отдал себе ясный отчет в том, что выражение подобных чувств отнюдь не бывает заразительно. Когда мы это заметили, мы уже не даем себе увлечься; сегодня днем я остерегся выразить Альбертине всю свою признательность за то, что она не осталась в Трокадеро. И сегодня вечером, боясь, чтобы она меня не покинула, я притворился, будто сам желаю ее покинуть; притворство это, впрочем, было мне продиктовано не только уроками, которые я извлек из предыдущих моих любовных увлечений и пробовал применить в настоящем случае.

Страх, как бы Альбертина не вздумала мне сказать: «Я хочу, чтобы у меня были часы, когда я могла бы выходить одна, я хочу иметь возможность отлучаться на двадцать четыре часа», и вообще обратиться с какой-нибудь просьбой в этом роде, которой я не пробовал уточнить, но которая меня ужасала, — страх этот на мгновение охватил меня на вечере у Вердюренов и еще перед этим вечером. Но он рассеялся, его прогнала память о непрестанных уверениях Альбертины в том, что ей так хорошо у меня в доме. Намерение меня покинуть, если оно существовало у Альбертины, выражалось лишь очень смутно, в форме печальных взглядов, в нетерпеливых движениях, в некоторых фразах, отнюдь не говоривших этого прямо, но если над ними поразмыслить (в этом не было даже надобности, ибо мы разгадываем язык страсти без помощи умозаключений, люди самые необразованные понимают такие фразы, продиктованные тщеславием, злопамятством или ревностью; последние, правда, не выражены в них открыто, но сразу распознаются собеседником при помощи интуитивной способности, которая, подобно «здравому смыслу» Декарта, является самой распространенной вещью на свете), выдававших наличие в Альбертине некоего

скрываемого чувства, способного внушить ей планы независимой от меня жизни. Но если ее намерение не выражалось в словах по правилам логики, то и появившееся у меня в тот вечер предчувствие этого намерения оставалось таким же смутным. Я продолжал жить, основываясь на гипотезе, что Альбертина всегда мне говорит правду. Но очень может быть, что в это самое время сознания моего не покидала прямо противоположная гипотеза, о которой я не хотел думать; это тем более вероятно, что иначе я бы ничуть не постеснялся сказать Альбертине, что иду к Вердюренам, и было бы непонятно, почему меня так мало удивил ее гнев. Таким образом, во мне, вероятно, жил образ некоей Альбертины, совершенно противоположной той, что создавал мой разум, а также той, что рисовали мне ее слова, но все-таки Альбертины не вовсе вымышленной, потому что образ этот был как бы зеркалом, предварявшим некоторые ее душевные движения, вроде недовольства моим визитом к Вердюренам. Впрочем, давно уже мои частые тревоги, боязнь сказать Альбертине, что я ее люблю, все это согласовалось со второй гипотезой, объяснявшей гораздо больше вещей и имевшей за себя также то, что при допущении первой она

становилась более вероятной, ибо, давая волю порывам нежности в обращении с Альбертиной, я добивался от нее только раздражения (для которого, впрочем, она указывала другую причину).

Разбираясь в своем сознании соответственно сказанному, соответственно неизменяющейся системе ответных действий Альбертины, рисовавших прямо противоположное тому, что испытывал я, я могу сказать с уверенностью, что если в тот вечер я возвестил ей о своем намерении с ней расстаться, то сделал это — прежде даже, чем отдал себе в этом отчет, — из страха, что она пожелает получить свободу (я не мог бы сказать в точности, какова была эта свобода, повергавшая меня в трепет, в общем, однако, такая, что давала бы ей возможность меня обманывать или, по крайней мере, отнимала бы у меня уверенность, что она меня не обманывает), а также потому, что, руководясь гордостью и хитрым расчетом, хотел ей показать, что я вовсе этого не боюсь, как это уже было в Бальбеке, когда я хотел ей внушить высокое представление о себе, и позднее, когда хотел, чтобы у нее не было времени скучать со мной. Что же касается возражения, которое можно было бы противопоставить этой второй, — несформулированной, — гипотезе,

именно, что все высказывания Альбертины всегда обозначали, напротив, что всему на свете она предпочитает жизнь у меня, покой, чтение, одиночество, ненависть к софической любви и т. д., то на нем не стоит останавливаться. Ведь если бы со своей стороны, Альбертина захотела судить о моих чувствах по тому, что я ей говорил, то узнала бы вещи, диаметрально противоположные истине, так как я проявлял желание ее покинуть только в тех случаях, когда не мог обойтись без нее, и в Бальбеке признался ей в любви к другой женщине, один раз — к Андре, другой раз — к таинственной незнакомке, когда ревность вернула мне любовь к Альбертине. Слова мои, таким образом, отнюдь не отражали моих чувств. Если читатель получает об этом довольно слабое впечатление, то лишь потому, что, будучи рассказчиком, я переплетаю воспроизведение моих слов с изложением моих чувств. Но если бы я от него скрывал последние и он знал только мои слова, то мои поступки, весьма мало с ними согласованные, так часто производили бы на него впечатление странных метаний из стороны в сторону, что он принял бы меня за сумасшедшего.

Прием этот был бы, впрочем, не на много более порочен, чем мною принятый, ибо образы,

определявшие мое поведение, столь противоположные тем, что рисовались в моих словах, бывали в то время чрезвычайно смутными; я обладал весьма несовершенным знанием природы, согласно которой действовал; в настоящее время я отчетливо сознаю ее субъективную истину. Что же касается объективной ее истины, иными словами, насколько способности этой природы схватывали истинные намерения Альбертины точнее, чем моя рассудочная способность, имел ли я право доверяться этой природе или же она, напротив, исказила намерения Альбертины, вместо того чтобы их разгадать, на это мне трудно ответить. Смутный страх, испытанный мной у Вердюренов, что Альбертина меня покинет, сначала рассеялся. Я вернулся домой с таким чувством, точно я заключен в тюрьму, и вовсе не думал, что найду у себя пленницу. Но рассеявшийся страх вновь меня охватил с еще большей силой, когда, объявив Альбертине о том, что я был у Вердюренов, я увидел, как на лицо ее ложится тень загадочного раздражения, появлявшаяся на нем, впрочем, не в первый раз. Я хорошо знал, что то была лишь кристаллизация в ее теле невысказанных неудовольствий, ясных для существа, которое их образует и о них

умалчивает, то был ставший видимым, но иррациональный синтез, который я, в свою очередь, пытался, воспринимая драгоценный его осадок на лице любимого существа, разложить на интеллектуальные элементы, дабы понять, что в этом существе происходит. Приблизительное значение неизвестного, которым были для меня мысли Альбертины, выражалось для меня таким образом: «Я знала о его подозрениях, я была убеждена, что он попытается их проверить, и, чтобы я его не стесняла, он проделал всю эту маленькую работу тайком».

Но если Альбертина жила с такими мыслями, которых мне никогда не высказывала, то разве не должно было ей опротиветь и стать невыносимым, разве не могла она не сегодня-завтра решиться прекратить это существование, при котором, если она была, по крайней мере, в помыслах своих, виновата, она себя чувствовала разоблаченной, преследуемой, лишенной возможности отдаваться когда-нибудь своим влечениям и все-таки не обезоруживавшей моей ревности, а если напротив, она была невинна, как в помыслах своих, так и на деле, она с некоторых пор имела право чувствовать себя обескураженной, видя, что еще с пребывания

в Бальбеке, где она так тщательно избегала оставаться когда-нибудь наедине с Андре, и до сегодняшнего дня, когда она отказалась пойти к Вердюренам и остаться в Трокадеро, ей так и не удалось завоевать мое доверие. Тем более, что ее манеру держать себя я не мог не признать безукоризненной. Если в Бальбеке, когда говорили о девушках с дурной репутацией, она часто хихикала, совершала телодвижения, вызывавшие во мне мучительное чувство, потому что я их связывал со вкусами ее приятельниц, то, узнав мою точку зрения на подобные вещи, Альбертина, как только кто-нибудь на них намекал, переставала принимать участие в разговоре не только языком, но также и выражением своего лица. Оттого ли, что она не желала прибавлять что-нибудь от себя к злословию насчет той или иной особы, или по совершенно другой причине, но только единственной вещью, поражавшей тогда в ее столь подвижных чертах, было то, что едва только затрагивалась эта тема, они свидетельствовали свою полную отрешенность, в точности сохраняя то выражение, какое у них было секундой раньше. И эта застылость даже самого мимолетного выражения была равносильна молчанию; невозможно было сказать, порицает ли Альбертина

эти вещи или их одобряет, известны ли они ей или неизвестны. Каждая черта ее лица имела отношение только к другим чертам ее лица. Ее нос, рот, глаза сочетались в совершенную гармонию, обособленную от всего прочего; она похожа была на пастель и, казалось, так же мало слышала только что сказанное, как если бы разговор происходил перед каким-нибудь портретом Латура.

Мое рабство, еще ощущавшееся мной, когда, давая кучеру адрес Бришо, я увидел свет в окне, перестало меня тяготить через несколько минут, когда Альбертина всем своим видом дала мне почувствовать, как для нее мучительно ее рабство. И чтобы оно ей показалось не столь тяжелым, чтобы она не возымела мысли скинуть его сама, я решил пуститься на хитрость и создать впечатление, что оно не окончательное, что я сам желаю положить ему конец. Видя, что моя уловка удалась, я мог бы почувствовать себя счастливым, во-первых, потому что то, чего я так страшился, предположительное желание Альбертины уехать, оказывалось устраненным, а во-вторых, еще и потому что, даже помимо намеченного результата, успех моей уловки и сам по себе, доказывая, что я отнюдь не был для Альбертины отверженным любовником, осмеян-

ным ревнивцем, все хитрости которого наперед разгаданы, возвращал любви нашей так сказать девственный характер, возрождая для нее то время, когда Альбертина могла еще, в Бальбеке, легко поверить, что я люблю другую. Ведь теперь она бы этому, конечно, не поверила, но она давала веру моему притворному намерению навсегда с ней разлучиться сегодня вечером. Альбертина, по-видимому, подозревала, что оно зародилось в доме у Вердюренов. Испытывая потребность успокоить тревогу, в которую меня повергала моя симуляция разрыва, я сказал: «Альбертина, можете вы поклясться, что вы мне никогда не лгали?» Она пристально посмотрела в пустоту, а потом ответила: «Да, то есть нет. Я вам солгала, сказав, что Андре очень увлечена Блоком, мы с ним не виделись». — «Зачем же вы это сказали?» — «Я боялась, чтобы вы не поверили другим вещам о ней, вот и все».

Тогда я сказал, что видел одного драматурга, большого приятеля Лии, которому та поведала странные вещи (я думал таким образом создать впечатление, будто мне известно о приятельнице кузины Блока больше, чем я говорю). Альбертина снова посмотрела в пустоту и сказала: «Когда я только что говорила о Лии, я скрыла от вас

трехнедельное путешествие, которое мы совершили вместе. Но я так мало была с вами знакома в то время!» — «Это было до Бальбека?» — «Да, до второго нашего пребывания там». А сегодня утром она мне сказала, что не знакома с Лией, и несколько минут тому назад, что виделась с ней только в театральной уборной! Я смотрел, как ярко вспыхнувшее пламя разом сожгло роман, работа над которым отняла у меня миллион минут. К чему? К чему? Разумеется, я отлично понимал, что Альбертина открывает мне эти факты лишь вследствие своей уверенности, что они косвенным образом стали мне известны через Лию; а ведь могли быть сотни подобных фактов. Я понимал таким образом, что, расспрашивая Альбертину, я не найду в словах ее ни атома правды, что правда срывалась у нее с языка только помимо ее воли, в результате внезапного сочетания фактов, которые она до тех пор тщательно скрывала, с убеждением, что факты эти каким-то образом стали мне известны. «Два раза это пустяки, — сказал я Альбертине, — дойдем до четырех, чтобы у меня остались о вас воспоминания. Что еще можете вы мне открыть?» Она снова посмотрела в пустоту. К каким верованиям в будущую жизнь приспособляла она свою ложь,

с какими богами, менее сговорчивыми, чем она думала, пробовала Альбертина столковаться? Должно быть, это было не так легко, потому что ее молчание с неподвижно устремленным в пустоту взглядом тянулось довольно долго. «Нет, больше ничего», — проговорила она наконец. И, несмотря на всю мою настойчивость, уперлась, разрешив, очевидно, свои затруднения, на этом «больше ничего». Как же она лгала! Ведь с тех пор, как появились у нее эти наклонности и до заключения в моем доме, сколько раз, в скольких домах, на скольких прогулках она их должно быть удовлетворяла! Гоморрянки одновременно и достаточно редки и достаточно многочисленны для того, чтобы в какой угодно толпе одна из них заметила другую. А когда это случилось, встретиться уже не трудно.

Я с отвращением вспомнил один вечер, который раньше казался мне только смешным. Один мой приятель пригласил меня пообедать в ресторане с его любовницей и другим приятелем, который тоже привел свою любовницу. Женщинам не понадобилось много времени, чтобы понять друг друга, но они с таким нетерпением жаждали объятий, что уже за супом ноги одной из них начали искать ног другой, часто натыка-

ясь на мои. Вскоре они переплелись между собой. Приятели мои ничего не видели; я сидел как на иголках. Одна из женщин, не в силах дольше сдерживаться, полезла под стол под предлогом, что она что-то уронила. Потом у одной началась мигрень, и она объявила, что идет в уборную. Другая в это время заметила, что пора ей встретиться с приятельницей в театре. В заключение я остался один с двумя приятелями, которые ни о чем не подозревали. Страдавшая мигренью вернулась, но попросила своего любовника отпустить ее домой одну, чтобы принять немного антипирина. Обе женщины очень подружились, гуляли вместе, одна в мужском костюме; последняя заманивала молоденьких девушек и приводила их к другой, просвещала их. У другой был маленький мальчик; делая вид, будто она им недовольна, она предлагала приятельнице наказать его, и та больно колотила мальчишку. Можно сказать, не было такого публичного места, где бы они не делали самых секретных вещей.

— «Но Лия в течение всего этого путешествия вела себя совершенно безукоризненно со мной, — сказала Альбертина. — Она была даже более сдержана, чем многие светские женщины». — «Разве случалось, что светские женщины вели

себя несдержанно с вами, Альбертина?» — «Никогда». — «Тогда что вы хотите сказать?» — «Ну, она не позволяла себе употреблять некоторые выражения». — «Например?» — «Она бы не сказала, как многие женщины, которых принимают в обществе: осточертело, или: плевать мне на всех». Мне показалось, что не сгоревшая еще часть романа обратилась наконец в пепел.

Упадок духа держался бы у меня долго. Слова Альбертины, когда я в них вникал, сменяли его бешеным гневом. Последний утих, уступив место своего рода умилению. Ведь и я, вернувшись домой и объявив о своем намерении порвать, я тоже лгал. И это намерение разлучиться, которое я с таким упорством симулировал, повергало меня постепенно в печаль, которую я бы испытал, если бы вздумал действительно покинуть Альбертину.

К тому же, даже возвращаясь мысленно время от времени, вроде того как повторяются острые приступы физической боли, к разнузданной жизни, которую вела Альбертина до знакомства со мной, я тем более дивился покорности моей пленницы и переставал на нее сердиться.

Правда, в течение нашей совместной жизни я неустанно давал понять Альбертине, что жизнь

эта будет, вероятно, только временной, — я хотел, чтобы Альбертина продолжала находить в ней некоторую прелесть. Но сегодня вечером я зашел дальше, испугавшись, что неопределенных угроз разлуки будет уже недостаточно, так как в уме Альбертины над ними возобладает уверенность в моей ревнивой любви к ней, ибо что же, как не эта любовь, побудило меня пойти на разведки к Вердюренам?

В тот вечер мне пришло на ум, что среди прочих причин, способных заставить меня вдруг, так что в первую минуту я даже не отдал себе в этом отчета, разыграть комедию разрыва, главной была наследственная черта моего характера: когда в одном из порывов, свойственных также моему отцу, мне случалось угрожать чьей-либо безопасности, то, не обладая, подобно ему, мужеством привести свою угрозу в исполнение и не желая в то же время создавать впечатление, что она только пустой звук, я заходил довольно далеко в своем угрожающем поведении и сдавал, лишь когда противник мой, в полной уверенности, что я действую искренно, начинал трепетать всерьез.

Впрочем, мы ясно чувствуем, что в этих фальшивых положениях есть какая-то правда, что если жизнь не вносит изменений в нашу любовь,

то мы сами пожелаем их внести или симулировать и заговорить о разлуке, — настолько сильно в нас сознание, что всякая любовь и все вообще вещи быстро приводят к прощанью. Нас охватывает желание плакать слезами, которые оно принесет, задолго до того, как оно наступает. На этот раз в разыгранной мной сцене было также одно утилитарное соображение. Мне вдруг захотелось сохранить Альбертину, потому что я чувствовал ее рассыпанной по другим существам, с которыми я не мог помешать ей соединиться. Но если бы даже она навсегда отказалась от всех их ради меня, я все-таки, пожалуй, еще тверже решил бы никогда с ней не разлучаться, потому что если ревность делает разлуку мучительной, то признательность делает ее невозможной. Во всяком случае, я чувствовал, что завязываю решительный бой, в котором либо паду, либо одержу победу. Я бы отдал Альбертине в течение часа все, чем я владел, потому что я говорил себе: все зависит от исхода этой битвы, но, к несчастью, подобные битвы похожи не столько на сражения прежних времен, продолжавшиеся несколько часов, сколько на нынешние сражения, которые не кончаются ни завтра, ни послезавтра, ни на будущей неделе. Мы отдаем все свои силы, пото-

му что всегда нам кажется, что они последние, какие от нас потребуются. Между тем проходит год и больше, не принося «решения». Может быть, тут как-нибудь повлияло бессознательное воспоминание фальшивых сцен, разыгранных г-ном де Шарлюс в моем присутствии, когда мной овладела боязнь быть покинутым Альбертиной. Но впоследствии я услышал от матери одну семейную историю, которой тогда не знал; она заставляет меня думать, что все элементы описываемой мной сцены я нашел в себе самом, в тех темных фондах наследственности, к которым открывают нам доступ некоторые эмоции, действуя в этом отношении так же, как медикаменты типа алкоголя или кофе действуют на запасы накопленных в нас сил. Когда тетя Леония узнавала от Евлалии о намерениях Франсуазы, которая, в уверенности, что госпожа ее никогда больше не встанет с постели, тайно замышляла куда-нибудь отлучиться, так чтобы тете это осталось неизвестно, последняя принимала накануне притворное решение попробовать завтра выехать на прогулку. Она еще с вечера заставляла недоверчивую Франсуазу не только приготовить ее вещи, проветрив те, что долго лежали в сундуках, но даже заказать экипаж и распоря-

диться о всех подробностях поездки с точностью до четверти часа. Лишь когда Франсуаза, убежденная своей госпожой или, по крайней мере, поколебленная в своем недоверии, принуждена была выдать тете собственные тайные планы, последняя во всеуслышание отказывалась от прогулки, чтобы, говорила она, не расстраивать планов Франсуазы.

Точно таким же образом, чтобы Альбертина не подумала, будто я преувеличиваю, и чтобы заставить ее как можно больше проникнуться мыслью о предстоящей нам разлуке, я сделал про себя все выводы из только что объявленного мной решения и, предвосхищая время, которое должно было начаться с завтрашнего дня и продолжаться до бесконечности, время, когда мы будем разлучены, обратился к Альбертине с такими наставлениями, как если бы мы вовсе не собирались сейчас помириться. Подобно генералам, считающим, что фальшивая операция способна обмануть неприятеля только в тех случаях, когда она проводится в широких размерах, я вложил в свою уловку почти столько же эмоциональной энергии, как если бы я вправду хотел разлучиться. Эта сцена фиктивной разлуки в заключение опечалила меня почти столько же, как

если бы разлука была подлинная, может быть, потому, что одно из действующих лиц, Альбертина, считая ее подлинной, усиливала иллюзию у меня — другого действующего лица. Тогда как жизнь со дня на день, даже тягостная, оставалась выносимой, удерживалась в своей будничности балластом привычки и уверенностью, что завтрашний день, хотя бы даже мучительный, будет наполнен присутствием дорогого существа, — теперь, в припадке безумия, я разрушал ее. Разрушал, правда, фиктивно, но и этого было достаточно, чтобы привести меня в отчаяние; быть может, потому что печальные слова, когда их произносишь, даже притворно, несут в себе печаль и глубоко ее внедряют в нас; быть может, потому что, симулируя прощание, мы предвосхищаем час, который роковым образом наступит рано или поздно; кроме того, у нас нет полной уверенности, что при помощи этих слов мы не пустили в ход механизм, который заставит пробить этот роковой час.

В каждом блефе содержится, пусть самая ничтожная, частица неуверенности относительно того, что предпримет лицо, которое мы хотим обмануть. А вдруг эта комедия разлуки приведет к настоящей разлуке! Мы не в силах без душевно-

го содрогания представить себе ее возможность, даже невероятную. Тревожное наше состояние еще более обостряется оттого, что разлука произошла бы при этих условиях в минуту, когда она была бы невыносима, когда нам только что причинила страдание женщина, которая уйдет, не вылечив нас и даже не успокоив. Наконец, мы не располагаем больше точкой опоры в виде привычки, которая нам так помогает даже в горе. Мы сами добровольно себя ее лишили, мы придали нынешнему дню исключительную важность, мы его оторвали от смежных с ним дней; он носится в пространстве ни с чем не связанный, как день отъезда; наше воображение, перестав быть парализованным привычкой, пробудилось, мы вдруг присоединяем к нашей повседневной любви сентиментальные мечты, которые придают ей огромные размеры и делают для нас совершенно необходимым присутствие женщины, на которое мы как раз не имеем больше никаких оснований рассчитывать. Правда, именно для того, чтобы обеспечить на будущее время это присутствие, мы затеяли игру, будто можем без нее обойтись. Но мы сами попались во время этой игры, страдания наши обострились, потому что мы совершили нечто новое, непривычное,

нечто похожее на те методы лечения, которые со временем должны нам помочь, но на первых порах ухудшают наше состояние.

Слезы выступили у меня на глазах, как у тех людей, что, находясь одни в своей комнате и отдаваясь прихотливому полету своего воображения, представляют себе смерть какого-либо любимого существа, и рисуют с такими подробностями скорбь, которую они испытали бы, что в заключение они ее испытывают. Таким образом, делая Альбертине все новые и новые наставления относительно того, как ей надо будет вести себя по отношению ко мне после нашей разлуки, я почувствовал себя почти столь же опечаленным, как если бы нам не предстояло сейчас примириться. Кроме того, так ли уж я был уверен в том, что мне удастся устроить наше примирение, удастся вернуть Альбертину к мысли о совместной жизни, а если и удастся на этот вечер, то какая у меня была порука в том, что ее умонастроение, разогнанное этой сценой, не возродится? Себя я ощущал, но не считал господином будущего, ибо я понимал, что мое ощущение проистекает только от того, что это будущее еще не существует и я таким образом не подавлен его необходимостью. Словом, продолжая лгать, я вкладывал, может

быть, в мои слова больше правды, чем я думал. У меня был уже пример в прошлом, когда я сказал Альбертине, что скоро ее забуду; ведь так у меня действительно случилось с Жильбертой, к которой я воздерживался теперь заходить, чтобы избежать не страдания, а скуки. Конечно, мне было больно писать Жильберте, что я ее больше не увижу, хотя я ходил к ней только время от времени.

Между тем, все часы Альбертины принадлежали мне, а в любви легче отказаться от чувства, чем утратить привычку. Но если силу произнести столько горестных слов относительно нашей разлуки я находил в сознании их лживости, зато они были искренни в устах Альбертины, когда она воскликнула: «Да, решено, я вас больше никогда не увижу! Все, что угодно, только бы не видеть вас плачущим вот так, мой милый. Я не хочу причинять вам огорчений. Если так надо, мы больше не увидимся». Они были искренни, как не могли быть мои слова, потому что, с одной стороны, Альбертина питала ко мне только дружбу и, значит, обещанное в них отречение стоило ей меньше усилий; потому что, с другой стороны, во время разлуки нежные слова говорит тот, кто не влюблен, страсть не получает прямого

выражения в слове; потому что, наконец, мои слезы, которые были бы таким пустяком в любви-страсти, ей казались чем-то чрезвычайным и приводили ее в расстройство, переключенные в область дружбы, за пределы которой она не выходила, дружбы большей, чем моя к ней, судя по тому, что она сейчас сказала и что, может быть, вполне отвечало действительности, ибо тысяча знаков внимания, диктуемых любовью, могут в заключение пробудить у существа, внушающего любовь, но ее не чувствующего, расположение, признательность, менее эгоистические, нежели чувство, их вызывавшее, так что даже, пожалуй, после многолетней разлуки, когда у пылкого любовника ничего уже не останется от прежней любви, они по-прежнему будут существовать у его возлюбленной.

— «Милая Альбертина, — отвечал я, — вы очень добры, давая мне это обещание. Впрочем, первые годы, по крайней мере, я постараюсь избегать тех мест, где будете вы. Вы не знаете, поедете вы нынешним летом в Бальбек? В этом случае я устроюсь так, чтобы туда не ездить». Теперь, если я продолжал двигаться в этом направлении, забегая вперед лживым своим вымыслом, то не столько для устрашения Альбертины, сколько

для того, чтобы сделать больно себе самому. Как человек, рассердившийся из-за какого-нибудь пустяка, опьяняется раскатами собственного голоса и дает увлечь себя бешенству, порожденному не обидами его, но самим его нарастающим гневом, так и я катился все быстрее и быстрее по наклонной плоскости моей печали к все более и более глубокому отчаянию с инертностью прозябшего человека, который не делает никаких попыток бороться с холодом и даже находит в ознобе своеобразное удовольствие. И если бы я обрел в себе наконец сейчас, как я твердо на это рассчитывал, силу овладеть собой, остановиться и дать машине задний ход, то поцелуй Альбертины при пожелании мне спокойной ночи должен бы был меня утешить сегодня не столько в той печали, которую она мне причинила неприязненным своим приемом, когда я вернулся домой, сколько в той, что я испытал, измышляя, с целью притворного приведения их в порядок, формальности воображаемой разлуки и предусматривая всевозможные ее последствия. Во всяком случае, нельзя было допустить, чтобы она пожелала мне спокойной ночи по собственному почину, так как тогда мне было бы труднее повернуть дело так, что я мог бы предложить ей отказаться от нашей

разлуки. Вот почему я неустанно ей напоминал, что давно уже наступило время ложиться спать; удерживая таким образом инициативу, я получал возможность еще немного отложить минуту прощания. Задаваемые Альбертине вопросы я все время пересыпал намеками на поздний уже час, на нашу усталость.

«Не знаю, куда я поеду, — ответила она наконец задумчиво. — Может быть, в Турень, к тетке». Этот первый наметившийся у нее план бросил меня в холод, он мне показался началом осуществления нашей разлуки навсегда. Альбертина взглянула на комнату, на пианолу, на кресла, обитые голубым атласом. «Я все еще не могу приучить себя к мысли, что я больше не увижу этого ни завтра, ни послезавтра, никогда. Бедная комнатка. Мне кажется, что это невозможно; это никак не укладывается в моей голове». — «А надо, чтобы уложилось, вы были здесь несчастны». — «Нет, нет, я не была несчастна, вот теперь я действительно буду несчастна». — «Нет, уверяю вас, что так будет лучше для вас». — «Для вас, может быть!» Я стал пристально смотреть в пустоту, как если бы, находясь в большом колебании, делал усилия прогнать одну пришедшую мне на ум мысль. Вдруг я сказал: «Послушайте, Альбертина,

вы говорите, что вы здесь счастливы, а уехав, будете несчастны». — «Ну, разумеется». — «Это меня расстраивает; хотите, попробуем пожить вместе еще несколько недель, кто знает, неделя за неделей, может быть, нам удастся протянуть это долго, вы знаете, бывают временные положения, которые в заключение утверждаются навсегда!» — «Ах, как вы милы!» — «Но в таком случае безумно так себя мучить целые часы из-за пустяков, это все равно, что сделать все приготовления для путешествия и потом остаться дома. Я совершенно разбит от волнения». Я посадил ее себе на колени, взял рукопись Бергота, которую ей так хотелось иметь, и надписал на обложке: «Моей маленькой Альбертине, на память о возобновлении договора». — «А теперь, — сказал я ей, — идите спать до завтра, милочка, ведь вы наверно до смерти устали». — «Да, но зато я так довольна». — «Любите вы меня немножко?» — «В сто раз сильнее, чем раньше».

У меня не было бы оснований радоваться этой маленькой комедии и в том случае, если бы она не приняла формы настоящего театрального представления, в которую я ее облек. Даже если бы мы ограничились простым разговором о разлуке, и это было бы уже опасно. Нам кажется,

что, затевая подобные разговоры, мы действуем не только неискренно (так оно и есть на самом деле), но и свободно. Между тем, они обыкновенно незаметно для нас и вопреки нашей воле нам нашептываются, это первый рокот бури, о которой мы не подозреваем. В действительности то, что мы тогда говорим, противоположно нашему желанию (которое состоит в том, чтобы жить всегда с любимой женщиной), но в то же время невозможность такой совместной жизни является предметом наших ежедневных страданий, и хотя мы их предпочитаем страданиям разлуки, все-таки они нас в заключение к ней приведут. По большей части, однако, не сразу. Чаще всего случается, — это, впрочем, не относится, как читатель увидит, к моим отношениям с Альбертиной, — что через некоторое время после речей, в которые мы не верили, мы производим как бы опыт добровольной разлуки, безболезненной, временной. Мы предлагаем любимой женщине, чтобы потом она находила больше удовольствия в нашем обществе и чтобы, с другой стороны, избавить себя на короткое время от постоянных огорчений и неприятностей, отправиться без нас или предоставить нам отправиться без нее в небольшое путешествие на несколько дней,

впервые — после очень продолжительного времени — проводимых, что еще недавно показалось бы нам невозможным, без нее. Очень скоро она возвращается, чтобы по-прежнему занять место у нашего очага. Между тем, эта разлука, короткая, но реальная, не является плодом такого уж свободного решения и такой единственной, как мы ее себе представляем. Прежние огорчения возобновляются, трудность совместной жизни увеличивается, одна лишь разлука не является больше делом столь трудным; мы начали о ней заговаривать, мы потом ее полюбовно осуществили. Но это только предвестники, которых мы не узнали. Вскоре за краткой и полюбовной разлукой последует разлука ужасная и окончательная, которую мы подготовили, сами того не ведая.

— «Приходите в мою комнату через пять минут, я хочу на вас поглядеть немного, голубчик. Вы будете таким милым. Но я потом сейчас же усну, ведь я как мертвая». Я действительно увидел мертвую, когда вошел вскоре к ней в комнату. Не успев лечь, она уже уснула; простыни, обвившие, как саван, ее тело, словно окаменели в красивых складках. Как на некоторых средневековых изображениях «Страшного суда», из гроба показывалась одна только голова, объятая сном

в ожидании трубы архангела. Сон ею завладел почти опрокинутой, с растрепанными волосами. При виде этого незначительного тела, лежавшего передо мной, я спрашивал себя, что за таблицу логарифмов составляет она, если все действия, в которые оно могло быть замешано, начиная от подталкивания локтем, до задевания платьем, способны были, протянутые в бесконечность из всех точек, которые оно занимало в пространстве и во времени, и порой внезапно оживавшие в моем воспоминании, причинять мне настолько мучительные тревоги, хотя я знал, что они определяются такими ее движениями или желаниями, которые у другой, да и у нее самой пять лет назад и через пять лет, оставили бы меня совершенно равнодушным. Все это была ложь, но такая, что я не имел мужества распутать ее иначе, как моей смертью. Так я и стоял в шубе, которой все еще не снял по возвращении от Вердюренов, перед этим скрюченным телом, перед этой аллегорической фигурой — чего? Моей смерти? Моей любви? Вскоре я начал различать ее ровное дыхание. Тогда я присел на краю ее кровати, чтобы испытать успокоительное действие бриза и созерцания. Потом вышел тихонько, чтобы ее не разбудить.

Было уже так поздно, что я утром попросил Франсуазу ходить возле ее комнаты как можно тише. В исполнение этой просьбы Франсуаза, убежденная, что мы провели ночь в том, что она называла оргией, иронически приказала другим слугам «не будить принцессу». Я очень боялся, как бы в один прекрасный день Франсуаза, потеряв самообладание, не наговорила Альбертине дерзостей, что привело бы к осложнениям в нашей жизни. Франсуаза не была уже, как во времена, когда она терпела хорошее обращение с Евлалией моей тети, в том возрасте, когда люди стоически переносят свою ревность. Ревность до такой степени искажала, парализовала лицо нашей служанки, что порой у меня возникало предположение, не случился ли с ней после одного из припадков гнева, неприметным для меня образом, маленький удар. Попросив не тревожить сна Альбертины, сам я уснуть не мог. Я все пытался понять, что было в действительности на уме у нее. Отразил ли я подлинную опасность, разыграв эту печальную комедию, и у нее действительно по временам появлялось желание получить свободу, вопреки ее утверждениям, что она чувствует себя такой счастливой у меня, или же, напротив, словам ее надо было верить?

Какая же из этих гипотез была истинной? Если мне часто случалось, и особенно предстояло в будущем, придавать какому-нибудь происшествию из моей прошлой жизни размеры исторические, когда я делал попытку понять то или иное политическое событие, то в описываемое утро я, наоборот, стараясь осмыслить значение вчерашней сцены, неустанно приравнивал ее, несмотря на все различия, к одному недавнему дипломатическому инциденту. Может быть, у меня было для этого достаточно оснований. Ведь по всей вероятности я бессознательно руководился в разыгранной комедии примером г-на де Шарлюс, который часто в моем присутствии с большим апломбом проделывал такие вещи; но с другой стороны, они были у него, пожалуй, ничем иным, как бессознательным перенесением в область частной жизни глубоких инстинктов его немецкой расы, склонной из хитрости к вызывающим действиям и из гордости, если надо, воинственной. После того как разные лица, в том числе принц Монакский, дали понять французскому правительству, что если оно не пожертвует г-ном Делькассе, угрожающая Германия начнет войну, министру иностранных дел предложено было подать в отставку. Таким образом, французское

правительство приняло гипотезу о намерении Германии воевать с нами, если мы не уступим. Однако другие полагали, что речь шла о простом «блефе» и что, если бы Франция проявила выдержку, Германия не обнажила бы меч. Разумеется, сценарий в обоих случаях был не только различный, но почти противоположный, так как угроза порвать со мной ни разу не была высказана Альбертиной; но ряд впечатлений привел меня к убеждению, что она об этом думала, как убеждено было в этом французское правительство относительно Германии. С другой стороны, если Германия желала мира, то внушать французскому правительству мысль, будто она хочет войны, было политикой спорной и опасной.

Конечно, поведение мое было достаточно искусным, если вспышки желания независимости вызывались у Альбертины мыслью, что я никогда не решусь с ней порвать. И трудно было поверить, что таких вспышек у нее не бывает, отказаться видеть у Альбертины тайную жизнь, направленную на удовлетворения ее порока и нашедшую себе выражение хотя бы в гневе, которым она встретила мои слова, что я ходил к Вердюренам, воскликнув: «Я так и знала», и окончательно разоблачив себя замечанием:

«Верно, у них была мадемуазель Вентейль». Все это подкреплялось встречей Альбертины с г-жой Вердюрен, о которой я узнал от Андре. Возможно, однако, что такие вспышки желания независимости, говорил я себе, когда пробовал идти наперекор своему непосредственному ощущению, вызваны были, — если предположить, что они у нее существовали, — или будут со временем вызваны прямо противоположной мыслью, а именно — что у меня никогда не было намерения на ней жениться, что, делая полуневольно намеки на нашу близкую разлуку, я говорил правду, что рано или поздно я ее непременно покину, — мыслью, которую моя вчерашняя сцена могла бы в таком случае лишь укрепить и которая способна была в конце концов породить у нее такое решение: «Если это роковым образом должно случиться рано или поздно, так лучше уж покончить сразу». Приготовления к войне, восхваляемые самой неудачной из поговорок в качестве лучшего средства обеспечить торжество воли к миру, напротив, создают сначала у обеих сторон убеждение, что противник хочет разрыва, это убеждение к нему приводит, и когда разрыв осуществился, у обеих сторон создается другое убеждение: что в нем повинна противная

сторона. Даже если угроза была неискренна, успех располагает к ее повторениям. Но пункт, до которого можно довести блеф с расчетом на удачу, трудно определить точно; если одна из сторон заходит слишком далеко, другая, до тех пор уступавшая, в свою очередь, поднимает голову; первая, неспособная уже переменить тактику, привыкшая к мысли, что лучший способ избежать разрыва — делать вид, будто его не боишься (этот способ применил я сегодня ночью в сцене с Альбертиной), и вдобавок предпочитающая из гордости скорее пасть, чем уступить, упорствует в своих угрозах до самой минуты, когда никто уже не в состоянии отступить. Блеф может также примешиваться к искренности, чередоваться с ней, и то, что вчера было игрой, завтра становится действительностью.

Наконец, может случиться также, что один из противников всерьез решился на войну, возможно было, например, что Альбертина имела намерение рано или поздно прекратить эту жизнь, но возможно, напротив, и то, что такая мысль никогда не приходила ей в голову и что с начала до конца она была плодом моего воображения. Таковы были различные гипотезы, которые я обсуждал со всех сторон, в то утро, пока

она спала. Однако, что касается последней, могу сказать, что если когда-нибудь в последующее время я угрожал Альбертине ее покинуть, то лишь в ответ на ее мысль злоупотребить своей свободой; мысль эта, правда, не была выражена прямо, но она мне казалась заключенной в некоторых знаках загадочного недовольства, в некоторых словах, в некоторых жестах, являясь единственно возможным их объяснением, сама же Альбертина отказывалась как-либо их объяснить. При этом очень часто я их констатировал, не делая никакого намека на возможность нашей разлуки, в надежде, что они вызваны были дурным настроением, которое к вечеру у нее пройдет. Но дурное настроение Альбертины длилось иногда по целым неделям сряду, в течение которых она как будто хотела вызвать столкновение, словно в то время где-то в более или менее отдаленной области существовали наслаждения, о которых она знала, которых заточение у меня ее лишало и которые оказывали на нее влияние до самой последней своей минуты, как те атмосферические изменения, что действуют на наши нервы в самом укромном уголку нашей комнаты, даже если они совершаются где-нибудь далеко, на Балеарских островах.

В то утро, пока Альбертина спала и я старался разгадать, что в ней скрывается, я получил письмо от матери, в котором моя мать выражала беспокойство по поводу того, что я ничего ей не сообщаю о наших намерениях, следующей цитатой из госпожи де Севинье: «Лично я убеждена, что он не женится; но тогда зачем смущать эту девушку, которая никогда не будет его женой? Зачем брать на себя ответственность за ее отказы от партий, на которые она будет смотреть теперь не иначе, как с презрением? Зачем тревожить несбыточными надеждами эту особу, когда было бы так легко этого избежать?» Письмо матери спустило меня с облаков на землю. Зачем мне копаться в загадках души, толковать выражения лица, теряться в догадках, которые я не решаюсь углубить, сказал я себе. Я грезил, все объясняется так просто. Я — нерешительный молодой человек, и дело идет об одном из тех браков, когда требуется некоторое время на уяснение того, состоятся они или нет. Случай с Альбертиной не представляет ничего исключительного. Мысль эта принесла мне глубокое облегчение, но ненадолго.

Очень скоро я сказал себе: все, что угодно, можно свести, если взглянуть на дело с точки зрения

житейских отношений, к зауряднейшему происшествию. Со стороны я бы, может быть, сам так посмотрел на эту историю. Но я хорошо знаю, что правда или, по крайней мере, такая же правда и все то, что я думал, то, что я прочел в глазах Альбертины, страхи, которые меня мучат, проблема, которую я непрестанно себе ставлю по поводу Альбертины. История колеблющегося жениха и расстроившегося брака может дать об этом такое же представление, как газетная рецензия обывательски мыслящего хроникера о сюжете какой-нибудь пьесы Ибсена. Ведь есть еще нечто кроме рассказываемых фактов. Правда, для того, кто умеет видеть, это нечто существует, пожалуй, у всех колеблющихся женихов и во всех откладываемых браках, потому что повседневная жизнь, вероятно, всегда заключает в себе некоторую тайну. Я мог ею пренебрегать, когда речь шла о жизни других, но жизнь Альбертины и моя не была мне чужой, я сам ее переживал.

После этого вечера Альбертина не говорила мне, как, впрочем, не говорила и раньше: «Я знаю, что вы мне не доверяете, я постараюсь рассеять ваши подозрения». Но эта никогда ею не выраженная мысль могла бы служить объяснением малейших ее действий. Она не только

всегда устраивалась так, чтобы ни минуты не оставаться одной и чтобы я, следовательно, не мог не знать, что она делала, хотя бы и не верил ее собственным показаниям, но даже когда ей надо было потелефонировать Андре, или в гараж, или в манеж, или еще куда-нибудь, утверждала, что очень скучно стоять у телефона одной (ведь барышни так долго возятся, пока дадут соединение) и принимала меры, чтобы в подобных случаях возле нее был я или, во время моего отсутствия, Франсуаза, словно опасаясь, как бы мне не примерещилось в ее телефонных разговорах чего-нибудь предосудительного, назначения таинственных свиданий. Увы! все это меня не успокаивало. Однажды я совсем впал в уныние. Эме вернул мне карточку Эсфири, сказав, что то была не она. Значит, у Альбертины были какие-то другие интимные друзья, не эта девушка, которой она подарила свою фотографию, нечаянно мне в этом признавшись, благодаря неправильному истолкованию моих слов. Я отослал карточку Эсфири Блоку. Мне бы очень хотелось видеть карточку Альбертины, которую она подарила Эсфири. В каком она снялась наряде? Может быть, декольтированная, кто знает? Но я не решился заговорить об этом ни с Альбертиной (я показал

бы таким образом, что не видел этой карточки), ни с Блоком, которому не желал показывать, что интересуюсь Альбертиной. И такая жизнь, которую признал бы каторжной и для меня, и для Альбертины каждый, кто узнал бы мои подозрения и ее рабство, — со стороны представлялась Франсуазе жизнью, полной незаслуженных удовольствий, которые ловко умела обеспечить себе эта «соблазнительница» и, как выражалась Франсуаза, употреблявшая женский род гораздо чаще мужского, так как больше завидовала женщинам, — эта «шарлатанка». Обогатив свой словарь в общении со мной новыми терминами, которые она, однако, переделывала по-своему, Франсуаза даже говорила об Альбертине, что никогда ей не доводилось встречать такой «вероломнической» особы, ловко умеющей «выжимать у меня денежки», разыгрывая комедию (моя старая служанка, одинаково легко принимавшая частное за общее и общее за частное и обладавшая весьма расплывчатым представлением о различных родах драматического искусства, называла это «уменьем играть пантомиму»). Быть может, некоторая ответственность за это ошибочное представление о действительной жизни Альбертины и моей падает и на меня, поскольку в разговорах с Фран-

суазой я в неопределенной форме, при помощи как бы нечаянно сорвавшихся фраз, подтверждал ее взгляд на вещи, из желания ли подразнить ее или показаться если не любимым, то, по крайней мере, счастливым.

Тем не менее, при всех моих усилиях устроить так, чтобы Франсуаза не подозревала о моей ревности, о моем постоянном наблюдении над Альбертиной, моя служанка не замедлила угадать действительное положение дела, руководимая, подобно спириту, который с завязанными глазами находит нужный предмет, своей интуицией, в особенности тонкой у нее в отношении вещей, способных меня огорчить, причем никакая моя ложь не могла тут ее сбить и направить по ложному пути, — а также той прозорливой ненавистью, которая не только заставляла ее считать своих противниц более счастливыми и более беззастенчивыми комедиантками, чем они были в действительности, но еще и наводила на открытие вещей, способных их погубить и ускорить их падение. Франсуаза, разумеется, никогда не устраивала сцен Альбертине. Но мне известно было ее искусство намеков, уменье пользоваться многозначительной инсценировкой, и я не могу поверить, чтобы она устояла против искушения

ежедневно подчеркивать Альбертине унизительное положение, занимаемое ею в нашем доме, изводить ее искусно преувеличенной картиной заточения, которому была подвергнута моя подруга. Однажды я застал у себя Франсуазу, вооруженную большими очками: она рылась в моих бумагах, засовывая туда одну из моих записей рассказов о Сване, где говорилось о том, как он не мог обойтись без Одетты. Занесла ли она ее нечаянно в комнату Альбертины? Впрочем, над всеми недомолвками Франсуазы, составлявшими что-то вроде приглушенной оркестровой музыки, по всей вероятности, возвышался своими резкими, отчетливыми и назойливыми нотами обвинительный и клеветнический голос Вердюренов, раздраженных тем, что Альбертина удерживала меня невольно, а я ее удерживал умышленно вдали от маленького клана. А что касается моих трат на Альбертину, то почти не было возможности скрыть их от Франсуазы, потому что она знала все мои расходы. У Франсуазы было мало недостатков, но недостатки эти наделили ее для своего обслуживания подлинными дарованиями, которые в других случаях не проявлялись вовсе. Главным из этих недостатков было любопытство в отношении денег, истраченных нами

не на нее, а на других. Если мне надо было уплатить по счету, или дать на чай, — то, как бы я ни удалялся в сторону, она всегда находила какой-нибудь предлог — поставить тарелку или взять салфетку — для того, чтобы подойти ко мне.

И как ни мало времени я ей предоставлял, гневно прогоняя ее, женщина эта очень плохо видевшая и едва умевшая считать, движимая тем самым инстинктом, что невольно заставляет портного при виде вас прикинуть цену материи на вашем фраке и даже ее пощупать и делает художника так восприимчивым к красочным эффектам, подглядывала украдкой и мгновенно высчитывала, сколько я давал. И, чтобы она не могла сказать Альбертине, будто я подкупаю своего шофера, я забегал вперед и, извиняясь за чаевые, говорил: «Я хотел быть милым с шофером, я ему дал десять франков». Безжалостная Франсуаза, которой достаточно было бросить взгляд старой полуслепой орлицы, мне отвечала: «Нет, мосье дал ему на чай сорок три франка. Он сказал мосье, что у него осталось сорок пять франков, а между тем мосье дал ему сто франков, и он вернул мосье только двенадцать франков». Так она успела подглядеть и сосчитать цифру чаевых, которой я сам не знал! Я спрашивал себя,

не решится ли Альбертина, чувствуя, что за ней наблюдают, сама осуществить разлуку, которой я ей угрожал: ведь жизнь, меняясь, превращает наши выдумки в действительность. Заслышав шум отворяемой двери, я каждый раз вздрагивал, подобно тому как во время агонии вздрагивала моя бабушка при каждом моем звонке. Я не верил, чтобы Альбертина ушла, не сказав мне, но так думало мое бессознательное, подобно тому как бессознательное моей бабушки трепетало при звуках колокольчика, когда она была уже без сознания. Однажды утром меня вдруг охватило сильное беспокойство, мне показалось, что она не только вышла, но и уехала: я услышал шум отворяемой двери, двери в ее комнату. На цыпочках направился я к этой комнате, вошел, остановился на пороге. В полумраке простыни на ее кровати вздувались полукругом: должно быть, Альбертина, свернувшись калачиком, спала ногами и головой к стенке. Только пышные черные ее волосы, ниспадая с кровати, убедили меня, что действительно то была она, что она не отворяла дверей, не шевелилась, и я почувствовал этот неподвижный и живой полукруг, в котором заключена была целая жизнь человеческая и который был единственной дорогой для меня ве-

щью на свете, — я почувствовал его находящимся в моей безраздельной власти.

Если целью Альбертины было вернуть мне спокойствие, то она отчасти в этом успела; впрочем, мой разум только и стремился к тому, чтобы доказать мне, что я ошибаюсь относительно преступных планов Альбертины, как я, может быть, ошибался относительно ее порочных инстинктов. Конечно, в оценке доводов, представляемых моим разумом, большую роль играло мое желание найти их убедительными. Но ради справедливости и чтобы иметь вероятность достигнуть истины (если только не держаться той точки зрения, что она открывается только при помощи смутного чувства, при помощи некоей телепатической эманации), не следовало ли мне сказать, что если мой разум, отыскивая способы меня вылечить, слишком слепо доверялся моему желанию, зато в отношении мадемуазель Вентейль, пороков Альбертины, ее намерений устроить себе другую жизнь, ее планов разлуки, являвшихся логическим следствием ее пороков, инстинкт мой, в своих усилиях сделать меня больным, мог быть введен в заблуждение моей ревностью. Впрочем, заточение Альбертины, которое сама она всячески изощрялась сделать

полным, избавляя меня от страданий, мало-помалу рассеивало мои подозрения, и я мог теперь, когда по вечерам мной вновь овладевала тревога, находить, как и в первые дни, успокоение в присутствии Альбертины. Сидя возле моей кровати, она разговаривала со мной о туалетах или вещах, которые я ей непрестанно дарил, стараясь сделать ей жизнь приятнее и тюрьму пригляднее. Альбертина сначала думала только о туалетах и мебели. Теперь она заинтересовалась серебряной посудой.

Вот почему я расспрашивал г-на де Шарлюс о старом французском серебре, — дело в том, что когда у нас возник проект обзавестись яхтой (Альбертина считала его неосуществимым, да и я тоже, после того как проникся доверием к ее добродетели, ибо ослабевшая ревность уже не подавляла во мне других желаний, не имевших отношения к Альбертине и тоже требовавших денег для своего удовлетворения), мы на всякий случай, хотя подруга моя и не верила, что мы когда-нибудь ею обзаведемся, обратились за советом к Эльстиру. Между тем, как в отношении женских нарядов, так и в отношении внутренней отделки и обстановки яхт, вкус художника отличался большой изощренностью и

требовательностью. Он допускал в яхтах только английскую мебель и старое серебро. Это побудило Альбертину, после того как мы вернулись из Бальбека, приняться за чтение книг по серебряному делу, по штампам старых чеканных мастеров. Но старое серебро дважды было расплавлено во Франции на металл: во время Утрехтского мира, когда сам король, а вслед за ним и знать пожертвовали свою посуду, и в 1789 году; поэтому оно стало чрезвычайно редким. С другой стороны, как ни старались современные золотых и серебряных дел мастера воспроизвести старинные изделия по рисункам Понт-о-Шу, Эльстир находил эту подделку недостойной жилища женщины со вкусом, будь даже это жилище плавучее. Я знал, что Альбертина прочла описание диковинок, изготовленных Ротье для мадам дю Барри. Она страстно желала посмотреть на эти вещи, если от них что-нибудь уцелело, а я ничего так не хотел, как подарить их ей. Она даже начала собирать прелестные коллекции, разместив их с большим вкусом в горке, на которую я не мог смотреть без умиления и без боязни, потому что искусство, с которым она их расположила, свидетельствовало о терпении, изобретательности, тоске и потребности забыться, словом, было искусством,

которому отдаются пленники.

В области туалетов ей особенно нравились в это время все изделия Фортюни. Платья Фортюни, одно из которых я видел на герцогине Германтской, были те самые, что имел в виду Эльстир, когда, говоря о великолепных одеждах современников Карпаччо и Тициана, он предсказывал нам их близкое появление, пышное возрождение из пепла, ибо все должно вернуться, как начертано на сводах Святого Марка и как о том возвещают птицы, пьющие из мраморных и яшмовых урн на византийских капителях и знаменующие одновременно смерть и воскресение. Когда женщины начали носить эти платья, Альбертина вспомнила предсказания Эльстира, пожелала иметь одно из них, и нам предстояло пойти его выбрать. И хотя платья эти не были настоящими старинными, в которых женщины нашего времени слишком уж похожи на костюмированных, так что их лучше, пожалуй, хранить для коллекции (я, впрочем, подыскивал и такие для Альбертины), они однако лишены также холодности, свойственной поддельным, псевдостаринным вещам. Подобно декорациям Серта, Бакста и Бенуа, которые в то время воссоздавали в русских балетах излюбленные эпохи искусства — при

помощи произведений искусства, пропитанных их духом и тем не менее оригинальных, — эти платья Фортюни, верные старине, но ярко оригинальные, вызывали, еще даже с большей силой внушения, чем декорации, — ибо декорации оставляли простор для фантазии, — Венецию, всю загроможденную Востоком, где их надо было бы носить, Венецию, которой они были раздробленными, таинственными и восполняющими красками, вызывая представление о солнце и близких чалмах лучше, нежели какие-нибудь мощи в раке Святого Марка. Все погибло от той эпохи, но все возрождалось, воссозданное, чтобы объединить между собой эти наряды роскошью пейзажа и бурлящей жизнью, появлением там и сям уцелевших тканей догаресс. Раз или два я хотел было попросить на этот счет совета у герцогини Германтской.

Но герцогиня недолюбливала туалетов, отдававших костюмировкой. Хотя они и были у нее, она им всегда предпочитала черный бархат с бриллиантами. Поэтому она не в состоянии была дать сколько-нибудь полезный совет относительно таких платьев, как платья Фортюни. Кроме того, я стеснялся к ней обращаться, чтобы она не подумала, будто я захожу лишь по делу, так как

давно уже я не ходил по приглашениям, которые она мне присылала несколько раз в неделю. Я получал их, впрочем, в таком изобилии не только от нее. Правда, она и многие другие женщины всегда были очень любезны со мной. Но мое отшельничество прямо-таки удесятерило их любезность. По-видимому, в светской жизни, отражающей в этом отношении то, что происходит в любви, лучший способ привлечь к себе внимание — отвергать все любезные предложения. Желая понравиться женщине, вы учитываете все свои выигрышные стороны, постоянно меняете костюмы, следите за выражением своего лица, и все-таки она вам не оказывает ни одного из знаков внимания, получаемых вами от другой, которую, несмотря на ваши измены, несмотря на то, что вы перед ней появляетесь в неопрятном виде и ничуть не стараетесь ей понравиться, вы навсегда к себе привязали. Точно так же, если бы кто-нибудь вздумал печалиться о том, что за ним недостаточно ухаживают в свете, такому человеку я бы не посоветовал делать побольше визитов, заводить еще один прекрасный выезд, а посоветовал бы не принимать никаких приглашений, жить запершись в своей комнате, никого к себе не пускать, и тогда перед его две-

рями образуется очередь. Пожалуй, я бы ему и этого не посоветовал. Ибо указанный способ быть обласканным удается, как и способ приобрести расположение женщины, только в тех случаях, когда в нем нет ничего надуманного, нарочитого, когда, например, мы никуда не выходим из своей комнаты, потому что тяжело больны или считаем себя тяжело больными, или потому что держим у себя взаперти любовницу, которую предпочитаем свету (или по всем трем причинам сразу), для которого это будет основанием, даже если он не знает о существовании такой женщины, а просто потому, что вы его избегаете, предпочесть вас всем тем, которые сами напрашиваются, и привязаться к вам.

— «Нам надо будет вскоре заняться вашими платьями от Фортюни», сказал я однажды вечером Альбертине. Понятно, для моей подруги, которая так давно уже их желала, которая долго их выбирала вместе со мной, которая наперед приготовила для них место не только в своих шкафах, но и в своем воображении, обладать этими платьями, каждую деталь которых она долго изучала, прежде чем остановиться на том или ином из них, было бы делом более важным, чем для какой-нибудь очень богатой женщины,

имеющей больше платьев, нежели она желает, и даже на них не глядящей. Однако, несмотря на улыбку, с которой Альбертина меня поблагодарила, сказав: «Вы очень милы», я заметил, какой утомленный у нее и даже печальный вид.

В ожидании, когда эти платья будут готовы, я просил их мне прислать на время, иногда даже только материи, и наряжал в них Альбертину, драпировал ее в них; она прогуливалась по моей комнате с величественным видом догарессы и с грацией манекена. Но мое парижское рабство сделалось для меня особенно гнетущим при виде этих платьев, так как они вызывали у меня представление о Венеции. Разумеется, Альбертина была в большей степени лишена свободы, чем я. И любопытно, что судьбе, переделывающей людей, удалось проникнуть через стены ее тюрьмы, изменить самое ее существо, превратив бальбекскую девушку в скучную и послушную пленницу. Да, стены тюрьмы не помешали проникновению этого пагубного влияния; может быть, даже они сами его породили. Передо мной была уже не прежняя Альбертина, потому что она не носилась беспрестанно, как в Бальбеке, на своем велосипеде, неуловимая по причине множества маленьких пляжей, куда

она ездила ночевать к своим приятельницам и где, к тому же, розыски ее затруднялись ее всегдашней ложью, — потому что, заключенная у меня, послушная и одинокая, она не была больше тем, чем была в Бальбеке, на пляже, даже когда мне удавалось ее найти, — существом ускользающим, осторожным и лукавым, находившим продолжение в множестве свиданий, искусно ею скрываемых и заставлявших ее любить, ибо они заставляли страдать, существом, в котором под ее холодностью с другими и ее банальными ответами чувствовалось вчерашнее свидание и свидание завтрашнее, а по отношению ко мне презрение и хитрость, — потому что морской ветер не раздувал больше ее платья и в особенности потому что я обрезал ей крылья и она, перестав быть Победой, обратилась в неуклюжую рабыню, от которой мне хотелось отделаться.

Тогда, чтобы дать мыслям другое направление, я просил Альбертину немного поиграть, предпочитая музыку партии в карты или в шашки. Я оставался в постели, а она шла на другой конец комнаты и садилась за пианолу, возле книжного шкафа. Она выбирала или совсем новые пьесы или такие, которые играла мне всего раз или два, ибо, изучив мои вкусы, Альбертина знала, что

я люблю сосредоточивать внимание только на том, что мне еще неясно, радуясь возможности соединять между собой в течение таких последовательных исполнений, благодаря растущему, но, увы, искажающему и чужеродному свету моего разума, отрывочные и разрозненные линии сооружения, сначала почти вовсе скрытого во мгле. Она знала и, думаю, понимала эту радость, которую доставляла моему разуму при первом знакомстве с пьесой такая лепка еще бесформенной туманности. Она догадывалась, что при третьем или четвертом исполнении разум мой, овладев всеми ее частями и, значит, расположив их на одинаковом расстоянии, после чего ему с ними уже нечего было делать, расстилал их в неподвижности на одной ровной плоскости. Альбертина, однако, еще не переходила к новой пьесе, потому что, не отдавая себе, может быть, полного отчета в совершавшейся во мне работе, она знала, что когда моему разуму удавалось, наконец, раскрыть тайну какого-нибудь произведения, редко бывало, чтобы в награду за роковую свою роль она не схватывала какого-либо полезного размышления. В тот день когда Альбертина говорила: «Вот этот валик мы дадим Франсуазе, чтобы она его нам обменяла на но-

вый», для меня часто в мире становилось одной музыкальной пьесой меньше, но одной истиной больше. Во время ее игры мне виден был из всей сложной прически Альбертины один только завиток черных волос над ухом в форме сердца, как бант какой-нибудь инфанты Веласкеса. Но, если объем этого ангела-музыканта образован был неодинаковыми расстояниями между различными пунктами прошлого, занимаемыми во мне воспоминанием о ней, и различными местами, где оно хранилось, начиная от зрения и до самых внутренних моих ощущений, помогавших мне спуститься в самые интимные области ее существа, то и музыка, которую она исполняла, тоже имела объем, создаваемый неодинаковой видимостью различных фраз, смотря по тому, в какой степени мне удавалось их прояснить и соединить между собой линии сооружения, которое сначала мне казалось почти целиком погруженным в туман.

Так как после своего признания Альбертина никогда не искала встречи с мадемуазель Вентейль и с ее приятельницей и из всех наших планов поездки в деревню сама исключала Комбре, от которого было так близко до Монжувена, то для меня стала совершенно очевидной вся нелепость

ревности к этим двум особам, и я часто просил Альбертину сыграть мне что-нибудь из Вентейля, — настолько теперь его музыка в исполнении Альбертины не содержала для меня ничего мучительного. Один раз только она послужила для меня косвенной причиной ревности. Узнав, что я слышал у Вердюренов септет Вентейля с участием Мореля, Альбертина однажды вечером заговорила со мной о скрипаче, проявив большое желание пойти его послушать и с ним познакомиться. Это случилось вскоре после того, как я узнал о существовании письма Лии к Морелю, нечаянно перехваченного г-ном де Шарлюс. У меня возникло подозрение, не говорила ли Лия о нем Альбертине. С отвращением вспомнил я слова «мерзавка, распутница». Но именно потому, что музыка Вентейля оказалась таким образом мучительно связанной с Лией, — а не с мадемуазель Вентейль и ее приятельницей, — я мог ее спокойно слушать, когда вызванная Лией боль улеглась; одна болезнь оградила меня от возможности других.

Что же касается самой музыки, то незамеченные у Вердюренов фразы, смутные, еле уловимые тени, обратились в ослепительные архитектурные сооружения; некоторые из них сделались

моими друзьями, хотя сначала я их едва различал, в лучшем случае они мне казались безобразными, и я бы никогда о них не подумал, что они похожи на тех антипатичных с первого взгляда людей, внутренние достоинства которых открываются лишь когда их хорошо узнаешь. С ними происходит настоящее превращение. С другой стороны, некоторые фразы, отчетливо воспринятые мной с самого начала на вечере у Вердюренов, но тогда мной не узнанные, я теперь отождествлял с фразами других произведений, например фразу из вариации для органа, которая у Вердюренов прошла для меня незамеченной в септете, между тем, как, святая, спустившаяся по ступенькам алтаря, она в нем смешивалась с привычными феями композитора. Опять-таки фраза, показавшаяся мне очень мало мелодичной, слишком механически ритмической, в которой передавалось неуклюжее веселье полуденных колоколов, теперь мне нравилась больше всего, оттого ли, что я привык к ее безобразию, или же оттого, что я открыл ее красоту. В самом деле, эту реакцию против разочарования, которое сначала вызывают шедевры, можно объяснить либо ослаблением первоначального впечатления, либо усилием, необходимым для выявления истины. Две ги-

потезы представляются уму в отношении всех важных вопросов, вопросов реальности Искусства, реальности бессмертия души; между ними надо сделать выбор; в отношении музыки Вентейля выбор напрашивался каждую минуту в самых различных формах. Например, его музыка мне казалась чем-то более истинным, чем все известные мне книги. Порой я объяснял себе это тем, что наши ощущения от жизни не укладываются в форму понятий, и всякая литературная, то есть рассудочная их передача излагает, анализирует, но не восстанавливает их так, как музыка, в звуках которой как будто слышатся переливы живого чувства, они воспроизводят ту внутреннюю, предельную сторону ощущений, что дает нам время от времени своеобразное опьянение, о котором мы, говоря: «Какая прекрасная погода, какое солнышко!» — не даем ни малейшего представления нашему собеседнику, ибо то же солнце и та же погода пробуждают в нем совсем другие ощущения.

В музыке Вентейля были, таким образом, прозрения, которые не могут быть выражены в слове и почти не поддаются наблюдению, ибо когда мы, засыпая, бываем овеяны лаской их призрачных чар, в тот миг, когда рассудок нас уже

покинул, глаза наши смыкаются, и прежде чем мы успеваем познать не только неизреченное, но и невидимое, мы уже погрузились в сон. Мне казалось также, когда я принимал эту гипотезу о реальности искусства, что музыка способна передать больше, чем простую нервную радость по случаю хорошей погоды или приема дозы опиума, что она может передать опьянение более реальное и более плодотворное, — так, по крайней мере, говорило мое предчувствие. Невозможно, чтобы произведения скульптуры или музыки, дающие нам возвышенное, чистое и неподдельное волнение, не соответствовали какой-то духовной реальности. Чтобы создать это впечатление глубины и истинности, они должны ее как-то символизировать. Таким образом, ничто не походило больше, чем иные фразы Вентейля, на своеобразное удовольствие, которое я испытал несколько раз в жизни, например, при виде колоколен Мартенвиля, группы деревьев на дороге возле Бальбека или же в начале этого произведения, глотая чай с кусочком пирожного.

Не проводя дальше этого сравнения, я чувствовал, что светлые гулы, шумящие краски, посылаемые нам Вентейлем из того мира, где он творил, проводят перед моим воображени-

ем, хотя и настойчиво, но слишком быстро для того, чтобы я мог его схватить, нечто такое, что я сравнил бы с благоуханной шелковистостью герани. Но в то время как, при воспоминании, подобного рода смутное ощущение может быть если не углублено, то, по крайней мере, уточнено заключением в обстановку, объясняющую, почему определенный вкус мог у нас вызвать светозарные ощущения, здесь это было неосуществимо, ибо смутные ощущения, пробужденные Вентейлем, шли не от воспоминания, но от непосредственного впечатления (вроде впечатления от мартенвильских колоколен), и надо было бы найти не материальное объяснение, почему его музыка благоухала геранью, но ее глубокий эквивалент, неведомый красочный праздник (произведения Вентейля казались его разобщенными кусочками, осколками с ярко-красными краями), способ, каким Вентейль «слышал» и излучал из себя вселенную.

Вот это неведомое качество некоего единственного в своем роде мира, которого никакой другой композитор нам никогда не показывал, и является, может быть, говорил я Альбертине, самым подлинным доказательством гения, гораздо более убедительным, чем содержание его

произведений. «Даже в литературе?» — спросила Альбертина. «Даже в литературе». И, вспоминая единообразие произведений Вентейля, я объяснял Альбертине, что великие писатели никогда не создавали больше одного произведения, или, вернее, всегда лишь преломляли чрез различную среду одну и ту же красоту, приносимую ими миру. «Если бы не так поздно, милая, — говорил я ей, — я бы это вам показал у всех писателей, которых вы читаете, пока я сплю, я бы вам показал у них такое же однообразие, как и у Вентейля. Его типичными фразами, которые вы начинаете различать не хуже меня, милая Альбертина, как в сонате, так и в септете и в других произведениях, являются, например у Барбе д'Орвильи, некая скрытая реальность, выдаваемая каким-нибудь вещественным признаком, физиологическая краснота Порченой, Эме де Спанс, Клотты, Кармазиновой Занавески, старинные обычаи, старинные нравы, старинные слова, редкие старинные профессии, за которыми таится Прошлое, устная история, сочиняемая захолустными пастухами, благородные нормандские города, пахнущие Англией и миловидные как шотландские селения, причина несчастий, против которых ничего нельзя поделать, Веллини, Пастух, одно и то же

ощущение тревоги в том или ином отрывке, идет ли речь о жене, ищущей своего мужа в «Старой любовнице», или о муже в «Порченой», объезжающем пустошь, и о самой Порченой, выходящей от мессы. Роль таких типичных фраз Вентейля исполняет далее геометрия каменотеса в романах Томаса Гарди».

Фразы Вентейля привели мне на память коротенькую фразу, и я сказал Альбертине, что она была вроде национального гимна любви Свана и Одетты, «родителей Жильберты, с которой вы знакомы. Вы мне говорили, что у нее нет дурных вкусов. Но разве она не пробовала завязать отношения с вами? Она мне говорила о вас». — «Да, так как в плохую погоду родители посылали за ней экипаж на уроки, то она, помнится, подвезла меня раз и поцеловала», — немного помолчав, со смехом отвечала Альбертина, точно признание ее было забавным. «Она меня вдруг спросила, люблю ли я женщин». (Но если ей только «помнилось», что Жильберта ее подвезла, то каким образом могла она с такой точностью передать мне этот странный вопрос Жильберты?) «Мне даже, не знаю почему, пришло в голову ее одурачить, я ей ответила утвердительно». (Можно было подумать, что у Альбертины были опасе-

ния, не рассказала ли мне об этом Жильберта, и она не желала поэтому, чтобы я ее уличил во лжи.) «Но мы решительно ничего не делали». (Странно было, что они, обменявшись такими признаниями, ничего не делали, особенно если принять во внимание, что перед этим они, по словам Альбертины, поцеловались в экипаже.) «Она меня отвезла таким образом раза три или четыре, может быть, немного больше, вот и все». Мне стоило большого труда не задать ей ни одного вопроса, но, совладав с собой, чтобы не показалось, будто я придаю этому какое-нибудь значение, я вернулся к Томасу Гарди. «Вспомните каменотесов из «Безвестного Джуда», из «Возлюбленной», каменные глыбы, добываемые отцом на острове, откуда их привозят на барках и сваливают в мастерской сына, где они превращаются в статуи; параллельность могил в «Голубых глазах», а также параллельные линии корабля и смежных вагонов, в которых находятся двое влюбленных и мертвая; параллелизм между «Возлюбленной», где мужчина любит трех женщин, и «Голубыми глазами», где женщина любит трех мужчин и т. д., словом, все эти романы, накладывающиеся друг на друга, как дома, вертикально громоздящиеся в вышину на каменистой почве острова. Я

не могу развить вам в одну минуту эту мысль в отношении всех великих писателей, но вы увидели бы, как, например, у Стендаля с духовной жизнью связывается некоторое чувство высоты: возвышенное место, в котором томится Жюльен Сорель, башня, на верхушке которой заключен Фабриций, колокольня, на которой аббат Бланес занимается астрологией и откуда перед Фабрицием открывается такой роскошный вид. Вы мне говорили, что видели несколько картин Вермеера, так вы не можете не признать, что это куски одного и того же мира, что это всегда, с каким бы искусством они ни были воссозданы, тот же стол, тот же ковер, та же женщина, та же повесть и единственная в своем роде красота, загадка для той эпохи, когда ничто на нее не похоже и не объясняет ее, если заниматься не сопоставлением сюжетов, а раскрытием своеобразного впечатления, производимого красками.

Ну, так вот, эта новая красота остается тождественной во всех произведениях Достоевского, женщина Достоевского (столь же своеобразная, как и женщина Рембрандта) со своим загадочным лицом, приветливая красота которого внезапно меняется, словно она играла комедию доброты, переходит в крайнюю наглость (хотя,

в сущности, кажется, что она скорее добрая), не правда ли, всегда одна и та же, будь то Настасья Филипповна, пишущая любовные письма Аглае и признающаяся ей, что она ее ненавидит, или на одном совершенно тождественном визите, — тождественном также с тем, когда Настасья Филипповна оскорбляет родителей Гани, — Грушенька, такая любезная с Катериной Ивановной, тогда как последняя ее считала страшной, а потом вдруг проявляющая озлобление и оскорбляющая Катерину Ивановну (хотя Грушенька, в сущности, добрая); Грушенька, Настасья, фигуры столь же самобытные и загадочные, как куртизанки Карпаччо или Вирсавия Рембрандта. Как Вермеер создает особенную душу, особенные краски тканей и местностей, так и Достоевский творит не только людей, но и жилища, и дом, где происходит убийство в «Преступлении и наказании», с его дворником, не является разве почти столь же изумительным, как и мастерски изображенный Достоевским мрачный, длинный, высокий и огромный дом Рогожина, в котором тот убивает Настасью Филипповну? Эта новая, страшная красота домов, эта новая, сложная красота женских лиц, — вот то своеобразие, которое внес в мир Достоевский, и всякие сопоставления литератур-

ных критиков между ним и Гоголем или между ним и Поль де Коком не представляют никакого интереса, будучи чисто внешними по отношению к этой сокровенной красоте. Впрочем, если я тебе сказал, что одна и та же сцена повторяется от романа к роману, то и на пространстве одного романа воспроизводятся одни и те же персонажи, когда роман очень длинный. Я мог бы легко тебе это показать в «Войне и мире» — та сцена в коляске…» — «Я не хотела вас перебивать, но, видя, что вы покидаете Достоевского, я испугалась, что позабуду. Миленький, что вы имели в виду давеча, когда мне сказали: «Это вроде элементов Достоевского у госпожи де Севинье?» Признаться, я не поняла. Они мне кажутся такими различными». — «Подойдите ко мне, деточка, я вас поцелую в знак благодарности за то, что вы так хорошо запоминаете мои слова, к пианоле вы вернетесь потом. Признаться, я сказал давеча порядочную глупость. Но у меня было два соображения. Одно, так сказать, частного порядка. Оказывается, что госпожа де Севинье, подобно Эльстиру, подобно Достоевскому, вместо того чтобы представлять вещи в логическом порядке, то есть начиная с причины, показывает нам сначала действие, поражающую нас иллюзию.

Так и Достоевский изображает своих героев. Поступки их представляются нам столь же обманчивыми, как и эффекты Эльстира, где море кажется находящимся на небе. Мы бываем страшно поражены, узнав, что этот мрачного и злодейского вида человек, в сущности, превосходная душа, или наоборот». — «Да, но приведите какой-нибудь пример из госпожи де Севинье». — «Признаться, — отвечал я со смехом, — это сильно притянуто за волосы, но все-таки подыскать примеры я бы мог». — «А скажите, не был ли он убийцей, Достоевский? Все его романы, которые я знаю, можно было бы назвать историей какого-нибудь преступления. У него это прямо-таки наваждение, он, как ненормальный, все время говорит об этом». — «Не думаю, милая Альбертина, я плохо знаю его жизнь. Очевидно, он, как и все люди, в той или иной форме познал грех, но по всей вероятности в форме, запрещаемой законами. В этом смысле он, должно быть, является немного преступником, подобно своим героям, которые, впрочем, не совсем преступники, их приговаривают к наказанию, учитывая смягчающие обстоятельства. Может быть, даже ему вовсе и не нужно было быть преступником. Я не романист; возможно, что творческие умы пре-

льщаются некоторыми формами жизни, которых они лично не испытали. Если я поеду с вами, как мы условились, в Версаль, я вам покажу портрет безупречнейшего человека, лучшего из мужей, Шодерло де Лакло, который написал в высшей степени порочную книгу, и прямо напротив него портрет госпожи де Жанлис, которая писала нравоучительные повести, но не только обманывала герцогиню Орлеанскую, но еще и свела ее в могилу, поссорив с ней ее детей. Я согласен все же, что у Достоевского этот интерес к убийству представляет собой нечто исключительное и делает его мне очень чуждым. Я сильно поражен уже, слыша от Бодлера:

Коль пожары, насилья, ножи и отравы
Не сумели узором своим разубрать
Наших судеб никчемных истертую гладь,
Значит, души у нас — что поделать! — трухлявы.

Но я могу, по крайней мере, не верить в искренность Бодлера. Между тем как Достоевский… Все это кажется мне невероятно далеким от меня, разве только во мне есть элементы, о которых я ничего не знаю, ведь мы осуществляем

заложенные в нас возможности постепенно. У Достоевского я нахожу исключительно глубокие внутренние источники, но лишь в некоторых обособленных областях человеческой души. Однако это художник великой творческой силы. Прежде всего изображаемый им мир в подлинном смысле слова является его созданием. Все эти беспрестанно возвращающиеся шуты, все эти Лебедевы, Карамазовы, Иволгины, вся эта невероятная процессия состоит из персонажей более фантастических, чем те, которыми заполнен «Ночной дозор» Рембрандта. Может быть, даже фантастичность их обусловлена, как и у Рембрандта, освещением и костюмами, по существу же они люди заурядные. Во всяком случае, в них содержатся истины глубокие и единственные в своем роде, которые можно встретить только у Достоевского. Эти шуты имеют такой вид, точно они играют роли, которых больше не существует, вроде некоторых персонажей античной комедии, и все же как ярко вскрывают они реальные стороны человеческой души! Что мне претит, так это торжественный тон, которым говорят и которым пишут о Достоевском. Обратили вы внимание на роль, которую играют у его персонажей самолюбие и гордость? Можно подумать, что для

него любовь и самая дикая ненависть, доброта и вероломство являются лишь двумя состояниями одной и той же природы, поскольку самолюбие, гордость мешают Аглае, Настасье, капитану, которого Митя оттаскал за бороду, Красоткину, другу-врагу Алеши, показать себя такими, как они есть в действительности. Но у Достоевского можно найти еще много других глубоких вещей. Я очень мало знаю его книги. Но разве не является величественно простым скульптурным мотивом, достойным античного искусства, чем-то вроде прерываемого и возобновляющегося фриза, на котором развертываются месть и искупление, преступление Карамазова-отца, обрюхатившего несчастную полоумную, и загадочный, животный, непостижимый порыв, в силу которого мать, обратившись бессознательно в орудие мщения судьбы и повинуясь столь же безотчетно своему материнскому инстинкту, может быть, смеси злопамятства и физической признательности к насильнику, идет рожать к Карамазову-отцу? Это первый эпизод, загадочный, величественный, торжественный, как сотворение женщины на скульптурах Орвието. С ним перекликается второй эпизод лет через двадцать с лишком, убийство Карамазова-отца,

позор, бросаемый на семейство Карамазовых сыном этой полоумной, Смердяковым, за которым вскоре следует поступок, столь же загадочно скульптурный и непонятный, такой же темной, животной красоты, как и роды в саду Карамазова-отца, — Смердяков накладывает на себя руки, после того как он совершил преступление. Что же касается Достоевского, то я его не покидал, как вы думаете, заговорив о Толстом, который ему сильно подражал. У Достоевского содержится в концентрированном и сумрачном виде многое из того, что развернется в более светлых тонах у Толстого. Достоевскому свойственна мрачность примитивов, которая будет прояснена учениками». — «Милый мой, как досадно, что вы так ленивы. Посмотрите, насколько ваши взгляды на литературу интереснее того, как нас заставляли ее изучать; сочинения, которые нам задавали на темы из «Эсфири»: «Владыка», вы помните?» — сказала она мне со смехом, не столько для того, чтобы поиздеваться над своими учителями и над собой, сколько обрадовавшись тому, что нашла в своей памяти, в общей нашей памяти, довольно старое уже воспоминание.

Но в то время, как она со мной говорила, а я думал о Вентейле, уму моему представилась другая

гипотеза, материалистическая, гипотеза небытия. Я начал сомневаться, я стал говорить себе, что в конце концов, если фразы Вентейля кажутся выражением некоторых душевных состояний, вроде того, что я испытал, глотая размоченную в чае мадлену, у меня нет никакой уверенности в том, что расплывчатость подобных состояний служит признаком их глубины, а не свидетельствует лишь о нашем неумении их анализировать, и в них поэтому не содержится ничего более реального, чем в прочих наших ощущениях. Однако счастье, чувство уверенности в счастье, испытанном мной, когда я пил чашку чаю, когда я вдыхал на Елисейских полях запах старого леса, не было иллюзией. Во всяком случае, говорил мне дух сомнения, даже если такие состояния отличаются в жизни большей глубиной, нежели прочие, и не поддаются анализу именно по этой причине, потому что они вводят в действие слишком много сил, в которых мы еще не разобрались, прелесть некоторых фраз Вентейля напоминает их тем, что и она тоже не поддается анализу, но это не доказывает, что ей свойственна такая же глубина; красота фразы из области чистой музыки легко представляется копией или, по крайней мере, родственницей какого-нибудь нашего ин-

теллектуального впечатления, но просто потому, что она не интеллектуальна. С какой же стати тогда будем мы приписывать особенную глубину таинственным фразам, уснащающим некоторые произведения, в частности, септет Вентейля?

Впрочем, не только музыку Вентейля играла мне Альбертина; пианола служила для нас по временам как бы образовательным (историческим и географическим) волшебным фонарем, и на стенах моей парижской комнаты, снабженной более современными изобретениями, чем комната в Комбре, я видел, смотря по тому, играла ли Альбертина Рамо или Бородина, то гобелен XVIII века, усеянный амурами на фоне роз, то восточную степь, где звуки глохнут в необъятных пространствах и в снежных сугробах. Эти мимолетные картины были, впрочем, единственным украшением моей комнаты, ибо если по получении наследства от тети Леонии я подумал было собирать коллекции, подобно Свану, покупать картины, статуи, то все мои деньги уходили на приобретение лошадей, автомобиля, туалетов для Альбертины. Но разве комната моя не заключала произведения искусства более драгоценного, чем все перечисленные? Им была сама Альбертина. Я глядел на нее.

Мне странно было думать, что та самая Альбертина, даже знакомство с которой я так долго считал невозможным, в настоящее время, прирученный дикий зверь, розовый куст, которому я дал подпору, рамку, обстановку, сидела вот так ежедневно у себя дома, возле меня, за пианолой, прислонившись спиной к моему книжному шкафу. Плечи ее, которые я видел опущенными и понурыми, когда она относила кии для гольфа, опирались на мои книги. Ее красивые ноги, усердно нажимавшие в течение всего ее отрочества на педали велосипеда, как я справедливо подумал, увидя ее впервые, поднимались и опускались поочередно на педалях пианолы, куда Альбертина, сделавшаяся теперь элегантной и более мне близкой, потому что элегантность пришла к ней от меня, ставила свои туфли из золоченой кожи. Ее пальцы, некогда привыкшие к велосипедному рулю, ложились теперь на клавиши, словно пальцы святой Цецилии. Ее шея, поворот которой, видимый с моей кровати, был полный и массивный, на этом расстоянии и в свете лампы представлялась более розовой, но все же не настолько, как ее наклонившееся в профиль лицо, которому мои взгляды, исходившие из самой глубины моего существа, отягченные воспомина-

ниями и горящие желанием, придавали столько блеска и такую полноту жизни, что его рельеф, казалось, поднимался и поворачивался с такой же, почти волшебной силой, как и в бальбекской гостинице в тот день, когда зрение у меня было затуманено неистовым желанием ее поцеловать; каждую его поверхность я мысленно продолжал за пределы, доступные моему зрению, и в местах, от меня спрятанных — веками, полузакрывавшими ее глаза, прической, прикрывавшей верхнюю часть ее щек, — где еще отчетливее ощущалась выпуклость этих наложенных одна на другую плоскостей. Глаза ее мерцали, как два отшлифованных поля на куске породы, заключающей в себе опал: сделавшись более блестящими, чем соседние части, они дают увидеть посреди непрозрачной материи, их окружающей, словно лиловые шелковистые крылья помешенной под стекло бабочки. Ее черные кудрявые волосы, — показывая различные фигуры, когда она оборачивалась ко мне с вопросом, что ей играть: то роскошное крыло, заостренное на кончике и широкое у основания, черное, оперенное и треугольное, то массив завитков, образующих своим сплетением мощную и причудливую горную цепь, полную крутых вершин, водоразделов,

пропастей, — ее волосы своим поразительным богатством и сложностью, казалось, превосходили разнообразие, производимое обыкновенно природой, и отвечали скорее желанию скульптора, нагромождающего трудности, чтобы щегольнуть гибкостью, огнем, мягкостью и жизненностью своего мастерства, и еще ярче оттеняли, пересекая и прерывая их, пышущую жизнью округлость и как бы вращение гладкого розового лица, своим лакированным матовым тоном напоминающего крашеное дерево.

Образуя контраст с такой рельефностью, но в то же время гармонируя с Альбертиной, приспособившей свою позу к форме и назначению этих предметов, пианола, наполовину ее скрывавшая, как корпус органа, книжный шкаф, весь этот угол комнаты казались обращенными в освещенный алтарь, в «ясли» этого ангела-музыканта, прекрасного, как произведение искусства, который вот сейчас готов был, силой некоего сладкого волшебства, отделиться от своей ниши и подставить для моих поцелуев свое драгоценное розовое вещество. Впрочем, нет, — Альбертина вовсе не была для меня произведением искусства. Я знал, что значит восхищаться женщиной эстетически, я был знаком со Сваном. Сам я, однако, к этому

был не способен, о какой бы женщине ни шла речь, не обладая вовсе даром внешней наблюдательности и никогда не зная, что такое то, что я вижу; меня поражало, как искусно умел Сван прибавлять ретроспективно для меня к женщине, показавшейся мне незначительной, какое-нибудь художественное достоинство, — сравнивая ее (он любил это делать с большим тактом в ее присутствии) с портретом Луини, обнаруживая в ее туалете платье или драгоценности с картины Джорджоне. Совсем не то у меня. Радость и муки, приходившие ко мне от Альбертины, никогда не двигались окольным путем эстетической оценки или рассудочных соображений; даже, сказать по правде, когда я начинал смотреть на Альбертину, как на ангела-музыканта, покрытого чудесным налетом старины, и радовался тому, что им обладаю, она скоро делалась мне безразличной; я скучал возле нее, но такие мгновения были недолгими; мы любим лишь то, в чем добиваемся недостижимого, мы любим лишь то, чем мы не обладаем, и очень скоро я вновь начинал отдавать себе отчет, что я не обладаю Альбертиной.

Я видел, как в глазах ее проносились то надежда, то воспоминание, может быть, сожаление о радостях, которых я не в силах был разгадать, от

которых она в этом случае предпочла бы скорее отпереться, только бы ничего мне не говорить; улавливая от них только огоньки в ее зрачках, я был в положении зрителя, не допущенного в театральный зал, который, прильнув к застекленной двери, ничего не может разглядеть из происходящего на сцене. Не знаю, так ли это было с Альбертиной, но удивительно это упорство в лжи всех, кто нас обманывает, оно похоже на веру в добро, свойственную самым неверующим людям. Сколько ни убеждать таких лжецов в том, что ложь для них мучительнее, чем правдивое признание, сколько ни убеждайся они в этом сами, все равно они солгут через минуту, чтобы остаться в согласии со своим первоначальным уверением в том, чем мы для них являемся. Подобным же образом действует дорожащий жизнью атеист, когда он идет на смерть, лишь бы не подорвать прочно сложившееся мнение о его храбрости. В такие часы я иногда видел в глазах Альбертины, в ее гримаске, улыбке отблеск тех внутренних зрелищ, созерцание которых так меняло ее и отчуждало от меня, ибо мне они были недоступны. «О чем вы думаете, милая?» — «Ни о чем». Иногда, желая ответить на мой упрек в скрытности, Альбертина то сообщала вещи, мне,

как и всякому, хорошо известные (подобно тем дипломатам, которые не поделятся с вами самой маленькой новостью, но зато охотно говорят об известиях, напечатанных во вчерашних газетах), то рассказывала в самых неопределенных чертах, под видом секретных признаний, о своих прогулках на велосипеде в Бальбеке, за год до знакомства со мной. Как бы подтверждая мою давнишнюю догадку, что девушка эта пользовалась полной свободой, воспоминание об этих прогулках вызывало на губах у Альбертины ту самую загадочную улыбку, которая меня прельстила в первые дни на бальбекской дамбе. Она мне рассказывала также о своих прогулках с приятельницами в голландские деревни, о своих возвращениях по вечерам в Амстердам, в поздние часы, когда веселая густая толпа знакомых с ней людей наполняла улицы и берега каналов, и мне чудилось, будто в блестящих глазах Альбертины, как в стеклах быстро несущегося автомобиля, отражаются их бесчисленные убегающие огни.

Всякое так называемое эстетическое любопытство следовало бы назвать скорее равнодушием по сравнению с тем мучительным, неутолимым любопытством, которым я был охвачен по отношению к местам, где жила Альбертина, к тому,

что она могла делать в такой-то вечер, по отношению к ее улыбкам и взглядам, к сказанным ею словам и полученным поцелуям. Нет, никогда ревность, однажды вспыхнувшая у меня к Сен-Лу, если бы она сохранилась, не причинила бы мне такого огромного беспокойства. Любовь женщины к женщинам была чем-то совершенно неизвестным, ее наслаждения, ее характер невозможно было себе представить с уверенностью и точностью. Сколько людей, сколько местностей (даже таких, которые не связывались с ней прямо, а были неопределенными местами, где она могла получить наслаждение), сколько всяких собраний (где бывает много народа, где происходит толчея) Альбертина, — подобно особе, которая, подвергнув контролю своих спутников, целое общество, вводит их в театр, — ввела с порога моего воображения или моей памяти, где они меня не беспокоили, в самое мое сердце! Теперь знакомство мое с ними было внутренним, непосредственным, судорожным, мучительным. Любовь — это пространство и время, сделавшиеся ощутительными нашему сердцу.

Впрочем, если бы сам я отличался верностью, я бы, может быть, не страдал от измен, которые был бы не способен понять, но что мне мучитель-

но было предполагать у Альбертины, так это мое собственное неугасимое желание нравиться все новым женщинам, завязывать все новые романы, воображать у нее те взгляды, которые на днях бросал я на сидевших за столиком в Булонском лесу молоденьких велосипедисток, не будучи в силах удержаться от этого, несмотря на присутствие Альбертины. Как у нас может быть знание только самих себя, так и наша ревность может в сущности проистекать только из собственного опыта. Наблюдение мало что значит. Только наслаждение, испытанное нами самими, может дать нам знание и причинить боль.

В иные минуты по глазам Альбертины, по ее внезапному румянцу я чувствовал, как некий жар украдкой проникает в области, более недоступные для меня, чем небо, области, где двигались воспоминания Альбертины. Тогда та красота, которую я недавно нашел у нее, думая о многолетнем своем знакомстве с Альбертиной на пляже в Бальбеке или в Париже, и которая состояла в многопланном развитии моей подруги, заключавшей в себе столько протекших дней, — красота эта приобретала для меня нечто нестерпимо мучительное. Тогда я чувствовал, как над этим зардевшимся лицом разверзается, словно пропасть,

необозримое пространство вечеров, когда я не был знаком с Альбертиной. Я мог сколько угодно сажать Альбертину к себе на колени, держать ее голову в своих руках; я мог ее ласкать, мог долго гладить ее, но, как если бы я ощупывал камень, заключающий соль доисторических океанов или луч какой-нибудь звезды, я чувствовал, что прикасаюсь лишь к замкнутой оболочке существа, которое внутренней своей стороной уходит в бесконечность. Как страдал я от этого положения, на которое обрекла нас забывчивость природы: разделяя тела, она не подумала о том, как сделать возможным взаимопроникновение душ (ведь, если тело Альбертины было во власти моего тела, то мысли моей не удавалось завладеть ее мыслями). Я отдавал себе отчет, что Альбертина не является для меня даже роскошной пленницей, которой я думал украсить мое жилище, столь же тщательно скрывая ее присутствие, даже от людей, приходивших меня навестить и не подозревавших, что она находится на конце коридора, в соседней комнате, как тот персонаж, про которого никому не было известно, что он держит в бутылке китайскую принцессу; приглашая меня в настойчивой, жестокой и безуспешной форме пуститься на поиски прошлого, Альбертина была

скорее похожа на великую богиню Времени. И если вышло так, что я потерял из-за нее годы, состояние, — лишь бы только я мог сказать себе, в чем у меня, увы, нет уверенности, что она от этого ничего не потеряла, — мне нечего жалеть. Конечно, одиночество было бы предпочтительнее, плодотворнее, не так мучительно. Но если бы я вел жизнь коллекционера, как мне советовал Сван (а г. де Шарлюс упрекал меня за то, что я этого не делал, говоря мне со смесью остроумия, дерзости и вкуса: «Как же у вас мерзко!»), какие статуи, какие картины, долго разыскиваемые и наконец приобретенные или даже, предположим наилучшее, бескорыстно созерцаемые, дали бы мне, как эта небольшая рана, довольно быстро заживавшая, но постоянно растравливаемая неосторожными движениями Альбертины, а также равнодушных ко мне людей или моих собственных мыслей, — дали бы мне выйти за пределы моего «я» на узенькую тропинку, соединявшую меня с Альбертиной, но в то же время выводившую на большую дорогу, по которой движется жизнь других людей, — нечто настолько нам чуждое, что мы можем ее познать, лишь претерпев от нее страдания?

Иногда лунная ночь была так хороша, что когда

Альбертина засыпала, я подходил к ее кровати предложить ей полюбоваться на освещенное окно. Я убежден, что отправлялся в ее комнату именно с этой целью, а не для того, чтобы удостовериться в ее присутствии там. Да и как бы могла она от меня сбежать? Ведь для этого понадобился бы неправдоподобный сговор ее с Франсуазой. В темной комнате я ничего не видел, кроме узенькой диадемы черных волос на белом фоне подушки. Но я различал дыхание Альбертины. Сон ее был так глубок, что я сначала колебался, подходить ли мне к ней, или нет. Потом я присаживался на край ее кровати. Сон Альбертины продолжал струиться с тем же журчанием. Невозможно выразить, сколько веселости было в ее пробуждениях. Я целовал ее, встряхивал. Она сразу просыпалась и тут же, без малейшего перехода, разражалась смехом, обвивая руками мою шею и говоря мне: «А я как раз спрашивала себя, не придешь ли ты», и снова нежно смеялась. Можно было подумать, что ее очаровательная головка, когда она спала, заключала в себе лишь веселость, нежность и смех. Разбудив ее, я только пускал струю утоляющего жажду сока, вроде того, что брызжет из некоторых плодов, когда мы их надкусываем.

Зима между тем кончалась; вернулась весна, и часто, когда Альбертина со мной прощалась, и моя комната, занавески и стена над занавесками были еще совсем черные, из соседнего монастырского сада доносились богатые и вычурные в тишине, как звуки церковного органа, рулады какой-то неведомой птицы, которая уже пела в лидийском ладу заутреню и посылала ко мне в потемки полнозвучную ноту видимого ею солнца. Один раз даже мы вдруг услышали размеренное повторение какого-то жалобного зова. То были голуби, начинавшие свое воркование. «Это доказывает, что на дворе уже день», сказала Альбертина и, нахмурив брови, точно у меня она лишена была удовольствий весны, прибавила: «началась весна, потому что голуби вернулись». Сходство между их воркованием и пением петуха было столь же глубоким и столь же трудно уловимым, как в септете Вентейля сходство между темой адажио и темой последней части, построенной на той же основной теме, что и вступительная часть, но настолько преображенной различиями тональности и ритма, что непосвященная публика, открывая какое-нибудь произведение о Вентейле, с удивлением видит, что все эти три куска построены на тех же че-

тырех нотах, которые можно, вдобавок, сыграть одним пальцем на рояле, не узнав ни одного из них. Так и эта меланхолическая пьеса, исполнявшаяся голубями, была чем-то вроде пения петуха в минорном тоне, которое, однако, не восходило к небу, не поднималось вертикально, но, размеренное, как рев осла, окутанное лаской, шло от одного голубя к другому по одной горизонтальной линии, никогда не взлетая и не обращая своей идущей вбок жалобы в радостный зов, столько раз раздающийся в аллегро вступительной и заключительной части септета.

Скоро ночи сделались еще короче, и задолго до прежних утренних часов я видел, как из-за занавесок на моем окне выступает белизна, с каждым днем нараставшая. Если я все еще предоставлял Альбертине вести эту жизнь, хотя и видел, что, несмотря на ее отрицания, она чувствует себя в моем доме пленницей, то единственно вследствие не покидавшей меня уверенности, что завтра я найду в себе силы засесть за работу, а также вставать с постели, выходить из дому, готовиться к отъезду на дачу, которую мы купим и где Альбертина будет иметь возможность более свободно и не тревожа меня вести жизнь, какую ей захочется: отдыхать, купаться в море, плавать

или охотиться.

Однако на другой день случалось так, что ретроспективно один из часов, образовавших прошлое, которое я то любил, то ненавидел в Альбертине, один из тех часов, которые казались мне хорошо известными (ведь когда настоящее еще не обратилось в прошлое, каждый, из корысти, из вежливости или из жалости, старается выткать между ним и нами завесу лжи, которую мы принимаем за действительность), вдруг поворачивался ко мне стороной, которую никто не пытался больше от меня скрывать и которая оказывалась тогда совсем не такой, как я ее себе представлял. Вместо доброго намерения, рисовавшегося мне некогда за таким-то взглядом Альбертины, обнаруживалось некоторое не подозреваемое до сих пор желание, отчуждавшее от меня новую часть ее сердца, тогда как я считал, что оно уже мной освоено. Например, когда Андре покинула Бальбек в конце июля, Альбертина мне не сказала, что она должна вскоре с ней увидеться, и я думал, что она с ней встретилась даже раньше, чем предполагала, так как, по случаю глубокой печали, овладевшей мной в Бальбеке памятной ночью 14 сентября, она сделала мне одолжение, согласившись немедленно вернуться

в Париж. Когда она туда приехала 15 сентября, я попросил ее навестить Андре и сказал: «Рада она была с вами увидеться?» Между тем, когда г-жа Бонтан принесла однажды Альбертине какие-то вещи, я вышел к ней и сказал, что Альбертина отправилась на прогулку с Андре: «Они поехали кататься за город». — «Да, — отвечала г-жа Бонтан, — Альбертина любит уезжать за город. Три года тому назад каждый божий день она ездила в Бютт-Шомон». При звуках слова «Бютт-Шомон» дыхание у меня прервалось, — Альбертина мне говорила, что она никогда там не бывала.

Действительность самый искусный из неприятелей. Она предпринимает атаки на те участки нашего сердца, где мы их не ждали и где не подготовились к защите. Кому же солгала Альбертина: тетке, сказав, что она ездила каждый день в Бютт-Шомон, или мне, сказав, что никогда там не бывала? «К счастью, — продолжала г-жа Бонтан, — бедняжка Андре скоро уезжает за город, в настоящую деревню, дышать живительным воздухом полей, а она в нем очень нуждается, у нее такой нездоровый вид. Правда, прошлым летом она не имела времени набраться на лоне природы столь необходимых ей сил. Представьте, она покинула Бальбек в конце июля, рассчиты-

вая вернуться туда в сентябре, но так как ее брат вывихнул себе колено, она не могла это сделать». В таком случае, Альбертина ждала ее в Бальбеке и скрыла это от меня. Правда, в таком случае с ее стороны было тем более любезно предложить мне вернуться в Париж. Если только не… «Да, я припоминаю, что Альбертина мне об этом говорила (это была неправда). Когда же произошел этот несчастный случай? Все это немного перепуталось у меня в голове». — «На мой взгляд, как раз вовремя, потому что днем позже наступал срок платежа за виллу, и бабушке Андре пришлось бы понапрасну заплатить за лишний месяц. Брат Андре сломал ногу 14 сентября, она успела телеграфировать Альбертине пятнадцатого утром, что не приедет, а Альбертина успела предупредить контору. Днем позже был бы представлен счет до 15 октября». Таким образом, когда Альбертина, переменив решение, сказала мне: «Уедем сегодня вечером», она, вероятно, представляла себе городскую квартиру бабушки Андре, где после нашего возвращения рассчитывала встретиться со своей приятельницей, которая, о чем я и не подозревал, обещала ей вскоре приехать в Бальбек. Ее любезное согласие вернуться со мной в Париж, представлявшее такой резкий контраст

с ее решительным отказом несколько часов тому назад, я пытался приписать перевороту, случившемуся в ее добром сердце. Между тем, оно было попросту отражением некоторой не известной нам перемены обстоятельств: в такой перемене весь секрет зигзагов поведения женщин, которые нас не любят. Они наотрез отказывают нам в свидании, потому что их дедушка требует, чтобы они у него обедали. «Так приходите после обеда», — настаиваем мы. «Он меня долго не отпускает. Он, может быть, будет меня провожать домой». Попросту у них назначено свидание с человеком, который им нравится. Вдруг оказывается, что человек этот занят. Тогда они приходят к нам извиниться за причиненное огорчение, сказать, что, послав дедушку к черту, они останутся с нами, потому что мы для них милее всего на свете.

Мне бы следовало узнать эти фразы в речи, которую мне держала Альбертина в день моего отъезда из Бальбека, но для истолкования этой речи мне бы следовало тогда припомнить две своеобразные черты характера Альбертины, теперь пришедшие мне на ум, одна — чтобы меня утешить, другая — чтобы привести в отчаяние, ведь мы всякое находим в нашей памяти; она похожа на аптеку, на химическую лабораторию,

где наша рука случайно попадает то на какое-нибудь успокоительное средство, то на опасный яд. Первой, утешительной, чертой была столь характерная привычка Альбертины пользоваться одним и тем же поступком для угождения нескольким лицам, извлекать как можно больше выгоды из всего, что она делала. Было чрезвычайно в ее характере, возвращаясь в Париж (тот факт, что Андре не приехала, мог сделать для нее неудобным дальнейшее пребывание в Бальбеке, хотя бы это и не означало, что она не может обойтись без Андре), убить этой поездкой двух зайцев — растрогать два лица, которых она искренно любила: меня — внушив мне мысль, что она поехала в Париж, чтобы не оставлять меня одного, чтобы я не мучился, из преданности ко мне, и Андре — убедив ее, что раз та не приехала в Бальбек, она не желает там оставаться и продлила свое пребывание в этом городе только для того, чтобы с ней увидеться, а теперь, не теряя ни минуты, спешит к ней. Между тем, отъезд Альбертины со мной явился таким непосредственным следствием, с одной стороны, моей печали, моего желания вернуться в Париж, а, с другой стороны, телеграммы Андре, что и для Андре и для меня, поскольку Андре не знала о моей печали, а я о ее

телеграмме, вполне естественно было считать отъезд Альбертины действием одной только причины, которая каждому из нас была известна и за которой он в самом деле последовал через такое короткое время и так неожиданно.

В этом случае я мог еще верить, что Альбертина действительно хотела проводить меня, не желая в то же время упускать случая заслужить себе право на благодарность Андре. Но, к несчастью, я припомнил также и другую черту характера Альбертины, ее падкость на удовольствия, тянувшие ее к себе с непреодолимой силой. Между тем, я вспоминал, как нетерпеливо она, решившись ехать, собиралась на поезд, как грубила управляющему гостиницы, который пытался нас удержать, так что мы могли из-за него пропустить омнибус, как пожала мне плечами с видом соучастницы, чем я был так тронут, когда в вагоне узкоколейки г. де Камбремер спросил нас, не можем ли мы «остаться еще недельку». Да, то, что стояло у нее перед глазами в ту минуту, что заставляло ее так лихорадочно готовиться к отъезду, куда она спешила с таким нетерпением, была нежилая квартира, которую я однажды посетил, квартира бабушки Андре, оставленная на попечение старика-лакея, квартира роскошная,

окнами прямо на юг, но такая пустая, такая безмолвная, что солнце как будто надевало чехлы на диван и на кресла в той комнате, где Альбертина и Андре собирались расположиться, попросив почтительного сторожа, может быть простака, а может быть сообщника, их не тревожить.

Теперь у меня все время стояла перед глазами эта пустая комната, с кроватью или диваном, куда каждый раз, когда Альбертина спешила с озабоченным видом, она отправлялась на свидание со своей подругой, приезжавшей вероятно раньше, потому что она была более свободна. До сих пор я никогда не думал об этой квартире, которая теперь приобрела для меня какую-то жуткую красоту. Неведомое в жизни людей подобно неведомому в природе: каждое научное открытие заставляет его отступить, но не упраздняет его. Ревнивец озлобляет любимую женщину, лишая ее тысячи второстепенных удовольствий, но удовольствия, составляющие основу ее жизни, она укрывает в таком месте, где ему в голову не приходит искать даже в минуты наивысшей прозорливости и при наличии наилучших осведомителей. Слава богу, Андре собиралась уехать. Но я не хотел давать Альбертине повод презирать меня как простака, одураченного ею и Андре.

Рано или поздно я ей это скажу. Таким образом я ее, быть может, заставлю говорить со мной более откровенно, показав, что мне все-таки известны вещи, которые она от меня скрывает. Но до поры до времени я не хотел говорить с ней на эту тему, прежде всего потому, что если бы я завел такой разговор сразу после визита тетки, она поняла бы, откуда идет моя информация, постаралась бы закрыть ее источник и перестала бы страшиться каких-либо неожиданностей с этой стороны. А затем потому, что, не будучи вполне уверен в своей способности удержать возле себя Альбертину, сколько я пожелаю, я не хотел очень уж сильно раздражать ее, опасаясь вызвать у нее таким образом желание меня покинуть.

Правда, когда я рассуждал логически, доискивался истины, строил предположения о будущем на основании ее слов, которые всегда одобряли все мои планы, показывая, как она любит эту жизнь, как мало тяготит ее заточение, я не сомневался, что она навсегда останется со мной. Я даже бывал этим немало раздосадован, чувствуя, что от меня ускользает жизнь, вселенная, которыми я так и не насладился, обменяв их на женщину, не содержавшую уже для меня ничего нового. Я не мог даже съездить в Венецию, так как меня бы

там слишком мучил страх, как бы во время моего сна с ней не завели шашней гондольер, прислуга гостиницы, венецианки. Но когда я, напротив, рассуждал, держась другой гипотезы, опиравшейся не на слова Альбертины, а на ее молчание, взгляды, румянец, сердитое настроение и даже на ее гнев, беспричинность которых мне было бы легко ей показать, но которые я предпочитал не замечать или делать вид, что не замечаю, тогда я говорил себе, что такая жизнь для нее невыносима, что она постоянно оказывается лишенной того, что она любит, и что роковым образом она меня когда-нибудь покинет. Мне хотелось только, если она это сделает, выбрать такое время, когда ее отъезд не будет для меня слишком мучителен и она не сможет отправиться ни в одно из мест, где я так ясно представлял себе ее кутежи — ни в Амстердам, ни к Андре, с которой она, правда, все равно встретится через несколько месяцев. Но до тех пор я успокоюсь и ко всему этому останусь равнодушен. Во всяком случае, надо было отложить размышления на эту тему, пока не пройдет маленький рецидив, вызванный открытием обстоятельств, в силу которых Альбертина на протяжении нескольких часов то не хотела уезжать из Бальбека, то вдруг захо-

тела уехать немедленно. Надо было дать пройти симптомам, которые постепенно ослабевали, когда я не узнавал ничего нового, но были еще слишком сильны для того, чтобы операция разрыва прошла легко и безболезненно, — операция, признаваемая мной теперь неизбежной, но вовсе не безотлагательной, и ее лучше было сделать не волнуясь, хладнокровно. Выбор подходящей минуты зависел от меня; ведь если она пожелает уехать прежде, чем я его сделаю, у меня всегда найдется время, когда она объявит, что ей эта жизнь надоела, обдумать опровержение ее доводов, предоставить ей больше свободы, пообещать на ближайшее будущее какое-нибудь большое и заманчивое для нее удовольствие, и даже, если я только найду прибежище в ее сердце, тронуть ее моим горем.

Я был, следовательно, вполне спокоен с этой стороны, хотя и не мог похвастать особенно логичностью. Ведь, принимая гипотезу, в которой я как раз не считался с тем, что она мне говорила и объявляла, я предполагал, что когда зайдет речь об ее отъезде, она мне наперед выскажет свои доводы и предоставит их опровергать и разбивать. Я чувствовал, что жизнь моя с Альбертиной, когда я не был ревнив, была для меня сплошной скукой,

а для нее, когда я бывал ревнив, — сплошным мучением. Даже если предположить, что в ней было счастье, счастье это не могло быть долговременным. Я держался того же благоразумного образа мыслей, что и в Бальбеке, когда однажды вечером, после визита г-жи де Камбремер, я хотел покинуть Альбертину, хотя и был с ней счастлив, ибо знал, что, продолжая такую жизнь, я ничего не выиграю. Только и теперь еще я воображал, что воспоминание, которое я о ней сохраню, будет подобно продолженной педалью вибрации последней минуты нашей разлуки. Вот почему мне хотелось выбрать минуту спокойную и нежную, чтобы именно она продолжала трепетать во мне. Не надо быть слишком требовательным, слишком долго ждать, надо быть благоразумным. Однако, столько уже прождав, я поступил бы неразумно, если бы не подождал еще несколько дней наступления приемлемой минуты, вместо того чтобы подвергаться риску увидеть ее уезжающей с тем же возмущением, какое бывало в детстве у меня, когда мама отходила от моей кровати, не пожелав мне покойной ночи, или когда она со мной прощалась на вокзале.

На всякий случай я умножал подарки, которые мог сделать Альбертине. Что касается платьев

Фортюни, мы наконец остановились на синем с золотом, на розовой подкладке, которое было уже готово. Однако я заказал еще пять, от которых она с сожалением, отказалась, предпочтя им синее. Между тем, однажды весной, через два месяца после визита ее тетки, я дал увлечь себя порыву гнева. Это случилось в тот вечер, когда Альбертина в первый раз надела синее с золотом платье Фортюни, которое, напомнив Венецию, заставило меня еще острее почувствовать, какие жертвы приносил я ради нее, не получая за это никакой благодарности. Хотя я никогда не видел Венеции, я беспрестанно о ней мечтал, начиная с тех пасхальных вакаций, что еще ребенком должен был там провести, и даже еще раньше, с тех пор как Сван когда-то мне подарил в Комбре гравюры Тициана и фотографии Джотто. Платье Фортюни, которое было в тот вечер на Альбертине, казалось мне призраком-искусителем этой невидимой Венеции. Оно было сплошь залито арабским орнаментом, как венецианские дворцы, спрятанные, подобно султаншам, под сквозным каменным покрывалом, как переплеты библиотеки Амброзиана, как колонны, увитые восточными птицами, означающими попеременно смерть и жизнь и повторявшимися в

переливах материи темно-синего тона, который по мере перемещения моего взгляда превращался в расплавленное золото по тем самым законам, что претворяют перед плывущей гондолой лазурь Большого канала в пылающий металл. А на рукавах была розовая подкладка с вишневым оттенком, настолько специфически венецианским, что его называют розовым тоном Тьеполо.

Днем Франсуаза мне проговорилась, что Альбертина всем недовольна, что когда я велю ей сказать, что я с ней выйду или что я не выйду, что за ней будет послан автомобиль или не будет послан, она только пожимает плечами и отвечает чуть ли не дерзко. Вечером, чувствуя ее дурное настроение и сам находясь в угнетенном состоянии под влиянием первой жары, я не в силах был сдержать гнев и упрекнул ее в неблагодарности: «Да, можете у каждого спросить, — кричал я изо всей силы, вне себя от бешенства, — можете спросить у Франсуазы, все в один голос говорят об этом». Но тут я вспомнил, как Альбертина мне раз сказала, насколько я бываю страшен в гневе, и продекламировала следующие строки «Эсфири»:

Суди же сам, с какой боязнью и тоской
Я зрю твое чело, разгневанное мной.

.....

Кто б дерзновенный мог, не потупляя глаз,

Твой гневный встретить взор, грозивший мне сейчас?

Я устыдился своей несдержанности. И вот, возвращаясь к тому, что я сделал, но не желая иметь вид человека, потерпевшего поражение, — предлагая мир, но мир вооруженный и грозный, и считая в то же время полезным снова показать, что я не боюсь разрыва, дабы она не вздумала к нему прибегнуть, — я сказал: «Простите меня, милая Альбертина, я стыжусь своей несдержанности и крайне сожалею, что позволил себе так увлечься. Если мы не можем больше ужиться, если мы должны расстаться, то не надо, чтобы наша разлука произошла таким образом, это было бы недостойно нас. Мы разлучимся, если надо, но прежде я самым искренним образом и от всего сердца хочу попросить у вас прощения». Чтобы поправить допущенную ошибку и приобрести уверенность, что Альбертина у меня останется, по крайней мере, до отъезда Андре, то есть не меньше, чем три недели, хорошо было бы, думал я, завтра же доставить ей какое-нибудь удоволь-

ствие, превосходящее все то, чем я ее баловал до сих пор, и способное занять ее на достаточно продолжительное время; вот почему, твердо решив истребить неприятное впечатление, оставленное у Альбертины моей выходкой, я подумал: хорошо бы воспользоваться настоящей минутой и показать ей, что ее жизнь известна мне лучше, чем она думает. Досада, которую она почувствует, завтра будет изглажена моими знаками внимания, а предостережение останется в ее сознании. «Да, милая Альбертина, простите мне мою несдержанность. Я совсем не так виноват, как вы думаете. Есть злые люди, которые стараются нас поссорить, я все не хотел вам об этом говорить, чтобы вас не беспокоить. Но от некоторых вещей у меня голова иногда идет кругом. Так, в настоящее время меня изводят, меня преследуют доносами о ваших отношениях с Андре». — «С Андре?» — воскликнула Альбертина, вспыхнув от негодования. Она даже глаза раскрыла, — настолько ее это удивило или настолько она желала показаться удивленной. «Восхитительно! А нельзя ли узнать, кто вам рассказал эти милые вещи, нельзя ли мне поговорить с этими лицами, узнать, чем они могут подтвердить свои гнусности?» — «Не знаю, милая Альбертина, это анонимные письма, но от

лиц, которых вы, может быть, легко бы разгадали (сказал я, чтобы показать, что не верю в искренность ее слов), так как они, по-видимому, хорошо вас знают. Последнее из этих писем, должен сознаться (я его привожу вам только потому, что в нем речь идет о пустяке и говорить о нем можно спокойно), меня однако сильно расстроило.

Мне сообщают, что если в день нашего отъезда из Бальбека вы сначала пожелали остаться, а потом уехать, то это объясняется тем, что вы получили в промежутке письмо от Андре, извещавшее о неприезде вашей подруги». — «Да, конечно, Андре мне писала, что она не приедет, она мне даже телеграфировала, я не могу показать вам телеграмму, потому что не сохранила ее, но я ее получила не в тот день, да и какое, скажите на милость, мне дело до приезда или неприезда Андре в Бальбек?» — «Какое, скажите на милость, мне дело» было доказательством гнева Альбертины и того, что «ей было до этого дело», но это выражение не доказывало, что она вернулась в Париж единственно из желания увидеть Андре. Убеждаясь в том, что какой-нибудь из действительных или мнимых мотивов ее поступков бывал открыт лицом, которому она привела другой мотив, Альбертина всегда страшно сер-

дилась, хотя бы то было лицо, ради которого она действительно совершила свой поступок. Но если Альбертина считала, что сведения о ее поведении я получаю не от анонимов, доставляющих их мне помимо моего желания, но сам жадно их собираю, об этом никоим образом нельзя было бы заключить из ее последующих слов, в которых она как будто принимала мою версию анонимных писем, а можно было лишь догадываться по ее гневу на меня, гневу, казавшемуся ничем иным, как вспышкой ее давнишних раздражений, совсем как шпионаж, в котором, согласно этой гипотезе, она подозревала меня, оказывался лишь завершением моего надзора за каждым ее шагом, в чем она давно уже не сомневалась. Гнев ее распространился даже на Андре; подумав, должно быть, что теперь я не буду больше спокоен, даже когда она будет выходить с Андре, Альбертина проговорила: «К тому же, Андре меня выводит из себя. Она несносна. Я не хочу больше выходить с ней. Можете об этом объявить людям, сказавшим вам, будто я вернулась в Париж ради нее. Представьте, после стольких лет моего знакомства с Андре я даже не в состоянии описать ее наружность, так мало я на нее смотрела!» Между тем, в первое мое посещение Бальбека она мне

сказала: «Андре обворожительна».

Правда, это не означало, что она была в любовных отношениях с ней; тогда она даже не говорила иначе, как с негодованием, о всех отношениях подобного рода. Но разве не могла она измениться, не отдавая себе отчета в том, не подозревая, что ее игры с приятельницей являются ничем иным, как безнравственными отношениями, которые она клеймила у других, очень смутно их себе представляя? Разве не было это так же возможно, как и то изменение, которое произошло, тоже бессознательно, в ее отношениях со мной: ведь, отвергнув с таким негодованием мои поцелуи в Бальбеке, она сама потом мне их дарила каждый день и долго еще, как я, по крайней мере, надеялся, будет дарить; подарит сию минуту? «Но каким же образом, милочка, могу я им об этом объявить, если я их не знаю?» Ответ мой был настолько солиден, что не мог, казалось, не разрешить возражений и сомнений, кристаллизовавшихся в зрачках Альбертины. Однако он их оставил нетронутыми. Я замолчал, а она продолжала смотреть на меня с тем настойчивым вниманием, с каким мы смотрим на человека, не кончившего своей речи. Я снова попросил у нее прощения. Альбертина отвечала, что ей нечего

мне прощать. Она вновь стала очень кроткая. Но ее печальное и расстроенное лицо, казалось, затаило какое-то решение. Я хорошо знал, что она не может меня покинуть без предупреждения, не может даже ни желать этого (через неделю назначена была примерка новых платьев Фортюни), ни сделать приличным образом, так как в конце недели возвращалась моя мать, а также ее тетка. Почему же в таком случае, если она не могла уехать, я повторил ей несколько раз, что завтра мы выйдем вместе посмотреть венецианский стеклянный сервиз, который я хотел ей подарить, и с облегчением услышал ее согласие? Когда настало время прощаться, и я ее поцеловал, она, вопреки своему обыкновению, отвернулась, — это произошло всего через несколько мгновений после того, как я мечтал об отраде, которую она мне дарила каждый вечер и в которой отказала в Бальбеке, — не возвратила мне моего поцелуя.

Можно было подумать, что, поссорившись со мной, она не желает мне дарить знак нежности, который впоследствии мог бы мне показаться двоедушием, попыткой затушевать эту ссору. Можно было подумать, что она сообразует свои поступки с этой ссорой, но в меру, затем ли, чтобы ее не подчеркивать, или же затем, что, порывая

со мной плотские отношения, она хотела все же остаться моим другом. Тогда я поцеловал ее еще раз, прижав к сердцу отливавшую золотом лазурь Большого канала и спаренных птиц, являвшихся символами смерти и воскресения. Но она вторично отвернулась и, вместо того чтобы вернуть мне поцелуй, посторонилась с инстинктивным и вещим упорством животного, чувствующего смерть. Предчувствие, которое она как будто выражала таким образом, передалось и мне, наполнив меня тревогой и страхом, так что когда она подошла к двери, я не имел мужества дать ей уйти и позвал ее. «Альбертина, — сказал я ей, — мне совсем не хочется спать. Если и у вас нет желания уснуть, вы могли бы посидеть еще немного, если вам угодно, но я не настаиваю, и особенно не хочу вас утомлять». Мне казалось, что если бы я мог заставить ее раздеться и остаться в белой ночной рубашке, в которой она казалась более розовой, более теплой, в которой она сильнее возбуждала мои чувства, наше примирение было бы более полным. Но я минуточку поколебался, ибо синий край платья придавал лицу ее красоту, одухотворенность, небо, без которых она показалась бы мне более прозаической. Она медленно вернулась и сказала

с большой кротостью и все с тем же печальным и угнетенным видом: «Я готова остаться, сколько вы пожелаете, мне не хочется спать». Ответ ее меня успокоил, ибо покуда Альбертина была возле меня, я чувствовал, что могу спокойно подумать о будущем, ибо она заключала в себе дружбу и послушание, но какого-то особенного рода, как будто ограниченные той тайной, которая мне чудилась за ее печальным взглядом, за ее манерами, теперь изменившимися отчасти помимо ее воли, а отчасти, должно быть, полусознательно, чтобы заранее согласоваться с чем-то, чего я не знал.

Мне показалось все-таки, что стоило бы ей только поместиться возле меня в белой рубашке, с обнаженной шеей, так, как я ее видел на кровати в бальбекской гостинице, это придало бы мне столько смелости, что она была бы вынуждена уступить. «Если уж вы так любезно соглашаетесь посидеть немного, чтобы меня утешить, вам бы следовало снять платье, оно слишком теплое, слишком плотное, я не решаюсь к вам приблизиться, чтобы не измять этой прекрасной материи, и кроме того между нами находятся символические птицы. Разденьтесь, милочка». — «Нет, здесь мне было бы неудобно снимать это платье. Я разденусь сейчас в моей

комнате». — «Так вы не хотите даже присесть ко мне на кровать». — «Нет, отчего же». Она расположилась, однако, немного поодаль, у моих ног. Мы стали разговаривать. Помню, тогда я произнес слово смерть, словно Альбертине предстояло умереть. По-видимому, события обширнее того периода времени, в течение которого они происходят, они не могут уместиться в нем целиком. Вторгаясь в будущее благодаря сохранению в нашей памяти, они требуют для себя места также в предшествующим времени. Нельзя сказать, чтобы мы их видели тогда такими, как они будут, но разве не подвергаются они изменениям также и в воспоминании?

Увидев, что сама она меня не целует, поняв, что весь этот разговор только потеря времени, что успокоительные и содержательные минуты начнутся только после поцелуя, я сказал Альбертине: «Покойной ночи, уже очень поздно», ожидая, что она меня поцелует, и тогда мы будем продолжать нашу беседу. Но, сказав мне: «Покойной ночи, постарайтесь хорошенько уснуть», — она, как и первые два раза, ограничилась поцелуем в щеку. На этот раз я не решился ее удерживать, но сердце мое билось так сильно, что я не в состоянии был снова лечь. Как птица, мечущаяся от одного

конца клетки к другому, я беспрестанно переходил от тревоги, что Альбертина может уехать, к относительному спокойствию. Спокойствие это порождалось следующим рассуждением, повторявшимся мной по нескольку раз в минуту: «Она, во всяком случае, не может уехать, не предупредив меня, а между тем она ни слова не сказала о том, что собирается уезжать»; сказав это, я почти успокаивался. Но сейчас же я говорил себе: «А вдруг я завтра узнаю, что она уехала? Ведь и мое беспокойство вызвано какой-то причиной; почему она меня не поцеловала?» И сердце мое мучительно ныло.

Боль немного унималась, когда я вновь начинал свое рассуждение, зато под конец у меня разболелась голова, настолько это движение моей мысли было безостановочно и однообразно. Иные душевные состояния, в частности, беспокойство, рисуя нам только два возможных выхода, отличаются такой же беспощадной ограниченностью, как простое физическое страдание. Я беспрестанно повторял рассуждение, оправдывавшее мое беспокойство, и другое рассуждение, вскрывавшее его несостоятельность и меня ободрявшее, на столь же ничтожном пространстве, как больной, который, безостановочно ощупы-

вая внутренним движением беспокоящий его внутренний орган, на мгновение отступает от чувствительного места, чтобы сейчас же вернуться к нему. Вдруг в тишине ночи я поражен был заурядным с первого взгляда шумом, который, однако, наполнил меня ужасом, шумом распахиваемого окна в комнате Альбертины. Когда снова наступила тишина, я задался вопросом, почему этот шум так меня напугал. Сам по себе он не заключал ничего необыкновенного; но я ему, вероятно, придавал два значения, которые меня одинаково страшили. Во-первых, так как я боялся сквозняков, в нашей домашней жизни условлено было никогда не открывать окна ночью. Альбертина была в это посвящена, когда поселилась в нашем доме, и хотя она считала подобный запрет с моей стороны нездоровой блажью, все-таки обещала мне никогда его не нарушать. А в отношении всех моих желаний она отличалась такой боязливостью, что, будь они даже с ее точки зрения предосудительны, я знал, что она скорее бы заснула в комнате, где начадил камин, чем открыла окно, и даже по самому важному делу не попросила бы разбудить меня утром.

Соглашение это принадлежало к числу лишь второстепенных частностей нашей жизни, но

если она его нарушала, ничего мне не сказав, разве это не означало, что она вообще не желает ни с чем считаться и с такой же легкостью нарушит любой мой запрет. Во-вторых, шум был произведен с большой силой, почти вызывающе, как если бы Альбертина открыла окно вся красная от гнева со словами: «В этой обстановке я задыхаюсь, что делать, мне надо воздуху!» Вот приблизительно то, что я говорил себе, продолжая думать о шуме открытого Альбертиной окна как о более таинственном и более мрачном предзнаменовании, чем крик совы. Разволновавшись так, как, пожалуй, никогда еще после того вечера в Комбре, когда у нас обедал Сван, я долго ходил по коридору в надежде привлечь своими шагами внимание Альбертины и в ожидании, что она надо мной сжалится и позовет к себе, но из ее комнаты до меня не доносилось ни звука. Наконец я почувствовал, что уже очень поздно. Она, наверно, давно уже спала. Я вернулся и лег. На другой день, едва только проснувшись, — так как ко мне никогда не входили без зова, что бы ни случилось, — я позвонил Франсуазе. И в то же время я подумал: «Я поговорю с Альбертиной о яхте, которую хочу заказать для нее». Взяв поданные мне письма, я сказал Франсуазе, не глядя на

нее: «Мне надо будет сейчас кое-что сказать мадемуазель Альбертине; она уже встала?» — «Да, она встала сегодня очень рано». Я почувствовал, как во мне поднялось, точно от порыва ветра, тысяча беспокойств, которые я не в силах был сдерживать в груди. Смятение там было такое, что я едва переводил дух, как во время бури. «А-а! Но где же она сейчас?» — «Должно быть, в своей комнате». — «А, это хорошо; ну, так я ее сейчас увижу». Я вздохнул с облегчением, она была в своей комнате, мое возбуждение улеглось, Альбертина была здесь, ее присутствие мне стало почти безразлично. Впрочем, разве не было с моей стороны нелепостью предположить, что она могла бы отсутствовать? Я заснул, но, несмотря на всю уверенность, что она меня не покинет, сон мой был чуткий, но чуткий только по отношению к ней.

В самом деле, к шумам, исходившим, например, от ремонтных работ в нашем дворе, я оставался равнодушен, хотя смутно их слышал, засыпая, между тем, как легчайший шорох, доносившийся из комнаты Альбертины, когда она бесшумно выходила или входила, едва-едва нажимая на кнопку звонка, бросал меня в трепет, пробегал по мне с ног до головы, вызывал у меня замирание

сердца, хотя я его слышал в глубоком забытьи, подобно тому как бабушка в последние дни перед смертью, погрузившись в оцепенение, называемое врачами коматозным состоянием, в котором уже ничто на нее не действовало, на мгновение, передавали мне, вздрагивала как лист, когда различала три звонка, при помощи которых я обыкновенно звал Франсуазу; хотя в ту неделю, чтобы не нарушать тишины, царившей в комнате умирающей, я старался звонить негромко, никто, уверяла меня Франсуаза, не мог спутать мои звонки с чьими-либо другими, по причине моей особенной манеры, о которой сам я ничего не знал, нажимать на кнопку. Не началась ли и у меня агония, не было ли это приближением смерти?

В тот день и в следующий мы выходили с Альбертиной вместе, потому что она не желала больше гулять с Андре. Я ни слова не сказал ей о яхте. Эти прогулки меня совершенно успокоили. Но она продолжала целовать меня вечером по-новому, и меня это бесило. Явным образом Альбертина желала показать, что она на меня дуется; я находил это смешным после всех любезностей, которые я продолжал ей расточать. Вот почему, не получая больше от нее даже фи-

зического удовлетворения, которым я дорожил, находя ее некрасивой, когда она бывала в дурном настроении, я острее ощущал отсутствие женщин и путешествий, к которым меня так потянуло в эти первые погожие дни.

Должно быть, благодаря клочкам воспоминаний о давнишних моих, еще когда я был школьником, встречах с женщинами под сводами уже одетых зеленью деревьев, эта страна весны, куда вот уже три дня как прибыло наше странствующее по временам года жилище, эта благодатная страна, все дороги которой вели к завтракам на лоне природы, к катанью на лодке, к пикникам, представлялась мне страной женщин в такой же степени, как и деревьев, страной, где повсюду рассыпанные удовольствия становились доступными для моих укрепившихся сил. Жизнь ленивая, целомудренная, наслаждения только с одной женщиной, которой я не любил, сидение в комнате, отказ от путешествий, все это возможно было в старом мире, где мы находились еще вчера, в пустом мире зимы, но никак не в новой густолиственной вселенной, где я проснулся как юный Адам, перед которым впервые ставится задача бытия, счастья, и которого не стесняет масса прежних отрицательных ее решений. При-

сутствие Альбертины меня тяготило, я угрюмо смотрел на нее, чувствуя, какое несчастье для нас, что мы друг с другом не порвали. Я хотел съездить в Венецию, я хотел перед отъездом туда сходить в Лувр посмотреть на венецианские картины и в Люксембург полюбоваться двумя Эльстирами, которых, как я недавно узнал, принцесса Германтская продала этому музею, Эльстирами, которыми я так восхищался: «Удовольствия танцев» и «Портрет семейства Х».. Но я боялся, как бы некоторые сладострастные позы на первой из этих картин не заронили в Альбертине желания народных увеселений, не внушили ей мысли, что хорошо было бы пожить недоступной ей теперь жизнью фейерверков и пригородных кабачков. Заранее уже я опасался, как бы 14 июля она меня не попросила пойти на какой-нибудь народный бал, и я страстно желал невозможного события, которое отменило бы этот праздник. Кроме того, на картинах Эльстира были обнаженные женские фигуры посреди пышного южного пейзажа, они могли напомнить Альбертине о некоторых удовольствиях, хотя сам Эльстир (что не помешает ей по-своему опошлить его произведение) видел в них лишь скульптурную красоту, лучше сказать, красоту белых статуй, которую приобре-

тают сидящие в зелени женские тела.

Вот почему я с горечью отказался от посещения музея и решил съездить в Версаль. Альбертина читала у себя в комнате в пеньюаре Фортюни. Я спросил не хочет ли она прокатиться в Версаль. В характере Альбертины была прелестная черта: она всегда была готова на все, может быть, потому что с детства привыкла жить наполовину у чужих, и как в Бальбеке она в две минуты приняла решение ехать в Париж, так и теперь сказала мне: «Я могу ехать как я есть, мы не будем выходить из авто». Секунду она колебалась, обдумывая, какое из двух манто накинуть ей на пеньюар, — как выбирала бы, какое из двух друзей ей взять с собой, — остановилась на темно-синем, изумительном, и воткнула булавку в шляпу. В одну минуту она была готова, прежде чем я успел надеть пальто, и мы поехали в Версаль. Эта ее быстрота, эта полная покорность вселили в меня больше уверенности, точно я действительно в этом нуждался, не имея никакого определенного повода для беспокойства. «Все-таки мне нечего бояться, она делает все, что я прошу, несмотря на шумно раскрытое окно прошлой ночью. Едва я заикнулся о поездке, как она уже накинула это синее манто на пеньюар и поехала, так бы не

поступила женщина взбунтовавшаяся, недовольная жизнью со мной», — говорил я себе, когда мы ехали в Версаль. Мы пробыли там долго. Небо все состояло из лучистой, немного бледной синевы, как его видит иногда у себя над головой прилегший на траву человек, но оно было настолько ровное, настолько глубокое, что казалось, будто составляющая его синева взята была без всякой примеси и в таком неисчерпаемом изобилии, что, сколько бы ни углубляться в ее вещество, там нельзя было бы обнаружить ни одного инородного атома, а лишь все ту же синеву. Я вспомнил о бабушке, которая любила в искусстве и в природе величие и всегда с удовольствием смотрела на колокольню Сент-Илер, возвышавшуюся в такой же точно синеве.

Вдруг я снова ощутил тоску по утраченной свободе, услышав шум, которого сначала не узнал и который, верно, тоже понравился бы моей бабушке. Он был похож на жужжание осы. «Слышите, — сказала Альбертина, — никак аэроплан, он очень высоко, очень высоко». Я внимательно осмотрел небо, но не обнаружил ни пятнышка на безупречной его бледной синеве без всякой примеси. Однако все время до меня доносилось жужжание крыльев, вдруг показавшихся в поле

моего зрения. Высоко-высоко совсем крохотные блестящие коричневые крылышки бороздили ровную синеву невозмутимого неба. Я мог наконец связать это жужжание с его причиной — маленьким насекомым, трепетавшим там, на высоте двух тысяч метров; я видел, как оно производило шум. Быть может, когда расстояния на земле еще не были, как в настоящее время, сокращены скоростью, свисток проходящего в двух километрах поезда наделен был той же красотой, которая теперь пока еще нас волнует в жужжании аэроплана, парящего в двух тысячах метров, при мысли, что расстояния, пройденные в его вертикальном путешествии, такие же, как и на земной поверхности, и что в этом другом направлении, где меры нам представляются иными, потому что мы его считали недоступным, аэроплан в двух тысячах метров находится не дальше, чем поезд в двух километрах, скорее даже ближе, ибо тождественный путь совершается им в более чистой среде, где ничто не отделяет путешественника от его отправного пункта, подобно тому как на море или на широкой равнине в тихую погоду струя воды за кормой уже далекого корабля или единственный порыв ветерка бороздят океан вод или хлебов.

— «В сущности, мы не голодны, можно было бы заехать к Вердюренам, — сказала мне Альбертина, — сейчас их день и их час». — «Но ведь вы на них сердитесь?» — «О, про них многое болтают, но в сущности они не такие уж плохие люди. Мадам Вердюрен всегда была так добра ко мне. Кроме того, нельзя же быть вечно в ссоре со всеми. У них есть недостатки, но у кого же их нет?» — «Вы не одеты, нам придется заехать домой, будет очень поздно». Я прибавил, что мне хочется покушать. «Да, вы правы, перекусим чего-нибудь запросто», — отвечала Альбертина со своей изумительной покорностью, всегда меня поражавшей. Мы остановились в большой кондитерской, расположенной почти за городом и в то время довольно модной. Выходившая оттуда дама как раз в это время спрашивала у хозяйки свои вещи.

Когда она ушла, Альбертина несколько раз взглянула на хозяйку, как бы желая привлечь ее внимание, когда та убирала чашки, тарелки, печенья, ибо было уже поздно. Хозяйка подошла ко мне одному с вопросом, что я хочу заказать. И вот, когда эта женщина, очень высокого роста, подавая что-нибудь, становилась возле нас, сидевшая рядом со мною Альбертина, каждый

раз вертикально вскидывала на нее золотистый взгляд, причем, моей подруге приходилось очень высоко поднимать зрачки, потому что хозяйка подходила к нам вплотную и Альбертина лишена была возможности сбавить угол зрения косым направлением взгляда. Она принуждена была, не слишком запрокидывая голову, поднимать взор на громадную высоту, туда, где находились глаза хозяйки кондитерской. Из деликатности ко мне Альбертина поспешно опускала глаза и, так как хозяйка не обращала на нее никакого внимания, снова устремляла их вверх. Это похоже было на ряд тщетных молений, воссылаемых недоступному божеству. Потом хозяйка занялась соседним столом. Туда взгляд Альбертины мог снова приобрести естественность. Тем не менее, хозяйка ни разу не посмотрела на мою подругу. Меня это не удивляло, ибо я знал, что у этой замужней женщины, с которой я был немного знаком, есть любовники, хотя она в совершенстве скрывала свои интрижки, что меня чрезвычайно поражало по причине невероятной ее глупости. Я взглянул на нее, когда мы кончали закусывать. Погруженная в свою уборку, она была почти неучтива к Альбертине, не удостоив ее ни одного взгляда, хотя в поведении моей подруги не было ничего

непристойного. Хозяйка все убирала, убирала без конца, ни разу не отвлекшись от своего занятия. Если бы даже собирание ложечек и ножей для фруктов доверено было не этой высокой красивой женщине, но, из экономии человеческого труда, простой машине, то и у последней невозможно было бы констатировать более полной отрешенности от внимания Альбертины, а между тем хозяйка кондитерской не опускала глаз, не была поглощена никакой внутренней мыслью, а занималась только своей работой, сияя всеми своими прелестями. Правда, не будь она так исключительно глупа (за ней не только укрепилась такая слава, но я знал это по опыту), ее равнодушие могло бы представлять верх ловкости.

Я знаю, конечно, что самое глупое существо, если затронуты его желание или его интересы, может в этом единственном случае, среди ничтожества своей тупой жизни, мигом приспособиться к самой сложной и запутанной ситуации; все-таки это было бы слишком хитроумным домыслом по отношению к такой простушке, как хозяйка кондитерской. Ее недалекость принимала баснословные размеры, доходя даже до неучтивости! Ни разу не взглянула она на Альбертину, которую не могла однако не ви-

деть. Это было не очень любезно по отношению к моей подруге, но в глубине души я был очень рад, что Альбертина получила этот маленький урок и убедилась, что не всегда женщины оказывают ей внимание. Мы покинули кондитерскую, сели в автомобиль и поехали домой, как вдруг я пожалел о том, что позабыл отвести хозяйку в сторону и попросить ее, на всякий случай, не говорить уехавшей при нашем прибытии даме моего имени и адреса, хорошо известных хозяйке по частым заказам, которые я у нее делал. Этой уехавшей даме незачем было узнавать косвенным образом адрес Альбертины. Но я нашел, что возвращение из-за такого пустяка отняло бы слишком много времени и приобрело бы большую важность в глазах глупой и лживой хозяйки кондитерской. Надо будет только через неделю снова заехать туда позавтракать, чтобы передать свою просьбу; как это досадно, думал я, забывать всегда половину того, что надо сказать, делать самые простые вещи в несколько приемов.

В этой связи мыслей мне пришло в голову, до чего жизнь Альбертины уснащена была вечно сменявшимися желаниями, мимолетными и часто противоречивыми. Ложь еще больше ее усложняла; Альбертина, например, не запоми-

нала в точности наших разговоров, когда она говорила: «Ах, какая она хорошенькая и как хорошо играла в гольф!» — и я ее спрашивал имя этой девушки, она отвечала с тем безучастным и значительным видом, который каждый лжец этого типа с неизменным успехом напускает на себя всякий раз, когда не желает отвечать на какой-нибудь вопрос: «Право, не знаю (в голосе ее слышалось сожаление в том, что она не может удовлетворить мое любопытство), я никогда не слышала ее имени, я ее видела на гольфе, но не знала, как ее зовут», — если же через месяц я ее спрашивал: «Альбертина, ты знаешь ту хорошенькую девушку, о которой ты мне говорила, которая так хорошо играет в гольф». — «Ах, да, — отвечала она не задумываясь, — Эмилия Далтье, не знаю, что с ней сталось». Подобно полевому укреплению, ложь переносилась ею с защиты имени, теперь уже взятого, на возможности разыскать эту девушку. «Ах, не знаю, я никогда не знала ее адреса. Я ни с кем не встречаюсь, кто бы мог вам это сказать. О, нет, Андре не была с ней знакома. Она не принадлежала к нашей маленькой ватаге, в настоящее время совсем распавшейся». Другой раз ложь появлялась в качестве какого-нибудь гадкого признания: «Ах,

если бы у меня было триста тысяч франков годового дохода...» Она прикусывала губы. «Ну, что бы ты тогда делала?» — «Я бы попросила у тебя позволения, — говорила она, целуя меня, — остаться с тобой. Где могла бы я быть более счастлива?» Но даже принимая в расчет всю ложь Альбертины, прямо невероятно, до чего ее жизнь была непостоянна и мимолетны ее самые сильные желания. Сегодня она была без ума от какой-нибудь особы, а через три дня отказывалась ее принимать. Часу не могла она вытерпеть, дожидаясь заказанных мной холста и красок, так ей хотелось приняться за живопись. В течение двух дней она волновалась, чуть не плакала, но слезы ее скоро высыхали, как слезы ребенка, у которого отняли кормилицу. Неустойчивость ее чувств по отношению к людям, вещам, занятиям, искусствам, местностям была поистине всеобъемлющей, так что если она любила деньги, чего я не думаю, она не могла их любить дольше, чем все остальное. Когда Альбертина говорила: «Ах, если бы у меня было триста тысяч годового дохода!» — то хотя бы она выражала мысль дурную, но мимолетную, она не могла бы увлечься ею дольше, чем желанием съездить в Роше, вид которого приложен был к бабушкиному экземпляру сочинений госпожи

де Севинье, повидаться со своей партнершей в гольф, полетать на аэроплане, провести Рождество у своей тетки или приняться за живопись.

Мы вернулись очень поздно, уже ночью, когда там и здесь по краям дороги красные панталоны рядом с юбкой выдавали присутствие влюбленных парочек. Въехали мы в город через ворота Майо. Все парижские постройки подменены были чистым, линейным, плоскостным рисунком этих самых построек, как будто мы были в разрушенном городе, картину которого вздумал бы восстановить художник-реконструктор. Но каждый предмет так мягко очерчен был бледно-голубой каймой, на которой он выделялся, что жадные глаза повсюду искали еще немного этого восхитительного оттенка, слишком скупо им отпущенного: светила луна. Альбертина залюбовалась. Я не посмел ей сказать, что полнее насладился бы зрелищем, если бы был один или бродил, разыскивая какую-нибудь незнакомку. Я ей декламировал стихи или прозаические фразы о лунном свете, показывая, как из серебристого, каким был некогда, он стал голубым у Шатобриана и Виктора Гюго, чтобы вновь сделаться желтым и металлическим у Бодлера и Леконта де Лиля. Затем, напомнив Альбертине, как изоб-

ражен лунный серп в конце «Уснувшего Вооза», я прочитал ей все стихотворение. Мы вернулись домой. Хорошая погода сделала в эту ночь скачок вперед, подобно поднимающемуся во время жары термометру. В следовавшие затем весенние утра, вставшие в такую рань, я слышал движение трамваев в благоуханном воздухе, к которому все больше прибавлялось тепла, пока он не достигал полдневной густоты и плотности. Когда же этот маслянистый воздух заканчивал лакировку и обособление запаха умывальника, запаха платяного шкафа, запаха дивана, благодаря одной только четкости, с которой они располагались плотно пригнанными, но разнородными вертикальными слоями в перламутровой светотени, придававшей мягкий глянец переливам голубого атласа на занавесях и креслах, я представлял себя не по прихоти своего воображения, а потому что это было действительно возможно, идущим где-нибудь в новом пригородном квартале, вроде того, в каком жил в Бальбеке Блок, по ослепленным солнцем улицам и находящим на них не бесцветные мясные лавки и белые каменные плиты, а деревенскую столовую, куда я мог бы вот сейчас войти, и запахи, которые я бы там застал войдя, запах вазы с вишнями и абрикосами, за-

пах сидра, запах швейцарского сыра, повисшие в насыщенном светом и застывшем полумраке, который они пронизывают, как внутренности агата, тоненькими прожилками, между тем как призматические стеклянные подставки для ножей и вилок переливаются радугой или раскидывают там и здесь по клеенке цветные кружочки, как на павлиньих перьях. Подобно шуму равномерно нарастающего ветра, я с удовольствием слушал шум автомобиля под окном. До меня доносился запах бензина. Он может казаться неприятным людям чувствительным (которые всегда материалисты) и тем, кому он портит деревенские впечатления, а также иным мыслителям (тоже материалистам на свой лад), которые, придавая слишком большое значение факту, воображают, что человек был бы более счастлив, способен к более высокой поэзии, если бы глаза его воспринимали больше цветов, а ноздри различали больше запахов, — философски переряженное наивное представление людей, воображающих, будто жизнь была красивее, когда носили вместо черных фраков пышные костюмы.

Но для меня (так же как, сам по себе неприятный, может быть, запах нафталина и ветиверии меня бы привел в радостное возбуждение, на-

помнив мне синюю чистоту моря в день моего приезда в Бальбек) этот запах бензина, который, вместе с дымом, вырывавшимся из машины, столько раз рассеивался в бледной лазури в знойные дни, когда я ездил из Сен-Жан де ла Эз в Гурвиль, столько раз сопровождал меня на моих прогулках в те летние дни, когда Альбертина отправлялась писать красками, — этот запах бензина рассыпал теперь по обе стороны от меня, даром что я находился в своей темной комнате, васильки, маки и розовый клевер, пьянил меня как запах полей, — не тот ограниченный в пространстве и неподвижный запах, что связывается с боярышником и, удерживаемый его клейкими и густыми цветочками, носится на небольшом расстоянии перед изгородью, — но запах, перед которым убегали дороги, менялся вид почвы, возникали замки, бледнело небо, удесятерялись силы, запах, бывший как бы символом могучего прыжка и воскрешавший мое бальбекское желание войти в стальную клетку с хрустальными стенками, но на этот раз не для того, чтобы ехать с визитами в привычные дома с женщиной, которую я хорошо знал, а для того, чтобы любиться в новых местах с незнакомыми женщинами. Запах, все время сопровождавшийся сигналами гудков

проезжавших машин, к которым я подобрал слова, как к сигналам, подаваемым рожком или трубой в военных частях: «Вставай, парижанин, вставай, поезжай за город завтракать и кататься на лодке, в тени под деревьями, с красивой девушкой; вставай же, вставай». Все эти мечтания мне были так приятны, что я радовался «строгому закону», в силу которого, пока я не позвоню, ни один «робкий смертный», будь то Франсуаза, будь то Альбертина, не осмелился бы прийти меня потревожить «в глубину того дворца», где «грозный властелин от подданных своих себя желает скрыть».

Но вдруг произошла перемена декораций; уже не воспоминание прежних впечатлений, а воспоминание одного прежнего желания, совсем недавно пробужденного золотисто-синим платьем Фортюни, раскинуло передо мной другую весну, весну совсем не густолиственную, а, напротив, внезапно лишенную деревьев и цветов силой произнесенного мной имени: Венеция, — весну отцеженную, сведенную к своей сущности и передающую удлинение, потепление и постепенный расцвет своих дней посредством нарастающего брожения не грязной какой-нибудь земли, а девственных синих вод, хоть и

не разубранных венчиками цветов, а все-таки весенних, способных ответить майскому солнцу только своим блеском, им же наведенным и идеально с ним гармонирующим в лучезарном и незыблемом лоне темно-сапфирной стихии. Подобно временам года, которые никак не меняют его никогда не покрывающихся цветами каналов, современность не приносит никаких изменений славному готическому городу; я это знал, я не мог этого представить, и вот меня охватило то же самое желание взглянуть на него, которое когда-то, в пору моего детства, в самый разгар приготовлений к отъезду сломило во мне силу уехать; я хотел оказаться лицом к лицу с моими венецианскими фантазиями, увидеть, каким образом разделенное на рукава море обвивает своими излучинами, подобно извилинам реки Океана, некую утонченную городскую цивилизацию, которая, будучи изолирована лазурным своим поясом, развивалась самостоятельно, имела самостоятельные школы живописи и архитектуры, — я хотел полюбоваться этим сказочным садом с его плодами и птицами из цветных камней, зацветшими посреди освежавшего его моря, которое плескалось у подножия колонн и покрывало могучий рельеф капителей непрестанно шевелившимися пятна-

ми света, похожее на бодрствующий в полумраке темно-лазоревый глаз.

Да, надо было ехать, время было самое подходящее. С тех пор как Альбертина перестала, по-видимому, на меня сердиться, обладание ею не представлялось мне больше благом, за которое можно отдать все другие блага. Ведь мы бы это сделали лишь для того, чтобы избавиться от какого-нибудь огорчения, от какой-нибудь тревоги, а они теперь прошли. Нам удалось проскочить сквозь затянутый холстом обруч, который мы одно время считали совершенно непреодолимой преградой. Мы прогнали грозу, вернули ясную улыбку. Мучительная тайна беспричинной и, может быть, бесцельной ненависти рассеялась. Тогда мы вновь оказываемся лицом к лицу с временно отодвинутой проблемой счастья, невозможность которого для нас ясна. Теперь, когда жизнь с Альбертиной вновь стала возможной, я почувствовал, что мог бы от нее получить одно только горе, так как она не любила меня; лучше было ее покинуть в эти отрадные минуты ее покорности, которые я бы продлил в своем воспоминании.

Да, время было самое подходящее; оставалось точно узнать день отъезда Андре из Парижа и про-

извести энергичное давление на г-жу Бонтан для полной уверенности, что Альбертина не поедет тогда ни в Голландию, ни в Монжувен. Если бы мы умели лучше анализировать наши любовные увлечения, то мы бы обнаружили, что женщины часто нравятся нам лишь благодаря наличию противовеса в лице мужчин, у которых мы должны их оспаривать, хотя бы нам было до смерти тошно заниматься этим оспариванием; когда же этот противовес устранен, прелесть женщины пропадает. Примером горестным и предупреждающим может служить увлечение мужчин женщинами, которые до знакомства с ними совершили кое-какие грехи, теми женщинами, которых они чувствуют увязшими в опасностях и которых им надо в продолжение своей любви все время завоевывать; напротив, примером запоздалым и нисколько не драматическим послужит мужчина, который, почувствовав ослабление своего влечения к любимой женщине, безотчетно применяет выработанные им правила, и для большей уверенности в том, что он не перестал любить эту женщину, помещает ее в опасную обстановку, где ему каждый день надо ее оберегать. (Полная противоположность тех мужчин, которые требуют от женщины бросить сцену,

хотя они ее полюбили именно потому, что она была на сцене.)

Когда таким образом отъезд Альбертины не будет больше сопряжен с неудобствами, надо будет выбрать погожий день, вот такой как сейчас, — их будет, по-видимому, много, — когда я буду к ней равнодушен, когда меня будет манить тысяча желаний, надо будет ее отпустить, не повидавшись с ней, затем, встав однажды утром и быстро собравшись, оставить ей письмо и, пользуясь тем, что в дороге мне удастся, пожалуй, — ведь она не сможет отправиться ни в одно волновавшее меня место, — прогнать мысль о пороках, которым она может предаться, — мне они были, впрочем, в настоящую минуту глубоко безразличны, — уехать в Венецию, так и не встретившись с Альбертиной.

Я позвонил Франсуазе, чтобы попросить ее купить мне путеводитель и расписание поездов, как я сделал это мальчиком, когда стал готовиться к поездке в Венецию, осуществляя таким образом столь же горячее желание, как и то, что владело мной в настоящую минуту; я забыл, что после этого мне удалось осуществить одно такое желание, но без всякого удовольствия, — желание съездить в Бальбек, и что Венеция, относясь

тоже к области зрительных впечатлений, не может, вероятно, так же как и Бальбек, воплотить невыразимую мечту, мечту о средневековом городе, омываемом весенним морем, которая время от времени ласкала мое сознание волшебной, обаятельной, неуловимой, таинственной и расплывчатой картиной. Услышав мой звонок, Франсуаза вошла, очень озабоченная тем, как я отнесусь к ее словам и ее поведению. «Мне было очень досадно, — сказала она, — что мосье звонит сегодня так поздно. Я не знала, как мне поступить. Сегодня утром в восемь часов мадемуазель Альбертина потребовала у меня свои чемоданы, я не посмела ей отказать, я боялась, что мосье будет меня бранить, если я пойду его будить. Как я ее ни увещевала подождать часок, думая, что мосье тем временем позвонит, она не пожелала меня слушать; она мне оставила вот это письмо для мосье и в девять часов уехала». Тогда, — до такой степени можно быть в неведении относительно того, что в нас происходит, ибо я убежден был в моем равнодушии к Альбертине, — дыхание у меня пресеклось, я ухватился за сердце обеими руками, вдруг покрывшимися потом, которого я никогда у себя не наблюдал со времени сделанного Альбертиной в вагоне узкоколейки признания

относительно приятельницы мадемуазель Вентейль, — так что я мог только вымолвить: «Ах, очень хорошо, вы, понятно, хорошо сделали, что не разбудили меня, оставьте меня на минутку, я вам сейчас позвоню».